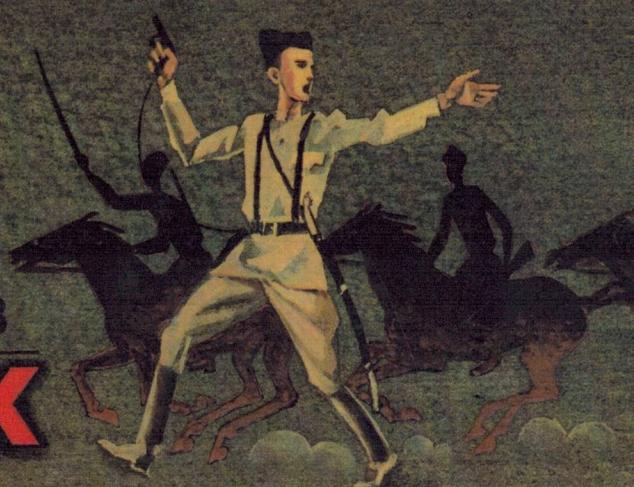


Борис КАМОВ

**РЫВОК
В
НЕВЕДОМОЕ**



Борис КАМОВ

РЫВОК В НЕВЕДОМОЕ

повесть

МОСКВА

„Детская литература“
1991

ББК 84 Р7

К18

Рецензент
кандидат исторических наук
старший научный сотрудник
Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории В. Я. БУГАНАЕВ

Художник Г. МЕТЧЕНКО

Документальные фотографии Б. КАМОВА,
фоторепродукции М. СЫРКИНА
Кадры из фильма «Конец «императора тайги»
художника-фотографа В. КОМАРОВА
(Архив Центральной киностудии детских и юношеских
фильмов им. М. Горького)

К 4803010201-348 207-90

M101(03)-91

ISBN 5-08-002662-6

© БОРИС КАМОВ, текст, 1991
© Г. МЕТЧЕНКО, оформление, 1991

ОТ АВТОРА

Повесть «Рывок в неведомое» — продолжение и окончание книги «Мальчишка-командир», которая вышла в издательстве «Детская литература» в 1987 году и посвящена боевой юности Аркадия Петровича Голикова, будущего писателя Аркадия Петровича Гайдара.

«Рывок в неведомое» рассказывает о самом драматическом эпизоде «обыкновенной биографии» Голикова, когда он получил назначение в Хакасию, в Енисейскую губернию (теперь это Красноярский край). Тут причинял много бед небольшой «белопартизанский отряд» под командой Ивана Соловьева.

До Голикова в борьбе с Соловьевым потерпели поражение многие опытные командиры.

Посылая в начале 1922 года в Хакасию Голикова, командование ЧОН в Москве и в Красноярске возлагало надежды на незаурядность Голикова, его образованность и великолепные аналитические способности. Дальнейшие события показали: выбор был сделан правильно.

Приехав на место, Голиков быстро понял и сообщил в штаб ЧОН губернии, что непобедимость и неуловимость Ивана Соловьева объясняется прежде всего тем, что «император тайги» ведет психологическую войну и пользуется психологическими методами воздействия на противника и местное население.

Это было важное открытие. В отличие от своих незадачливых предшественников, Голиков был готов к ведению такой войны. Но, помимо объективных трудностей, ему стало чинить помехи... непосредственное начальство. Кого-то раздражали смелость мышления, отсутствие чинопочтания и беззаветная личная храбрость восемнадцатилетнего Аркадия Петровича Голикова.

Эта повесть была уже написана, когда всплыл важный документ. Из него явствует: командование 6-го Сибводотряда, которому подчинился Голиков, вместо повседневной помощи начальнику 2-го боевого района неутомимо слало на него доносы в Красноярск.

И Голиков очутился меж двух огней. С одной стороны, его ежечасно держал в напряжении своими «психологическими методами» Иван Соловьев. А с другой — не унималось «родное» начальство. Дело не ограничивалось моральным воздействием. Вот лишь один пример.

На боерайон в десять тысяч квадратных километров Голиков имел всего 126 бойцов. Понимая, что этого недостаточно, Аркадий Петрович попросил на летний период пополнение — 80 человек. Ему дали — восемь. Между тем соседний «конкурирующий» босу участок имел 305 кавалеристов, и Соловьев там появлялся несравненно реже. Нехватка людей создала на 2-м босу участке добавочные трудности. Чем обернулась для Голикова «психологическая война» на два фронта, вы узнаете из повести.

Трагично и другое. В Хакасии в смертельном многомесячном поединке столкнулись два ярких самородка — Аркадий Голиков и Иван Соловьев, которые на первых порах по-человечески даже симпатизировали друг другу.

Соловьев был потомственным казаком, Голиков — внуком крепостного. Голиков мечтал о «светлом царстве социализма», Соловьев был согласен на социализм, лишь бы ему, Соловьеву, не мешали крестьянствовать. Обмануты оказались оба.

Соловьев стал жертвой политических авантюристов (имена их неизвестны до сих пор). Намереваясь оторвать Хакасию от Советской России, эти авантюристы умело и быстро превратили непрятязательного землепашца во врага Советской власти, а затем и в «вожака народного восстания». Что касается местной Советской власти, то она своим бездействием и безразличием позволила состояться и беззаконию, и превращению маленькой банды в большой отряд, что привело к гибели сотен людей и разорению богатейшего края.

Обстоятельный рассказ о поединке Голикова и Соловьева оказался возможен потому, что еще в 60-х годах автор записал на магнитофон воспоминания многих участников и свидетелей тех событий. Очень помогли и недавно рассекреченные документы.

Вас ждет не легкое, не развлекательное чтение. Но история Голикова и Соловьева поучительна. Она показывает: мы все зависим от проходящих вокруг событий. Однако и события в немалой степени зависят от каждого из нас.

Давайте же учиться не быть щепками в потоке, сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам, а если достанет душевых и физических сил, то и подчинять их себе.

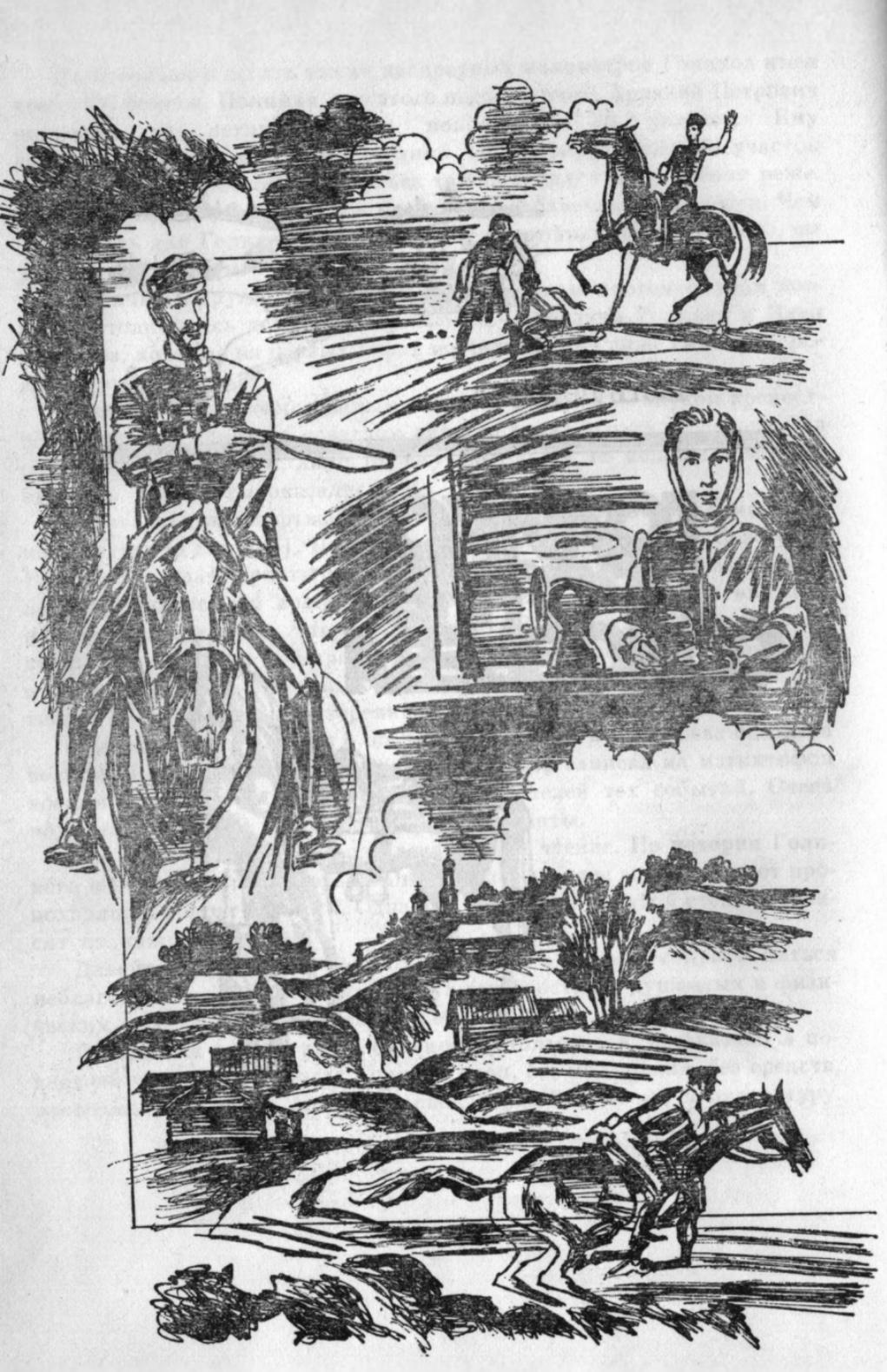
О том, как можно стать сильнее обстоятельств, рассказано в последней части книги, когда Голиков один, без поддержки, без средств, превозмогая болезнь, совершил свой первый «рывок» в литературу.



часть первая

ГОИКОВ ПРОТИВ СОЛОВЬЕВА









НАЗНАЧЕНИЕ

Голиков остановился на тротуаре, с удовольствием глядя на московскую привокзальную суету. Мимо него спешили носильщики в белых фартуках с медными бляхами на груди, обвешанные узлами, фанерными чемоданами и двухпудовыми мешками. Рядом, встревоженные, что носильщик сбежит со всем багажом, семенили владельцы чемоданов и мешков — обвязанные платками бабы, мужики в лохматых шапках и полуушубках, худые женщины в шляпах и поистершихся пальто.

Первно трезвоня, подкатил к переполненной остановке трамвай. К нему кинулась толпа. Могучий, с длиной гривой тяжеловоз, похожий на богатырского коня с картины Васнецова, протащил платформу на автомобильных колесах, заваленную пустыми селедочными бочками: от них по всей площади пошел

густой прянный запах. Обгоняя подводу, важно проплыл, блестя свежей краской, автобус. У задней его двери, неизвестно за что держась, висела гроздь пассажиров. Голиков проводил машину глазами. О том, что в Москве появились купленные за границей автобусы, сообщили все газеты. Это была потрясающая новость.

Голиков три месяца находился в отъезде. Захотелось сдать на хранение заплечный мешок и чемодан, где-нибудь поесть и пройтись пешком по городу. Но сначала нужно было закончить дела.

Отыскав свободную пролетку, Аркадий Петрович поставил между облучком и сиденьем веци, плюхнулся на кожаное сиденье и сказал вознице:

— В штаб ЧОНа.

Возница, бритый мужик лет пятидесяти в буденовке и австрийской шинели, повернулся на облучке и с сомнением посмотрел на седока. Последнее время в столице развелось много аферистов. Они выдавали себя за сотрудников ЧК или за агентов уголовного розыска, занимали на целый день экипажи, увозили на них «реквизированное» и «арестованных». А честных извозчиков, членов профсоюза, таскали потом по судам — как свидетелей, а то и как соучастников. И возница на всякий случай внимательно оглядел седока.

Он был высок, в папахе, в новой командирской шинели и начищенных сапогах. Командирская сумка, пристегнутая к портупее, легкая шашка с позолоченным эфесом, пистолет в кобуре. Вроде большой начальник. А лицо детское, мальчишеское. Видно, что еще ни разу не брился. Уши слегка оттопырены, будто его часто за них драли. И неизвестно, чему улыбается. Для командира, подумал возница, подозрительно молод, а на уркагана с Мещанских улиц все же не похож. И, продолжая сомневаться, тяжело вздохнув, тронул вожжи.

Голиков же улыбался тому, что он опять в Москве и приехал учиться. Еще служа на Тамбовщине, он узнал из газеты, что в столице открылась Академия Генерального штаба. Аркадий Петрович сразу туда написал. Ему ответили, что в академию будут принимать командиров Красной Армии, которые прослужили не менее двух лет, участвовали в боях и получили рекомендацию от своего командования.

А Голиков к тому моменту провоевал уже почти три года, пройдя путь от адъютанта-порученца до командира полка. Когда бои на Тамбовщине закончились, Аркадий Петрович отпросился на учебу. Командующий войсками Тамбовской губернии М. Н. Тухачевский подписал ему аттестацию.

В Москве Голиков поселился на Воздвиженке, в общежитии при академии. Первые двое суток он отсыпался. На третий вышел в город — пройтись, чтобы потом надолго сесть за книги для сдачи вступительных экзаменов.

Возвратясь с прогулки, Аркадий Петрович нашел в дверях записку: «Тов. Голиков, немедленно зайдите в учебную часть». Там ему показали письмо:

РСФСР Начальнику Академии Генерального штаба

Штаб ЧОН

20 августа 1921

Прошу откомандировать в мое распоряжение числящегося при вверенной Вам Академии бывшего командующего войсками 5-го боевого участка Тамбовской губернии тов. Голикова Аркадия для назначения на соответствующую командную должность.

Начальник штаба Кангалари*¹.

В тот же вечер Голиков уехал в Башкирию, где, опасаясь, готовится новый мятеж. Но все обошлось. И вот Аркадий Петрович вернулся в столицу, озабоченный тем, как будет с учебой. Занятия в академии начались, но ему обещали: штаб ЧОНа окажет содействие, чтобы он, Голиков, не потерял год.

Признаться, Голиков здорово устал, однако отдыха не предвиделось.

Отчет о своей работе в Башкирии Аркадий Петрович давно отослал телеграфом и спешил сейчас в штаб ЧОНа Республики, потому что ему твердо по телеграфу же обещали: он получит ходатайство о зачислении в академию вольнослушателем «до сдачи вступительных экзаменов в рабочем порядке». По расчетам Голикова, сегодня всех дел в штабе было на пятнадцать минут.

Вот почему, выскочив из пролетки у знакомого подъезда, он не отпустил извозчика, чтобы тут же ехать в академию.

В гардеробе на первом этаже Голиков оставил шинель и папаху и, назвавши шпорами, поднялся в управление кадров.

Начальник управления был занят, а молодой, с нагловатыми глазками сотрудник сказал, что никакой заготовленной бумаги у него нет, но есть распоряжение: как только появится комполка Голикова, немедленно направить его в приемную — Голикова желает видеть командующий войсками ЧОНа Республики товарищ Александров.

* Звездочками отмечены подлинные документы.

Что Александр Константинович Александров теперь командовал всеми войсками ЧОНа, обрадовало Аркадия Петровича.

Минувшей зимой, когда Аркадий Петрович учился в Высшей стрелковой школе (сокращенно ее называли «Выстрел»), Александров приметил его на учениях. Александр Константинович в ту пору заведовал военным отделом ЦК партии. Став через короткое время командующим Орловским военным округом, Александров настоял на досрочном выпуске Голикова и пятидесяти других слушателей и увез их с собой. В Воронеже Александров назначил семнадцатилетнего Голикова командиром 23-го полка, который насчитывал без малого четыре тысячи бойцов.

Аркадий Петрович поднялся в приемную, которая была полна народа. Все стулья были заняты, и несколько человек еще стояли.

— Товарищ, вы записаны? — озабоченно спросил адъютант.

— Нет, — ответил Голиков.

— В таком случае Александр Константинович не сможет вас припять. Вы по какому делу?

— Не знаю. Мне передали, что Александр Константинович желает меня видеть.

— Как ваша фамилия?.. Голиков?! Одну минуточку.

Адъютант скрылся в кабинете, дверь которого молниеносно распахнулась. Стремительно вышел Александров. Все встали. Следом за командующим появились адъютант и прихрамывающий командир с кожаной папкой в руке.

Александров сразу отыскал глазами Голикова, который стоял посреди комнаты, приблизился, обнял, а потом сказал посетителям:

— Товарищи, извините, комполка Голиков прибыл по неотложному делу, — и увел в кабинет. — Как вы, Аркадий, выросли! — заметил Александров, показывая на глубокое кресло и садясь напротив. — Как вам живется?

— Спасибо, хорошо. Приехал поступать в Академию Генштаба.

— Знаю. Я внимательно следил за вашей работой. Читал ваши рапорты. Мне было приятно, когда в разговоре со мной вас похвалил Тухачевский. Он предсказывает вам большое будущее.

Голиков почувствовал, что краснеет.

— Нечего краснеть. Человек вы способный. И о вашем будущем мы позаботимся. А теперь, извините, о деле. Как вы знаете, мы согласились послать вас на учебу. И хотя в этом году присм уже закончен, мы бы сумели договориться с начальником академии, — Александров улыбнулся, — им только что назначен Михаил Николаевич Тухачевский... Но у нас, Аркадий Петро-

вич, к вам большая просьба. В Енисейской губернии не дает житья некий Иван Соловьев. Он величает себя «императором тайги». И не удается с ним справиться. Это, пожалуй, последний очаг гражданской войны в стране. Не согласились бы вы нам помочь?

— А велико ли войско у этого «императора тайги»?

— Да сабель пятьсот. Не больше.

— Хорошо. Только бы снова не опоздать в академию.

— Не беспокойтесь. На этот раз отозвем вовремя — к началу занятий. А теперь не задерживайтесь. В Ужуре вас очень ждут.

— Могу я по дороге заехать домой, в Арзамас?

— Что за вопрос? Конечно. Двух суток вам хватит?

В гардеробе Голиков натянул шинель и с папахой в руке вышел на улицу. Армейская служба приучила его ко многим внезапным переменам. Но такого еще не было. Вместо учебы в Академии Генерального штаба, балета в Большом театре, Третьяковской галереи и книг, которые он собирался прочитать в Румянцевской библиотеке, он должен был ехать в какой-то Ужур.

Перемена, которая оказалась для Голикова внезапной, на самом деле готовилась тщательно и давно.

Иван Соловьев уже два года терроризировал немалую часть громадной Енисейской губернии. Было очевидно, что привычные «силовые приемы» в борьбе с «императором тайги» не подходили. Требовалась другие методы. Но какие — никто сказать не мог. Нужен был человек, способный во всем разобраться на месте.

Тут телеграммой из Уфы о себе напомнил Голиков. Снова были подняты его документы. В последней характеристике говорилось, что Голиков А. П., 17 лет, член РКП(б) и РКСМ, служит в Красной Армии с осени 1918 года. Закончил две военные школы (с сокращенным курсом обучения) в Киеве и Москве. Командовал взводом, полуротой, ротой, батальоном, полком, исполнял обязанности командующего боевым участком. Был дважды ранен и дважды контужен. Обладает высокой работоспособностью, смелостью, а также находчивостью и самостоятельностью при подготовке и проведении боевых операций.

В документе особо отмечалось, что, командуя на Тамбовщине 58-м отдельным полком и целым боевым районом, Голиков проявил не только отвагу, но и неожиданный подход в разъяснительной работе с населением, которое по разным причинам поддерживало бандитов. В результате шесть с лишним тысяч антоновцев добровольно вышли из леса и сложили ору-

жие. При этом большинство из них пожелало служить в Красной Армии.

И пока Голиков сдавал дела в Башкирии, листал по вечерам учебники, трясясь в поезде, его кандидатура была со всех сторон рассмотрена, одобрена и утверждена. Оставалось получить только согласие самого Голикова. Это взял на себя Александров.

...Лишь только Аркадий Петрович вышел на улицу, дернув вожжи, свистнув кнутом, подкатил давешний извозчик на пролетке. Аркадий Петрович о нем забыл, хотя оставил в коляске свои вещи.

Голиков опустился на холодное продавленное сиденье.

— Куда прикажете? — спросил извозчик.— В гостиницу или сперва в Сандуновские бани? — Для него уже было очевидно, что седок, несмотря на молодость, достался солидный.

— Обратно на вокзал,— ответил Голиков.

У ХОЛОДНОГО ОЧАГА

Морозным январским утром 1922 года Аркадий Петрович подошел к родному дому на Новоплотинной улице в Арзамасе. Он поправил на плечеувесистый мешок с пайком, полученным в расчете на долгую дорогу, и перехватил в другую руку обшарпанный чемодан — тот самый, с которым уезжал отсюда в ноябре восемнадцатого.

Из старых вещей в чемодане остался лишь синий истрепавшийся томик Гоголя. Аркадий Петрович знал его наизусть, но продолжал возить с собой как память о доме.

Голиков остановился перед крыльцом. Сердце его колотилось неистово: ведь он не был здесь почти два года.

Миновав холодные сени, Аркадий Петрович открыл дверь в прихожую. Дом выглядел пустым.

Кинув чемодан и мешок, Голиков заглянул в столовую. Комната была чисто прибрана, только в ней стало поразительно мало вещей. Исчезли фарфоровые и бронзовые статуэтки, за стеклом в буфете уже не поблескивали серебряные подстаканники, сахарница и вазочки для конфет. Видимо, все ушло на базар, в обмен на продукты.

Голиков легонько толкнул дверь в комнату сестер. В кресле со спицами в руках сидела тетя Даша. Рядом с ней на кровати

расположились Катя с Олей, а совершенно взрослая Талка — Наташа, опершись локтями на стол, читала вслух «Вешние воды» Тургенева.

Первой Голикова увидела тетя Даша. Она перестала вязать, хотела произнести слово — и не смогла. Слезы полились по ее худым и морщинистым щекам. Девочки, недоумевая, обернулись в сторону двери, увидели брата, но не завизжали, как в прошлый раз, когда он явился на костылях и они напугались, что он без ног, а молча поднялись, не спеша приблизились, обняли в шесть рук и утинались ему в грудь лицами.

Только тут сдавленный стон вырвался из теткиной груди. Кинув на пол вязанье, она бросилась к племяннику, прижалась щекой к его щеке. Девочки и тетка внезапно и дружно заплачали. И компакт Голиков, неловко обхватив их всех, почувствовал, что плачет тоже, и стал подряд целовать Талку, Олю, Катюшку, тетю Дашу, удивляясь бледности их осунувшихся лиц.

«Они же голодные!» И он кинулся в прихожую к своему мешку, будто еще минута — и они умрут от голода.

Голиков вытряхнул на кухонный стол буханки хлеба, банки с консервами, сало, несколько соленых рыбин, крупу, сахар и даже махорку, которую можно было обменять.

За ужином тетя Даша подбрасывала из своей тарелки то слабенькой Оле, то младшенькой Кате, но Голиков заставил поесть и тетю Дашу, обещав, что отправится утром к военному коменданту и получит что-нибудь еще.

После чая они впятером уселись в столовой на диване. Голиков очутился в центре. Талка обхватила его правую руку, младшие цепко держали левую, тетя Даша сидела и вязала в углу дивана. И Аркадий Петрович вдруг понял, что еще ушло из дома, кроме статуэток и серебряных подстаканников, — не стало уюта и семейного тепла, потому что не было мамы.

Наталья Аркадьевна уехала по партмобилизации в Киргизию, в Пржевальск. Там она заведовала отделом здравоохранения и одновременно была секретарем уездно-городского ревкома. В Киргизии в ту пору шла борьба с басмачами. И Голикову было трудно представить: их мама, которую он чаще всего видел в белом медицинском халате, ездит верхом с наганом на поясе и, по всей вероятности, ей приходится стрелять...

И хотя мама присыпала из Пржевальска посылки, равно как и отец из Сибири, но шли посылки по многу месяцев, часто терялись и существенно улучшить положение девочек и тети Даши не могли.

Уезжая на другой день из дома, Голиков оставил весь свой

паек. В дороге, надеялся он, военные коменданты его пакормят. И еще он отдал тетке свое новое обмундирование. Тетя Даша сопротивлялась, но Аркадий Петрович уговорил ее продать или обменять сапоги, галифе и френч на съестное. Кроме того, оставил немного денег. Больше он пока ничем не мог им помочь.

Единственное, что обрадовало Голикова дома,— он узнал, что отец служит теперь в Иркутске...

ВСТРЕЧА

Голиков нежно любил мать, но боготворил отца. Это отец впервые объяснил ему, что такое бла-
городство и низость, отвага и трусость, честь и
позор. Отец впервые заговорил с ним и о политике.

Однажды, когда Аркадий был совсем маленьким, они с
отцом отправились на прогулку. Разговор у них зашел о
«каторжной Сибири». Отец мягко заметил:

— В Сибири много хороших людей. Во всяком случае, много
больше, чем в Арзамасе.— И, увидев недоумение на лице сына,
пояснил: — Уже не первое столетие в Сибирь ссылают самые
лучшие и благородные умы России. Ссылают вместе с уголовни-
ками, как бы приравнивая к разбойникам с большой дороги.

Аркадий знал: с отцом он может говорить обо всем на свете.
Если что-то случалось и другие мальчишки бледнели от одной
только мысли, что узнают родители, Аркадий, дождавшись
вечера, все неторопливо и обстоятельно рассказывал отцу. Это
не всегда было приятно, хотя отец никогда не кричал и не ста-
вил в угол. Наказанием служило то, что отец бывал им недово-
лен. И как об очень тяжком испытании Голиков вспоминал, что
однажды здорово провинился и отец не разговаривал с ним
целое воскресенье.

Когда в августе 1914 года Петра Исидоровича забрали в
армию, Аркадий сильно без него скучал и поздней осенью сбе-
жал к отцу на фронт, по по дороге его перехватили и вернули.

Попав в 1919 году на фронт сам, Аркадий в трудные минуты
вспоминал прежде всего отца, которого так недоставало все это
время. А встретиться не удавалось.

В Иркутске лишь под вечер Голиков отыскал на запасных
путях штабной вагон. Петр Исидорович был теперь военным
 комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции 5-й армии.

Созданная по указанию В. И. Ленина, Рабоче-крестьянская инспекция призвана была навести порядок во всех сферах управления. Ее сотрудники были наделены громадными полномочиями.

Часовой у вагона проверил документы Аркадия Петровича, удивился совпадению фамилий. Пришлось объяснить. Голиков поднялся по ступеням, прошел по узкому коридору. Половину вагона занимали купе, а вторая половина была переделана в кабинет. Здесь за письменным столом, при свете единственной свечи, работал человек.

В вагоне стоял холод. Человек сидел в шинели, но без шапки. Голова его была наголо обрита. На лице темнели густые брови и широкие усы.

Когда Аркадий Петрович остановился метрах в двух от стола, человек, печатая одним пальцем на ундервуде, не подымая глаз, попросил:

— Минуточку.

От звука его голоса Аркадий Петрович вздрогнул.

Он дословно помнил все письма отца, сколько их пришло с 1914 года, видел отца на присланных с передовой фотографиях: сначала как бы напуганного, вытянувшегося по стойке «смирно», в бескозырке блином; потом уже уверенного, обстрелянного, во франтоватой фуражке слегка набекрень, с чуть насмешливым выражением красивого и смелого, на войне помолодевшего лица. Но отцовского голоса Аркадий не слышал уже несколько лет.

И одно-единственное слово, произнесенное Петром Исидоровичем, всколыхнуло так много давнего, солнечного и счастливого, что Голиков не пожелал большие ждать ни секунды.

— Папочка,— с жалобными, детскими интонациями произнес он, будто в мгновение ока возвращаясь на много лет назад.

— Что вы сказали?! — Петр Исидорович резко поднял голову.

Он всматривался в полутьму вагона, где стоял высокий молодой командир, в котором было что-то очень знакомое и родное, но Петр Исидорович уже десятки раз ошибался, принимая за сына совершенно чужих людей.

Они виделись в последний раз четыре года назад, когда Аркадий приезжал к нему в Пензу: полк находился на переформировании. Тогда Аркадий был еще ребенком, школьником. Даже на фотографии, которую Петру Исидоровичу переслали из дома, Аркадий, хотя и сиял в военной форме с пистолетом и кортиком, выглядел подростком, который вырядился в чужой

костюм. А сейчас в полутьме вагона стоял высокий широкоплечий мужчина.

Словно опасаясь в очередной раз ошибиться, Петр Исидорович взял увесистый подсвечник со свечой и подонцем к Аркадию Петровичу. Уже не сомневаясь, что перед ним сын, Петр Исидорович несколько мгновений жадно рассматривал его.

— Аркашенька,— наконец тихо произнес он и выпустил из рук светильник, который гулко стукнулся о железный пол. Свеча погасла.

Уже в полной темноте они стремительно обняли друг друга и замерли. Иостояли бы, наверное, так очень долго, если бы, светя карманным фонарем, не вбежал часовой. Он услышал встревоживший его стук.

— Ничего, Ведеркин, все в порядке,— смущенно сказал Петр Исидорович.— Понимаешь, сыночек приехал.

Ведеркин деловито поднял подсвечник, зажег свечу, поставил на стол и деликатно удалился.

Отец и сын просидели в купе за самоваром до утра. Отец был полон нежности и заботы.

— Нога после ранения у тебя не болит? — спрашивал он.— Контузия не дает о себе знать? Контузия — венец юнастрии. Снаружи ничего не видно, а человек не находит себе места. А как у тебя с теплыми вещами?.. Вот обожди, нам выдали.— И достал комплект трофейного шерстяного белья.

Наверное, потому, что он впервые видел сына взрослым и не успел привыкнуть к этому, Петр Исидорович разговаривал с ним так, будто Аркадий еще оставался маленьким. Петр Исидорович сознавал нелепость такого обращения, а поделать ничего с собой не мог. И Аркадий Петрович по этому поводу снисходительно улыбался.

— За семь с половиной лет, что я служу в армии,— сказал Петр Исидорович, подкладывая сыну тушеное мясо с картошкой,— я потерял и молодость, и здоровье, и дорогих мне товарищеских, вместе с которыми начинал воевать еще в германскую. Но самая главная моя потеря, что я прожил эти годы без вас, не видел, как рос ты и девочки. Если бы мне позволили, я бы отправился с тобой утром в Ужур. Я бы согласился служить при тебе писарем, только бы нам не разлучаться. Но пока мое прошение дойдет до начальства и вернется обратно, тебе уже пора будет ехать в академию.

...Думая на расстоянии об отце, Аркадий Петрович представлял себя маленьким, а отца большим, умудренным и сильным. На самом деле он, Голиков, вырос. Отец же, хотя и оставался еще деятельным и крепким, заметно постарел. В нем появились

заботливость и суетливость тети Даши. И Аркадий Петрович не стал рассказывать отцу и половины того, что собирался, мечтая выговориться.

Странно: Голикову казалось теперь, что он много старше отца.

СОЛОВЬЕВЩИНА

Из Иркутска Голиков уехал в Красноярск. Оттуда местный поезд привез его на станцию Глядень. Железная дорога здесь кончалась, и до Ужура пришлось тащиться подводой.

Места, в которые попал Голиков, назывались Хакасией. Тут испокон веков жил трудолюбивый народ, обликом и обычаями похожий на монголов. В основном это были полукочевые скотоводы. Голиков видел по дороге деревянные восьмиугольные юрты, отары овец, косяки коней.

В Ужуле Аркадий Петрович явился в штаб 6-го Сибирского сводного отряда с предписанием о назначении «бывшего командира 58-го отдельного Нижегородского полка тов. Голикова» на должность «не ниже командира отдельного батальона». Армия сокращалась. Сокращался и масштаб ее деятельности.

Но батальона для Аркадия Петровича в Ужуле на первых порах не нашлось, и предстояло решить, кого заменит присланный командир. Пока же Аркадию Петровичу отвели в штабном особняке комнату, поручили обрабатывать ежедневные донесения и составлять разведывательную сводку.

После службы в 1919-м у Ефимова, командующего войсками по охране всех железных дорог Республики, где утром за тридцать — сорок минут следовало свести воедино и осмыслить сведения, поступившие практически со всех фронтов, составление суточной разведсводки по Ачинско-Минусинскому району занимало меньше часа. И Аркадий Петрович воспользовался этим, чтобы изучить документы о Соловьеве.

Адмирал Колчак оставил в Сибири кровавый след. Более 10 тысяч человек было расстреляно, более 14 тысяч принародно выпорото. Солдаты Колчака угнали 13 тысяч лошадей, 20 тысяч коров, увезли 1,5 миллиона пудов хлеба и более 12 тысяч

крестьянских усадеб сожгли. Жестокость часто была бессмыслицей.

Когда Красная Армия разбила Колчака, часть его поредевшего войска кинулась в Монголию и Китай, а часть, не успев бежать за рубеж, попряталась в тайге.

Тогда был издан специальный декрет. Солдатам и офицерам, которые служили у Колчака, но не имели отношения к контрразведке и карательным органам, объявлялось полное прощение.

Бывших колчаковцев, когда они выходили из тайги и сдавали оружие, селили на короткий срок в специальные городки. Это не было заключением: ворота здесь не запирались. На протяжении двух-трех недель вчерашних врагов кормили, лечили, помогали установить связь с близкими, знакомили с декретами Советской власти. Бывшим колчаковцам показывали фильмы, спектакли, неграмотных учили читать и писать, чтобы они могли сами, хотя бы по складам, разбирать статьи в газетах. Затем каждого снабжали справкой, проездными документами, деньгами на дорогу и отпускали домой.

Через такие лагеря прошло свыше 120 тысяч человек. Позднейшая выборочная проверка показала: абсолютное большинство вернулось к семьям и труду. Среди отпущенных домой был и никому в ту пору не известный Иван Николаевич Соловьев.

В характеристике, составленной в 1920 году, говорилось: «Соловьев Иван Николаевич, 32 лет, родился на Чулыме, в станице Светлолобовка, потом жил в станице Форпост. Еще парнем его знали как отъявленного лихача и забияку, который не гнушался подлости и обмана ради своей корысти. Часто беспробудно пьянствовал, любил прихвастнуть, показать себя и высуждаться»*.

Приметы Соловьева были такие: росту невысокого, сложения прочного, исключительно подвижен и проворен. Волосы имеет рыжеватые, глаза голубые, нос хрящеватый, заостренный, носит казацкие усы. А голос у него командирский, громкий. Очень смел, отлично стреляет.

Отец Соловьева, говорилось в донесении, считался почти бедным, потому что по сибирским меркам хозяйство имел небольшое. В настоящий момент ведает хозяйством в банде, куда Иван Соловьев также забрал жену-хакаску и двоих детей. Видимо, благодаря жене Соловьев хорошо говорит по-хакасски, знает все обычаи, на хакасском языке поет даже песни, что вызывает к нему симпатии коренного населения.

У Колчака Соловьев заслужил лычки урядника (то есть унтер-офицера), но ни в каких злодействах замешан не был. Из

леса вышел добровольно и, получив необходимые бумаги, отправился в деревню Черное озеро, где поселилась его семья.

Как было установлено позднее, уже на другой день после возвращения Соловьев ходил по своему двору, пилил, колол, тесал, забивал гвозди, чистил хлев, чинил плуг, поил скот, набивал обручи на тележные колеса. Его почти круглые сутки видели за работой.

Внезапно без всякого повода Соловьева арестовали. Уезжал он спокойно, жену в присутствии односельчан уверял, что это, надо полагать, добавочная проверка и он скоро вернется.

А дальше в документе шла скороговорка: «Соловьев был доставлен в г. Ачинск. Бежал по дороге на работу, на которую его, как заключенного, доставляли. Вернувшись в свою деревню, он организовал банду из 6 человек, в основном из своих родственников»*.

Голиков прервал чтение. Скороговорка ему не понравилась. В документе умалчивалось, в чем Соловьев был обвинен и на основе каких доказательств. И то, что Соловьева доставляли на работу уже в качестве заключенного, должно было свидетельствовать, будто бы правосудие совершилось. Но когда состоялся суд и каков был приговор?..

В той же папке Голиков нашел копию разведсводки: «В Ачинске арестованный (по какому делу, не указано, подметил Аркадий Петрович), бывший урядник-колчаковец И. Н. Соловьев, возвращаясь днем с допроса, столкнул лбами двух своих конвоиров, не взял их оружие и скрылся в неизвестном направлении. Конвоиры наказаны».

По свидетельству жительницы станицы Форпост, из Ачинска Соловьев явился в их село, где он раньше жил, ходил по улице не таясь. Зная, что он бежал из-под стражи, некоторые односельчане рекомендовали ему вернуться, «чтобы не было хуже». Соловьев отмахивался от таких советов. Собрав небольшую шайку, поселился в Еловом логу, верстах в двадцати от Форпоста. На одной из сопок, получившей позднее название Соловьевской, он обосновался в старинной хакасской крепости. Прямо под горой, на земле, жили казаки. Они пасли скот, заготавливали сено. Казаки снабжали Соловьева и его товарищей хлебом и мясом, вместе пьянствовали, но никто из них его не выдал, так как он считался невинно пострадавшим.

Далее в бумагах отмечалось, что шайка считалась неавторитетной, вела себя сдержанно и поначалу никого не трогала. Но жить одним подаянием она не могла и начала останавливать на дорогах подводы, отбирать часть продуктов. Если же Соловьев наведывался в село, то чаще просил, чем отнимал. Иными сло-

вами, понял Голиков, чувствовал себя атаман в ту пору неуверенно, пока не случилось из ряда вон выходящее событие. Оно оказалось переломным в истории шайки Соловьевса.

На территории Ачинского уезда в феврале 1921 года появился кавалерийский отряд примерно в 250 сабель под командой полковника Олиферова. Отряд состоял из офицеров-колчаковцев, которые не рассчитывали на милосердие народной власти: на совести каждого было достаточно злодейств.

Олиферов имел легкие пушки с запасом снарядов, пулеметы и солидный обоз с награбленным на приисках золотом, церковной утварью, картинами старых мастеров и другими ценностями. Полковник собирался прорваться в Монголию.

План его стал известен нашему командованию. В штабе ЧОН губернии двое суток взвешивали, что целесообразнее: дать отряду уйти или закрыть границу?

Отряд Олиферова был перехвачен близ деревни Сорокиной Ачинского уезда. Колчаковцы попали под сокрушительный огонь. Многие офицеры были убиты. В их числе сам Олиферов. Отряд отступил на юг, в район Чебаки — Покровское. «Здесь остатки отряда Олиферова,— читал Голиков,— встретились с бандой Соловьева, влились в нее. И Соловьев объявил себя командиром. С этого времени банда начинает расти и проявлять активность. Рост банды происходит не за счет добровольцев, а за счет людей, которых принуждают силой»*.

Нелепое на первый взгляд слияние отряда кадровых военных с ватагой из шести человек на самом деле имело глубокий смысл. Рассчитывать на поддержку местного населения бывшие колчаковцы не могли. За спиной Соловьева и его лихой шестерки полторы сотни офицеров надеялись решить множество неотложных проблем, прежде всего проблему питания и обеспечения фуражом.

И вот что еще бросалось в глаза. Пока отряд Олиферова и ватага существовали отдельно, они не выдвигали никаких политических лозунгов. Для тех и других главным было выжить. А когда они слились, возникла политическая программа. Сначала Соловьев был объявлен «жертвой красного террора», тем более что в Хакасии история его загадочного ареста, а затем и побега была хорошо известна. Затем возникшее объединение стало именоваться «белым горно-партизанским отрядом» во главе с «народным вожаком» Иваном Соловьевым.

...Голиков прервал чтение. Ему показалось, что на самом деле к роли «народного вожака» бывшего урядника готовили давно. Вероятно, еще с той поры, как он попал в красноярский лагерь для бывших колчаковцев. Кто-то, видимо, обратил вни-

мание на незаурядность характера, многолетний боевой опыт и то решающее обстоятельство, что Соловьев был из местных. День, когда бывшего урядника отпустили к семье, на Черное озеро, был, по сути, началом операции. Необоснованный арест, торопливое осуждение (если суд на самом деле состоялся) и слишком легкий — средь бела дня — побег могли быть подстроены. Впрочем, подумал Голиков, это несложно проверить.

Он запросил из Ачинска материалы по делу Соловьева. Ему ответили, что материалы не сохранились. Тогда Голиков потребовал сообщить, кто вел допросы будущего командира «белого горно-партизанского отряда». Ему написали, что случилось это давно, имя следователя никто не помнит.

Итак, в чем состояла вина Соловьева, из-за которой его арестовали, не ясно. Папка с «делом» Соловьева исчезла. Но еще более странным выглядело то, что у всех стерлась в памяти фамилия следователя.

Голиков обратил внимание, что загадочная история с Соловьевым произошла в 1920 году, когда началось восстание Антонова на Тамбовщине.

Но антоновщина была задумана и спланирована в Париже, в кругах белой эмиграции. Там решено было воспользоваться бедственным положением тамбовских крестьян, которых губернское руководство — где по дурости, а где и по злому умыслу — довело до нищеты и отчаяния. За спиной бывшего начальника кирсановской милиции Александра Антопова, кроме того, стояли Деникин, с одной стороны, и левые эсеры, обосновавшиеся в Москве и Тамбове, с другой. Вся цепочка умело наложенной агентуры, которая протянулась от парижских салонов до тамбовских лесов, хотя и с большим опозданием, но была распутана.

А здесь, в Хакасии, представители белого подполья, задумавшие «стихийное возмущение народных масс» в Сибири, оказались, видимо, лучше законспирированы. Или, скорей всего, их никто не искал. Но задачи обоих восстаний были сходны. С той лишь разницей, что несправедливый арест и побег Соловьева не дали вспышки «народного гнева». Наверное, после этого и было задумано усилить шайку Соловьева офицерами Олиферова, после чего «горно-партизанский отряд» и стал носить имя «великого князя Михаила Александровича»*.

Великий князь был родным братом Николая Второго и считался возможным наследником государя императора в случае его смерти, поскольку сын Николая, Алексей, был очень молод, а кроме того, тяжело и неизлечимо болен гемофилией — несвертываемостью крови.

В марте 1917 года вместе с Николаем Вторым Михаил Александрович подписал отречение от престола. Живя теперь в Париже, великий князь вряд ли предполагал, что в тайге между Минусинском и Ачинском полторы сотни колчаковцев мечтают посадить его на российский трон.

Было очевидно, что люди, которые разрабатывали политическую программу «горно-партизанского отряда», не вполне представляли местные условия. Имя великого князя здесь никого не волновало. Лозунг «За Учредительное собрание» — тем более. Хакасы, среди которых было менее пяти процентов грамотных, понятия не имели, что это за собрание и для чего оно нужно. Однако обещания Соловьева застучаться за хакасов расположили к нему значительную часть местного населения.

Но что же стояло за лозунгами Соловьева?..

Александр Антонов, подымая мятеж, надеялся «свергнуть правительство в Москве», а затем «возвратить фабрики и заводы прежним владельцам, концессии — иностранцам»*. Соловьев, сидя в тайге, рассчитывать, что он свергнет Советское правительство, естественно, не мог. При этом один пункт его политической программы заслуживал пристального внимания: бывший урядник предлагал отделить Хакасию от Советской России и создать «самостоятельное независимое государство».

Хакасия — это были не только пашни и пастища, где сорок тысяч так называемых инородцев (сюда входили дети и старики) содержали почти миллион голов скота: коров, овец и лошадей, и не только леса, полные ценнейшей древесины и пушного зверя, мех которого много столетий был валютой. Недра почти неизученного края хранили каменный уголь, железо, россыпи золота и другие полезные ископаемые. Наивно было бы думать, что мысль об отделении Хакасии пришла в голову самому Соловьеву. Видимо, чтобы оторвать Хакасию от России, и была затеяна соловьевщина. Таинственные организаторы учли и новое советское законодательство, где провозглашалось право наций на самоопределение (по этому декрету от России отделилась, например, Финляндия), и то обстоятельство, что Хакасия имела общую границу с Монголией. Далеко не случайным выглядел и полуофициальный титул, кемто дарованный Соловьеву, — «император тайги». Он заключал в себе намек, что Соловьев (если заслужит!) имеет шанс стать правителем «независимой Хакасии».

Окружение Соловьева состояло из офицеров. Обязанности начальника штаба взял на себя полковник Макаров, по донесениям агентов — убежденный монархист, который даже в лесу носил форму с погонами. Правой рукой «императора тайги» сде-

лялся двадцативосьмилетний прапорщик Королев, по образованию агроном¹. И только разведку Соловьев доверил хакасу Сильверсту Астанаеву.

Астанаев был умный, проницательный и вероломный человек. По слухам, окончил Томский университет. Грозя кому разорением, кому иными карами, начальник разведки Соловьева заставил работать на себя тысячи хакасов. По сообщениям наших агентов, Астанаев ежедневно получал донесения со всех концов края, был в курсе любых действий чоносских отрядов. Многие сведения поступали к нему голубиной почтой. Только при самых тщательных мерах предосторожности нашим командирам удавалось порой что-либо скрыть от всевидящих глаз людей Астанаева.

Но у Соловьева возникли трудности. Под знамя с вышитым портретом великого князя Михаила Александровича почти никто идти не желал. А с двумя сотиями «борцов» за «освобождение инородцев» об отделении Хакасии от Советской России нечего было и думать.

И тогда — здесь тоже проявилось сходство с тактикой Антонова — Соловьевступил на путь провокаций. Местных жителей под дулами винтовок загоняли в тайгу. Их заставили совершать преступления, после которых вчерашние скотоводы и земледельцы не могли вернуться домой. Тысячи хакасов и русских против своей воли явно или тайно оказывались втянутыми в соловьевщину...

По многочисленным донесениям, всю прошлую осень «император тайги» грабил и разорял рудники. Он брал не только золото. Его бандиты выламывали и отвозили в тайгу паровые котлы, железные печи, оконные рамы, мебель, книги и даже граммофоны. Соловьев сооружал прочные жилища. Он рассчитывал обосноваться в лесу надолго.

Изучив папки с документами, Голиков отправился к командиру 6-го Сибирского сводного отряда.

— Отпустите меня в Ачинск, — попросил Аркадий Петрович.

— Зачем? — удивился Кажурин.

— Хочу поискать людей, которые организовали соловьевщину.

¹ Разведорганам Енисейской губернии в ту пору еще не было известно, что под именем полковника Макарова скрывался подпоручик Зиновьев, который позднее вместе с Королевым сдался в плен.

— Наша с вами задача, товарищ Голиков, с Соловьевым покончить. Если у вас имеются конкретные факты или вы можете назвать имена заговорщиков, сообщите их в губотдел ГПУ.

Назвать имена Голиков не мог. Он их пока не знал. Между тем люди, которые организовали соловьевщину, и теперь могли находиться совсем рядом.

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

4ва тревожных сообщения поступили почти одновременно. «Возле дорог, ведущих в лес,— говорилось в первом,— появились фанерные щиты с приказом Соловьева. Под угрозой расстрела атаман запрещает населению углубляться в тайгу «более чем на пять километров от края ее»*.

Но жизнь сибиряков всегда была связана с тайгой. И потом, как в зарослях определить: ты углубился в лес на одну или на три версты?

А в другом донесении говорилось, что Соловьев разослал во все сельсоветы ультиматумы. Он предложил сельсоветчикам... сдать оружие, гарантируя за это жизнь. Иными словами, «император тайги» объявлял Советскую власть в Ачинско-Минусинском районе как бы незаконной. Была ли это попытка запугать местное население, или Соловьев собирался начать самые активные действия?

По этому поводу в штабе 6-го Сибводотряда было созвано совещание. Вел его комотряда Кажурин, лет пятидесяти, грузный и медлительный. Его внешность вовсе не вязалась с той работой, которой он занимался. И лишь те, кто видел Кажурина в деле, понимали, что он на своем месте.

— Положение становится нетерпимым,— сказал Кажурин.— С бандами Соловьева чаще других сталкивается комбат Касьянов. Мы знаем Касьянова давно. Это человек обстрелянный и отважный. Если нужно пойти в атаку, он первый оторвется от земли. Но с Соловьевым война не обычная, а странная... И в этой странной войне Соловьев нашего Касьянова допек. Да и я, честно говоря, не знаю, что дальше делать с Соловьевым. Москва прислала нам Голикова Аркадия. Человек он молодой, а служит в армии четвертый год. Воевал и с зелеными,

и с бандами Антонова. Командовал полком. Отмечен товарищем Тухачевским. Я предлагаю послать Голикова на место Касьянова.

Голиков смущенно поднялся. Он неловко чувствовал себя оттого, что должен был занять место человека, которого здесь уважали и ценили. При этом Аркадий Петрович понимал: у него нет ни волшебной палочки, ни магического слова, с помощью которых он бы мог одолеть Соловьева.

— Поручаем вам, товарищ Голиков, поймать нашего Ивана,— совсем не по-уставному сказал Кажурин.

В комнате невесело засмеялись. Мысль о том, что присланный из Москвы паренек через недельку-другую сделает то, чего не удается многим командирам уже два года, могла быть воспринята лишь как грустная шутка.

Но Кажурин не улыбнулся, Голикову тоже было не до смеха.

— Сделаю, что смогу,— тихо, несмело пообещал он.

На другой день телеграф отстучал шифровку: «26.3. в 12 ч. выехал из Ужура в Божьезерное тов. Голиков для принятия батальона от комбата Касьянова... Касьянову прибыть в Ужур... Кажурин»*.

Одетый поверх шинели в громадный бараж тулуп, в папахе, надвинутой на самые уши, Голиков ехал в санях в сопровождении парнишки-кучера, приданныго также для охраны. Повозку легко несла пара коней. Саны летели по пустынной дороге между высоких сопок, заросших темным лесом.

Парнишка трусил. Глаза его рыскали слева направо, и он часто оглядывался, точно ожидая погони. Это раздражало. Голиков спросил:

- Тебя как зовут?
 - Тимошай...
 - Ты где, Тимоша, родился?
 - Местный я. Из Саралы.
 - Давно служишь?
 - Второй год.
 - А чего робеешь?
 - Заробеешь тут. Иван Николаевич с нашим братом красноармейцем знаете что делает?
 - Стреляешь ты хорошо?
 - Отец с двенадцати лет белковать брал.
 - Я тоже стреляю неплохо. Отобъемся.
- Тимоша хмыкнул.
- Иван Николаевич засаду знаете как устраивает? Вот мы

сейчас едем, а навстречу нам из леса выйдут три мужика. Встанут посреди дороги. Мы с вами, от греха подальше, повернем назад. А там уже другие мужики ружьишками поигрывают.

— И что же, мы с тобой, охотник, не прорвемся, трех каких-то мужиков не уберем?

— Какое прорвемся?! Как только мы подумаем удрать, дерево поперек нашей дороги — хрять!

— Послушай, но ведь такую засаду нужно заранее готовить. Зачем мы с тобой Соловьеву?

— Как зачем? Да Иван Николаевич давно уже знают, что вы за человек и по какой надобности едете.

Голиков не выдержал, засмеялся.

— Да откуда он может знать? Только вчера вечером все решилось.

Тимоша обернулся и полушепотом, точно Соловьев был рядом, произнес:

— Он все видит, все слышит, и пуля его не берет.

Голиков опять засмеялся.

— Почему не берет? Он что, из камня?

— Зачем из камня? — рассудительно ответил Тимоша. — Просто заговоренный. Люди на него злые. Сколько раз в него стреляли — хоть бы царапинка. А у нас ведь все охотники. Из винчестера белке попадают в глаз...

У Голикова испортилось настроение. Появясь через минуту бандиты, рассчитывать он мог только на самого себя. Но еще больше его опечалило, что в унылых Тимошиных речах он слышал отголосок того, что говорили и думали в селах.

Уже начало темнеть, когда впереди блеснула синеватым льдом огромная впадина. За ней начинались горы.

— Божье озеро, — с гордостью произнес Тимоша. — Давным-давно в нем нашли икону Божьей Матери. Икона плыла в дорогом золотом окладе и не тонула. Ее вынули из воды, а она сухая. Говорили: больной если к ней прикоснется, сразу делается здоровым.

Тимоша, натянув поводья, остановил коней возле крыльца бывшей казачьей думы. Часовой, узнав его, кивнул. Голиков, сбросив тулуп в сани, вошел в дом. В прихожей было несколько дверей. Одна оставалась приоткрытой. Голиков заглянул в нее.

При тусклом дневном свете, который лился из окна, высокий военный с жестковатым лицом торопливо собирал чемодан. На письменном столе были разложены полотенце, рубашки, чистые портянки, два куска хозяйственного мыла, жестянка из-под монпансье, пустая кобура, наган и горка патронов к нему.

Голиков, вежливости ради, легонько постучал. Человек, по-

глощечный сборами, стука не услышал. И вдруг печально обернулся, заметил в дверях незнакомую фигуру и схватил наган.

— Стой! — крикнул он.— Буду стрелять!

— Мне нужен комбат Касьянов,— сказал негромко Голиков, стараясь не делать никаких движений, чтобы человек с перепугу не пальнул.

— Я — Касьянов.

— Я — Голиков. Вы получили шифровку?

— Получил. Но там не сказано, что ты будешь красться на цыпочках.

— Я постучал.

— А что в Москве вашей думают: с Иваном любой мальчишка справится?

— Товарищ Касьянов, мне уже восемнадцать.

— А у меня два Георгиевских креста за германскую войну!

Ты еще в штаны писал, а я уже в окопе гнил! — Касьянов швырнул на стол револьвер и схватил плоскую жестянку из-под монпансье. Она звякнула, будто детская копилка с медяками. Касьянов вытряхнул из нее на широкую ладонь целую пригоршню медалей и крестов на черно-коричневых георгиевских лентах.— А здесь, видите ли, не подошел. Ты годишься, а я — нет.

— Кажурин сказал: никто не сомневается в вашей храбрости...

— Ладно. Тебе приказали — ты поехал. Снимай шинель. Пожуем чего-нибудь.— Касьянов ссыпал награды обратно в жестянку и плотно закрыл ее крышкой.

— А красивые, Емельян Митрофанович, тут места,— сказал Голиков, чтобы переменить тему.— Тихо-тихо.

— Хлебнешь ты еще, парень, нашей тишины,— пообещал ему Касьянов.

Утром перед штабной избой уже стояла шеренга бойцов. Каждый держал в поводу оседланного коня. Когда Касьянов с Голиковым появились на крыльце, раздалась команда «Смирно!» и средних лет красноармеец, придерживая саблю, подошел парадным шагом и отдал честь.

— Товарищ командир,— обратился он к Касьянову,— первый взвод в составе сорока человек построен. Комвзвода Мотыгин.

— Вольно! — скомандовал Касьянов.— Братцы, представляю вам нового командира батальона. Служите ему так же верно, как служили мне. А я вас всегда помнить буду.— Больше он говорить не мог.

— Товарищи,— пришел ему на помощь Голиков,— я тоже с

грустью расстаюсь с Емельяном Митрофановичем. Низкий поклон ему за его храбрость и заботу о вас. Ура!

— Ура! — закричали бойцы.

— Здесь только сорок человек, — недоуменно заметил Голиков, поворачиваясь к Касьянову. — Где же остальные?

— В том-то и беда, что весь батальон — сто двадцать шесть человек при четырех пулеметах — разбросан на огромной территории. Так что дай бог нашей дитяти волка поймати.

Касьянову подвели его коня, крепкого, низкорослого, мохнатого — видимо, очень выносливого. Касьянов поцеловал его в морду, махнул бойцам рукой, сел в возок, который подогнал Тимоша, и укатил.

ШУТОЧКА

В тот же день Голиков снарядил разведку из десяти человек под командой Мотыгина. Разведчики возвратились через сутки, ничего о банде не узнав. Зато часовой задержал мужика, который крутился возле сарая с боевыми припасами. Мужик пытался бежать, часовой сбил его с ног и привел к Голикову. В кармане у арестованного нашли гранату и наган. Мужик, не робяся, признался, что «служит у Ивана Николаевича», но больше говорить не пожелал.

Голиков отоспал плленного на подводе с двумя конвоирами в Ужур. Бойцы вернулись неожиданно быстро и сообщили, что мужик по дороге бежал. Они в него стреляли и убили.

«Убили или отпустили? — думал Голиков. — Если даже убит, как проверить, что он пытался бежать? А если просто побоялись ехать в Ужур, чтобы не столкнуться по дороге с бандитами?»

Голиков не знал, что хуже. Заняться расследованием не было времени. Он посадил бывших конвоиров под арест, а во главе новой разведки в десять человек отправился сам. У него было ощущение, что Соловьев где-то рядом. В надежде на встречу с ним Голиков двинулся из Божьегорского в соседнее село — Ново-Покровское. Столкновение с бандой было ему необходимо, чтобы доказать Мотыгину: разведка накануне была проведена плохо.

По дороге Голиков приветливо здоровался со встречными и

останавливался побеседовать. Старушка с узелком охотно сообщила, что идет проводать больную дочку. Затем Голиков остановил вежливо сани с мешками овса. В них сидел молодой парень, который показался Аркадию Петровичу подозрительным: по возрасту ему бы следовало служить в армии. Парень эту настороженность уловил и со злым лицом откинул полость. Аркадий Петрович увидел свежеоструганную деревяшку вместо ноги. Третьим собеседником был сухонький стариочек с топором за поясом, который вывозил из чащи на санях дрова.

И вот все трое, беседуя с Голиковым, на вопрос о Соловьеве, будто сговорившись, ответили, что давно о нем не слыхали.

Комбат им не поверил. Здесь, в Ачинско-Минусинском районе, подымаясь рано поутру, люди прежде всего спешили узнать у соседей, где что за ночь произошло. По этим сведениям они судили, может ли Соловьев появиться в ближайшее время в их селе, свободен ли проезд в соседнее. И то обстоятельство, что все, кого Голиков встретил, сказали, что ничего о бандитах не знают, служило верным признаком, что Соловьев на самом деле близко.

Голиков вспомнил Тимошино: «Иван Николаевич все видит, все слышит, и пуля его не берет». Похоже, так считал не один только Тимоша.

Беседа с жителями Ново-Покровского ничего не дала, и Голиков вернулся в Божьеозерное с пустыми руками. После разноса, который он учинил накануне Мотыгину, было стыдно глядеть людям в глаза.

...Проснулся Голиков на рассвете от негромкого говора.

— Не можно, он совсем недавно лампу потушил,— убеждал молодой голос, который принадлежал часовому.

— Как же не можно,— отвечал другой, старческий,— они же нам разорение сделали!

Аркадий Петрович вскочил с койки, патинул галифе и босиком выбежал на морозное крыльцо. Перед домом стояли два мужика: один постарше, с седеющей бородою, а другой — с бритым лицом. Они были одеты в шубы, меховые шапки и валяные сапоги. Шуба на бородатом была аккуратно зачинена, стежки сурской нитки прочерчивали угол левой полы, словно кто-то полу отрывал. «Возможно, медведь», — машинально подумал Голиков. При появлении командира оба мужика опустились на колени.

— Встаньте! Что вы! — смущился Голиков.

— Батюшка, помоги! — попросил бородатый.— Совсем извелись.

— Сначала встаньте. В чем дело?

Мужики поднялись.

— Новопокровские мы,— начал бородатый.— Как только ты позавчера ушел со своими солдатами, так сразу налетел Егорка Родионов. И ну грабить, ишь шарить по кладовым да по конюшням. И лошадей забрали, и хлебушек, а потом еще веселье устроили...

— Недавно только убрались,— добавил бритый.

— Что же вы не пришли сказать, пока они пьянистовали? — досадуя, спросил Голиков.

— А боязно было, батюшка,— простодушно объяснил бородатый.— Если Иван или Егорка узнают, что мы у тебя были,— гореть нашим избам.

— Пойдемте ко мне,— сказал Голиков. Он провел их в кабинет, задернул штору.— Сколько человек было с Родионовым?

— Да десятков до трех,— сказал тот, что помоложе.

— Откуда Родионов? Как он выглядит?

— Иван-то наш, из Форпоста,— сказал бородатый.— А Родиона впервые видим. А как он выглядит?.. Постарше тебя будет. Аккуратный, военный кожунчик, как у офицера. Беседует строго. На ручке дорогой перстенек.

Рассказ мужиков подтверждал сообщение, что Иван Соловьев по соображениям тактики разделил свой «горно-партизанский отряд» на отряды поменьше, доверив один никому не известному Егорке Родионову.

Позвав дежурного, Аркадий Петрович распорядился исприметно, с черного хода, вывести гостей из штаба, а затем продиктовал по телефону шифровку. Спустя тридцать минут поступил ответ, что на помощь Голикову направляется отряд Измайлова в шестнадцать штыков.

Шестнадцать штыков могли, конечно, пригодиться, но Голиков подсчитал, что Измайлов появится часа через два с половиной, не раньше. А Родионов, хотя и с награбленным, может уйти достаточно далеко. Оставив в Божьеозерном трех человек, Голиков наказал им задержать отряд Измайлова и помчался перехватывать Родионова.

...Отряд уже достиг окраины Ново-Покровского, когда впереди, метрах в ста, из калитки дома выбежал мальчишка лет двенадцати. Он был в рубашке и в холщовых штанах, заправленных в валенки. За ним, тяжело дыша, семенил хакас лет сорока, в пиджаке и опорках на босу ногу. По обеим сторонам дороги выселись сугробы. И бежать можно было только по протоптанному снегу. Чтобы мужик его не поймал, мальчишка петлял из стороны в сторону. Внезапно мальчишка поскользнулся

и упал. Мужик подлетел и, не дав ему подняться, принялся тузить.

— Не сметь! — крикнул Голиков, резко останавливая коня.

Вместе с командиром как вкопанный остановился весь отряд. Мужик испуганно распрыгнулся.

— Кто вы такой? — строго спросил Голиков. — За что бьете ребенка?

Вид хакаса был нелеп. Редкая бородка. Жиденькие усы. Глаза смотрели растерянно, а рот заискивающе улыбался, обнажая желтые, прокуренные, но крупные и крепкие зубы.

— Насяльник, насяльник, — повторял хакас и кланялся.

— Отец не понимает по-русски, — чисто, почти без акцента, произнес мальчишка.

— А ты где учился русскому? — удивленно спросил Голиков.

— Ходил в школу.

— Чем твой отец занимается?

— Делает седла.

— Вы здесь живете?

— Да.

— Скажи отцу, чтобы не смел тебя бить. Это ему не при царе.

Мальчишка перевел. Хакас кивал и кланялся. Выглядел он жалким.

Отряд взял с места и въехал в Ново-Покровское. Дома здесь были поставлены вокруг небольшого, еще замерзшего озера. Но у въезда в селение была вытоптаная просторная площадь. Посреди нее валялись разноцветные тряпки, грязный снег был усыпан золотистым, чистым зерном. Тут же лежала пристреленная рыжеватая собака. Стекла ближайшего дома были разбиты и заткнуты подушками.

Поняв, что это чоповцы, на площадь начали несмело выходить люди. Было их немного: трое стариков, пять или шесть женщин средних лет — в надвинутых на глаза темных платках они выглядели на один возраст — и несколько дряхлых старух. Одна стояла, согнувшись колесом и так низко опустив голову, что лица ее видно не было. Если бы ее бугристая рука не опиралась на палку, старушка бы упала.

— Граждане, — произнес Голиков, — мы приехали заступиться за вас и вернуть награбленное.

— Всю муку забрали, — пожаловалась женщина в немецкой шинели с обожженной полой. — И всю одежду. Видите, во что вырядилась...

— А у меня коня последнего... — произнес сиплым голосом

один из дедов.— А копать землю я не могу. Помирать с голоду со старухой будем.

И тут заплакала согнутая колесом старушка:

— А я золотые монетки припасла. Чтобы похоронили по-людски. У меня ж никого нет. Одна я. А Родионов велел трясти меня, как мешок, пока я не отдала ему три золотые пятерки.

— Куда же они поскакали? — спросил Голиков.

— Я не видела,— ответила согнутая колесом старушка.

— Граждане, куда поскакали бандиты с вашей мукой, лошадьми и золотыми монетами?

Никто не ответил.

— Что же вы молчите? Мы ж хотим вам помочь!

— Я знаю! Я знаю! — раздался детский голос.

К площади бежал мальчишка, которого отец бил на дороге. Он уже был одет в облезлую меховую шапку и в полушубок со взрослого плеча с подвернутыми рукавами.

— Гавря, худо будет,— истеричным голосом предостерегла согбенная старушка.

Мальчишка растерянно остановился.

— Тебя зовут Гавря? — спросил Голиков.

— Да, но русские зовут Гаврюшка.

— Не бойся, покажи,— попросил Голиков.

Освободив правое стремя, он протянул мальчишке руку. Гаврюшка уселся впереди Голикова. Конь тронулся. Бойцы последовали за командиром.

Гаврюшка вывел отряд в чистое поле и показал на темнеющий в сторонке лес:

— Они свернули вот здесь.

— По снегу?

— Тут есть дорога. По ней возили бревна. Только ее замело... Можно, я пойду домой? — внезапно оробев, добавил мальчик и скользнул на землю.

— Да-да,— рассеянно ответил Голиков.

Мела поземка. Не было видно ни дороги, ни следов лопадей. Но Голиков не мог опять вернуться в Божьеозерное с пустыми руками. Он свернул с тракта и поехал по снежной целине. Конь тут же провалился по самое брюхо, заволновался; пытаясь выбраться из снега, пашущая копытом более прочный наст, сделал несколько торопливых шагов и снова провалился. Отряд продолжал стоять на дороге, не зная, следовать ли за командиром.

А Голиков лихорадочно думал: «Что, если мальчишка ошибся и дорога на пятьдесят метров дальше или ближе? Как же двигаться по целине?.. — И вдруг мелькнуло: — А вдруг подослан?»

В доли секунды Голиков представил, как замечательно смот-

рится в прорезь пулемета он сам и его тридцать семь бойцов на фоне свежевыпавшего снега.

Аркадий Петрович оглянулся. Маленького проводника на дороге уже не было. В сознании Голикова пронеслись все случаи хитрости и вероломства бандитов, о которых он слышал. И вот на четвертые сутки пребывания в Божьезерном он позволил одурачить себя. Вернуться, пока не началась стрельба? Но Голиков вспомнил черные, с длинными ресницами глаза Гаврюшки, полные изумления, что целый отряд заступался за него. Вспомнил и то, как мальчик вздрогнул от старухиных слов: «Худо будет...» Если бы его подослали, он бы не испугался этого предостережения.

Голиков почувствовал себя менее скованно и отпустил поводья. Низкорослый мохнатый конек, который достался ему от Касьянова, шумно понюхав воздух, повернулся вправо. Нащупав передними копытами твердый наст, он вынырнул из снега, как из ямы, и, уверенно покачивая головой, двинулся к лесу.

— За мной! — приказал Голиков и ласково потрепал шею смышеного коня.

Спиной Голиков ощущал, что бойцы следят за каждым его движением, и понимал, что ему нельзя выглядеть неуверенным и робким. При этом он сознавал всю рискованность затеи и молил судьбу, чтобы на окраине леса, до которого оставалось не более сотни метров, их не ждал бандитский пулемет.

Когда отряд очутился в просеке между кедрами и Голиков убедился, что засады нет, он остановился и вытер ладонью совершенно мокрое от пота лицо. До последнего мгновения он ждал выстрелов.

Конечно, засада могла оказаться и в зарослях, и все-таки в лесу Голиков чувствовал себя более защищенно.

Поначалу не было видно никаких следов, что здесь прошла банда. Осторожно двигаясь по просеке, Голиков неожиданно заметил сломанную пихтовую веточку, а через несколько метров свежую ссадину на коре кедра — видимо, кто-то задел стальным стременем. Эти два небольших открытия ободрили Аркадия Петровича и бойцов. Метров через двести просека вывела их к развилке, где висел щит:

Граждане!

Кто войдет в тайгу далее 5 километров от края ее — расстрелят!

И. Соловьев.

Первым желанием Голикова было сорвать эту фанерку, но Мотыгин остановил его:

— Не надо, командир, люди могут пострадать. Ведь Соловьев будет думать, что он предупредил.

Голиков молча согласился. И разослал по каждой из двух дорог разведчиков.

Те, что направились по левой, вернулись быстро. Они всинули стайку воробьев, которые доклевывали рассыпанное зерно. Еще бойцы обнаружили грязную тряпку со следами крови: кто-то на ходу перевязывал рану.

Отряд двинулся по дороге, где было рассыпано зерно. Признаков, что банда прошла именно здесь, становилось все больше. Мотыгин заметил окурок. Один из бойцов увидел оброненный винтовочный патрон.

Двое суток спустя Голикову предстояло узнать цену этим следам... Но сейчас он обрадовался им как доказательству, что банда прошла здесь.

Часов через пять, когда все изрядно устали, Голиков обратил внимание, что Родионов не сделал ни одной остановки для привала. Либо Родионов знал, что идет погоня, либо не сомневался, что она непременно будет. И спешил.

— Товарищ командир, отдохнуть бы, люди притомились,— попросил Мотыгин.

Голиков резко и раздраженно ответил:

— Родионову тоже некогда отдыхать.

— Но бандиты с утомленных лошадей пересаживаются на свежих.

Голиков прикусил губу: об этом он не подумал.

— Привал,— распорядился Аркадий Петрович.

Бойцы спешились. Кони начали разгребать снег в надежде найти под ним мох или траву. Голиков разрешил съесть по сухарю: экспедиция затягивалась и было неизвестно, сколько продлится. И каждый, разломив сухарь, отдал половину коню.

...Заночевали в лесу, разведя костер по-сибирски — в яме. Бревна не горели, а только тлели, давая ровное обильное тепло. Голиков дремал в очередь с Мотыгиным. И лишь только начало светать, поднял отряд.

Отправленные вперед дозорные заметили над деревьями тонкий дымок. Там, где он вился, слышались похруцывание зерна и глуховатый звон уздачек. Когда Голиков с бойцами подъехали ближе, раздалось радостное ржание, на которое дружно ответили отрядные кони. Эта лошадиная солидарность раньше времени рассекретила приближение чоновского отряда. Голиков скомандовал: «Вперед!» — и выскоцил с бойцами на широкую

опушку. Она была залита кровью и усеяна трупами прирезанных коней. Посередине дымил, дотлевая, костер из мешков с зерном. Рожь усеивала и весь снег вокруг костра. Лишь один меланхолического вида мерин с огромным, раздувшимся животом продолжал размалывать своими сносившимися зубами зерно из недогоревшего мешка. Больше никого и ничего поблизости не было.

— Они не могли далеко уйти, — глухо сказал Голиков. — Раз побросали награбленное, значит, тоже выбиваются из сил. Привал на десять минут. Отдайте лошадям остатки зерна. И в погоню.

Вскоре картина повторилась. Снова была поляна, туши прирезанных коней, ножами вспоротые седла. Значит, резали уже не краденых — своих. На краю поляны обнаружили яму. От нее в глубь тайги вели две лыжни. В яме были спрятаны лыжи. Отряд Голикова лыж не имел и дальше преследовать Родионова не мог.

В Божьесозерном Аркадия Петровича ждала телеграмма: «С отрядом в 25 человек догнал банду в 30 человек. С обеих сторон была открыта стрельба, после чего банда разбежалась... Один бандит убит, взята одна лошадь и одна винтовка. С нашей стороны потерь нет. Комвзвода Шмаргин»*.

Ждал Голикова в Божьесозерном и отряд Измайлова в шестнадцать штыков. Измайлова Голиков разрешил вернуться обратно.

Сбросив в кабинете шапку и кобуру с пистолетом, Голиков сел на стул. Хотелось скинуть и сапоги, но сил уже не было.

Пришел Мотыгин:

— Аркадий Петрович, там башка готова. Пойдемте попаримся.

Горячая вода и пар смыли усталость. Настроение Голикова из мрачного сделалось полублагодушным.

«А ведь бежал от нас Родионов, — подумал он. — Бежал через всю тайгу, побросав награбленное. Только три золотых нятерки не бросил».

После бани Голиков с Мотыгиным сидели в дежурке штаба, ели картошку с мясом и пили чай. Мотыгин был доволен экспедицией.

— Касьянов тоже был хороший мужик, — неожиданно произнес взводный, наливая в кружку кипяток из самовара. — В бою был храбрый и людей жалел. Но последнее время сделался первенцкий. Всюду мерещились ему хитрости Ивана. Будто всюду Иван ему готовит ловушку. И людей он этой робостью заразил. А вы, я поглядел, ничего... Служить с вами можно.

Открылась дверь, вошел дежурный по штабу, протянул пакет из серой плотной бумаги, изрядно замызганный и помятый.

— Товарищ командир, это вам,— как-то неуверенно произнес дежурный.

Голиков взял пакет. Крупным почерком на нем было выведено: «Придатать Голикову срочна». Комбат надорвал конверт. На тонком листе по-писарски изящно и совершенно грамотно было выведено:

Аркадий Петрович!

Не серчай, что малость пошутковал с тобой и заставил тебя побегать по матушке-тайге. Ты еще молодой, тебе это пользительно для здоровья.

Вообще хочу сказать, что ссориться нам с тобой нечего. И потому приезжай погостить. Самогон, я знаю, ты не пьешь. Так у меня «Смирновская» есть. С честью встречу — с честью провожу. А не сможешь приехать — так и быть, ящики подброшу. Кто ни есть передаст.

Остаюсь уважающий тебя

Иван Соловьев.

Подписано послание было той же рукой, что и адрес на конверте.

— Откуда письмо? — резко спросил Голиков у дежурного.

— Принес незнакомый мужик, сказал, что нашел возле многоглавки.

— Приведите его.

— А его нет. Он отдал и ушел. Это было с полчаса назад. Вы парились. Часовой не думал, что письмо спешное, — стал оправдываться дежурный по штабу.

— Это был случайный человек, — заступился Мотыгин. — Через случайных людей Соловьев рассыпал и ультиматумы в сельсоветы. Но если мужик получает такой пакет, он боится ослушаться. — Мотыгин взял листок из рук командира и теперь уже внимательно перечитал его. — Серьезное письмо, — заметил взводный, кладя листок перед собой. — Соловьев Касьянову тоже подбрасывал, но тому все больше грозил. А вам вроде оказывает почет. Значит, увидел, что нет в вас страха, и вроде как предлагает свою дружбу.

После ухода Мотыгина Голиков направился к себе в кабинет. Здесь он швырнул письмо на стол, запер ключом дверь и опустился в жесткое полукресло. Еще час назад он был доволен тем, что Мотыгин и бойцы увидели в нем не робкого командира.

И вот оказалось, что Соловьев с Родионовым его просто дурачили. Они играли с ним, Голиковым, как кошка играет с мышкой, если кошка сыта и может позволить себе подобную роскошь.

Таким мышонком, только в тайге и во главе отряда, был он, Аркадий Голиков, недавно еще командир полка, а ныне командир отдельного батальона.

Разорение Ново-Покровского, многочисленные следы, будто бы случайно оставленные в лесу, костер из хлеба и прирезанных лошадей — все это было бандитской шуточкой. Иван Соловьев устроил новому командиру проверку, а заодно показал, кто в здешних местах хозяин. После этого с высоты «императорского трона» Соловьев и предложил свое настораживающее благорасположение.

«Допустим, я даю согласие, и мы встречаемся,— думал Голиков.— Что я могу ему предложить: чтобы он вышел из тайги и сложил оружие? Но Соловьев расхохочется мне в лицо. Он понимает, что сегодня я ничего с ним поделать не могу. Тогда для чего он меня зовет: чтобы я пошел к нему в банду? Но в тайге я Соловьеву не нужен, хотя ему и было бы лестно, если бы я поступил в его «горно-партизанский отряд». Видимо, во время вышивки он собирается мне предложить, чтобы я ему «помогал», то есть стал бы еще одним агентом Астанаева... Но обожди,— сказал себе Голиков,— Мотыгин вспомнил, что Соловьев подбрасывал письма и раньше. Вероятно, его люди следят, чтобы пакет попал по назначению. А если я подброшу письмо Соловьеву? Ведь кто-то его подберет? Кто?!»

Голиков взял лист бумаги и написал своим крупным полудетским почерком:

Иван Николаевич!

Спасибо за приглашение. Я водку-то и свою не пью, а Вашу и вовсе пить не стану. Я лучше из Июса напьюсь.

Арк. Голиков.

Он сразу повеселел, надел китель, отпер дверь и попросил дежурного разыскать Мотыгина. Комвзвода, запыхавшись, прибежал через несколько минут. Аркадий Петрович протянул ему пакет, на котором было выведено: «Командиру белого горно-партизанского отряда И. Н. Соловьеву. Срочно».

— Что вы его как величаете?

— Существует наука — дипломатия. Она учит даже с врачами разговаривать вежливо. Особенно если вежливость спо-

собна помочь делу. Пакет нужно положить на видном месте возле многолавки и посмотреть издали, кто его заберет.

Мотыгин довольно хмыкнул.

— Яспенъко. Свое письмо Соловьев мог прислать и с чужим человеком, а забрать должон, кто все время нас с вами стережет... Я сделаю вот что,— Мотыгин от удовольствия прикусил даже нижнюю губу,— я пошлю сначала двух ребят поглязастее в дома возле многолавки: они там живут,— а потом сам положу пакет на крыльцо.

Мотыгин ушел. Голиков, напевая, принялся за работу. Он просмотрел скопившуюся почту, отложил одно письмо и одну разведсводку, которые показались ему любопытными. Четко и подробно, ничего не утаивая, написал в отчете о своей неудачной экспедиции и отнес шифровальщику для передачи по телефону в Ужур.

Мотыгин вернулся, когда стемнело.

— Письмо забрали,— сказал он, однако вид у него был расстроенный.

— Отлично,— обрадовался Голиков.— Кто взял его: привезжий или кто-нибудь из местных?

— Этого установить не удалось.

— Что значит не удалось? Людей в соседние дома вы послали?

— Послал. Бойцы говорят: пока было светло, письмо лежало. Когда малость стемнело, оно исчезло. Оба красноармейца боятся, что не спускали с конверта глаз.

— Но не святой же дух его забрал!

— Кто знает... И еще одна неприятность.— Мотыгин замолчал.

— Да говорите ж!

— Вы посадили под арест Пнева и Машкина. Ну, которые не довезли человека Соловьева до Ужура.

— Да. Я не успел еще с ними толком поговорить.

— Они бежали. Замок на сарае сорван, а Лебедев — он их стерег — лежит с проломленным черепом.

— Когда это случилось?

— Обнаружили только что.

— Лебедев в сознании?..

— В беспамятстве. С ним ферапол.

— Вы свободны. Идите. Я сейчас тоже приду.

Голиков почувствовал, что ему становится не по себе. И он почему-то вспомнил Касьянова с его жестянной коробкой из-под леденцов в болезненно трясущейся руке.

Во дворе залаяла собака. Голиков вынырнул из тяжелого сна, но глаза не открыл. И лежал так долго. Он слышал, как пронес первый всполошенный петух, а в сарае через улицу скрипнула тяжелая дверь и заблеяли овцы, потом у штабного крыльца сменился часовой.

А Голиков все не открывал глаз. Спать ему больше не хотелось — усталость прошла. Он умел отдыхать очень быстро и про себя гордился этим. Еще в детстве он прочитал: быстро отдыхать умел Наполеон. В походе император передко ложился спать на двадцать минут и вставал освеженным и бодрым.

Но со вчерашнего дня, если Голиков и мог себя в чем-то сравнить с Наполеоном, то разве что после Ватерлоо. И он не размыкал век.

Открыть глаза значило мгновенно вскочить, ни секунды лишней не оставаясь в постели (так приучил его еще в детстве отец), окатить себя с головы до ног ледяной водой, быстро позавтракать и приняться за дело. Но Голиков потому и не подымался, что не знал, за что приняться. Он был совершенно растерян.

Он ехал сюда, испытывая горделивое чувство превосходства над Касьяновым, который потерял инициативу и лишь отбивался от Соловьева.

«Какие такие невиданные хитрости изобрел Соловьев, — думал по дороге на Божье озеро Голиков, — что смелый и сильный мужик дошел до истерики?.. Нет, у меня первы будут покренче, и голову я не потеряю тоже».

И вот с первого дня «император тайги» не дает ему ни минуты покоя. Запугав конвоиров (Голиков в этом теперь не сомневался), Соловьев отобрал плениного, которого везли в Ужур. А теперь — озорства ради — выкрад и самих конвоиров, хотя они ему, скорей всего, не нужны. По плану Соловьева банда Родионова ограбила Ново-Покровское и заставила чоновский отряд без раздумья нестись через всю тайгу...

Поиграв желваками, Голиков вспомнил четыре или даже пять мест в лесу, где Соловьев с Родионовым могли устроить засаду и перебить весь отряд. И Аркадий Петрович снова задумался над тем, почему Соловьев этого не сделал.

«Предположим, — рассуждал он, — Соловьев бы расстрелял нас из пулемета. Что было бы дальше?.. Красноярск прислал бы

полгарнизона, Соловьеву пришлось бы надолго спрятаться в тайге. С запасами после зимы у него плохо. И гибель моего отряда обернулась бы голодом для бандитов. А пятьсот здоровенных мужиков — не зайцы, которые будут грызть кору».

И чем больше Голиков думал о том, что произошло за минувшие дни, тем сильнее удивлялся, сколько изощренно продуманных ловушек приготовил ему «император тайги».

«Он посмеялся надо мной, дав понять, что подарили жизнь мне и моему отряду,— думал Голиков.— Соловьев был уверен, что я никому не покажу его письмо, из которого видно, что погоня по тайге была моей ошибкой. Эта ошибка могла стать смертельной. Значит, в следующий раз я десять раз подумаю, прежде чем пущусь следом за любым его отрядом.

Но и это не все. Даже отказавшись от приглашения приехать в гости, я, по замыслу Соловьева, вступлю с ним в молчаливый говор. У нас с ним появятся как бы общие тайны. А за сохранение каждой такой тайны, иолагает «император», мне придется платить...»

Голикова бросило в жар, когда он вспомнил, каким же беспомощным лепетом ответил Соловьеву. Правда, ответ он писал в надежде выявить агента, который заберет пакет.

И снова он, Голиков, попал впросак. Агент оказался «человеком-невидимкой» — прямо как у Герберта Уэллса. А Соловьев, получив ответ, небось катался от хохота по полу: «Нашли, кого прислать вместо георгиевского кавалера. «Я лучше из Июса напьюсь...» Как будто я только и приглашал его сюда, чтобы пить водку!..»

В досаде на себя Аркадий Петрович сбросил одеяло и сел.
«Что было, то было,— сказал он себе.— И Касьянов коварства Соловьева опасался не зря. Он был солдат. А здесь, как я теперь понимаю, другая война. Здесь тоже калечат и убивают. Но воюют здесь не только огнестрельным оружием, не только пистолетом. И нечего переживать по поводу того, что я оказался дураком. Он дурачил и дурачит не одного меня. Сейчас нужно разобраться, почему «император тайги» сумел всех переиграть».

Голиков не заметил, что последнюю фразу он произнес вслух.

«О налете банды Родионова я узнал после того, как она ушла из Ново-Покровского. Будь у меня в Ново-Покровском свои люди, они бы сообщили раньше. Я бы настиг Родионова, когда он пьянствовал. И шуточка бы не удалась. То, что у меня нет в Ново-Покровском и в других местах своих людей, не моя ошибка, а Касьянова. Но больше я не стану ничего валить на

Касьянова, потому расхлебывать все равно мне. Значит, мне нужны люди, которые станут сообщать не только о том, что уже произошло, но и о том, что еще может произойти.

Но как я таких людей найду, если я здесь никого не знаю? Мотыгин — человек исполнительный и надежный, но в делах разведки смыслит мало. А больше под рукой у меня никого нет».

* * *

Из рапорта командующему частями особого назначения Енисейской губернии:

Секретно

...Несмотря на то, что вся эта губительная канитель тягнется третий год, органы ЧК и ГПУ пригодны здесь только для того, чтобы следить, не выпил ли командир стакан самогонки, и те органы совершенно забывают о своей прямой цели сообщать, что творится внутри банды. Я больше чем уверен, что для создания настоящей агентуры у них ничего не предпринято.

Арк. Голиков*.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ШУТОЧКИ

Голиков перевел штаб батальона в Чебаки: близ этих мест гораздо чаще появлялись банды.

В центре села высился громадный трехэтажный дом с высокой башней, похожей на колокольню,— бывшая усадьба Константина Ивановича Иваницкого, известного золотопромышленника, инженера-геолога по образованию.

Отец Иваницкого долгие годы был управляющим у другого золотопромышленника, Цыбульского, который не имел своих детей, но у него был приемный сын. Тяжело заболев, Цыбульский вызвал к себе сына. Тот не приехал: внезапно исчез. Умирая, Цыбульский завещал свое «дело» и громадное состояние верному и безуиречно честному управляющему. А вскоре возникли слухи, что к загадочному исчезновению младшего Цыбульского имел прямое отношение младший Иваницкий...

Свой дом в Чебаках Иваницкий велел построить из долговечного кедра. Возводили «замок» на манер средневекового иноzemных мастера — то ли английские, то ли итальянские, — а рас-

писывали московские художники. В «замке» свободно могли разместиться несколько сот человек.

В 1917 году Иваницкий спешно отбыл за рубеж. Часть своих богатств он заранее перевел за границу, что сумел, увез с собой, а часть закопал в тайге. Где спрятал, считалось, должен был знать его верный раб Мурташка (настоящее имя его было Федор Гордеевич Кочаев), оставленный в Чебаках присматривать на всякий случай за имуществом.

Мурташка на многочисленных допросах простодушно заявлял: да, незадолго до своего отъезда Иваницкий взял его в тайгу, как делал много раз. Ехали на двух подводах. На той, что правил Константин Иванович, было несколько тяжелых заколоченных ящиков. В тайге Иваницкий напоил Мурташку ромом, видимо с чем-то дурманящим, потому что выносливый Мурташка внезапно заснул мертвцким сном. А когда пробудился, Иваницкий исполосовал его кнутом: «Как ты смел заснуть? Полно было работы! Теперь, бездельник, поехали домой!» Но тяжелых ящиков на подводах уже не было.

Версию сочли правдоподобной, иначе бы Иваницкий увез Мурташку с собой или убил.

Легенда о кладе Иваницкого получила вполне реальное продолжение. В 1927 году вдова Иваницкого, которая жила в Китае, обратилась к Советскому правительству с письмом. Она предлагала отыскать тайник со слитками золота по плану, который ей завещал покойный муж. Половину она обещала отдать государству. Правительство разрешило. В сопровождении чекистов и других официальных лиц вдова Иваницкого приехала в Чебаки, попросила найти Мурташку.

— Ты помнишь, — спросила она бывшего слугу, — куда вы ездили с Константином Ивановичем последний раз?

— До смерти не забуду того проклятого места! Константин Иванович меня ни за что исполосовал кнутом.

— Это он нарочно сделал, чтобы ты не забыл. Веди нас туда. Я тебя отблагодарю.

Мурташка отвел.

— А где стояла палатка Константина Ивановича?

Мурташка показал.

Женщина отсчитала сколько-то шагов в одну сторону, потом, сверившись с листком, — в другую. Затем велела сопровождающим:

— Копайте под этим кедром.

Начали копать и нашли. В тайнике хранилось шесть пудов золота. Девяносто шесть килограммов!

Вдова выполнила обещание наградить и подарила Мур-

ташке... 25 рублей, не прибавив больше ни копейки. Обобранный раб до конца дней своих не мог простить такого вероломства: ведь клад без него ни за что бы не отыскали.

А вдове Иваницкого в Красноярске объявили, что из шести найденных пудов ей положены не три, как она рассчитывала по первоначальной договоренности, а только полтора, то есть 25 процентов согласно закону о вознаграждении за случайно найденные ценности и клады. Обиженная вдова вернулась в Китай со своими 25 процентами. Ведь никакого соглашения перед началом поиска она не заключала.

По всей вероятности, исполнители очень гордились своей находчивостью. На самом деле Иваницкая произвела лишь разведку и показала наименьший из тайников. Обиженная, в России она больше не появлялась. И главная часть богатства, спрятанного Иваницким, продолжает бесхозно лежать в тайге.

...Голиков оборудовал себе кабинет на первом этаже. В соседних комнатах разместился штаб. На втором этаже были спальни.

И сразу начались заботы. В Чебаках открывался районный съезд Советов. С его трибуны должен был прозвучать ответ Соловьеву на ультиматум сельсоветчикам — сложить оружие.

Перед тем как разослать ультиматум, «император тайги» велел пристрелить одного председателя сельсовета. Второй по счету, он был убит на пороге своего дома.

После каждого такого убийства жизнь в селе надолго замирала: некому было собирать налог, проводить сходки, выписывать справки, выпрашивать в районе для потребиловки спички, гвозди, керосин и мануфактуру. Но поскольку деревня без председателя жить не могла, то по настоятельной просьбе односельчан отыскивались новые смельчаки.

Неделю назад в секретной оперативной сводке был приведен текст обязательства, которое дали жители одной деревни недавно избранному председателю: «В случае, ежели председатель сельсовета на службе будет убит или потеряет здоровье и не будет мочь себя прокормить, общество возьмет его семью и его самого на свое иждивение». Было перечислено, что и сколько будет собираться «миром» ежемесячно. Под бумагой подписались все жители села: у нового председателя было шестеро детей.

Человек, который садился на председательский стул и брал в руки председательскую печать, знал, что он в любой час может проститься с жизнью.

И когда в сельсоветы поступил ультиматум Соловьева, председатели решили объединиться и сообща дать отпор Соловье-

ву — не только каждый от себя, но и по наказу своих односельчан.

Ответственность за соблюдение порядка и безопасность участников съезда была возложена на Голикова. Его шифровка о том, что район к проведению съезда не готов, что для такого мероприятия Чебаки — место неудобное и даже опасное, во внимание принята не была. Съезду придавалось большое политическое значение. Возмущенный голос председателей должен был прозвучать из Чебаков, «изнутра», как говорилось в ответной шифровке, «бандитской империи». Соловьев должен был понять, что местное население не признает его власти.

Ожидались журналисты. Репортажи из Чебаков должны были остудить горячие головы на Западе, где кое-кто мечтал отделить Хакасию от Советской России. Предполагалось: если Соловьев лишится заграничной поддержки, то дальнейшее существование «горно-партизанского отряда» станет бессмыслицей. В этом случае, возможно, «император тайги» пойдет на переговоры.

Единственное, в чем Ужур пошел навстречу Голикову, — прислал подкрепление.

Аркадий Петрович сам сидел над картой с маршрутами делегатов, сам отмечал в своем списке, кто уже прибыл в Чебаки, и селил всех в необъятном доме Иваницкого. Вопреки ожиданиям, по дороге в Чебаки ни с кем из делегатов не произошло никаких неприятностей. Разведыводки сообщали о непривычном затишье по всему району. И это затишье лишило Голикова покоя.

«Соловьев знает, для чего созывается съезд, — думал он. — Вряд ли «император» останется к нему безразличен. В таком случае он затевает что-то поповее и посерьезнее, чем завал на дороге или пулеметная очередь из зарослей. Соловьев любит сюрпризы, — подытоживал Голиков. — Скорей всего, он и теперь готовит обидную выходку, которая произведет сильное впечатление, либо диверсию, от которой пострадают сразу многие делегаты. Во всех случаях местом действия он изберет Чебаки».

Когда Голиков это понял, холодный пот выступил у него на лбу. Но времени на переживания и переговоры с Ужуром уже не оставалось. Теперь все зависело только от него самого.

Аркадий Петрович распорядился поставить круглосуточные посты возле колодцев, запретил делегатам есть где-либо, кроме столовой при штабе. В доме Иваницкого Голиков хотел провести и сам съезд, но тогда бы Соловьев догадался, что его опасаются. И местом проведения съезда осталась бывшая церковь,

превращенная в клуб. Голиков приказал внимательно осмотреть в ней все углы и закоулки, после чего сам облизил церковь и не обнаружил ничего подозрительного. Но это его не успокоило.

Хотя Аркадий Петрович достоверно знал, что у Соловьева нет артиллерии, он все-таки разделил на участки окрестные леса и поручил четырем оперативным группам прочесать заросли: не стоит ли там какая-нибудь брошенная колчаковцами трехдюймовка?

Пользуясь тем, что Ужур прислал два дополнительных отряда, Голиков окружил Чебаки сплошным оцеплением. Ни один человек не мог незаметно войти или выйти из деревни.

Наконец, вечером, накануне открытия съезда, патрули обошли все дома. Бойцов сопровождали местные активисты. Односельчан они знали в лицо. Делегаты имели удостоверения. И ни одного постороннего выявлено не было. Об этом Мотыгин доложил Голикову.

— Спасибо, отдыхайте,— ответил Аркадий Петрович.

Безрезультатность проверки его не радовала, но тем не менее ему казалось, что он все учел.

А накануне открытия съезда из Ужура поступила шифровка: «Чебаки. Комбату Голикову. Совершенно секретно. Связи противоречивыми, но угрожающими сведениями продолжайте работу предотвращению возможной диверсии. Дошло непроверенное высказывание Соловьева: «Я покажу этому сосунку». Комиссарводотряда шесть Кажурин».

Сначала шифровка разозлила Голикова: «Соловьев не принимает меня всерьез?» Потом рассмешила: командир сводного отряда без тени юмора продиктовал шифровальщику: «Я покажу этому сосунку». А напоследок телеграмма огорчила: «Ну что этот «император тайги» может придумать сверхъестественного? Уж не становимся ли мы нервными, как Касьянов?»

...Съезд открыли ровно в десять утра. К началу первого заседания не успели приехать только две делегации. Из улуса Сарала поступила телеграмма: «Началась загадочная болезнь скота, овцы отказываются есть и пить, сбиваются в кучи и блеют. Два десятка баранов уже подохли. Ветеринар не исключает заражения или отравления».

Голикову пришла на память телеграмма из Ужура: «...Для предотвращения возможной диверсии...» Не первая ли это ласточка?! Не первый ли это «привет» от «императора», который узнал, что в Чебаках возле колодцев расставлены часовые?

А делегация из станицы Форпост явилась, когда председатель уездного исполкома Николай Каташкин заканчивал доклад. Состояла делегация из трех человек.

В помещении бывшей церкви стоял полумрак. Еще при Колчаке во время боя тут выбили все окна. Их пришлось заделать фанерой. Керосиновые лампы давали скучное освещение. И делегаты от Форпоста в одинаковых башлыках, низко опустив головы, прошли на самый последний ряд, где имелись свободные скамейки.

Голиков, который ночью не спал, раздраженно подумал, что Форпост, конечно, селение не близкое, но многие делегаты успели приехать еще вчера.

Тут Каташкин объявил:

— О задачах борьбы с соловьевщиной нам расскажет комбат товарищ Голиков.

Аркадий Петрович подошел к трибуне. Никакого написанного доклада у него не было. Несколько четко выстроенных мыслей он просто держал в уме.

— Товарищи, — сказал Аркадий Петрович. — После того как в Тамбовской губернии было покончено с мятежом под руководством Антонова, ликвидация бандитизма в Ачинско-Минусинском районе становится задачей большой важности для всей страны. Из-за Соловьева уже два года район недодает хлеб и другие продукты. Из-за Соловьева уменьшилась добыча золота и доставка его в центр. А за золото мы покупаем у капиталистов недостающий нам хлеб и сельскохозяйственные машины, гвозди и станки для фабрик. Из-за Соловьева люди меньше сеют и меньше разводят скота. Не проводятся базары и местные праздники. Почти не играют свадеб. Мы располагаем сведениями, что Соловьев мечтает стать «самодержцем всех хакасских». Но желает ли население Хакасии иметь нового государя — императора Ивана Первого? А если не желает, то во многих домах, я знаю, живут охотники. Бандиты должны помнить, что каждая изба может их встретить огнем.

— Пока вы Соловьеву не прищемите хвост, — выкрикнул с места делегат с круиной седой головой и крошечными черными усиками, — население за нами не пойдет. — И делегат решительно направился к трибуне.

— Слово товарищу Волошину, — объявил Каташкин.

Аркадий Петрович опустился на свой стул. Главное он сказал, и спор начался.

— Товарищу Голикову хорошо, — сказал Волошин, — когда он спит, его стережет часовой. (В зале засмеялись.) Товарищу Голикову хорошо еще и потому, что его собственный дом далеко. И за то, что он ловит бандитов, Соловей его дом не спалит.

— Я не собираюсь прятаться за спинами часовых, — обиделся Голиков.

— Я не говорю, что вы прячетесь. Мы знаем, как вы продирались через тайгу, чтобы догнать Родионова. Но я вам объясняю, почему нам трудно сказать человеку: «Увидишь бандита — стреляй».

Тут Голикову из зала прислали записку. Слушая Волошина, Аркадий Петрович машинально развернул ее, но читать не стал.

— Но ведь люди, которые хотят отсидеться, рисуют ничуть не меньше, — возразил он.

— Не скажите, — ответил Волошин. — Меньше. Иначе бы Соловей уже спалил все до одной деревни. Жалости к людям в нем нет.

Перепалка становилась бессмысленной. Голиков поднес записку, которую держал в руке, поближе к керосиновой лампе. «Товарищ Голиков, — прочитал он, — в зале, на последней лавке, сидит Иван Соловьев. Он приехал будто бы как форпостовский делегат. Но я форпостовского председателя знаю. И Соловьева знаю. Он жил до ареста у нас на Черном озере».

В груди у Голикова рванулось сердце, а рука с запиской вздрогнула, готовая выхватить маленький маузер. Еще мальчишкой Аркадий Петрович купил его на базаре и уже не расставался четвертый год. Голиков, не целясь, с пятидесяти шагов попадал из маузера в бутылку. И с возвышения отлично видел тех троих, что приехали позже всех.

Они действительно сидели в последнем ряду, словно по забывчивости не сбросив башлыки. Теперь становилось понятным, почему они прибыли позже других и не открывают своих лиц.

Голиков ощутил слабость от неминуемости катастрофы, которую, вероятно, уже невозможно предотвратить. Ведь Соловьев проник сюда не для того, чтобы послушать выступления и вежливо уйти. Значит, он придумал одну из дьявольских хитростей, которых так опасался Касьянов. И наверняка успел все подготовить, иначе бы не явился с риском быть узнанным, схваченным и расстрелянным.

Но когда, казалось бы, неподвластный воле страх сменился физическим ощущением близкой опасности, мысль Голикова заработала быстро и четко.

«Что же он мог задумать? — стремительно просчитывал Голиков варианты. — Обстрел церкви из орудия? Нет, раз он здесь, обстрела не будет. Взрыв? Тоже нет. Стрельбу из пулемета? Но пулемет, даже ручной, они пронести не могли. Откроют огонь из револьверов? По два револьвера у каждого. По семь патронов в барабане. Сорок два выстрела — это немало. Но разрядить наганы они все-таки не успеют. Люди в зале сидят

не робкие. «Император» это понимает. Значит, это провальный вариант. А Соловьев не из тех, кто пожертвует своей жизнью, лишь бы убить трех сельсоветчиков.

Таким образом, и стрельбы из наганов не будет. А будет вот что: они швырнут в зал по гранате. Три гранаты при таком скоплении народа — это двадцать или даже тридцать раненых и убитых. Они швырнут гранаты, бросятся на пол и в суматохе после взрыва побегут к выходу».

Голикову стало легче при мысли, что он, похоже, разгадал замысел Соловьева. Аркадий Петрович посмотрел на последний ряд. Кто из тех троих «император тайги», понять было трудно. Все трое в башлыках, все трое в полушибаках. Но один, который сидел с краю, был пошире в плечах и выглядел посолидней. Он? Нет, в материалах о Соловьеве говорилось, что «император» невелик ростом и могучим сложением не отличается.

Казалось невероятным, что знаменитый Иван Соловьев, который уже третий год будоражит громадный край, Соловьев, о налетах которого ежедневно докладывают шифровками в Москву, Соловьев, которого не смогли ни поймать, ни одолеть многие бывалые командиры, преснокойно сидит в зале, где обсуждают, как с ним справиться. Быть может, в самом деле «пуля его не берет»? Иначе откуда такая убежденность в своей неуязвимости и неуловимости?

Аркадий Петрович не считал себя робким, но дерзость Соловьева поразила его. Однако это лишь прибавило Голикову решимости.

«У меня есть немного времени,— быстро думал он.— Соловьев бросит гранаты, вероятно, когда мы объявим перерыв, и он уже не сможет хранить инкогнито. Значит, какое-то время в запасе точно имеется,— успокоил он себя.— А теперь, если Соловьев что-то заподозрил, мой вид должен его убедить, будто я получил обычную записку».

И Голиков положил листок перед собой, притворясь, что слушает оратора. (Это был все тот же Волошин.)

А на самом деле незаметно вынул из кобуры свой маузер, оттянул затвор и опустил пистолет в карман галифе. Стол с красной скатертю скрыл его приготовления.

«Сейчас я подымусь,— стремительно продумывал он последовательность своих действий,— пройду в конец зала, будто бы затем, чтобы прибавить огня в лампе возле последней скамьи... Нет, не то. Соловьев окажется справа от меня, и я не смогу незаметно выхватить маузер... Тогда я подойду к кому-нибудь из предпоследнего ряда и спрошу: «Это вы Тимофеев? Это вам нездоровится?» Здесь возникнет небольшой переполох: «Это

какой же Тимофеев? Откуда?» Тогда я выну маузер и ударю по троице на последней скамейке. Я надеюсь, что пистолет не даст осечки, как наган у Котовского».

Приняв решение, Голиков почти успокоился. В плане, который он придумал, Голикова устраивали простота и абсолютная надежность. Для ликвидации «форпостовых делегатов» Аркадий Петрович не нуждался в помощниках, а потому здесь могло быть наименьшее количество случайностей. План был хорош еще и тем, что ему, Голикову, предстояло в одиночку, лицом к лицу, покончить с «императором тайги». И он на миг представил, как вернется сначала в Ужур, а затем и в Москву: когда будет покончено с Соловьевым, ему тут просто нечего будет делать. Потеряв предводителя, «горно-партизанский отряд» рассыплется.

«А если председатель из Черного озера ошибся?.. Или, предположим, форпостовский председатель заболел и послал вместо себя другого делегата, случайно похожего на Соловьева? — У Голикова замерло сердце. — Или даже так: а если и записку прислал человек Соловьева?.. Что, если в этом и состоял замысел «императора»: задержать по дороге форпостовскую делегацию, навлечь на нее подозрение, тем более что Голиков еще мало кого знает в лицо, и создать инцидент?»

Голиков похолодел при мысли, что он чуть не подыграл Соловьеву. И Аркадий Петрович снова представил, как бы он выглядел сначала в Ужуре, а потом в Москве, если бы это случилось. И представил глаза Касьянова: «Я же тебя предупреждал: эта работа не для детей. Здесь свихивались и солидные люди».

«Ладно, ничего страшного пока не произошло. Если написавший записку обознался — это одно. А если те трое все же бандиты, то я теряю время. Нужно их задержать и опознать. Ждать перерыва некогда. Если на скамейке Соловьев, то гранаты могут полететь в любую минуту. Значит, нужно подготовить группу под видом еще одной опоздавшей делегации. Будем учиться у Соловьева на ходу. Но это потребует минимум четверти часа. А чтобы бандиты обождали швырять гранаты, приметив суету, их надо заинтриговать. Чем?! Я предложу обсудить письмо к Соловьеву и его людям».

Трое в башлыках продолжали неподвижно сидеть возле стены. Похоже, они старались не обращать на себя внимания.

«А где же настоящие форпостовые делегаты? — подумал Голиков. — Убиты?! Нет. Нужно думать, уведены в лес заложниками — на случай, если Соловьев и эти двое попадут к нам в плен. «Император» — человек предусмотрительный».

И еще мелькнуло: «Как же Соловьев про себя смеялся над нами, когда сюда, на съезд, его сопровождала наша охрана!»

Но эти мысли мешали Голикову, и он их оборвал. Пора было действовать. Первое — надо посвятить в план Каташкина. Человек он решительный, но смелость в нем сочетается с нервозностью. На такой должности хорошо бы иметь человека с более уравновешенным характером. Но где его возьмешь? А у Каташкина имелись свои преимущества: он родился в этих местах, сотни людей знал в лицо. Странно, что он не заметил подмены. Правда, в полумраке и башлыках можно не узнать и родного дядю.

Когда Голиков повернулся к председателю исполкома, тот сердито слушал хитренького мужика, который говорил: раз хлеб и другие продукты из-за бандитов возить опасно, то, пока не будет пойман Соловьев, со сдачей налога следует повременить.

— Мы тебя, Каблуков,— выкрикнул Каташкин,— пошлем завтра в Поволжье. И ты объяснишь там людям, у которых дети умирают с голода, почему ты приехал к ним с пустыми руками...

Голиков наклонился к Каташкину:

— Прочтите записку. У меня есть мысли.

Каташкин рассеянно кивнул и, не спуская глаз с выступающего, зажал в пальцах бумажку, но читать ее не стал, потому что мужик опять начал говорить: раз помирают детишки, хлеб надо поберечь, а потом...

Каташкин собирался было опять ему возразить, но взгляд его упал на развернутую записку.

— Товарищи!.. — громко и взволнованно произнес Каташкин.

Голиков обмер от сверкнувшей догадки, что председатель исполкома сейчас сделает. Он хотел Каташкина остановить...

— Товарищи, среди нас находится Соловьев!

Даже у Голикова от этих слов мурашки пробежали по спине. Но озnob в позвоночнике не уменьшил досады на глупость исполкомовского председателя.

— Гражданин Соловьев,— голос Каташкина зазвенел под сводами церкви,— я предлагаю вам...

Что собирался предложить Каташкин, осталось неизвестным.

...Восстанавливая последовательность событий, Аркадий Петрович понимал, что обратил внимание: трое в башлыках не вскочили с мест, будто слова Каташкина относились не к ним. И это смущило Голикова: «Ошибка?!» И он возвладорил

судьбу, что отказался от своего первоначального плана, когда могли пострадать невинные люди.

Эти впечатления и мысли вместились в первые короткие доли секунды, потому что в следующее мгновение, прежде чем остальные делегаты успели оглядеться и вскочить с мест, раздалось несколько револьверных выстрелов. Зазвенели стекла, и погасли керосиновые лампы. Последней звякинула и потухла яркая, двенадцатилинейная, с расписным фарфоровым резервуаром для керосина, что стояла на столе президиума. И стало абсолютно темно.

Голиков успел крикнуть: «Ложись!», ожидая, что в зал полетят гранаты. В кромешной тьме с гулким грохотом опрокинулись на каменный пол тяжелые скамейки. Кто-то охнул от боли, хлопнула дверь, послышалась возня.

— Никого не выпускать! — снова крикнул Голиков.

Опять началась стрельба. Он отскочил в нишу возле стола и выхватил маузер. Что делать дальше, Голиков попросту не знал. Выстрелы оборвались. Возня продолжалась. Стоило чиркнуть спичкой, как бандиты снова могли открыть стрельбу. Кроме того, кругом был разлит керосин. Но держать людей в напряжении, в полной темноте тоже было нельзя.

— Товарищ Голиков, мы этих бандюк схватили,— раздался во мраке напряженный голос, будто человек взвалил на себя большую тяжесть.

Вспыхнул огонек спички, колебнулось пламя керосиновой лампы. Люди поднялись с каменных плит.

— Делегаты остаются на местах! — распорядился Голиков.— Арестованных — к выходу.

С пола возле трибуны встал Каташкин. В руке он держал наган. Аркадий Петрович хотел ему крикнуть: «Какого черта!..» — но это уже не имело смысла.

Из дальнего конца зала к председательскому столу вели двоих в откинутых башлыках. Это были молодые парни. Одному, длиннолицему, было двадцать два — двадцать три года. Другой, молодой хакас с реденькой бородкой, был еще моложе.

— Где третий?! — встревоженно спросил Голиков.— Где Соловьев?

— Там потайная дверца есть,— ответил человек лет пятидесяти, который крепко держал руки длиннолицего, завернутые за спину.— Он через эту дверцу ушел. Там наши мужики за ним побегли.

— Как через потайную дверь? — не поверил Голиков.

Готовя помещение к проведению съезда, Аркадий Петрович приказал забить эту дверь за бывшим иконостасом досками.

И вот она оказалась открытой. Соловьев знал, что доски будут оторваны. Кто их отодрал? Кто из людей, помогавших готовить помещение бывшей церкви, работает на Соловьева?

...Каташkin, не решаясь смотреть Голикову в глаза, объявил перерыв. Троє председателей, которые кинулись за Соловьевым через потайную дверь, его просто не нашли. Он не убежал, не умчался верхом — он куда-то юркнул. Голиков приказал осмотреть и обыскать все близлежащие дома и сараи, овчарни и конюшни. «Император тайги» словно растаял.

Голиков отправился к себе в кабинет и распорядился привести к нему арестованных.

Длиннолицый был родом из Саратова, окончил юнкерское училище, имел чин поручика. Еще в училище увлекся стрельбой, брал призы на состязаниях. Считалось, что к стрельбе у него особый дар. А молодой хакас — он плохо говорил по-русски — был сыном охотника.

Когда же они попали в «горно-партизанский отряд» и Соловьев узнал, что эти двое свободно владеют любым огнестрельным оружием, он велел их поселить под охраной на заброшенной усадьбе лесника. Стрелков до отвала кормили, ежедневно давали водку. В подполе дома, где они поселились, был устроен тир — там они ежедневно упражнялись в стрельбе.

Неделю назад им начали ставить всего лишь по стакану самогона в обед и на ужин. Зато вместо пятиадцати револьверных патронов для стрельбы по мишениям им выдавали уже по двадцать пять штук в день.

— Два дня назад к нам в берлогу припожаловал сам Соловьев, — с кривоватой улыбкой на вытянутом лице рассказывал поручик. — Привез бутылку «Смирновской» и после ужина сказал, что есть работа: нужно попасть на важное собрание и погасить выстрелами лампы, но чтобы ни одного человека не задеть!

«Как мы пройдем на собрание, — сказал Соловьев, — моя забота. Вы гасите выстрелами лампы и бегите обратно к двери, через которую мы войдем. Там будут стоять верные люди. Они сначала нас пропустят, а затем выпустят и задержат остальных».

О потайной двери стрелки ничего не знали. Они кинулись к выходу, отвлекли на себя внимание... Успешность плана обеспечивалась прежде всего тем, что Соловьев хладнокровно обрек на заклание этих молодых парней.

О банде плленные ничего сообщить не могли. Соловьев не случайно поселил их отдельно.

Парней увели. Голиков стал ходить по кабинету. Еще час назад он, Голиков, сидел под одной крышей с Соловьевым. Если

бы Каташкин не допустил нелепости, был шанс поймать «императора тайги». Теперь Голиков понимал, что шанс был невелик. Соловьев предусмотрел многое и, если бы заподозрил, что замысел его раскрыт, начал бы палить по залу.

Но кто помог Соловьеву произвести замену делегации?.. Кто открыл забытый досками потайной ход?..

Если Соловьев желал произвести сильное впечатление, то он достиг своего. Отчаянная смелость «императора тайги», который явился на съезд, и не менее ловкий его уход взбудоражили умы. Было замечено и то, что в перестрелке не пострадал ни один человек. Если бы Соловьев бросил в зал дюжину лимонок, эффект был бы меньший.

А пока что съезд был сорван. Писать о нем в газетах не имело смысла. Судьба настоящих форпостовых делегатов оставалась невыясненной — они пропали. Начальник группы сопровождения, который привез Соловьева и двух стрелков, дал показания: поскольку они уже опаздывали, сани с делегатами ждали их у самого въезда в станицу. Был допрошен и Каташкин. Он признался, что поступил нелепо от сильного волнения. В партии его оставили, но с должности сняли.

Делегаты, не приняв никакого решения, разъехались по домам. И добрались благополучно. Об этом позаботился не только Голиков, но и Соловьев.

* * *

Из рапорта комбата А. П. Голикова:

...То, что среди населения создаются чуть ли не легендарные представления о неуловимости банды и ее вожаков, имеет серьезное основание.*

НАЧАЛЬНИК БОЕВОГО РАЙОНА

12 апреля нарочный доставил из Ужура пакет. В нем сообщалось: по приказу командующего ЧОНа губерния весь Ачинско-Минусинский участок разделяется на три боевых района. Начальником 2-го назначен комбат А. П. Голиков.

Граница 2-го боерайона проходила к западу от Енисея, к югу от рек Черный Июс и Чулым до реки Большой Улень. С юга участок отгораживала река Большая Тея. Голиков подсчитал: территория боерайона охватывала более 10 тысяч квадратных километров. Аркадий Петрович получил право самостоятельно принимать любые тактические решения.

Тем же приказом ему предписывалось: «Со штабом батальона в составе 40 человек, одним пулеметом и четырьмя пулеметчиками перейти в свой район и подчинить себе все расположенные на его территории отряды»*.

Голиков решил посетить места, где находились подразделения его батальона. Самым близким оказался курорт Шира.

Вместе с Аркадием Петровичем и его охраной на курорт Шира ехал немолодой доктор Иван Семенович, в шляпе, с двумя саквояжами, притороченными к седлу вместо переметных сум. Несмотря на солидный возраст, доктор привычно и легко чувствовал себя в седле и всю дорогу развлекал Голикова рассказами.

— У курорта Шира, куда мы с вами направляемся,— говорил доктор,— любопытная история. Открыли его шаманы. Если человека сваливала болезнь, шаманы били в бубны, бормотали молитвы, изгоняя злых духов, поили отварами и настоями из трав. Когда больному становилось лучше, они посыпали его купаться в озеро Шира и пить воду из местных источников. Многие после такого лечения совершиенно исцелялись. Со временем источники прослыли чудодейственными.

— Я не жалую и наших попов,— заметил Голиков,— а шamanов тем более.

— За четверть века я приглядился к ним,— ответил доктор.— Шаманы — явление сложное. С точки зрения европейского врача, шаман выглядит человеком невежественным. Скажем, он редко моет руки, не имеет представления о микробиологии, но успешно лечит корь, скарлатину, желтуху и даже оспу. Шаманы ближе к природе, нежели мы, врачи с дипломами. Они искусно срацаивают переломы, помогают при сотрясении мозга, знают растения, которые излечивают болезни желудка, печени, почек. У них свое представление о лечебном питании. Я бы сказал, шаманы являются хранителями народного опыта. Не владей они такими познаниями, к ним бы никто не стал обращаться: ведь за лечение надо платить. Конечно, свои секреты шаманы оберегают. Есть среди них люди корыстные и жадные, а есть очень добросовестные, но за то, что шаманы открыли лечебные свойства здешних источников, большое им спасибо.

Первые лечебницы здесь построил золотопромышленник

Цыбульский. По контракту — за три рубля! — он взял в аренду озеро на 24 года. Поставил несколько юрт для приезжих и позволил за плату делать это другим. Позднее озеро у него было отбранено. Появились теперешние постройки. Здешняя соль по цене восемь рублей за пуд успешно конкурировала со знаменитой карлсбадской. Местное население запасалось солью из озера на случай многих болезней.

В 1920 году курорт Шира был национализирован. 19 февраля 1921 года на него совершил налет отряд полковника Олиферова — более двухсот человек. Они забрали продукты, медикаменты и деньги, собирались пройти в Монголию, но через два дня были разбиты. А 5 октября прошлого года налет совершил сам Соловьев.

...Гарнизон курорта Шира был невелик — 36 человек. Рапорт отдавал низкорослый, плечистый командир с франтоватыми усиками, по-цыгански свободно сидевший в седле. Лихо отсалютовав саблей, он закончил рапорт: «Командир взвода Никитин».

Фамилия «Никитин» ничего Голикову не сказала, но он мог поручиться, что где-то со взводным встречался. Когда командиры спешились и пожали руки, Голиков спросил:

— Товарищ Никитин, а вы случайно не бывали в Арзамасе?

— Очень даже бывал, — ответил комвзвода, хитро, со значением улыбаясь. — Мы там стояли с эшелоном по дороге на Восточный фронт.

— Пашка?! Цыганок! — не поверил Голиков.

— А вы... — растерялся вдруг Никитин. — Аркадий?!

Они кинулись друг к другу.

Голиков был выше Пашки. И он оторвал Пашку от земли, и тот смешил болтал в воздухе ногами. Внезапно вспомнив, что они среди бойцов, друзья разомкнули объятия, быстро привели себя в порядок, и Пашка объяснил присутствующим:

— Мы встречались еще мальчишками. Мне уже было шестнадцать, а товарищу Голикову — только четырнадцать.

— Но Павел уже служил в разведроте, — добавил Голиков.

— И я решил помочь Аркадию, то есть товарищу Голикову, поступить в наш отряд. И повел к комиссару. Так, мол, и так, хороший парнишка. Надо бы зачислить в отряд. Комиссар Гладильщиков согласился и велел поставить на довольствие. И мы побежали получать обмундирование. А Гладильщиков взъярился и крикнул вдогонку: «А лет тебе, Аркаша, сколько?» И Аркадий на радостях: «Четырнадцать». Гладильщиков оторопел и говорит: «Тогда спачала, брат, подрасти». Вот он и вырос — и в длину, и по должности. А мне Гладильщиков этого не велел...

Все посмеялись. Голиков тепло простился с доктором. Поздно вечером Никитин повел Голикова к себе.

Павел был обрадован встречей со старым товарищем и в то же время расстроен.

— Видишь, и командиром полка ты уже был, и сейчас тебе дали боевой район,— сказал Павел,— а я только взводный.

— Что ты грустишь? Тебе двадцать лет. Просись учиться.

— Думаешь, не просился? Но у нас в разведке знаешь как: если задание потруднее — нужно внедриться в банду или держать связь с человеком, который в банде,— так Пашка. А как на учебу, то посылают других. Я уже просился и в школу ГПУ, и в летнюю, и в химическую. А мне: «Без тебя, товарищ Никитин, революция в настоящий момент обойтись не может».

— Не грусти, Цыганок, поймаю Соловья — помогу тебе с учебой. Я часто тебя вспоминал. Ты мне вроде крестного отца. После знакомства с тобой у меня все и началось: стал адъютантом, потом послали на командные курсы... Только теперь все чаще жалею, что я не рядовой.— И он рассказал, как его беспрерывно дурачил Родионов и Соловьев.

— Да, я уже слышал,— печально сказал Павел.— Касьянов дал маху, что не создал агентуры. Он был армейский человек. В атаку — пожалуйста, а работы агентурной не знал. И не любил. А тебе без своей разведки никак нельзя. Я б тебе ее наладил, только ты в Чебаках...

— Товарищ Никитин, назначаю вас заведующим разведкой второго боевого района,— с шутливой торжественностью объявил Голиков.

— А что скажет Ужур?

— Цыганок, в пределах района мои полномочия не ограничены...

ДВА НИКЕЛИРОВАННЫХ ШАРИКА

Штаб боевого района Голиков перевел в станицу Форпост (она еще называлась Соленоозерная). Лет двести назад 105 донских казаков прибыли сюда из Красноярска охранять Соленое озеро, где добывали соль. Они-то и основали Форпост.

Под штаб Аркадий Петрович арендовал дом Буданцева (у хозяина была еще одна изба). В служебном кабинете Голиков поначалу и спал, придумав одну хитрость. Складную дерев-

вянную койку он велел поставить справа от входа, рядом с письменным столом. А поздно вечером, задернув шторы и закрыв на ключ дверь, перетаскивал ее за дубовый книжный шкаф. Утром койка возвращалась на место.

Когда в Форпосте появился Цыганок, он иронически улыбнулся по этому поводу:

— Касьянов последнее время тоже всего боялся.

— Оставь Касьянова в покое. Нашим командирам, включая красноярское руководство, последнее время не хватало одного пустяка.

— Какого?

— Головы. Соловьев все время что-то придумывает. А мы сидим и ждем: «Что же «император тайги» еще выкинет?» А я посмотрел документы. Два председателя сельсовета были убиты выстрелами через окно. Так же в прошлом месяце был застрелен участковый милиционер, когда он составлял протокол в доме пострадавшего. Урок меткой стрельбы Соловьев нам преподнес и в Чебаках. Он хочет, чтобы люди не знали покоя даже у себя дома. Он ведет «психологическую войну».

— А чего ты добьешься, перетаскивая койку?..

— Соловьев уже гонял меня по тайге, потом звал к себе договориться, потом показал отчаянную храбрость, заявившись на съезд. Он надеется, что у меня тоже начнут трястись руки. Когда же он поймет, что я не из робких, думаю, он попытается меня убрать. И тут я сам иду ему навстречу. Застрелить меня днем сложно — возле штаба все время люди. А вечером — только часовой. Вот я и ставлю ему мишень. В кабинете у меня бывает народ. Где стоит койка, Соловьев и его начальник разведки Астанаев уже знают. Поглядим, кто прав — ты или я.

— Нужно просто на ночь закрывать ставни.

— Если мы начнем закрывать ставни, Соловьев догадается, что мы боимся ночного выстрела. И придумает что-нибудь посерьезнее, чем подослать охотника с винчестером.

— Усложняешь ты все, Аркаша.

— Очень жить хочется, Цыганок.

— Вот же Касьянова он убивать не стал.

— Не было нужды. Касьянов и так хватался за наган при каждом шорохе.

...Неделю спустя глубокой ночью возле штаба ударили два гулких выстрела. Хотя ставни в кабинете Голикова были закрыты (об этом распорядился Никитин), две тяжелые пули, пробив ставни и стекло, вошли в стенку в том самом месте, где койка стояла днем.

Стрелка не нашли. Только утром, когда рассвело, за сосед-

ским забором обнаружили берданку с раздувшимися стволами. В патроны был заложен по меньшей мере двойной заряд пороха.

Расстроенный Пашка, ведя расследование, был озабочен тем, что пули не застряли в ставнях и глубоко вошли в деревянную перегородку. Он их выковырял финским ножом. Это оказались два никелированных шарика, отвинченных от железной кровати. Их зарядили в ружье вместо жаканов.

С этими шариками в кармане Цыганок обошел все дома в Форпосте и соседних деревнях. Он надеялся найти кровать, от которой они были отвинчены. Не нашел.

А Голиков вечером того же дня, сидя у себя в кабинете, думал о том, что чудом спасся в Арзамасе, когда возле Стригulinских номеров его ударили ножом в грудь, и в другой раз, когда под Конотопом сорвалось крушение курсантского поезда, и когда под ногами его коня — это уже происходило на Тамбовщине — взорвалась самодельная бомба-чугунок. Для восемнадцати прожитых лет таких счастливых случаев накопилось немало. Сколько раз ему еще будет везти? Хотя нынешней ночью его спасло не слепое везение. Его спасли предвидение и расчет.

После покушения Аркадий Петрович устроил в сарае возле штаба тир. Каждое утро он заходил сюда и делал по нескольку выстрелов, пока не убедился, что одинаково уверенно попадает в мишени с правой и с левой руки.

НОВОСЕЛЬЕ

Никитин снял Голикову квартиру напротив штаба в доме Аграфены Кожуховской.

Аграфене было лет тридцать пять. При большой физической силе она оставалась изящной и тонкой, но умное, доброе лицо ее было некрасивым.

Муж ее, личность довольно темная, промышлял спекуляцией, памывал в соседнем озере соль, развозил ее по дальним деревням и продавал стаканами. Торговля шла бойко, и потому дома он подолгу не появлялся, однако с бандой, по наведенным справкам, дел не имел. Детей у них не было. Жизнь Аграфены текла уныло и одиноко, поэтому квартиранту она обрадовалась и обещала Никитину, что будет кормить Голикова и стирать ему белье.

Аркадий Петрович перенес из штаба свой чемодан. Хозяйка провела его в комнату, самую просторную в доме. Здесь было три окна — одно сбоку, два по фронту. Между окон стояли лавка, стол и две табуретки. Справа от стола была дверь в среднюю комнату. На эту же сторону выходила половина русской печки с лежанкой. Топилась печь из кухни-прихожей. А у левой стены громоздились широченная кровать с горой подушек и самодельный шкаф.

Голиков сразу подметил, что кровать хорошо просматривается из окон.

— Вы не будете возражать, если я поменяю кровать и шкаф местами? — спросил он хозяйку.

— Как вам будет удобно.

К обеду весь Форпост уже знал, что Голиков снял квартиру у Кожуховской и переставил мебель, потому что боится выстрелов из окна. Аркадия Петровича такая осведомленность устраивала, потому что спать он собирался не на кровати, а на печке, где толстая кирпичная кладка надежно прикрывала его от любых жаканов и никелированных шариков.

Когда Голико^в поздно вечером вернулся из штаба, хозяйка сидела с шитьем и ждала его к ужину.

— Как же вас звать? — спросила она, ставя глубокую миску с горячими щами.

— Аркадий Петрович.

— А можно, без людей я буду вас звать просто Аркаша? У меня мог бы^{ть} такой сын, как вы.

— Конечно.

— А устал ты, наверно, Аркаша, от солдатской службы? Домой небось хочется?

— Устал. Только дома у меня вроде как нет, — с печалью признался он. — Мать в Киргизии. Отец в Иркутске. В Арзамасе, где мы жили, теперь только сестры с теткой. И я уж подумываю: если разобъем Соловьев, не останься ли мне в Сибири. Нравятся мне здесь и реки с тайменем и хариусом, и тайга, где чего только не растет. И горы...

— Ну, коли тебе все так нравится, — засмеялась Аграфена, — чего долго ждать? Иди к Соловьеву в друзья да и живи с ним в горах.

Голиков насторожился, внимательно посмотрел на хозяйку, но, заметив насмешливые огоньки в ее зрачках, ответил:

— А что? Пожалуй, выкопаю себе, как Соловьев, норку и буду, словно граф, жить-погуливать.

После ужина, когда Голиков остался один, он придинул поближе керосиновую лампу, вынул из полевой сумки тетрадь,

купленную на базаре в Ужуре, и записал: «Переехал в Форпост». И отдельно, в рамке: «Помнить 23 августа 1919 г.».

Тогда под Киевом они с Яшкой Оксюзом не проверили под утро посты, и это чуть не привело к гибели целой полуроты.

…Закрыв дверь на крючок, поскрипев кроватью, будто он не мог на ней устроиться, Голиков тихонько встал, прихватил подушку, одеяло, забрался на теплую лежанку и мгновенно заснул. А часа через два, словно от толчка, проснулся, спрыгнул с печи, не зажигая света, оделся, защелкнул на себе ремень с кобурой и приоткрыл дверь из комнаты. Она скрипнула. Хозяйка сразу проснулась, выбежала из своей спальни.

— Батюшка Аркадий Петрович, куда ты? — всполошилась она. — Или тебе плохо спалось в моем доме? Я принесу еще перину.

— Не беспокойтесь, Аграфена Александровна. Спалось хорошо. Мне нужно сходить по делу.

— Еще ночь. Ты и дорог наших не знаешь. Отдохни. Скоро будет светать.

— Я быстро вернусь, — ответил он, отодвинул засов и вышел в ночь.

Голиков постоял возле крыльца, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Он не говорил об этом даже Паше, но с той минуты, как возле многолавки таинственно исчезло письмо к Соловьеву, его, начальника 2-го боевого района, не оставляло ощущение, что «император тайги» неотлучно находится рядом. Грустно посмеиваясь над собой, Аркадий Петрович все чаще сравнивал себя с Касьяновым, но разницу видел в том, что Соловьева он теперь искал сам.

Стараясь ступать как можно тише, с пятки на носочек, Голиков вышел со двора на улицу и направился вдоль домов, чтобы подойти к штабу со стороны огородов.

Бесшумному индейскому шагу Голиков выучился в детстве, начитавшись Майн Рида и Купера. Как и многое, это пригодилось на войне. Он шел по обледеневшему за ночь снегу. Все кругом спало. Окна многих домов были закрыты ставнями, будто люди нарочно не хотели ничего видеть и во что-либо вмешиваться. Соловьев не только пугал и обирал — он еще и разобщал.

Метрах в двадцати от штаба, ковыляя по огороду, Голиков подвернулся ногу и чертыхнулся.

— Стой! Буду стрелять! Кто такие? — раздался окрик.

— Голиков, — негромко ответил Аркадий Петрович, раздосадованный своей неловкостью, но довольный тем, что часовой не спал.

Часовым стоял Сучков, худенький парнишка из недавнего пополнения.

— Объявляю благодарность за хорошее несение службы,— тихим голосом сказал Голиков.— Что слышно?

— Собаки лают. Больше ничего, товарищ командир.

— Наступают самые трудные часы — перед рассветом. Не засните.

— Что вы, товарищ командир!

По докладам трех остальных караульных за время дежурства ничего подозрительного не произошло. Голикова это не успокоило, а насторожило. То была древняя, примитивная, но часто удававшаяся хитрость, когда противник затаивался, притворяясь, будто его поблизости нет.

Ночь была безлунной. Подсвечивал, поблескивая, весенний грязноватый снег. Голиков вышел на окраину села, забрался на невысокий Казачий холм. Увидеть с него можно было немного. Зато было замечательно слышно. Сидя на прошлогодней траве, которая простила из-под растаявшего днем снега, Голиков начал различать осмысленные звуки.

Заскрипела дверь. Донеслось шумное шевеление, разом застучало множество твердых копытец — проснулось напуганное овчье стадо. Зло залаяла собака и тут же умолкла.

Голиков замер. Человек, разбудивший собаку, мог быть знакомым, а то и просто своим. Что, если иса отравили? Нет, наверное, он успел бы скульнуть.

Голиков вслушивался во все это и запоминал, чтобы завтра уже отделять привычные звуки от новых, нечаянных. И еще он с грустью подумал, что находится в глухой обороне и полностью зависим от того, что изобретет Соловьев.

НЕОЖИДАННОСТЬ

По обыкновению, ровно в полдень Голиков пришел домой.

— Обед готов? — с порога спросил он.

— Давно все готово, чтобы вас, Аркадий Петрович, не задерживать, — ответила Аграфена.

Она говорила ему «вы», если была чем-нибудь недовольна. Сейчас ее обидел сам вопрос. Еще не было случая, чтобы она вовремя не накормила квартиранта. На столе уже стояли соле-

ный хариус, кислая капуста, клюква в мисочке. Пока Аркадий Петрович пробовал рыбу, Аграфена принесла щи в чугунке. Голиков съел две тарелки. Аграфена вышла на кухню и вернулась с большой сковородой котлет и жареной картошкой. Голиков, продолжая думать о чем-то своем, съел все котлеты. И только тут спохватился:

— Чего это я? Вроде и есть не хотел.

— Батюшка ты мой Аркадий Петрович,— всплеснула руками Аграфена,— ты ведь, как бычок мой Миша, целый день ходишь. Кушай на здоровье. Я еще сковороду пожарю. Мяса много. (Голиков ничего не ответил.) Да что с тобой сегодня? Письмо плохое из дома получил? Или по службе неприятности?

— Да нет. Про Соловьева все думаю. Понять бы, что он за человек!

— Да ничего в нем, Аркаша, особенного нет,— ответила Аграфена, составляя грязную посуду.— Росту он попиже твоего. Волосом потемней. И в плечах не сильно широк. А сила в нем медвежья. Бывало, в охапку сгребет...

— Кто сгребет?!

— Здрасте. Ты же про Ивана спрашиваешь?

— А ты его откуда знаешь?

— Что с тобой, Аркаша? Да вон его избушка на одном боку стоит. В школе мы с ним за одной партой сидели. А когда подросли, он ухаживал за мной. Так-то ничего, хороший парень был. Семья большая, жили небогато. С чего он в бандиты поился, до сих пор не пойму. Кабы его на Черном озере не арестовали и не повезли неизвестно зачем в Ачинск, он в тайгу, может, только шишковать и ходил бы.— И Аграфена понесла тарелки в кухню.

«Как же я мог позабыть,— ошеломленно думал Голиков,— что Соловьев жил в Форпосте?!»

Аркадий Петрович поднялся и тоже вышел в кухню.

— Ты что, влюблена в него была? — подозрительно спросил он, останавливаясь на пороге.

— Не только влюблена — я с ним чуть было не обвенчалась. Арестуешь меня за это? Тоже отправишь в Ачинск? — с вызовом спросила она и плеснула горячую воду из чугунка в таз.

Но ехидное замечание Голиков пропустил мимо ушей.

— А чего ты не пошла за него замуж? Или он тебя не любил?

— Почему?! — обиделась Аграфена.— Любил. Я хоть и не красивая, а в девках отчаянная была. Кому хочешь голову задурить могла. А поломалось всё из-за моей глупости. Поссорились мы, я и крикнула: «Чтобы ноги твоей в моем доме не было!»

Думала — через день-другой прибежит, куда денется. Знал ведь, что я его люблю, и сам любил. А он взял да назло мне и женился.

— Жалеешь?

— Жизнь свою бессчастную жалею,— ответила Аграфена, замешивая в кадуашке тесто, чтобы испечь утром хлеб.— И за красавца своего вышла потому, как было все равно за кого... И Ваньку при этом ждала. Думала, прискакет, прыгну к нему в возок в чем стою — и хоть на край света!

А встретились уже после войны, когда ваши его отпустили. Смотрю: вроде Ванька мой, а глаза жесткие, чужие. Напомнила, как гуляли, как целовал он меня, какие слова говорил. Он глазами одними усмехнулся. То ли моей глупости, то ли нашей с ним общей.

Я и тогда еще была готова к нему в возок. А уж когда он сделался разбойником, помолилась Богу, что я не с ним, хотя со мной он, может, и не стал бы таким.

— А ты ведь и сейчас его любишь, Аграфена.

— Люблю. Только того, прежнего. Потому как в моей жизни больше ничего хорошего не было. А теперешнего ненавижу! — Она всхлипнула, быстро прошла к себе в комнату и грохнула дверью.

Через полчаса, когда Голиков уже надел шинель и стоял в дверях, появилась Аграфена. Лицо ее было хмуро, но спокойно.

— Ты, Аркasha, вечером на службе не задерживайся. В гости пойдем.

— Это к кому же? — Его здесь в гости никто не приглашал.

— К Анфисе Фирсовой. Подружке моей.

— А я-то здесь при чем?

Аграфена помолчала и произнесла очень тихо:

— Она долго у Ивана гостевала. Порасспросишь ее кой о чем, чего тебе надо.

Голикову от внезапного волнения сдавило горло.

АНФИСА

Анфиса их ждала. В зале был накрыт стол: соленые грибы, соленая рыба, холодная медвежатина, взбитое масло кедрового ореха, похожее на сливочное, источавшее тонкий запах кедровой смолы, творог и мед в мисках.

— Анфисушка, знакомься, мой квартирант,— сказала Аграфена.— Зовут Аркадий Петрович.

— Очень рада.— Анфиса протянула свою ладошку лодочной.

Ей было года двадцать два. Что сблизило их с Аграфеной? Анфиса была красива и знала это. Волосы не прятала под платком, а носила туго заплетенным венчиком. Голиков сразу вспомнил: как мама. И что-то теплое шевельнулось в груди. У Анфисы было разрумянившееся от волнения и хлопот лицо, которое вдобавок оживляли веселые, темные, полные ожидания глаза. Это ожидание делало взгляд таинственным и глубоким.

— Прошу прямо к столу,— радостным, певучим голосом заговорила она,— а то в печи уже все перепрело.

Голиков оказался меж двух дам. И Анфиса шаловливо-капризным голосом спросила:

— Груня, а гость наш не рассердится, если я принесу графинчик? Я его на холод, на лед поставила.

— Непьющий у меня квартирант,— с иронически важным видом пояснила Аграфена.— И на сестру нашу не глядит.

— Ежели они непьющие и вдобавок не замечают нашу сестру,— ответила Анфиса,— то с них за квартиру нужно брать вдвое.— И, не выдержав, прыснула.

— За что вдвое,— притворно обиделся Голиков,— если на посиделки Аграфена не ходит и меня не зовет. А сам я стесняюсь, что прогонят.

— В таком случае я вас, Аркадий Петрович, приглашаю в субботу. А теперь, пожалуйста, кушайте.

Голиков положил всего понемногу на тарелки Анфисе и Аграфене, потом взял себе. Женщины удивленно посмотрели друг на друга: такое им было в диковинку.

Минут десять за столом царило молчание, прерываемое похвалами хозяйке и предложениями положить еще. Наконец Аграфена сказала:

— Анфисушка, мы пришли к тебе по важному делу.

Румянец хозяйки мгновенно пропал.

— По какому? — робко спросила она.

— Аркадий Петрович интересуется Иваном.

Анфиса сделалась еще бледней. Голикову показалось: в доли секунды она постарела.

— Нечего мне рассказывать! — зло ответила Анфиса.

— Расскажи, как ты попала в лес и что там видела.

— Не буду. Что было, то мое...— Она стремительно поднялась и выбежала на кухню.

А возвратилась опять собранная, опять молодая, только в

зрачках уже не мелькали смешишки. Она несла блюдо с тушеной барабаниной.

Но всем уже было не до еды. Гости и хозяйка нехотя, в полном молчании съели по куску мяса с брусликой и картошкой. Готовить Анфиса была мастерица.

Отодвинув пустую тарелку, Аграфена сказала:

— Ты не гляди, что Аркадия такой молодой. Он старается за нас изо всех сил. А мы прячемся по углам.

— Ты бы ему и рассказала про Ивана,— обрезала ее Анфиса.— Кому его и знать, как не тебе.

— Я любила другого Ивана. Тот еще не был душегубом.

— Анфиса, мне правда нужна помощь,— сказал Голиков.— Можете — помогите. А разговор наш останется в тайне.

Анфиса вытерла кружевным платочком глаза, уперлась большими, сильными ладонями в край стола, точно она сидела в лодке, а кто-то пытался вытолкнуть ее за борт, и повернулась к Голикову. В ее красивом лице, в серых глазах появились такая решимость и ненависть, что Голиков невольно вздрогнул.

— Никому этого не рассказывала. И вам не собирались. Очень вы мне нравитесь... Думала: «Закручу любовь с хорошим парнем. Что мне до того, что он большой начальник?» Но коль скоро вам не любовь моя нужна, пусть хоть мое несчастье вам пригодится. Может, за это когда меня вспомните.— Анфиса прикрыла глаза рукой с батистовым платком, потом отняла его. Теперь лицо ее ровным счетом ничего не выражало, кроме душевной усталости.— Отправилась я за грибами с подругой...— начала Анфиса, глядя мимо гостей.

— С кем? — перебила Аграфена.

— Ты ее не знаешь. Наташей звали. Учителка. Познакомилась с ней в Ужуре. Она приехала из голодной Самары. Без денег. Что смогла — распродала. Зазвала я ее к себе. Обещала: «Прокормимся. И учителки нам нужны...»

Анфиса подняла глаза. Они были полны слез, и в них была мольба, чтобы ей позволили остановиться. Но гости ждали.

— Мы шли уже обратно, когда нас окружили мужики на лошадях. Были они с ружьями, и дух шел от них такой, будто они с рождения не мылись в бане.

То ли от страха, то ли от этого звериного запаха стало мне дурно. Я крикнула: «Наташка, кидай грибы — бежим!..» Мужики с прибаутками нас нагнали. Ох и поиздевались же они! Особенно досталось Наташке. Очень им нравилось, что она городская и что даже кричала она от боли и ненависти по-городскому. А потом повезли меня с ней в штаб к Соловьеву, словно мы шпионки.

— Вы помните дорогу? — мягко спросил Голиков.— Сумеете показать?

— Ничего я не запомнила. Нас перекинули через седла, будто кули с мукой. Когда я так ехала — без мыслей, без сил, — я только думала: еще минута, и я проснусь, потому что в жизни такое случиться не может. А когда поняла, что может, захотела умереть. И не сумела. А Наташенька сумела... Вы, Аркаша, извините, я скажу за графинчиком.

Анфиса опять вышла и вернулась с вином, поставила три рюмки, налила их доверху.

— За приятное знакомство, — горько усмехнулась она и выпила свою.

Аграфена пригубила, а Голиков пить не стал. Анфиса закусила беленским целым грибочком.

— Долго вы пробыли в лагере Соловьевы? — спросил Голиков.

— Четыре месяца. Мне повезло, меня оставили при штабе. Тут народ был почище, поблагородней. А то могли послать в лагерь, где один сброд и головорезы.

— Как же вы от Соловьева ушли?

— Иван Николаевич меня отпустил.

— За что?! — спросила Аграфена.

— Этого говорить я не стану.

Голиков увидел в глубине глаз Анфисы страх. Она себе налила еще рюмку и, не чокаясь, выпила.

— Если у тебя что с Иваном было, говори, — опустив низко голову, произнесла Аграфена.

— Успокойся. Не было ничего. Он мне даже попенял: «Что же ты, Анфисушка, не объявила моим охальникам, что мы с тобой из одного села? Кали б они знали, не обидели б». А мне от ужаса и в голову это не пришло.

— За что тебя Иван отпустил? — уже смелей повторила Аграфена.

— Не хочу говорить.

— Анфиса, я не смею настаивать, — вмешался Голиков, — но для меня важна любая подробность. И ни одно слово я не использую во вред вам.

— Я вам верю, — ответила Анфиса. — Я не могла там больше оставаться. Два раза убегала, но я не знала дороги, и меня ловили.

— Что же твой земляк сразу тебя не отпустил? — настороженно спросила Аграфена.

— Астанайка не позволил. А его сам Иван Николаевич боится. И потом, таких, как я, живьем из леса не

выпускали. — Анфиса опять налила себе и выпила. — Время от времени Астанаев убивал «лишних» женщин. Убивал и с детьми. Он любил убивать. Поэтому его так боялись. Для него убить человека — что другому надкусить пирожок. Я понимала, что близится мой черед, и... откупилась.

— Чем?! — не выдержал Голиков.

— Вы так строго спрашиваете. Я вас тоже начинаю бояться.

— Извините. Вы ни в чем не виноваты. Продолжайте.

— Последний месяц в лагере я почти не спала. Я уже знала, что женщины убивают «по закону». Собираются Астанайка, Соловьев и полковник Макаров и решают... Однажды я несла суп. Слыши — шепчутся. Я испугалась, что они опять решают, и прислушалась. Макаров жаловался, что у них стало плохо с пулями. Я чуть не вылила себе на ноги чугунок. А после обеда подошла к Соловьеву и говорю:

«Отпустите меня, Иван Николаевич, домой. Я заплачу за себя дорогую плату».

Он засмеялся, сунул руку в карман и вынул полную пригоршню перстней с камнями и золотых монет.

«Больше этого?» — насмешливо спросил он.

«Больше».

Он перестал смеяться.

«Я знаю, где есть пулемет и пули к нему. Когда Колчак отступал, солдаты много чего прятали. А я случайно увидела».

— И вы Соловьеву все отдали?! — не удержался Голиков.

— Отдала. Пулемет уже не годился, а пули были в жестянках...

Голиков обещал ни в чем ее не упрекать и не упрекнул. А про себя подумал: «Сколько же народу убито твоими пулями, Анфиса... — И тут же мысленно сказал себе: — Какое право ты имеешь ее осуждать? По силам ли было ей бороться с Соловьевым и Астанаевым, если даже армия не в состоянии с ними покончить?»

— Обождите, — перебил Голиков Анфису, — но ведь когда вас отпустили, вы уже могли запомнить дорогу?

— Мне завязали глаза, посадили на лошадь, и двое из тех, что поймали меня и Наташку, привезли меня на ту же поляну.

— Расскажите, какие при штабе порядки, — попросил Голиков.

— Поют «Боже, царя храни». Жена полковника Макарова проводит беседы, что России опять нужен царь, потому что без него безобразия и разор. Есть в лесу и правила: «Белый партизан не говорит грубых слов», «Белый партизан не обижает мирных жителей, не отнимает их имущество». А что

они на самом деле творят в деревнях, вы знаете лучше меня.

— Про Ивана расскажи,— попросила Аграфена.

— Иван Николаевич говорит только тихим, ласковым голосом. Но что бы он ни говорил, все замирают. Он может ласковым голосом подозвать, чтобы наградить перстнем, и может таким же голосом объявить жестокое наказание.

— А как выглядит Астанаев?

— Он хакас. Носит бородку. Ходит тихо, крадучись. А зыркнет — так в душе все обваливается. Ему служат и старики, и маленькие дети в селах. Последнее время он что придумал. Захватит, допустим, Аркадий Петрович, вас. Привезет в лес, а родне говорит: «Если желаете, чтобы я Аркашу выпустил, узнайте мне то-то». И вся родня старается. Только выпускает он редко. Чаще говорит: «Это неинтересные новости. Старые». И люди уходят ни с чем.

— А если мы пойдем с вами на ту поляну,— сказал Голиков,— вы не вспомните дорогу?

— Я в тайгу больше не хожу. Но вам, Аркадий Петрович, помогу. Поговорю с одним человеком. Если договорюсь, сообщу Грунене.

ТРОЙНОЙ КЛПКАН

Гонец

Голиков с Никитиным приехали в Чебаки. Их сопровождали восемь кавалеристов.

Последнюю неделю в окрестностях Чебаков часто появлялись мелкие группы соловьевцев. То с ними сталкивались красноармейцы, то их видели местные крестьяне.

Правда, заметив красноармейцев, «горные партизаны» старались уйти, не вступая в бой. Но Голикова удивил такой случай. В селе Фыркал трое бандитов, забрав коня с подводой и пять мешков хлеба, оставили расписку, что конь с санями будет возвращен через три дня, а взятый «в долг» хлеб — осенью. Расписка была за подпись полковника Макарова. Надо полагать, она была заготовлена заранее. Однако сани и конь действительно были через три дня возвращены вместе с пустыми мешками.

Что все это означало: хитрость, перемену тактики или запоздалое намерение Соловьева вернуть добре расположение крестьян?

Предположим, размышлял Голиков, что Соловьев желает помириться с местным населением. Для чего? Чтобы облегчить добывание провианта или чтобы привлечь в свой отряд добровольцев?

Понять все это, сидя в Форпосте, было сложно. Вот почему Голиков с Никитиным отправились в Чебаки. Здесь они провели совещание с командиром местного отряда Иннокентием Сtryгиним и его бойцами, но уяснили из разговора мало и поздно вечером легли спать.

Стрыгин распорядился постелить гостям на втором этаже штаба.

Голиков задул огонь в керосиновой лампе. Натягивая на себя ворсистое одеяло, он блаженно подумал, что будет спать, пока не высится. Но их с Никитиным сон оказался коротким. Посреди ночи раздался тревожный конский топот. Потом он резко оборвался, кто-то спрыгнул на землю возле штабного крыльца, и мужской взволнованный голос произнес:

— Где командир?

— А какой командир тебе нужен? — переспросил часовой.

— Любой — только поскорей!

Голиков быстро оделся и спустился вниз.

Было начало третьего. Как доложил часовой, Сtryгин пошел проверить посты (такой порядок Голиков завел во всех своих гарнизонах), и Аркадий Петрович оглядел ночного гостя. У крыльца стоял высокий парень лет двадцати. При свете луны было видно, что он одет в черное драповое пальто с бархатным воротничком и серую заячью шапку с длинными ушами.

— Товарищ, пойдемте со мной, — пригласил его Аркадий Петрович и провел в свой бывший кабинет, который теперь занимал Сtryгин. — Я начальник второго боевого района Голиков. Кто вы?

Гонец снял шапку, вытер ею красное, с легким пушком на щеках лицо.

— Я с рудника «Богомдарованного», — ответил парень. — Моя фамилия Донников. Я заведую Домом культуры. Управляющий рудником товарищ Дюпин просил передать, что вчера, в пятом часу дня, на рудник налетела банда. Она забрала все золото, двенадцать килограммов триста восемнадцать граммов, и все продукты на складе. Продуктов было мало. А бандиты, видать, изголодались и начали шарить по квартирам рабочих. Забрали все до кручинки и увезли. Сегодня утром даже детям не из чего будет сварить кашу.

— Сколько на руднике рабочих? — спросил Голиков.

— Да народу-то у нас много, но дали всего пять винтовок.

Управляющий просил: «Добавьте хотя бы еще десяток!» Ему отказали. Мол, для охраны рудника хватит. И пятеро наших рабочих отстреливались. Но патронов тоже дали мало: по тридцать штук. Скоро кончились. Соловьев захватил наших стрелков. Сигнал народ, объявил, что троих приговаривает к казни, и велел своему помощнику Чихачеву отрубить им головы. Чихачев почему-то заробел. Тогда Соловьев выхватил свою саблю, двоим отрубил головы, третьего тяжело ранил. И они ускакали.

— Сколько было бандитов?

— Товарищ Дюпин велел передать: шестьдесят человек. И на подводах у них стояло три пулемета. Два станковых, один на ножках, ручной.

«Как же можно было дать на рудник всего пять винтовок? — подумал Голиков. — Армия сокращается. Винтовками забиты все арсеналы. Готовя налет на рудник, Соловьев рассчитывал на серьезное сопротивление. Иначе бы он не взял пулеметы. А тут всего пять винтовок. И как теперь можно вернуть эти двенадцать килограммов золота, которыми мы расплатились за чью-то глупость? Я не говорю уже о людях, которых не вернуть, и о продуктах, которые бандиты увезли».

— Товарищ Дюпин сказал, что в ответ на бандитский налет мы намоем другие двенадцать килограммов, но он просил прислать бойцов для охраны рудника и помочь с доставкой хлеба.

— Хорошо, — ответил Голиков. — Один не уезжайте. Утром поедете с отрядом. А сейчас пойдемте поищем, чем вас покормить.

Голиков не знал, что с бывшим заведующим Домом культуры Василием Донниковым они в конце 20-х годов встретятся, будут вместе работать в Архангельске, в редакции газеты «Правда Севера», и на всю жизнь останутся близкими друзьями.

Положение осложняется

Ограбленный рудник принадлежал к числу самых золотоносных. До 1917 года им владел Иваницкий. А началась история рудника с того, что один старый охотник, который сроду не держал в руках золотой монеты, нашел увесистый самородок и принес его мелкому дельцу Федулову. Тот сказал, что это медный колчедан, и подробно расспросил, где «колчедан» был найден.

— Ты верный человек, — похвалил Федулов простодушного старика, — я тебя награжу.

И подарил два ведра спирта, фетровую шляпу, штуку плиса на штаны и широкий пояс...

Но сам Федулов не имел капитала, чтобы построить рудник, и предложил Иваницкому купить у него золотоносный участок на таких условиях: две с половиной тысячи золотых червонцев сразу и по пуду золота ежегодно. Иваницкий, разведав запасы, согласился, назвал рудник, который достался по дешевке, «Богомдарований». И вот теперь к руднику протянул руку Соловьев.

Из Чебаков на рудник был послан отряд Козлова в 20 штыков. Вскоре с «Богомдарований» поступил подробный рапорт. «Численность банды, которая участвовала в налете, не преувеличена, — сообщал Козлов. — Поскольку нечем кормить рабочих и их семьи и добыча золота может остановиться, руднику выделили 253 пуда хлеба, который находится в Яловой. Получены сведения, что банда готовится отбить обоз. В налете собирается участвовать сам Соловьев. Прошу усилить мой отряд».*

Голиков показал донесение Никитину.

— Восемьдесят мешков муки! — Пашка присвистнул. — Если Соловьев их перехватит, он сможет спокойно сидеть в тайге целую весну. Конечно, отдавать хлеб нельзя.

— А где я возьму людей сопровождать этот хлеб? — сердито спросил Голиков. — Двадцать человек я уже послал охранять рудник. Не меньше тридцати придется послать охранять обоз.

— Попроси — Ужур подбросит.

— Тебе не кажется, что мы становимся ночныхми сторожами? Нам не хватает только колотушки, чтобы в нее бить и кричать: «Соловей, не подходи! Мы здесь!»

Пашка ушел.

Аркадий Петрович шагал по комнате, садился, снова вставал, однако в голове не появлялось ни одной дельной мысли. Раза два забегал Никитин, по всем по другим делам.

Голиков почувствовал, что утомился и его клонит в сон, но решил: пока чего-нибудь не придумает, не ляжет. Он надел шинель, папаху и вышел на улицу.

Кивнув часовому, Аркадий Петрович повернулся направо, отшел от штаба шагов на двадцать и услышал шепот:

— Голик... Голик...

Аркадий Петрович вздрогнул. Справа от него зиял дырой полусгнивший забор давно брошенной усадьбы. Из дыры выглядела голова в мохнатой шапке. Шапка налезала на глаза, и разглядеть лицо было невозможно.

— Голик, давай сюда! — снова позвала мохнатая шапка.

Шепот скрадывал интонации, но голос показался Аркадию Петровичу детским и знакомым.

— Гаврюшка, ты, что ли?! — засмеялся обрадованный Голиков.

— Я давно тебя жду, — ответил мальчик.

Он схватил Голикова за руку и потянул за собой в дыру. Аркадий Петрович с трудом в нее протиснулся. Когда же он расправился, Гаврюшка ткнулся ему лицом в живот и заплакал.

— Ты чего? Снова побил отец?

— Астанайка...

— Астанайка побил?! За что?!

— Да нет. Астанайка прислал трех дядек. Они забрали мамку.

— Куда?.. Зачем?..

— Который забирал, сказал отцу: «Послужишь нам — отдадим». Посадили мамку в сани и повезли.

— Чего они хотели? Как отец должен им послужить?!

— Не знаю. Мамка кричала: «Отпустите!» И еще кричала: «Митька, спаси меня!» И отец бежал рядом и держался за сани, и они его ударили ружьем.

Голиков прижал Гаврюшку к себе. Под истершейся шубейкой вздрогивали худые лопатки и плечи мальчика. Голиков чувствовал себя виноватым, что люди Астанаева (он по привычке называл их «люди», хотя людьми они перестали быть давно) увезли в лес Гаврюшку мать и там ее ждала, в лучшем случае, судьба Анфисы. А главное заключалось в том, что он, обладая на территории района неограниченной властью, был бессилен помочь ребенку.

Ощущая, как под его руками пригревается и успокоенно затихает мальчик, Аркадий Петрович представил: вот он дома, в Арзамасе. За обеденным столом вся семья: отец, мать, тетя Даша, сестрички. И он, Аркадий, еще школьник. Внезапно в квартиру вваливаются несколько заросших мужиков, от них пахнет табаком, самогонкой и грязным телом. Они вооружены. Один из них хватает за руку маму, которая вышла к столу в белом кисейном платье. Она кричит: «Кто вы такие? Как вы смеете!» А ее уже подхватили под руки и волокут к дверям. «Петя, — молит она отца, — спаси меня!» Отец кидается ей на помощь, его ударяют прикладом. Мать бросают в телегу и увозят. Все, что должно было последовать за этим, было таким страшным, что Голиков не смог досмотреть даже в воображении.

Внезапно он вспомнил: «Старуха!» Он вспомнил Ново-

Покровское, согнутую колесом старуху, у которой бандиты отобрали золотые монеты, и ее предостережение: «Гявря, худо будет!»

«Это месть их семье за то, что Гаврюшка показал мне, куда поскакал Родионов,— подумал Голиков. И тут же успокоил себя: — Нет, в прошлый раз Соловьеву было нужно, чтобы я бросился в погоню за Родионовым. Выходит, я тут ни при чем. Только зачем же им попадобился Гаврюшкин отец?»

— Как ты попал в Чебаки? — спросил Голиков.

— Отец поехал искать Астаная,— ответил Гаврюшка.— Только Астанай может отпустить мамку. А мне велел ждать его у бабки. У нас тут живет бабка. Она даже ночью плачет.

— Отец знает, где можно найти Астаная?

— Голик,— испугался Гаврюшка,— молчи. А то Астанай убьет мамку.

— Я никому ничего не скажу.

«Мало того,— подумал Голиков,— что я не в силах помочь ребенку, я еще пытаюсь через него что-то выведать».

— Голик, я зачем тебя жду,— сказал Гаврюшка.— Соловей пилит лес.

— Пусть пилит,— рассеянно ответил Аркадий Петрович,— тайга большая.

— Голик, ты не понимаешь. Ты едешь по дороге, а дерево падает тебе на голову.

— Завал? Он готовит завал? В каком месте?

— Сопку с человечьим лицом знаешь? На другой стороне дороги. Я пойду. Ладно? — Гаврюшка юркнул и исчез.

Сопка стояла километрах в пятнадцати от рудника, если ехать из Яловой. Значит, Соловьев уже знал, что па «Богомдарованный» должны везти хлеб. Астанаев со своей агентурой трудились не впустую...

И тут у Аркадия Петровича возникло первое подозрение.

Когда в Ново-Покровском Гаврюшка показал дорогу, так совпало, что это же нужно было и Соловьеву. Что, если и теперь Соловьеву нужно, чтобы он, Голиков, узнал о завале?

Аркадий Петрович вернулся в штаб, поднялся на второй этаж и разбудил Никитина.

— Ну, чего тебе не спится? — недовольно спросил Павел, с трудом разлепляя глаза.— Мне через час уже вставать.

— Боюсь, Цыганок, нынче тебе уже спать не придется,— ответил Голиков и поведал о своем знакомстве с Гаврюшкой и сегодняшней встрече с ним.

Павел сел на койке и сказал:

— Думаю, мальчишка подослан.— И стал крутить барабан нагана, который вынул из-под подушки.— Ты погляди: у «императора» все номера похожи один на другой. В Ново-Покровском нарочно обидели увечную старуху, чтобы ты ее пожалел и кинулся за Родионовым. Теперь для тебя разыгрывают новое представление: увозят мать знакомого тебе мальчишки, велят отцу сказать, что будто бы он идет искать Астанину, а Гаврюшке будто бы ненароком дают подглядеть, что готовится завал.

— Ты полагаешь, они меня считают дураком?

— А за что им тебя считатьшибко умным? Если бы Соловьев не подбросил тебе письмо, ты бы и сейчас думал, что чуть-чуть не поймал Родиона. Вот они и решили все повторить. Знаешь, в цирке самый бешеный успех имеют номера для чувствительных простаков.

— А если мы с тобой всего лишь напуганные простаки?.. В Ново-Покровском Гаврюшка помог Соловьеву тем, что захотел помочь мне. Но и без Гаврюшки я бы кинулся в погоню за Родионовым. А если считать, что Гаврюшка уже тогда был подослан, то нужно было подстроить и сцену на дороге, когда Гаврюшкин отец гнался за ним, а я не позволил его бить.

— Посмотри, как интересно получается: мальчишку лупит отец, а доброе чувство у него к тебе. Потом Астанайка увозит у мальчишки мать, а доброе чувство у Гаври опять к тебе. Тебе это не кажется подозрительным?

— Не кажется. Но предположим, ты прав,— начал сердиться Голиков.— Гаврюшка помог Соловьеву в Ново-Покровском, и его же послали сообщить, что готовится завал. Теперь мы знаем о завале. Как нам следует поступить?

— Задержать обоз, чтобы Соловьев не перехватил хлеб.

— Ты полагаешь, Соловьеву нужен хлеб?

— Еще бы.

— Тогда зачем ставить нас в известность, что готовится завал? Если мы повезем хлеб из Яловой — а Соловьеву известен маршрут,— то завал имеет смысл. А если мы знаем, что готовится засада, то либо задержим обоз, либо отправим по другой дороге. И задача Соловьева — отобрать хлеб — сильно усложнится. А ждать Соловьев не может. В ближайшие дни раскиснет дорога. Сообщение между поселками будет прервано. И Соловьеву с его разбойниками придется сосать в лесу лапу... Да оставь ты в покое револьвер!

Нikitin бросил наган, который шлепнулся на смятое одеяло.

— В том, что ты говоришь, есть здравый смысл. Но если у

Соловьева в тайге мозги отсырели и он думает по-другому?
А мы с тобой ему подыграем? — спросил Павел.

— Сначала мы с тобой все проверим.

— Когда проверять? Люди на руднике сидят без куска хлеба!

— А если поспешим, подарим Соловьеву в придачу к золоту еще и двести пятьдесят пудов хлеба.

У Павла снова от усталости начали слипаться глаза.

— Если даже мальчишка не подослан, хлеб везти по этой дороге нельзя.

— Можно. Я даже скажу: нужно.

Никитин нервно провел рукой по лбу, пытаясь прогнать сонливость.

— Или я чего-то не понимаю, или ты. Вот идет обоз. Перед мордой первой лошади на дорогу падает лиственница. Так? Обоз поворачивает назад. А путь уже отрезан другой рухнувшей лиственницей. Так? И что дальше? Кушайте, разбойнички, рабоче-крестьянский хлеб, только нас отпустите с миром?

— Цыганок, я не собираюсь отдавать хлеб.

— Но если ты повезешь его мимо сопки с человечьим лицом, считай, ты его уже отдал.

— Представь, что ты входишь в темную комнату, а я притаился в углу, чтобы огнеть тебя ножкой стула. Если ты этого не подозреваешь, то дела твои плохи. Но если ты уже знаешь, что я там притаился, а я не знаю, что ты знаешь, то еще неизвестно, чья возьмет...

— Это слишком мудрено для меня. Если ты позволишь, я вздремну часок, а потом отправлю людей в разведку.

— Спи, Цыганок, в разведку я пойду сам.

* * *

Из разведсводки 6-го Сибсводотряда

...Комбат Голиков выступил с 20 штыками в район Яловая, что в 20 верстах северо-восточнее улуса Итеменево... напал на след бандитов и выступил для розыска в тайгу... где ведет усиленную разведку. Голиков потребовал для усиления его отряда 30 штыков при двух пулеметах...*

Сомнения

Голиков возвратился из разведки смертельно уставший, но повеселевший. Он сам увидел две надпиленные лиственницы близ дороги напротив сопки. Самых бандитов поблизости не оказалось. «Император тайги», видимо, убрал «горных партизан», чтобы не привлекать внимания к будущей засаде, и, надо полагать, ждал, когда повезут хлеб.

План операции, который складывался у Голикова, начинал обрастиать подробностями и «привязками к местности». Аркадий Петрович похвалил себя за то, что отправился в разведку сам. Он теперь совершенно точно знал, где Соловьев готовит ему ловушку.

Возвратясь в Чебаки, Голиков принялся за подготовку операции, но его раздражал Никитин. Беспрекословно выполняя любые распоряжения, Цыганок не упускал случая намекнуть, что не верит в успех затеи.

Переспорить друг друга они не могли. Кто из них прав, должен был решить только бой. И Голиков мирился с возникшей ситуацией, поскольку больше никого из подчиненных он в свой замысел не посвящал, а в Ужур коротко сообщил, что просит направить еще один отряд для охраны хлебного обоза, не уточняя, как он намерен использовать подкрепление. Аркадий Петрович подозревал: Ужур его так же не поймет, как не понимает верный человек Пашка.

На рудник «Богомдарованный» Аркадий Петрович отправил связного. Тот передал Козлову пакет с предписанием: пятеро красноармейцев продолжают охранять рудник, остальные под командой Козлова едут в Яловую, получают муку и ждут дальнейших указаний.

Никитин ночью отправился с двумя пулеметчиками в сторону той же Яловой. На этом предварительные приготовления были закончены.

Козлов с бойцами, которые на время операции превращались в обозников; отряд в 30 сабель, присланный в подкрепление из Ужура; Никитин с двумя пулеметчиками и Соловьев со своими подручными — все теперь ждали распоряжений Голикова, чтобы приступить к действиям сообразно своим обязанностям и намерениям. А на руднике шахтеры и их семьи, голодая, который день ждали хлеб.

Сам же Аркадий Петрович сидел в своем бывшем кабинете в доме Иваницкого, еще и еще раз мысленно перепроверяя, все ли он учел. И когда убедился: да, из того, что можно было, он учел все, — Голиков опять задал себе вопрос, который не оставлял

его в покое: «А что, если там, где я видел подпиленные деревья, засада ложная, а настоящая ждет в другом месте?»

Голиков понимал: обоз в этом случае окажется без достаточного прикрытия, отряд Козлова понесет большие потери, мука попадет к Соловьеву. Что в случае такого провала ждет его, Аркадия Голикова, думать не хотелось.

Пока не было отдано последнее распоряжение, оставалась возможность все переиграть, то есть попросить Ужур прислать еще 60—70 сабель. В этом случае была почти полная гарантия, что Соловьев не осмелится напасть на обоз, а если осмелится, то получит решительный отпор.

Однако Голиков понимал: шумный бой, где Соловьев даже потеряет двадцать или тридцать человек, ни на шаг не приблизит окончательного разгрома соловьевщины. «Император тайги» силен не тем, что у него, по последним данным, около двухсот пятидесяти сабель.

«Пока люди не убедятся, что сам Соловьев уязвим, а значит, и смертен, как все,— думал Голиков,— любые усилия будут затрачиваться впустую. Поэтому я не имею права попасть впросак. Иначе я тоже стану... пособником Соловьева».

Аркадий Петрович взглянул на часы. Это была серебряная луковица фирмы «Павел Буре. Поставщик Двора Его Величества». Для принятия окончательного решения в распоряжении Голикова оставалось десять минут.

«Я еще могу отменить операцию,— сказал он себе,— и разработать другой план. Только неизвестно, будет ли он лучше. Ведь хлеб на рудник все равно везти придется мне.

Отмена операции станет лишь отсрочкой, проявлением моей неуверенности, которая будет замечена, потому что операция по существу началась — отряд Козлова уже в Яловой...

А если план оставить прежним, но подменить мешки? — неожиданно подумал он.— Хотя бы часть из них. Тогда в случае моей неудачи не весь хлеб попадет к Соловьеву... Нет, не годится. Подменить тридцать — сорок мешков муки отрубями или чем-то еще уже невозможно. Слишком много глаз приковано к отряду Козлова. Попытка заменить мешки откроет Соловьеву, что мне известны его намерения. И он исхитрится сделать что-нибудь другое, чего я не буду знать».

Аркадий Петрович взглянул на часы: в его распоряжении осталось еще четыре минуты.

«Хорошо,— продолжал рассуждать он,— план операции я оставляю прежним. Но есть несколько обстоятельств, которые продолжают вызывать тревогу. Первое. Может ли по дороге на рудник существовать еще одна засада?.. Да, может, но у меня

нет сведений, что она готовится. И потому я исхожу из того, что засада одна.

А если засад все-таки две и засада возле сопки — ложная? — продолжал он пытать сам себя. От этих мысленно произнесенных слов испуганно забухало сердце.— Если бы засада возле сопки была ложная, Соловьев попытался бы привлечь к ней мое внимание.— И мозг услужливо преподнес ему мысль, которой он больше всего боялся: — А если для этого к тебе и был подослан Гаврюшка?»

Голиков десятки раз спрашивал себя: имеет ли он право целиком полагаться на ребенка, когда речь идет о жизни людей и судьбе хлебного обоза?

«У меня нет оснований думать, что Гаврюшка был ко мне подослан в Ново-Покровском и теперь», — слабо защищался Аркадий Петрович.

И как всегда, когда Голиков решал какой-нибудь трудный вопрос, он услышал внутри себя голос другого, более старшего и хладнокровного человека:

«Если Гаврюшка подослан и все, что ты задумал, входит в замысел Соловьева, то последствия твоей ошибки могут быть самыми катастрофическими. Ведь Астанаев часто прибегает к услугам детей».

«Но чтобы так разыграть меня, Астанаеву с Соловьевым нужно было многое заранее учесть,— возражал Голиков.— И то, что я поеду в Чебаки, и то, что у Гаврюшки в Чебаках живет бабка, и то, что я допоздна сижу в кабинете. И то, что Гаврюшке, по легенде (если существует легенда), не следовало идти ко мне в штаб».

«Да,— согласился голос.— Но ты забываешь, что у Соловьева есть штаб, в котором сидят профессиональные разведчики. Они работали еще на Колчака. И если бы у Гаврюшки в Чебаках не было бабки (а она есть!), то была бы предложена другая версия его появления в селе».

Голиков чувствовал себя загнанным в угол. Он закончил два военных учебных заведения, где основательно изучалось разведывательное дело. Кроме того, он воевал уже четвертый год и представлял, на какие изощренные хитрости пускаются разведчики, чтобы выведать секреты противника или ввести его в обман.

Что на самом деле означало появление Гаврюшки в Чебаках, было самым слабым местом в цепи его рассуждений и логических построений. И сейчас, когда риск задуманной операции обнажился во всей своей беспощадности, Голиков признался себе, что все эти дни только и думал: подослан Гаврюшка или нет?

От этого зависел не только исход операции (где мог погибнуть и он, Голиков). Грозило рухнуть и его представление о человеческих ценностях. В своем понимании людей, в том числе детей, Голиков шел прежде всего от самого себя, от своих ребячих ощущений, которые позволяли угадывать нравственный склад человека. И если он ошибся в Гаврюшке, это означало, что он становится беспомощным в мире человеческих отношений...

Голиков допускал: Гаврюшка мог быть ему признателен, что он, посторонний человек, заступился за него на дороге. Однако начальник 2-го боевого района понимал, что Гаврюшка, если бы ему пригрозили, был бы вынужден пойти и на обман. То была жестокая логика войны, где человеческая жизнь порой ничего не стоила.

Если согласиться с доводом, что Гаврюшка подослан, то операция была обречена на провал. И Голикову следовало, пока имелась возможность, ее отменить.

И он уже с раздражением вспомнил первую встречу с Гаврюшкой на дороге. Мальчик — он был в одной клетчатой рубашонке и залатанных штанах — поднялся со снега. Стоял изрядный мороз, но Гаврюшка не чувствовал холода и черными, блестящими, широко открытыми глазами смотрел снизу вверх на Голикова, который сидел в седле. Глаза эти лучились изумлением, радостью и гордостью, что за него заступился целый отряд. И Гаврюшка понравился Голикову именно этим своим лучезарным взглядом, в котором уже не было ни обиды, ни злости, ни слез.

И, еще больше сердясь на себя за непростительную доверчивость, Голиков вспомнил и то, как три дня назад Гаврюшка позвал его, высунувшись из дыры забора. И он, начальник 2-го боевого района по борьбе с бандитизмом, полез в эту дыру, а там — он отчетливо понял это теперь — его могли бесшумно подхватить на длинные и тонкие ножи, которыми перерезают горло баранам. И если его там, за этим забором, в полусотне шагов от штаба, не закололи, то лишь потому, что Соловьеву было важнее заманить его вместе с отрядом в западню на дороге.

И Голиков подумал: «Если бы хитрость Астанаева удалась, Гаврюшка, став взрослым, сошел бы с ума при мысли, сколько народа из-за него погибло. Но скорей всего, Астанаев ликвидирует мальчишку, взвалив на него вину за провал операции».

Думать об этом было больно. Что-то в духовном складе мальчишки было Голикову дорого и близко... Но сейчас в

первую очередь нужно было отменить операцию, то есть задержать обоз в Яловой и отозвать Пашку, который небось уже намаялся в своем вороньем гнезде.

Рука машинально потянулась к колокольчику на столе. Пользовался им Голиков редко. Колокольчик на столе напоминал ему о тех днях, когда он служил адъютантом у Ефимова.

Голиков коснулся пальцами позолоченной дужки. И замер. Он вдруг отчетливо вспомнил лицо Гаврюшки там, за домом, когда мальчик сообщил ему про завал. Глаза Гаврюшки ввалились, под ними лежали черные тени, веки были переполнены слезами, в зрачках замерла боль, а детский лоб прорезали глубокие морщины. Перед Голиковым стоял старый мальчик. Так изменить ребенка могло только горе.

«Нет, он пришел сам».

Чья возьмет?

20 апреля после обеда пятнадцать пустых подвод прибыли в Яловую. Когда взвешивали муку, Козлов кричал на весовщиков, что у них не в порядке весы, а с него на руднике спросят за каждый фунт, и заставлял перевешивать. Потом он поднял скандал, что ему подсунули девять старых мешков, которые в дороге порвутся. Найти же другие, к тому же совершенно целые, оказалось делом не простым. Когда же наконец всю муку развесили, стемнело.

Козлов опять накричал на весовщиков, что из-за них он вынужден остаться с обозом ночевать, хотя на руднике голодают, и потребовал у председателя сельсовета отвести квартиры для его людей, которые будут спать по очереди: половина пойдет отдыхать, а половина — караулить мешки.

На самом деле ночевка в Яловой была запланирована, и на рассвете в поселок прискакал связной от Голикова. Связной устно передал Козлову распоряжение начальника боевого района. Козлов удивился, больше того, усомнился: или связной перепутал, или здесь что-то не так. Посыльный обиделся. Это был парень из разведвзвода, который привык, что его сведениям доверяют, и в подтверждение протянул полоску бумаги, на которой было всего четыре слова: «Сказанному верить. Арк. Голиков».

Бумажку Козлов на всякий случай спрятал в карман.

Связной поскакал обратно — доложить, что распоряжение передано и в точности понято. Мешки с мукой погрузили на подводы. У каждого бойца-возчика на коленях или под рукой лежала винтовка. Козлов, чтобы держать в поле зрения весь

обоз, ехал верхом. Бойцы, в том числе и Козлов, не предполагали, что участвуют сразу в трех операциях: по доставке хлеба, в операции Соловьева по перехвату обоза и в контроперации Голикова по разгрому «горно-партизанского отряда».

Козлов был совершенно сбит с толку. Распоряжение, доставленное связным, состояло из одной лишь фразы, одной команды, которую должен был отдать Козлов, если обоз попадет в засаду. Команда была странная. Причем она плохо вязалась с характером Голикова, который слыл человеком решительным и храбрым. Но полоска бумаги, спрятанная в партбилет, не оставляла сомнений в подлинности приказа. Голиков предусмотрел и такую деталь: на случай, если Козлов будет ранен, команду должен подать его заместитель, Домут.

Дальнейшие события развивались по хитроумному плану, разработанному Соловьевым и его штабом. Обоз медленно тащился по раскисающей от солнца дороге. Полозья саней то скребли по камням и грунту, то окунались в лужу, то весело скользили по крепкой, отполированной, промерзшей колее. И возчики старались не зевать, подгоняя коней, соскакивая на землю и помогая друг другу подталкивать застрявшие сани.

Красноармейцы догадывались, что вместо возчиков их посадили не случайно, и в коротких перемолвках между собой недоумевали: почему их не послали вместе с возчиками, которых тоже можно было бы вооружить.

...А Голиков позаботился прежде всего о том, чтобы в решающую минуту возле подвод не было суety.

Обоз тянулся по местам самым разбойным. Слева темнели сопки, то совершенно голые, только припорошенные снегом (от них веяло одиночеством и неизбывной тоской), то покрытые темным, будто сгоревшим лесом. По слухам, и на этих сопках Соловьев имел базы.

Попытки обследовать сопки ничего не дали. «Горные партизаны» наловчились в прямом смысле слова заметать следы, особенно от лыж. Огонь в своих жилищах они разводили только ночью, чтобы их не выдал дым. Зато с высоты открывался отличный обзор, который позволял держать под наблюдением обширные пространства. А разные способы связи, в том числе и голубиная почта, позволяли агентам быстро сообщать Аста-наеву и Соловьеву о всех серьезных перемещениях войск или о движении больших обозов.

Теперь, когда подводы с мешками медленно ползли вдоль холмов, Козлову и красноармейцам невольно приходили на память слухи и легенды о Соловьеве. Козлов досадовал, что

Голиков неизвестно для чего приказал ему скандалить в Яловой и затем оставаться с отрядом там ночевать, вместо того чтобы ночью проскользнуть к руднику. Козлов знал, что бандиты не любят воевать в темноте.

Вообще вся эта затея Козлову не нравилась. Особенно его рассердил последний приказ, полученный через связного. В действиях начбюрайона Козлов заприметил опасную странность.

Козлов не знал, что весь путь от Яловой до рудника находится под неусыпным контролем Соловьева, что в этом случае «горных партизан» устроила бы и ночная засада, а Голикову для осуществления его плана требовалось светлое время суток.

Справа от дороги темнела тайга, хмурая и молчаливая, хозяином которой оставался Соловьев. И подтверждения этому долго ждать не пришлось.

Слева начали проступать очертания сопки с человеческим лицом, которая издавна пользовалась дурной славой. Лет семьдесят назад на этой дороге погиб старик старателъ, который всю жизнь бедствовал со своей семьей и считался неудачником. И вдруг именно ему выпал фарт: он нашел увесистый самородок, который, словно заячий столб, обозначил начало золотоносного участка. Пьяный от привалившего на закате дней счастья, старателъ нес в своей торбе золотой булыжник и кожаный мешочек с намытым на скорую руку золотым песком. Счастливчика, выйдя из зарослей, остановили два подлеца. Для них это был просто «жирный глухарь»...

Убийц поймали, но добычу они пропили. Семья старателя пошла по миру, а золотоносный тот участок больше никому не открылся. Место возле сопки считалось не только мрачным, но даже как бы и нечистым. И путники, пешие или конные, всегда спешали его поскорее миновать.

Это место было скверным еще и потому, что сопка и тайга подходили здесь особенно близко, создавая узкую горловину, которую легко было перегородить. Вот почему, завида громадное человеческое лицо, которое ветры и дожди высекли из холма, бойцы задергали вожжами, зачмокали, засвистели кнутами.

Внезапно в лесу что-то хрустнуло, сбоку от дороги вздрогнула высоченная лиственница. Задевая могучими лапами соседние деревья, она стала медленно, с нарастающим шумом и треском валиться к дороге, перегораживая путь.

Испуганно заржал, остановились и попятились лошади передних подвод.

На короткое время все заглушил грохот от падения громад-

нога дерева. Но едва он стих, как на дорогу, теперь уже в хвосте обоза, рухнула вторая лиственница.

Последним ехал молодой боец по фамилии Травин. Он был из городских. Среди товарищей славился безвредной чудаковатостью, которая выражалась в том, что он бывал часто задумчив, потому что сочинял стихи, но товарищи сильно зауважали Травина, когда пришла краевая молодежная газета, в которой его стихи были напечатаны.

Вожжи в руки Травину довелось взять впервые. Несмотря на предупреждение Козлова: «Не отставать! Не отставать!» — Травин не поспевал за всеми: ему досталась худая кобылка. Она то и дело озиралась, потому что рядом устало семенил жеребенок, и мать, беспокоясь, что он утомится еще сильнее, не желала идти быстро.

Всчи второй лиственницы накрыли подводу, на которой ехал Травин (боец успел лишь вскрикнуть), и раздавили мамулошадь. Только жеребенок, услышав треск падающего дерева, метнулся вперед на своих тонких ногах и остался жив.

Вторая лиственница захлопнула ловушку. С обеих сторон от дороги лежал снег. Хотя он днем подтаял и кое-где проступила земля, снег был еще глубок. Объехать по нему завал, не перегружая мешки, было невозможно.

Обоз попал в засаду в том месте, которое пользовалось самой дурной славой. По замыслу Соловьева, это должно было усилить испуг и растерянность подводчиков, которые, схватив карабины и винтовки, соскочили с саней.

После того как рухнула вторая лиственница и вскрикнул раздавленный Травин, после того как неистово продолжала скрести копытами мама-лошадь, у которой был перебит хребет, — после всего этого, вопреки ожиданиям Козлова и его людей, не раздалось ни единого выстрела.

Бойцы лежали на снегу, приготовясь к бою, но лес молчал. И когда прошли две или три минуты, Козлов решил, что это не засада, а, видимо, механически сработал «большой капкан», то есть были задеты натянутые веревки, отчего и рухнули подпiledные деревья, а самих бандитов поблизости нет. И вообще, деревья, возможно, были подпилены смеха ради.

Козлов крикнул: «Доставайте топоры и пилы! Быстро!» Он полагал: через четверть часа первая лиственница будет распиlena, в ней удастся сделать проход, и обоз вырвется.

Зазвенели пилы, затюкали торопливо топоры. Троє бойцов, тоже с пилами и топорами, кинулись к последней подводе. Они еще надеялись помочь Травину, но поэт, вдавленный изогнутым суком в мешки, уже не дышал. Двое его товарищей принялись

пилить этот сук, чтобы вытащить Травина и перенести на другие сани мешки, один из которых был отчасти попорчен, потому что по нему разлилась кровь. Третий боец, видя муки покалеченной лошади, хотел было ее пристрелить, но его шепотом остановили:

— Венька, ты что! Бандиты услышат!

А на дороге возле первой лиственницы уже оттаскивали в сторону сучья и дорезали толстый ствол. Нужно было лишь откатить отпиленные чурбаки. Бойцы работали споро и с азартом, полные воодушевления, что через минуту-другую они вырвутся из западни и оставят в дураках Соловьева и его бандюков. Для этого нужно было только развернуть чурбаки под прямым углом, образовав проход.

В этот момент раздался выстрел, негромкий, несерьезный, словно ребенок пальнул из пугача. Но все, кто находился возле завала и возов, уже готовясь в дальнейший путь, от игрушечного этого звука обмерли в недоумении: уж не малец ли какой над ними пошутил, пальнув из малокалиберного ружьца монте-кристо?

Время шло. Ничего не прояснялось. По счастью, снова не растерялся Козлов.

— Чего остановились?! — крикнул он.— Давайте!

И бойцы, которые разбирали завал, поднатужась, медленно откатили в сторону первый чурбак. В проход, который образовался, могла проскочить подвода, но все же он был узковат. Зацепись впопыхах сани — возникнет пробка.

Тут снова хлопнул такой же тихий, добродушный выстрел, от которого у Козлова и бойцов оборвалось все внутри.

Но Козлов крикнул: «Не зевай!» Возчики дружно облепили второй чурбак и почти на руках отнесли его в сторону. Проход был открыт. Схватив винтовки, пилы и топоры, бойцы кинулись к своим саням.

Вожжи первой подводы, в которую был впряжен красавец битюг, подхватил, сунув под мешки топор, красноармеец лет тридцати в подогнанном полушибаке. Борода на его широком лице была подстрижена лопаточкой. Держа под мышкой карабин, возчик не стал прыгать на сани, а легонько дернул повод. И застоявшийся на месте, еще подрагивающий битюг, напуганный тем, что его чуть не раздавило падающее дерево, легко стронул воз и ходко поволок его за собой, чувствуя, как и люди, что промедление опасно.

Битюг пересек линию недавнего завала. Ему оставалось сделать два-три шага, чтобы за этой чертой оказались и сани, в

которые он был впряжен. А за первой подводой уже тронулись другие.

Ахнул выстрел. Уже не куражный, не из дамского пистолетика, из которого крошечная свинцовая пулька летит на десять метров. Ударила винтовка — и красавец битюг рухнул.

Стрелял мастер, охотник, которому велено было все рассчитать. И он рассчитал. Битюг упал, закрыв своей могучей тушей проход. После этого бандиты дали поверх голов возчиков дружный залп.

Бандиты затаились в зарослях. Понимая, что обозу уже никуда не деться, Соловьев позволил себе безобидную, как он полагал, забаву и вместе со своей ватагой беззвучно смеялся, глядя на ловкие, быстрые, но бесполезные усилия красноармейцев, которые оказались в ловушке.

Раздосадованные и обозленные подводчики,бросив вожжи, опять схватились за винтовки и открыли ответную стрельбу. Из чащи снова ударил залп, и пули снова прошли высоко над обозом. Операция была задумана «императором» как триумфальная. Захват обоза он не хотел отмечать ненужными жертвами.

Поскольку на руднике Соловьев погорячился, казнив рабочих (и позднее, остыv, пожалел об этом), то сейчас он просто хотел отогнать подводчиков. Увезти муку они уже не могли. Мешки стали законной добычей «горно-партизанского отряда». А уйти парням Соловьев разрешал. Он дарил им жизнь и полагал, что обозники должны быть ему за это признательны.

Однако бойцы разбойным великолдушием не умилились. Им было стыдно отдать хлеб тому же Соловьеву, который обрек на голод весь рудничный поселок с малолетними детьми. А кроме того, в подводчиках появилась злость, что Соловьев над ними потешается. Бойцы, не сговариваясь, решили для себя: «Хлеб не отдадим!» — и открыли яростную стрельбу.

«Император» не ожидал отпора — сопротивление было бессмысленно — и, обозлясь, дал команду: «Лупите по лошадям!»

Одна лошадь была тут же убита, две ранены, несколько заметались в испуге. И все это случилось за каких-нибудь три минуты начавшегося боя, пока всех не удивил командр отряда Козлов.

Лишь только в завале образовался проход, Козлов поверили, что счастье улынулось ему и его людям, и поскакал в самый хвост обоза убедиться, что тело Травина и мешки с последней повозки перенесены на другие сани. И Козлов упустил момент, когда началась яростная стрельба, стали валиться покалеченные кони, а пули принялись вспарывать мешки, взбивая мучные фонтанчики.

Увидев, что отряд ввязался в бой, Козлов крикнул:

— Отставить стрельбу! В сопки! Всем отступать в сопки! — И, повторяя это, пронесся под огнем вдоль возов.

Такое распоряжение удивило бойцов. Они знали Козлова как человека хладнокровного и надежного. Конечно, когда кругом стрельба и ты в ловушке, то и хладнокровный человек может потерять голову. Ведь сам Козлов накануне объяснял, что хлеб не должен ни в коем случае попасть в руки бандитов.

Несколько бойцов, которые оказались послабее духом, вскочили и побежали в сторону сопки с человечьим лицом, другие замешкались, а кое-кто упрямо решил: «Не побегу!»

И тогда к этим упрямцам, которых больше всего собралось возле туши поверженного битюга, подлетел тот же Козлов. Возвышаясь в седле над возами, потрясая наганом, он закричал:

— В сопки! Или убью! — и рукой, в которой у него был зажат револьвер, схватился за простреленное плечо.

Отважные подводчики уже ничего не понимали в происходящем. Они только видели, что Козлов продолжает маячить под огнем в седле — значит, не трусит. Заметили, что бандитская пуля пробила ему плечо, а он все равно ждет, пока бойцы уйдут в сопки. И красноармейцы, кляня Соловьева, нехотя поднялись с земли, оторвались от возов и, отстреливаясь, стыдливо побежали в сторону от дороги, боясь взглянуть один другому в глаза.

Все они, конечно, понимали: хлеб спасти уже нельзя — бандиты от возов не отцепятся. И командир в этом скверном для отряда положении желает спасти людей. Но каждый, убегая, сознавал, что совершает подлость по отношению к голодающим.

Упорней всех оказался подводчик с бородкой, у которого убили красавца коня. Стоя в полный рост, даже не собираясь прятаться за мешки, он, не целясь, выпускал по лесу обойму за обоймой. Казалось, человек просто помешался. И Козлов крикнул ему:

— Михайлов, беги! Или пристрелю!..

Но Михайлов преспокойно вынул из кармана новенькую обойму и принялся неторопливо заталкивать ее ладонью в магазин.

Тогда Козлов, совсем близко подъехав к Михайлову, пальнул из нагана возле его лица. Михайлов повернулся голову, ненавидящим взглядом ожег командинра, провел рукой по крупу убитого коня и прогулочным шагом направился в сторону сопки.

А Козлов, еще раз окинув взглядом обоз и убедившись, что

возле подвод не осталось ни одного человека, оторвал запачканную кровью руку с наганом от простреленного плеча, вытянул ее в направлении леса, пальнул несколько раз, пока не опустел барабан, и тоже не спеша направил коня в сторону от дороги.

Козлов выполнил странное распоряжение Голикова: обоз с восемьодесятью мешками муки для голодающих был брошен.

Выждав, пока красноармейцы отбежали подальше от подвод, люди Соловьевы высypали из леса. Они сразу кинулись к возам. Один за другим раздалось несколько глухих выстрелов: «горные партизаны» прикончили раненых лошадей. Затем занялись обозом: кто-то считал мешки, кто-то выпрягал пристреленных лошадей, видимо намереваясь привести из зарослей своих, двое или трое воровато рылись в санях в надежде на быструю поживу.

Следом из леса вышла группа человек в десять. На плечах троих блеснули погоны. Но в этой небольшой и сплоченной толпе выделялся один, лет сорока, в серой каракулевой папахе и свежем полушибке. Он остановился возле мертвого битюга и начал что-то говорить, показывая на толстый, распиленный ствол дерева. Сопровождающие почтительно слушали. Это был Иван Соловьев.

«Император тайги» часто устраивал засады, но он впервые одержал такую внушительную победу. Захват 250 пудов муки, которые охранял целый отряд, уже нельзя было назвать бандитским налетом. Это была отлично выполненная боевая операция, где главная роль принадлежала четко налаженной разведке. Победа была тем внушительней, что во главе отряда красных стоял Козлов, человек бывалый и смелый. Для Соловьева было важно и то, что Козлов сразу оценил ситуацию и понял бесмысличество сопротивления.

Полагая дело законченным, Соловьев, чтобы его отовсюду было видно, забрался на возок.

— Орлы мои! — «Император тайги» обращался к своим «белым партизанам», которые рассыпались вдоль обоза и уже без стеснения обшаривали сани. Но, по замыслу Соловьева, его речь предназначалась в первую очередь тем, кто бежал в сопки. — Орлы мои! — повторил он. — Благодарю вас за храбрость и отличную выучку! Свободная Хакасия вас всех не забудет!

И здесь, совершенно некстати, татакнул пулемет.

— Кто там безобразит? — повернулся Соловьев к свите, совершенно уверенный, что гашетку по небрежности нажал один из его «партизан», потому что обозники были вооружены винтовками.

Но пулемет, будто пристреливаясь, татакнул снова. Пули пронеслись над возами. Не успел Соловьев сокочить с саней, как раздалась длинная очередь. Несколько бандитов кинулись на мокрый снег. И тут пулемет забил безостановочно, словно заходясь от ненависти, и к нему присоединился второй.

Это стреляли с печально известной сопки засланные туда пулеметчики под командой Павла Никитина. Свои гнезда они соорудили на деревьях, шагами измерили расстояние до края дороги и других ориентиров. И теперь, после двух суток полу-бессонницы и утомительного безделья, вкладывали в гашетки пулеметов всю свою ненависть к Соловьеву.

— По бандитам беспощадный огонь! — крикнул теперь уже и Козлов. Он не успел перевязать плечо и продолжал зажимать рану рукой с наганом. Сквозь пальцы по сукну шинели текла кровь.

Подводчики вслед за командиром поняли, что их отступление было хитростью, чтобы выманить бандитов из леса, и открыли яростную пальбу.

— Назад, это обман! — закричал высокий офицер из числа приближенных «императора».

Пожалуй, то был первый случай, когда кара на этом злодейском месте настигла самих злодеев.

Никитин сидел на ветке старого кедра, не отрывая глаз от окуляров артиллерийского бинокля, и корректировал стрельбу.

— По мешкам, Георгий, бьешь, по мешкам! — крикнул он одному из пулеметчиков. — А ты, Петюня, Соловьева мне достань! Он в новом полушубке!

Соловьев, пригнувшись, бежал впереди свиты к лесу. И пулеметчик Кошельков, который сидел на соседней от Никитина лиственнице, привязанный веревкой к двум толстенным сукам, чуть опустил похожий на самоварную трубу ствол ручного пулемета и полоснул очередью по убегавшей группе. Двое, отстав, осели на снег (на одном блеснули погоны). Петр отыскал глазами белый, новый полушубок, который на таком расстоянии сливался с нетронутым снегом на обочине, поймал Соловьева в прорезь мушки и нажал спуск. Но полушубок нечаянно заслонила костистая фигура в черном пальто, которая ткнулась лицом в снег, а Соловьев нырнул в просвет между деревьями.

Через минуту возле подвод осталось десятка полтора убитых соловьевцев, и двое пытались ползком добраться до зарослей.

Козлов — ему в этой кутерьме успели забинтовать плечо — снова взгромоздился на коня. Рядом с ним, будто с неба, появился Никитин.

— Козлов, ребята, а ну, вперед! Ура! — закричал Никитин и, вытащив длинноствольный сmit-вессон, кинулся в сторону обоза.

— Вперед! — подхватил Козлов, обращаясь к своим подводчикам.

Обрадованные красноармейцы, которые только что своими глазами видели, как бежал Соловьев, кинулись к дороге, пересекли ее и углубились в лес.

«Белые партизаны» отстреливались беспорядочно. Полные смятения, они стремились поскорее рассредоточиться. Для них, как для зверей, тайга стала родным домом, где можно было спрятаться, отсидеться, раствориться.

Но люди Козлова, у которых внутри все дрожало от только что пережитого унижения, не собирались отпускать соловьевцев. Подводчики бежали следом, паля из винтовок. И хотя их было раза в три меньше, соловьевцы спиной ощущали устрашающую ярость красноармейцев.

Один «белый партизан», за которым бежал подводчик с бородкой, не выдержал, обернулся, выстрелил в преследователя метров с десяти, но руки его дрожали, и он промазал. Времени перезарядить винтовку у него не было. Завыв от ужаса, мужик бросился в снег и закрыл голову руками.

Подводчик, добежав до него, остановился.

— Вставай! — велел он, задыхаясь от прерванного бега.

Мужик поднялся, все так же держа руки на затылке. Подводчик передал пленного хромающему бойцу, который уже вел других сдавшихся соловьевцев.

И все-таки люди Соловьева разбегались, растекались по лесу, просачиваясь между толстыми стволами.

Неожиданно в глубине леса ровно, заливисто застрелил пулемет. К нему присоединились еще два. «Белые партизаны» приободрились, кинулись все на землю и поползли навстречу пулеметам. А люди Козлова остановились. Придержал коня и сам Козлов, мучительно пытаясь понять, что же происходит теперь. И вывод был один: на этот раз уже Соловьев заманил их в такую же ловушку, какую устроили на дороге ему. Или «император» приготовил пулеметы на случай, если понадобится отойти, а красные начнут преследование.

И Козлов, проклиная весь нынешний день, уже было собрался отдать приказ к новому отступлению, когда пулеметы так же внезапно смолкли. В лесу на короткое время сделалось тихо, будто здесь не было ни одного живого человека. И раздался громкий мальчишеский голос:

— Гражданин Соловьев! Граждане «белые партизаны»! Вы окружены! Предлагаю вам сдаться! На раздумье — одна минута!
Это был голос Голикова.

Начальник боевого района с полусотней бойцов и тремя пулеметами зашел в тыл Соловьева, когда тот готовился к захвату обоза. И сейчас капкан для «императора тайги» окончательно захлопнулся.

Обоз пришел на рудник вечером. Его встречали все жители поселка. Здесь уже знали, что на дороге случился бой.

Впереди колонны ехали Голиков, Никитин и Козлов с подвязанной на платке рукой. Следом двигалась полусотня кавалеристов. Затем шли две подводы с убитыми бойцами. За ними — возы с мукою. А уже за возами бредли пленные, быть может, те же самые бандиты, которые сначала забрали на руднике весь хлеб, а потом пытались перехватить вот эти мешки, кое-где вспоротые пулями и наспех крупными стежками зашитые. Один мешок — он лежал наверху — был залит кровью.

Замыкала шествие вторая полусотня кавалеристов.

При въезде в поселок жители образовали коридор. Отцы прижимали к себе детей. Некоторые даже посадили их себе на плечи, чтобы сыновья и дочери навсегда запомнили: вот эти усталые и вроде ко всему безразличные люди рисковали жизнью, чтобы не отдать бандитам муку. А на двух возах, объясняли родители, лежат бойцы, которые приняли смерть, чтобы они, жители поселка, не умерли с голоду.

Голиков ехал с полузакрытыми глазами, покачиваясь в седле и прилагая немалые усилия, чтобы не заснуть и не свалиться с коня на глазах у всех. Пашка сидел па коне гордо и франтовато: все, о чем они с Аркадием договорились, он выполнил в точности. И хотя Цыганок сомневался в успехе, друга не подвел. И оказалось, что Аркашка прав. Соловью нынче досталось. А Козлов был удручен. Он жалел ребят, которые погибли.

А Голиков, проезжая с полузакрытыми глазами сквозь толпу, думал: «Да, хлеб мы спасли и ведем пленных и будем их судить. Да, мы перехватили инициативу у Соловьева, по цену заплатили непомерно высокую. И обиднее всего, что упустили самого Соловьева».

В этом бою Голиков и Соловьев снова оказались невероятно близко друг от друга. Готовя вторую ловушку, Голиков про себя надеялся, что «император» попадет в нее. Но не хватило людей, чтобы создать сплошной заслон. И Соловьев, как после объяснили пленные, с четырьмя своими охранниками уполз в какую-то щель, которую нашел в оцеплении.

Козлов на рассвете был отправлен в Ужур: предстояло извлечь из руки пулю. Голиков распорядился найти крытый возок и положить в него побольше сена. В сопроводительном письме в штаб Аркадий Петрович кратко обрисовал весь ход проведенной операции и отметил всех отличившихся. В первую очередь Никитина и Козлова.

Сапи раненого командира охраняли кавалеристы, которых штаб 6-го Сибсводотряда прислал Голикову на подмогу. Но двигалась колонна черепашьим шагом: полусотня еще конвоировала и пленных.

А Голиков и Никитин вернулись с бойцами в Форпост.

Голиков, не заходя домой, сразу отправился на службу. Как только Аркадий Петрович прошел в кабинет и сел за чистый, без единой бумажки стол (документы он хранил в переносном сейфе), вошел адъютант батальона Галиев. Это был рослый спокойный человек двадцати трех лет. В отсутствие начбоерайона Галиев исполнял его обязанности.

Пока Аркадий Петрович пил чай, Галиев уходил от разговора, что нового в Форпосте. Наконец, когда из кабинета унесли медный чайник, хлеб, мед и посуду, Голиков прямо посмотрел в глаза адъютанту.

— Что?

— В ту ночь,— ответил Галиев,— когда вы уехали из села, был заколот часовей Лаптев.

— Он жив?

— Нет.

— Убийцу поймали?

— Нет.

— Хоронили?

— Ждали вас.

— Тогда завтра. Пусть люди отдохнут. Что еще?

— Больше никаких происшествий.

— Извините. Мне хочется побывать одному.

Голиков хорошо знал Жору Лаптева. Он был родом из-под Рязани. Отец его служил лесником. Лаптев был уравновешен, улыбчив, сметлив, легко ориентировался в тайге, свободно читал следы и отлично стрелял. Он настолько выделялся среди бойцов врожденным тактом, разумностью своих суждений и

действий, что Голиков твердо решил: при первой же возможности пошлет его учиться.

Когда готовилась операция по спасению обоза и Голиков распределял обязанности между бойцами, в отношении Лаптева у него возникли тревожные предчувствия. И хотя Лаптев с его способностью ориентироваться в лесу был незаменим в тайге, Аркадий Петрович распорядился, чтобы Лаптева оставили охранять штаб. Голиков хотел уберечь парня от случайной пули и, сам того не желая, подставил под нож. В народе не зря же говорят: «От судьбы на коне не уйти».

Гибель Лаптева отдалась глубокой болью еще и потому, что, убивая часового, Соловьев сводил счеты с ним, Голиковым. «Император тайги» давал понять: мол, тебе, комбат, лучше бы не отлучаться из Форпоста. Это был ультиматум, перечеркнувший результаты последнего боя.

Не вынимая платка, Голиков вытер ладонью глаза. Предаваться печали долго не было возможности. Он нанес поражение банде в лесу и на дороге. Но люди Соловьева и Астанаева по-прежнему находились везде. Были они и тут, в Форпосте. По многим признакам Аркадий Петрович знал, что кто-то круглые сутки следит за происходящим в станице и сообщает в тайгу. Уже давно было замечено, что над крышами время от времени взлетают и уносятся ввысь почтовые голуби. Кто завозил голубей в Форпост, пока установить не удалось. Их не держали на голубятне, а где-то прятали.

Принимая любое решение, Голиков вынужден был помнить об этих всевидящих, круглые сутки бодрствующих глазах. Приходилось думать, как обмануть наблюдателей, чтобы в банде раньше времени не узнали о планах чоновского отряда.

В гибели Лаптева настораживали два момента: то, что наблюдатель перешел к решительным действиям (хотя мог быть прислан убийца-профессионал), и то, что Лаптев дал себя убить.

Голиков не был робок. Еще в детстве мать и отец учили его искать в любой ситуации активные и смелые решения. Это пригодилось в мальчишеские годы и особенно тут, на войне. Но Голиков боялся ножей, как могучие слоны боятся мышат, потому что ножи преследовали его всю жизнь.

Летом девятнадцатого, когда их, киевских курсантов, бросили в прорыв под Киевом и полурота остановилась на ночлег в Кожуховке, ночью ножом был заколот часовой. И полурота чуть не погибла.

Став в тот же день полуротным вместо убитого командира, Голиков дал себе слово, что будет каждую ночь проверять

караулы и напоминать часовым, что быть легкомысленным на посту смертельно опасно. С той поры, за два с половиной года, не произошло никаких несчастий по вине или благодушию часовых в ротах, батальонах и полках, которыми он командовал. Попадая на передовую, Голиков неукоснительно каждую ночь дважды обходил посты и сурово наказывал бойцов за любую небрежность в несении караульной службы. И вот, стоило уехать из Форпоста, словно в издевку, ножом был заколот Лаптев.

Подавленный этими мыслями, а еще больше тем, что от него в тайге ушел Соловьев, Голиков, злой и усталый, ввалился к себе на квартиру. К нему прямо с порога кинулась Аграфена.

— Наконец-то! — с упреком произнесла она, словно Голиков загулял на посиделках. — Анфиса прибегала два раза. Ты ей очень нужен.

Аркадий Петрович снял портупею, швырнул в угол прихожей шашку.

— Завтра. Сегодня никуда не пойду. Устал.

— Не может она ждать до завтра, — возразила Аграфена и перешла на шепот: — Человек у нее какой-то. Второй день тебя дожидается. Давай наскоро ополоснись, и зайдем на полчасика. Там и пообедаем. Анфиса покормит.

— Плесни мне водички, — обреченно попросил Голиков.

— Я и баню истопила, тебя дожидаюсь. Придешь из гостей — помоешься. И потом, Гаврюшка приходил.

— Гаврюшка?.. Он чего хотел?

— Плакал. Отец его, Митька, ходил к Астанаю выкупать ихнюю мамку. Астанай не отдал.

Голиков стянулся с ноги грязный, заляпанный глиной сапог, потом другой. Ходил поставить возле вешалки и вдруг с силой шваркнул об пол.

— Аркаш, ты чего? Или я чем тебя обидела?

— При чем здесь ты? Шагу не могу ступить, чтобы не наткнуться на Соловья!..

Через четверть часа в новой шинели и в новых сапогах, держа под руку принаряженную Аграфену, Голиков прошествовал к дому Анфисы. Аграфена несла аккуратную корзиночку с пирожками, завязанную чистой белой тряпичкой. И еще через полчаса вся деревня знала: «Голик-то с Грушкой гуляют нынче у Анфиски».

А настроение для гулянки было самым неподходящим. Голиков чувствовал себя виноватым, что бессилен помочь Гаврюшке, хотя именно ребенку отряд был обязан своим успехом. Наутро были назначены похороны Лаптева. А затем предстояло

написать письма родителям и женам погибших. Вот уже три года, если умирали бойцы, Голиков извещал их близких только сам.

— Извините, что опоздали,— церемонно произнес Аркадий Петрович, входя в дом Анфисы.— Я только вернулся. Аграфена сказала, вы ждете нас ужинать...

— Да уж вторые сутки жду,— ответила, сдерживая смех, Анфиса.— Ужин едва не проплыл.

Она снова была красива и оживленна, однако Голиков уже знал, какой душевный мрак умела она скрывать за своим оживлением, и уважительно пожал ей руку.

В комнате за приготовленным и еще не разоренным столом сидел высокий плотный мужчина с хищным крупным носом. Голова его густо поросла темным, негнувшимся, коротко постриженным волосом. Чернотой отливали брови и даже гладко выбритые щеки. На Голикова с Аграфеной он взглянул спокойно, без видимого интереса.

— Знакомьтесь,— предложила своим гостям Анфиса.

— Вася,— отрекомендовался темноволосый и, не подымаясь, протянул Голикову через стол громадную лапищу. А затем, поколебавшись, добавил: — Кузнецов.

— Аркаша,— нарочито простецки назывался Голиков, отвечая на рукопожатие.

На Аграфену Кузнецова даже не взглянул.

— Присаживайтесь, гости дорогие,— певуче пригласила Анфиса, показывая на лавку, где сидел Вася.

Но Голиков с Аграфеной, не сговариваясь, сели на табуретки с противоположной стороны стола: Аграфена потому, что обиделась на невежу, а Голиков потому, что так было удобней наблюдать за Василием.

— Мой квартирант, подружка, трое суток не ел: такая у него служба,— сказала Аграфена.— Я ему пообещала, что ты его накормишь.

— Да уж как-нибудь накормлю,— фыркнула Анфиса.

Она была в отличном расположении духа. То ли из-за приезда Кузнецова, то ли из-за прихода Голикова, то ли потому, что свела их вместе.

— Что же вы не бережете свое драгоценное здоровье? — с укоризной спросил Кузнецов.

— Много работы,— уклончиво ответил Голиков. Он не имел понятия, кто такой Вася, и не спешил вступать с ним в беседу.

Анфиса выбежала из комнаты и вернулась с запретным,

зеленого стекла штофом, виновато глядя на Голикова.

Аркадий Петрович притворился, что не заметил этого взгляда, а Кузнецов сразу ожиился. Голиков, положив на тарелки женщинам соленой рыбки, взял изрядный кус и себе и начал есть с хлебом, наблюдая за Васей.

«Не робок,— отмечал он,— кое-что в жизни хлебнул. Держится уверенно. Только не пойму: эта уверенность от избытка физической силы или оттого, что кто-то за его спиной стоит? Скажем, Астанаев? Нет, если бы Вася служил Астанаеву, Анфиса не стала бы водить с ним компанию... Теоретически,— поправил он себя.— А практически ей могли пообещать, что заберут ее обратно в лес, если она не подсунет мне Кузнецова...»

Анфиса налила всем в граненые стаканчики. Самогонка была плохо очищена. Над столом поплыл запах сивушного масла.

— Ну, со свиданьицем,— сказала она.

Кузнецов со всеми чокнулся и со скучающим видом выпил. Женщины только пригубили, а Голиков, смущенно улыбнувшись, поставил свою стопку на стол. Кузнецов удивленно приподнял бровь.

— Не могу,— простодушно объяснил Голиков.— Если выпьет боец, я обязан его наказать. Ведь в стране сухой закон. И я не делаю того, что запрещаю другим.— И принялся за еду.

Вторую рюмку Вася налил себе сам, женщинам добавил по несколько капель, «для освежения», укоризненно покачал головой по поводу нетронутого стаканчика Аркадия Петровича, произнес: «За все доброе!» — и выпил, уже не чокаясь. Тост Голикову понравился, и он спросил:

— Вася, хотите грибочек? — и протянул миску меленьких белых грибов.

— Наподдали, значит, вы нашему Ивану? — сказал вдруг Кузнецов.

— Слегка,— сдержанно ответил Голиков.

На самом деле Васины слова его взволновали. Аркадий Петрович не мог привыкнуть, что «деревенский телеграф» и здесь, в этой глупи с ее весенним бездорожьем, разносил новости со скоростью света.

— Ошибаетесь,— возразил Кузнецов.— Иван-то наш привык: нашкодил — уноси ноги. И еще привык он ваших командиров, извиняюсь, оставлять в дураках. Народ сильно смеялся, когда вам пришлось впустую побегать по тайге. А вчера вы, Аркадий Петрович, людей сильно удивили.

— Чем?..

— Что Ванька приготовил завал, про то знали многие...

— И никто не пришел сказать? — оборвал его Голиков.

— Почему же никто? — хитро усмехнулся Кузнецов.— Если бы вам не сказали, вы бы остались без хлеба. А вот что самому Ивану готовится двойной капкан, про то не знала ни одна душа.

— Соловьев-то все равно ушел,— мрачно заметил Голиков.

— Так ведь без хлеба ушел, — весело напомнил Вася. — И ни один барбос теперь не скажет, что Соловей всё видит и всё слышит. Астанайке Иван впервые расположился морду плеткой. Так что народ вас зауважал. Но Астанайку теперь опасайтесь пуще прежнего. Большего врага, чем вы, у него еще не было.

Это было важное известие, если оно соответствовало истине, но Голиков и теперь сохранил полную невозмутимость. Аркадий Петрович по-прежнему не знал, кто такой Вася и куда он клонит, а расспрашивать не спешил.

— Мужские разговоры начались,— с притворной обидой заметила Аграфена.— Пойдем, Анфиса, и мы поговорим.

— Иван давно всем поперек горла стоит,— сказал Кузнецов, когда женщины вышли из комнаты.— Не было на него управы. Люди опасались, что будет еще хуже. А теперь у людей появилась надежда. Даже кто не жалует Советскую власть — не желает власти Соловьева.

— Вы-то за что его не любите?

— Есть за что, хотя ко мне он относится хорошо. Звал несколько раз к себе в лес. Но я все отговаривалася: малые, мол, дети. Не могу оставить и не могу взять с собой.

— Все же это, по-моему, не мешает вам на него работать?

Лицо Кузнецова из смуглого сделалось серым, но он выдержал долгий взгляд Голикова и ответил:

— Да, я на него работал — не было выхода. А теперь хочу помочь вам.

— Что вы делали для Соловьева?

— Я сказал: дело прошлое. Теперь я хочу помочь вам.

— И чтобы не портить отношений — также и Соловьеву?

Сквозь смуглость на лице Кузнецова простирил теперь бордовый румянец.

— Хочу, чтобы вы знали: крови на мне, Аркадий Петрович, нет. И работать сразу на две стороны я не собираюсь.

— А как вы это объясните Соловьеву, если он заметит, что вы к нему охладели?

— Дети у меня все время болеют. Ни доктора, ни шаманы не могут помочь. Про это и скажу.

— Вася, вы знаете, где у Соловьева штаб?

— Я знаю, где штаб у него был. Но каждые три-четыре месяца он меняет место.

— Выходит, не знаете?

— Не знаю.

— Поглядите, что получается: какую вы оказывали помощь Соловьеву, вам говорить не хочется... Вы с Иваном Николаевичем приятели, ведь чужого человека он не стал бы к себе приглашать, но, где его штаб, вы не знаете. И при этом вы убеждаете меня, что я должен вам поверить, будто вы готовы мне помочь.

Лицо Кузнецова вытянулось, на лбу простили бисеринки пота.

— Я пришел по просьбе Анфисы. Она меня однажды спасла. Она предупредила... Ну, это неважно. И потом, идя сюда, я рисковал и рискую головой, если узнает Соловей или Силька, Сильверст Астанаев.

— А по-моему, вы пришли сюда, чтобы подурачить меня. В этом случае вы действительно рискуете головой.

— Тогда я вам ничего не говорил и мы с вами, почтеннейший Аркадий Петрович, не знакомы.

Кузнецов поднялся из-за стола.

— Гражданин Кузнецов, вы оторвали меня от дела, чтобы встретиться со мной, поэтому сядьте на место! Я вас еще не отпустил!

В комнату вбежала встревоженная Анфиса.

— Аркадий Петрович,— сказала она, глядя на Кузнецова,— я вам клянусь, что ничего плохого он вам не сделает. Василий, ты обещал помочь этому человеку. Упаси тебя Бог эту клятву нарушить! Ты меня слышишь?!

— Слышу.

Анфиса вышла.

— Не серчайте, Аркадий Петрович,— хрипло произнес Кузнецов.— Трудно, когда боишься одного хозяина, переходить к другому. Особливо, если прежним был Иван Николаевич... Скажите, есть у вас бумага?

Голиков вынул из сумки тетрадь, в которой он делал записи для себя и потому нигде не оставлял, и карандаш, раскрыл тетрадь на середине (там были чистые страницы) и протянул Кузнецову. Тот зажал карандаш в толстых пальцах и начал неумело, коряво рисовать:

— Вот здесь Форпост. Поедете прямо по дороге, километрах в пяти справа будет рухнувшая лиственница. Это примета. Возле лиственницы едва видная тропинка. Она выведет к заброшенной дороге, по которой возили лес. Доберетесь по ней до развилки. Повернете направо, пока не увидите пещеры. Вот здесь одна, здесь вторая, здесь третья. Вам нужна вторая. Войдете. Внутри, сбоку, будет узкий ход еще в один зал.

— Что там?

— База Соловьева. Он много чего там прячет. Только не берите ее сразу, деньков пять обождите. Я на время уеду.

Голиков смотрел на корявую схему, а сам думал. Кузнецов полного доверия не внушал, хотя за него и поручилась Анфиса. Аркадий Петрович понимал: Соловьевы не любят многие. И как только позиции «императора тайги» ослабнут, немало народу от него отшатнется. Но как отличить людей, которые отшатнулись, от тех, кого Соловьев будет подсыпать?

«Склад в пещере... — продолжал Голиков свои размышления. — А не ответная ли это ловушка? Или Соловьев жертвует складом, лишь бы я поверили Кузнецovу?»

В ту же ночь к пещерам ушла разведка. Она без труда обнаружила склад. Двое бойцов, затаясь, бесшенно продежурили возле пещер четверо суток, ничего подозрительного не обнаружили, о чем и доложили в Форпост.

Тогда с обозом в лес и прибыл Аркадий Петрович. Чтобы сбить лазутчиков Астанаева с толку, за два дня до выезда было объявлено, что батальон берется доставить семьям погибших красноармейцев дрова, которые не были привезены из-за нехватки транспорта зимой. Дрова действительно развезли, но часть подвод ушла к складу.

...При свете факелов Никитин повел Голикова в пещеру. Здесь можно было идти только согнувшись. Когда откатили два тяжелых, хорошо пригнанных камня, открылся ход в громадный зал с высоченным потолком.

Блеснули золотом богатые оклады стоявших на полу икон и массивные, точеные рамы старинных картин. Но лики святых, выписанные на досках, были прострелены. Потемневшее от времени полотно, на котором усталый ангел прилетал к удрученной горем женщине, пересекал лихой разрез. Ангел с мудрым скорбящим лицом и заплаканная молодая женщина в темном одеянии выглядели на картине перерубленными трупами. А несколько икон без рам и окладов просто валялись под ногами. Голиков их поднял и поставил возле изуродованной картины.

Аркадий Петрович не верил в Бога. Без особого почтения относился он и к церковной утвари, пока в Москве, зимой девятнадцатого, когда он служил у Ефимова, его не включили в оперативную группу, которой предстояло обезвредить отряд анархистов. В особняке, который у них отобрали, когда анархисты сдались, была комната, наполненная серебряными купелями, золотыми кадильницами, искусственной работы чашами, иконами на потрескавшихся досках. Голиков в тот день впервые узнал, что все эти предметы, которые он привык считать церковным

хламом, имеют огромную историческую ценность, поскольку изготовлены были два или три века назад. А кроме того, они считаются произведениями искусства.

Справа от входа в пещеру-склад прямо на пол были свалены рулоны уже испорченного сукна, цветастого ситца и шелка, связки солдатских сапог и красноармейских шинелей. А у дальней стены высились короткие ящики с патронами и длинные — с винтовками.

Когда Соловьеву доложили, что Голиков вывез из пещеры все, кроме потраченных молью шкур, «император тайги» сначала просто не поверил. О складе знали немногие, кому он вполне доверял.

С разрешения Ужура Голиков оставил в Форпосте для нужд бойцов несколько рулонов полотна. Белье у красноармейцев совершенно износилось. И он поручил Аграфене сшить... двести рубашек.

Аграфена заявила, что ей такое не под силу, но скоро нашла выход. Она кроила и приметывала по десять — пятнадцать рубашек, а затем устраивала посиделки. «Рукастые», по ее выражению, «бабенки» дошивали рубашки вручную. А сама Аграфена за столом стрекотала на машинке «Зингер». И вскоре двести десять рубашек были готовы.

— Тебя бы немного подучить, — сказал восхищенный Голиков, — ты бы стала директором целой фабрики.

— А чего? Только построй мне фабрику прямо под окном. Чтобы я могла и девками командовать, и бычков своих пасти, — не моргнув ответила Аграфена.

Хотя Соловьев лишился склада, Голиков сознавал, что проведенная операция самой банде никакого урона не нанесла. Между тем Кузнецов больше не появлялся. Правда, он передал через Анфису, что нашел еще один склад. Но когда Василий придет, сказать Анфиса не могла.

— Анфиска-то помочь тебе хочет, — говорила Аграфена, — но Васька темнит и ей. И Анфиске перед тобой стыдно.

И вот однажды вечером, когда Голиков задержался в штабе, пришла Аграфена и сообщила, что Анфиса приглашает их нынче снова.

В комнате за столом восседал Кузнецов. Судя по тому, что

графин перед ним был пуст, сидел он давно. Завидев Голикова с Аграфеной, Кузнецов поспешил вышел из-за стола, протянул руку Аркадию Петровичу, а затем и Аграфене. Голиков отметил про себя несвойственную Василию галантность и обратил внимание, что Вася похудел, а в его движениях появилась суетливость — то ли от какой-то вины, то ли от выпитой водки.

Голиков пожал Васину руку, Аграфена, растроганная проявлением к ней вниманием, тоже. После этого женщины вышли из комнаты. А Голиков подсел к столу, положил на чистую тарелку мясо — он с утра ничего не ел — и сказал:

— Спасибо, Василий, за склад.

— На здоровье,— невпопад ответил Василий. Он был пынче сам не свой.

— Что-нибудь случилось? — спросил Голиков, беря из глубокой миски квашеную капусту.

— Да. Меня вызывал к себе Иван Николаевич.— Кузнецов почему-то боялся смотреть в лицо Голикову.

— Куда же вас привезли? — спросил Аркадий Петрович, слова принимаясь за мясо, хотя есть ему расхотелось.

— В тайгу под Сютиком.

— Это база отряда?

— База, но недолгая. Там стояли четыре палатки. В одной отдыхал Иван Николаевич. Когда я вошел, он был выпимши. Налил и мне. А потом спрашивал: «Ты почему от меня бегаешь?» Я ответил, что не бегаю. Тогда он говорит: «Я хочу тебя назначить в помощники моему отцу — по хозяйству. Народ исподтичался: либо без меры воруют, либо продают меня Голикову. Ну так что, пойдешь ко мне служить?» Я обещал подумать... И вот хочу посоветоваться с вами...

Иметь в окружении Соловьевца своего человека — об этом Голиков даже не мечтал. Но сложность состояла в том, что Кузнецов не был своим...

«Правда ли это? — быстро просчитывал Голиков.— Кузнецов и раньше говорил, что «император» звал его к себе. И Анфиса подтвердила, что у Василия сложные отношения с бандой. Есть у него дружки, вроде связанные с Соловьевым и Астанаевым, но обиженные на них — кто за что. Дружки желают свести с «императором» счеты, по чужими руками. Сам Кузнецов о дружках ничего не говорит и с ними не знакомит. На кого же он в действительности работает? На дружков?»

Голиков положил себе на тарелку еще немного остывшей картошки и соленых грибов, чтобы скрыть от Василия внутреннее напряжение.

— Я думаю, что Соловьев не оставит вас в покое,— сказал наконец Голиков.— Вы ему зачем-то нужны.

— Как же мне быть? Что вы посоветуете?

— Думаю, вам нужно согласиться. Иначе Соловьев либо на вас обидится и придумает наказание, либо уведет силой. Тогда конец вашей свободе.

— А если я соглашусь и попаду в руки к чекистам? — Кузнецов настороженно посмотрел на Голикова.

— Буду жив — заступлюсь. А на случай, если меня убьют, готов дать удостоверение, что на работу в штаб Соловьева вы поступили по моему заданию.

— А семья? Забрать ее в лес?

— Зачем? Пусть живет дома. Обещаю: ее никто не тронет.

Кузнецов опустил глаза. Заметно было, что он успокоился.

— Если я пойду служить к Ивану Николаевичу, что я должен буду делать для вас? — спросил он снова, глядя на Голикова исподлобья.

И Аркадий Петрович понял: задание должно быть такое, чтобы оно не испугало Василия.

— Мне нужно знать, где у Соловьева штаб... Я не буду посыпать к вам людей. Мы договоримся о тайнике, в который вы положите записку... Вот и все, о чем я вас попрошу. О нашей договоренности я не скажу ни одному человеку.

Кузнецов явно повеселел.

— Согласен,— сказал он.— Где будет тайник, я сообщу через Анфису.

И Вася пропал. Голиков встревожился, поручил Никитину выяснить его судьбу.

Через день поступило донесение, что Кузнецов благополучно живет дома. Судя по всему, он предпочел отказаться от заведования хозяйством у Соловьева и от должности разведчика у Голикова.

Никитина это возмутило.

— Прижать его, да и все! — настаивал Павел.— Нечего с ним валандаться.

— Он трус, Паша,— ответил Голиков.— И либо просто сбежит от нас к Соловьеву, либо повинится перед ним. Нам бы кого-нибудь посмелей и понадежней.

— Где же я тебе такого найду?! — ответил обиженный Павел.

Когда Аркадий Петрович проснулся, за окном еще стояла темень. Он поймал себя на мысли, что вставать перед рассветом ему становится все трудней. Вяло работала голова, точно его перед сном опоили дурманом, и была разбитость во всем теле: давала знать накопившаяся усталость. Она бы прошла, если бы Голиков позволил себе выснуться и посидел бы день дома, сходил в лес. Не в разведку, а чтобы побывать одному.

Но Аркадий Петрович считал: такой возможности у него нет, в поединке с Соловьевым он ничего существенного пока не достиг — и продолжал работать без выходных.

Огорчало его каждую ночь и другое: как бы тихо он ни подымался с постели, как бы ни крался босиком к выходу, держа в руках сапоги, он все равно будил Аграфену, которая выходила из своей комнаты и неизменно спрашивала:

— Аркаша, ты куда?

Или:

— Ну, чего ты опять вскочил среди ночи?

Поначалу Голиков думал, что у хозяйки просто чуткий сон, пока Аграфена не проговорилась, что раньше спала как убитая, и не спросила:

— А почему ты, Аркаша, не ставишь возле нашего дома солдата?

От неожиданности Голиков расхохотался. Ему показалось смешным: он спит свои три-четыре часа в сутки, потом вскакивает, обливается водой, ест утренний суп с мясом (это Аграфена завела такой порядок, чтобы он утром обедал, потому что обедать днем он чаще всего не успевал), а возле дома важно прохаживается часовой. После этого он, Голиков, идет к себе в штаб. А что делать с часовым? Снимать с поста? Тогда получится, что Голиков боится спать без охраны. Оставить часового на весь день? Нелепо.

И Аркадий Петрович ответил:

— Если я поставлю часового, люди подумают, что у меня сдаются нервы.

— А мы вечером посадим солдата на кухне, — находчиво предложила Аграфена. — Я буду его кормить ужином.

— Это будет еще хуже. Получится, что я боюсь без часового и вдобавок боюсь за часового. С твоим... — он замял-

ся,— одноклассником Иваном Николаевичем не соскучишься.

— Да какое тебе дело, что Иван про тебя будет думать? А ты хоть спокойно поспиши.

— В другом месте я бы так и сделал. А тут не могу.

Придя однажды обедать, Голиков не нашел Аграфену дома. Не было ее и во дворе. Он стал громко звать: никто не ответил. Голиков испугался: не выкрад ли ее Иван? На всякий случай заглянул в темный чулан. Аграфена, в уличном платке и коротком жакете, лежала на мешках с мукою и тихо постанывала.

— Аграфена, что с тобой? Ты больна? — кинулся он к ней.

— Нет, здорова,— не открывая глаз, ответила она ему. И вдруг вскочила: — Который это час? Что это я? Иди, я сейчас приду тебя кормить.— Она была смущена, что сон сморил ее среди бела дня, да еще в чулане.

И Голиков внезапно понял, что Аграфена стала добровольным, несменяемым часовым. Она охраняла его по ночам и урывками спала днем, пока не свалилась от усталости на мешки в чулане. У начальника боевого района по борьбе с бандитизмом задрожали губы. Он не смог ничего сказать, подошел и поцеловал Аграфену в щеку, на которой еще оставалась красная полоса от жесткого шва на мешке.

— Давай, Аграфена, я от тебя перееду. Буду опять почевать в штабе.

— Что это ты надумал? — удивилась Аграфена.— Нет уж, будь на глазах. Все мне спокойней.

...И в это холодное майское, еще темное утро Голиков попытался было незаметно выскользнуть из дома. Аграфена по привычке его окликнула:

— Ты куда?

Аркадий Петрович был не в духе и сердито ответил:

— Не знаешь, что ли,— ловить твоего Ивана. Я уже целых два дня ничего про него не слышал.

Голиков не любил неизвестности.

Обойдя посты у штаба, у конюшен, у складов, Аркадий Петрович забрался на Казачий холм. Он полюбил это место. Днем он сюда никогда не захаживал: не оставалось времени. А почью, при свете луны или даже в полной темноте, отсюда было все замечательно слышно.

Изрядно патренировав свой не слишком музыкальный слух, Голиков с улыбкой слушал, как просыпался на ближайшем паскесте, нахохливался и для начала пробовал голос петух, готовясь заорать на всю деревню; как истопропливо, с уютным скрипом распахивались двери в хлеву и доносилось радостное оживление: вспархивали куры, топотали копытца коз и барапов,

начинали, по-старчески дыша, втягивать широкогубыми ртами воду утомленные непрерывным жеванием коровы.

Все эти звуки наполнялись для Голикова немалым смыслом. Если Соловьев совершил налет на соседнюю деревню (о чем Голиков уже знал) или затаивался достаточно близко от Форпоста (о чем Аркадию Петровичу еще не сообщили), жизнь в селе притихала, словно люди и животные опасались любым громким звуком привлечь к себе внимание банды. Это становилось верным признаком того, что опасность рядом, хотя, с тех пор как тут обосновался штаб 2-го боевого района, банда в Форпосте не появлялась. Если не считать, конечно, гибели Лаптева. Но это было просто убийство.

Деревня пользовалась немалым количеством сведений о передвижениях и намерениях Соловьева. Многие сообщения оставались недоступны Голикову, и его сердило, что жители молчат.

— Люди бы охотно тебе говорили,— заступалась за односельчан Аграфена,— да боятся Астанаева.

— А ты не боишься? — прямо спросил ее Голиков.

— Я уже свое отбоялась. Детей нет. Бабий век мой кончился.

— Какой «кончился»? Тебе всего тридцать шесть.

— Все равно. Кому я нужна?.. А жечь мой дом Астанайка не будет. Не захочет ссориться с Иваном.

...На холме в это утро Аркадий Петрович просидел с полчаса, изрядно подмерзнув. На востоке уже высветилось небо. С минуты на минуту должно было выглянуть солнце. И Голиков улыбнулся. Он любил солнце и рассветы. Они дарили радость, веру в себя и надежду, что это тяжелое, изматывающее время кончится.

Аркадий Петрович поднялся с земли, отряхнул полы шинели... и замер: на другом берегу Июса он уловил движение и те затаенные звуки, которые невольно возникают, когда вместе собирается много народа.

Голиков вскинул бинокль, но ничего не увидел. Тогда он закрыл глаза, чтобы лучше слышать. Он уловил мягкий стук множества копыт. Это не было стадо. Так смягченно и ритмично ступать могли только верховые лошади, если их копыта обмотать тряпками.

В той же дали что-то звякнуло. Похоже, металлические ножны шашки задели стремя. Мгновенно возник приглушенный голос, словно кто-то рассердился,— слов было не разобрать.

Подкреплений Голиков не ждал. Значит, на том берегу реки двигалась банда. Аркадий Петрович насторожился. Чтобы про-

ехать мимо села, банда могла выбрать и более дальнюю дорогу. Но выбор маршрута и обмотанные тряпками копыта свидетельствовали о том, что у банды был конкретный план. И тут Аркадию Петровичу показалось, что отряд остановился, и Голиков четко различил слово «Привал!».

«Привал!.. Они остановились на привал?.. Зачем? Не нашли другого места?»

Голиков не терпел неясностей и загадок. Особенно когда имел дело с Соловьевым. Появление бандитского отряда возле Форпоста, пусть и на другом берегу реки, не могло быть случайным. В лучшем случае это была демонстрация. Чего? Непобедимости, неуязвимости? Или Соловьев хотел показать, что не боится чоновского отряда?

Аркадий Петрович сбежал с холма, а по селу пошел своим стремительным шагом, к которому здесь привыкли. На самом деле, если бы Голиков мог себе позволить, он бы мчался изо всех сил, потому что первым его желанием было объявить тревогу и ринуться с отрядом через Июс.

Но Голиков всегда боялся своего азарта и молниеносных решений, если их подсказывали досада или злость. Он знал: на войне это плохие советчики.

Вопреки первоначальному намерению, Аркадий Петрович с холма отправился не в штаб, а к себе домой. Взбежав на крыльце, он нетерпеливо постучал в окошко.

— Случилось что?! — взволнованно спросила Аграфена, впластив его в избу.

— А ты бы не прогулялась на Песчанку? — ответил он ей.

— А чего я там не видела?

— Ивановы разбойнички, по-моему, там что-то затеваюят. Делать ничего не нужно. Только убедись, что они там. И сколько их. Приблизительно.

— А ежели они меня схватят да начнут тобой интересоваться?

— Если там будет Иван, он тебя отпустит. Объяснишь, что тебе нужен песок — собираешься перекладывать печку. А ежели Ивана не будет, скажи, что ты его соседка. Думаю, бандиты тебя не тронут. А если сподобишься увидеть самого, то вряд ли он тебя будет расспрашивать обо мне. Найдутся у вас другие предметы для разговора.

— А если все же спросит про тебя?

— А что ты знаешь обо мне? Разве я с тобой разговариваю о делах? Скажи: твоя забота вовремя сварить мне суп.

— А к Анфисе ходим?

— Подруги вы с ней. Вот и приглашает нас в гости.

Аграфена посмотрела на него долгим, обиженным взглядом.

— А что, господин начальник, ты думаешь, что я из железа? И ничего не боюсь? И встретиться с Иваном для меня одна радость?

Задор у Голикова пропал: ему стало стыдно.

— Я бы сам пошел — мне нельзя. И бойцов послать не могу: их сразу заприметят. И кроме тебя, просить некого. Если не можешь — извини. Война, конечно, занятие не для женщин.

— Ладно. Съезжу на Песчанку.

В штабе Голиков распорядился объявить подъем, выдать каждому бойцу на завтрак, сверх пайка, по четверти буханки хлеба и по куску сала. Остальные решения зависели от результатов разведки.

Аграфена появилась часа через два. Войдя в кабинет, она, дурачась, поднесла перевернутую ладонь к виску:

— Так точно, Аркадий Петрович, в ямине, откуда брали песок, прячутся. Вся Иванова конница там стоит. Коней тридцать, не меньше. Ты что, колдун, что их там угадал?

— А что они собираются делать? — спросил он.

— Не спрашивала. Когда я издали смотрела, они варили в огромном казане кашу. Ближе я подойти боялась, чтобы не оставили обедать, а заодно и ночевать.

Аграфена доложила о своей разведке весело. Для нее заботы и страхи остались на том берегу. А для Голикова заботы только начинались.

Песчанкой называли небольшой холмистый остров, который образовался посреди русла реки. На Песчанке никто не жил. Тут рос по преимуществу ракитник, и отсюда местные жители брали песок для своих нужд.

В том, что «горные партизаны», перейдя речку на мелководье, расположились на Песчанке, не было случайности. Соловьев бросал вызов. Если промолчать, сделать вид, что никто бивак не заметил, Соловьев в следующий раз мог поставить свой лагерь прямо на Казачьем холме. Вызов требовал стремительных ответных действий. Но и в том, что ситуация требовала моментального решения, казалось Голикову, тоже заключался неразгаданный умысел: Соловьев ничего не делал просто так.

Аркадий Петрович, не проявляя поспешности, пригласил к себе Никитина и Мотыгина, изложил им свой план, который, в свою очередь, должен был озадачить уже Соловьева.

Спустя часа полтора отряд чинно, с громкой песней «Как родная меня мать провожала» проехал по селу. На залихватскую песню высунулись из-за оград и заборов люди. Песня их обрадовала и взбодрила. В Форпосте уже давно не пели.

На краю деревни отряду встретились два старых хакаса. Они посторонились, пропуская кавалеристов, и Голиков услышал, как один старик спросил у другого: «Хайдар¹ Голиков?.. Хайдар?» Второй что-то ответил.

«Интересное слово «хайдар», — подумал Голиков. — Любопытно, как оно переводится: начальник, командир, джигит?»

Продолжая думать, что «хайдар» — это «начальник» или «командир», Аркадий Петрович стал с тех пор в шутку называть хайдаром себя. Только произносил он это слово с взрывным «г» — Гайдар. Вскоре в грустную минуту он даже сочинил стихотворение:

Все прошло. Но дымят пожарища,
Слышны рокоты бурь вдали.
Все ушли от Гайдара товарищи.
Дальше, дальше вперед ушли.

Отряд под командой Голикова двинулся в сторону Елового лога, мимо старых, замшелых овчарен, а затем повернул налево, к Кривому озеру, которое примыкало к Июсу. Километра через полтора-два появились полуразрушенные строения — кошары². За ними шел мелкий кустарник. Сквозь его голые, только начинавшие зеленеть ветви просвечивала серая, по-весеннему холодная вода реки. За ней метрах в двадцати желтел крутой песчаный берег. Там тоже рос густой кустарник. Из его зарослей к небу тянулся дым нескольких костров. Доносились громкие мужские голоса. Это и была Песчанка, которую соловьевцы, не таясь, обживали.

С появлением чоновцев голоса на противоположном берегу сделались глушее, по костры продолжали дымить.

Отряд же Голикова, остановясь возле кошар, дальше, к реке, не пошел. Аркадий Петрович минут десять наблюдал за тем, что происходило на Песчанке. Поведение соловьевцев заставило его задуматься. Вопреки первоначальному намерению он коротко бросил:

— Привал!.. Разжечь костры! Кипятить чай!

Для чая были одни котелки.

— Товарищ командир, а где брать воду? — озабоченно спросил Мотыгин.

— В реке. Только слева, за поворотом.

¹ Хайдар — куда, в какую сторону. Местных жителей постоянно волновало, куда направляется Голиков со своим отрядом.

² Кошар — овчарня, загон для овец.

Голиков не любил лишнего риска.

Вспыхнули костры возле кошар. Повисли над огнем на рогулинах солдатские котелки. Не заметить отряд Голикова «горные партизаны» не могли, но уходить с Песчанки они не собирались. Люди Соловьева чего-то ждали. Чего?..

А пока что другая, меньшая часть отряда под командой Никитина направилась в противоположную сторону от Форпоста, миновала кладбище, Казачью горку и шла вдоль пустынного берега реки.

На Песчанке стали проявлять нервозность. Прекратилось конское ржание — видимо, лошадей отвели подальше от берега, — попротухли костры: дымы от них тянулись вверх уже тонкими, жидкими струями. Группа соловьевцев пристроилась с винтовками за кустами на высоком обрыве.

Между тем в котелках вскипал чай. Бойцы принялись его пить, спеша согреться. С обрыва бивак был отлично виден, но «белые партизаны» не снимались с места и не открывали огня. Что им на самом деле было тут нужно?.. Впервые за два с лишним года соловьевцев и красноармейцев разделяли несколько десятков метров, и ни одна из сторон не спешила начать стрельбу.

Где-то вдалеке стрекотнул пулемет, раскатилось несколько винтовочных выстрелов. Потом пулемет забил длинными очередями. На Песчанке началась суматоха. Вскочили даже те бандиты, что изготовились с винтовками на краю обрыва. Пулеметы же в отдалении начали бить яростно.

Только тут Голиков крикнул:

— По коням! За мной!

Бойцы выплеснули остатки чая на землю. Взлететь в седло для них было делом секунды. Узкой тропочкой меж кустов Аркадий Петрович выскочил к разлившемуся Июсу и направил коня в стылую воду. Течение в реке было по-весеннему быстрым. Голиков почувствовал, что коня потоком относит в сторону. То же самое происходило с остальными лошадьми.

— Долой с коней! — крикнул Голиков бойцам. — В воду и вперед!

Но прыгать в ледяную воду никому не хотелось. Голиков скользнул в поток первым, держа над головой повод и портупею с кобурой и шашкой. Вода ожгла. В первые мгновения от холода остановилось дыхание. Одежда набухла, стала сковывать движения.

От ощущения большой глубины сделалось тревожно, и Голиков начал энергично загребать воду одной рукой. Рядом фыркнула, забрызгивая Голикову все лицо, преданная морда коня.

Голиков оглянулся. Бойцы старались плыть за ним, держа над головой винтовки, патронташи и ремни уздечек. Красноармейцы тоже с трудом справлялись с течением. Если бы «горных партизан» не охватила паника, они бы сейчас могли перебить всех пловцов. Но после того, что произошло возле сопки с человечьим лицом, соловьевцы испугались новой ловушки.

Не целясь, они дали несколько выстрелов по плывущим и кинулись прочь, в глубь острова, в расчете прорваться к Саратогре, а там уже не стоило больших усилий уйти от преследования.

Неожиданность и страх сделали свое дело.

Проплыв еще несколько метров, Голиков попытался нащупать ногами дно. Сапог скользнул по камню, сорвался. Значит, дно было уже близко, и еще метра через два Аркадий Петрович почувствовал: под сапогом грунт.

— Здесь дно! Я стою на дне! — крикнул Голиков и стал торопливо выбираться из воды.

На берегу он застегнул на себе портупею с маузером и шашкой. Конь, выйдя на сушу, отряхнулся, обдав хозяина дождем брызг. С Голикова тоже лилась вода. Было желание все сбросить с себя и отжать. Особенно раздражало, что вода набралась в сапоги и хлюпала. Но о том, чтобы стащить разбухшие сапоги и вылить из них воду, не могло быть и речи.

Пока что вместе с Голиковым до отмели добрались пять человек. Остальные еще барабанились в реке. И все равно Голиков плюхнулся на мокрое, чавкнувшее седло, выхватил из кобуры пистолет, который, как он надеялся, не нахлебался воды, и направил коня вверх по склону. Аркадий Петрович вырвался на ровное место и тут же увидел, что впереди по неширокой дорожке несутся прочь два всадника. С одного, видимо, веткой сорвало шапку, обнажилась бритая голова. Этот бритоголовый ехал на слабом или, скорее, старом коне и отставал. Понимая, что рискует попасть в плен, он обернулся, пальнул в Голикова из карабина, промазал. Пуля свистнула в полуметре от Аркадия Петровича.

Голиков нажал спуск — пистолет только щелкнул. Патрон в стволе все же намок. Аркадий Петрович отпустил поводья, оттянул затвор, выбросил намокший патрон. Тем временем и бритоголовый успел передернуть затвор. Он снова обернулся. Голиков не стал ждать выстрела, надавил скобку, целясь в круп коня.

Лошадь под бритоголовым словно обмерла, и всадник полетел на землю.

— Подобрать! — крикнул Голиков тем, кто мчался следом.

...Через полчаса, когда преследование соловьевцев потеряло смысл, Голиков собрал обе части своего отряда на той же Песчанке, возле полу затухших костров. Он спешил обсудить бойцов и поскорее напоить их чаем.

Возле одного тлеющего костра лежал на боку опрокинутый медный казан, по земле растеклась каша из грубо помолотого зерна, и сиротливо стояли на открытом месте наспех сооруженные шалаши.

Продолжая ломать голову над тем, для чего Соловьеву понадобилось устраивать здесь лагерь, Аркадий Петрович спрыгнул с коня, не глядя передал бойцу повод и сам подбросил в потухающий костер охапку хвороста. Голиков был встревожен: чем закончится для отряда купание в ледяной воде?

Он приказал всем спешиться, пятерых назначил в караул. Остальным велел раздуть еще три костра и посушить одежду. Сам он только снянул с себя наконец сапоги, вылил из них воду и пристроил вместе с портянками возле огня. После этого он сел у костра и велел привести пленного.

Поставив красные, замерзшие ступни на лапник, Голиков пытался их согреть, когда Мотыгин подтолкнул к костру бритоголового парня. Было ему лет восемнадцать. Одет он был в красноармейскую шинель. Скорей всего, она принадлежала кому-то из наших бойцов, чья судьба оказалась не слишком счастливой. У пленного было тонкое, худое, искаженное испугом и болью лицо. Левая рука его была неестественно вывернута ладонью вперед. Падая, он, видимо, ее сломал.

— Мотыгин, снимите с него шинель, — сказал Голиков.

Мотыгин довольно грубо расстегнул пуговицы и сдернул шинель.

— Ой, больно! — вскрикнул парень и повернулся лицом к Голикову: — Не убивайте меня!

Но Голиков помнил, как этот же парень полчаса назад целился в него из карабина, и жалости к нему не испытывал.

— Подойди ближе, — велел Голиков.

Он поднялся с поваленного дерева, снял с плачущего парня пиджак, под которым оказалась грязная, рваная ситцевая рубаха. Аркадий Петрович ощупал поврежденную руку пленного от плеча до кончиков пальцев. Вспомнилось, как эта рука наводила на него карабин. Голиков крепко и безжалостно стиснул своей кистью запястье парня.

— Не надо, пустите! — не своим голосом закричал пленный,

но Аркадий Петрович в ответ сильно дернул поврежденную руку.— Ой! Ой! Не могу, пустите! — на весь берег закричал парень. Его голос, надо полагать, слышали и удравшие бандиты.

— Кричи громче! — посоветовал ему Аркадий Петрович, отпустив руку и усаживаясь на место, чтобы снова греть ноги.

— А уже не больно,— простодушно ответил парень. Глаза его еще были полны слез.

У парня был вывих, который Голиков ему вправил.

— Тебя как зовут? — спросил Аркадий Петрович, переворачивая портянки. От них валил пар.

— Харитон.

— Нравится быть бандитом?

— Не-а.

— Зачем же пошел? Пограбить?

— Чего я награбил? — рассердился вдруг парень, натягивая пиджак. Надевал он его одной рукой, опасаясь пошевелить второй, теперь уже вправленной.— Или вы думаете, что я вот это награбил? — И он потряс за ворот свою рваную и грязную рубаху.— Я учился на кузнеца. Я хотел зарабатывать честно.

— Чего же тебя понесло в банду?

— Вы думаете, я хотел? А приехал к нам в село Иван Николаевич. Велел выйти на улицу всем мужикам. Вышло нас шестеро. Соловьев и спросил: «Кто желает служить в моем отряде?» Сначала все молчали. А потом один приймак ответил: «Положим, я согласный. Что дальше?» Тогда Иван Николаевич вынул из кобуры револьвер, протянул приймаку и сказал: «Расстреляй, которые будут несогласные». Тогда к нему шагнули еще двое. И я шагнул. Я умирать не хотел. Мне ж только девятнадцать.

— И ты участвовал в расстреле?

— Стрелял тот приймак. У меня тогда и карабина не было. Но Иван Николаевич сказал: «Кровь этих двоих на вас всех...»

У Голикова пропало желание беседовать с Харитоном, хотя самым большим мерзавцем по-прежнему оставался Соловьев, который хватал средь бела дня людей, занятых обычным житейским делом, и за несколько минут превращал их в убийц. Или в убитых.

— Где главный штаб Соловьева?

— Не знаю. Таким, как я, его не показывают.

— Сюда вас кто привел?

— Астанаев.

— Зачем?

— Ловить Голикова, начальника красных. Сначала его хотели поймать на каком-то холме. Но Астанаев сказал: «На

холме нельзя. Народ обидится. Голика надо убить, как Сергеева».

Аркадий Петрович почувствовал, что бледнеет. Выходит, что и сегодня ночью, когда он сидел на холме, и вчера, и позавчера его собирались схватить и сунуть, как петуха, головой в мешок и доставить Соловьеву. Конечно, умозрительно Голиков понимал, что все это может быть, но лишь сию минуту он ощутил, как близко каждую ночь находился от гибели. И в минувшую тоже. Но от плена или смерти его спасло «народное мнение», с которым Астанаев, оказывается, теперь вынужден считаться. Это открытие немалого стоило. И тогда, выходит, был придуман бивак на Песчанке. Но что он мог дать Астанаеву? И при чем тут Сергеев?

Внезапно Голиков, который сидел в насквозь мокрой одежде, почувствовал: на леденящем ветру ему становилось жарко. Только теперь он понял, что произошло с Сергеевым.

Сергеев командовал эскадроном. Это был внешне хмурый человек. С «императором тайги» у комэска имелись свои счеты: бандиты зарубили у него брата. Но у Сергеева не было злобы и отчаянности, которая на войне порой бывает опаснее трусости, потому что отчаянный человек весь отдается порыву. Сергеев умел думать, четко выполнял задачи, которые ставились перед эскадроном. Но если эскадрон сталкивался с бандой, Сергеев преследовал ее до последней возможности. Это всегда оборачивалось для банды большими потерями. И столкновения с Сергеевым Соловьев боялся.

Две недели назад на деревню Сютик налетела банда. Случилось это, когда поблизости находился эскадрон Сергеева. Заметив бойцов, банда спешно перебралась на другой берег Чулымса. Сергеев с ходу направил своего коня в ледяную воду. Кавалеристы еще не успели пустить вплавь лошадей, когда с бандитского берега ударили два выстрела. Сергеев был убит. Его тело унесло стремительным потоком.

Эскадрон, потеряв командира, все равно достиг противоположного берега. Но банды там уже не было. Вся операция на Чулыме была ловушкой для Сергеева. А бивак на Песчанке — ловушкой для него, Голикова.

— ...Мы ждали, что ваш отряд бросится на Песчанку через Июс,— продолжал Харитон.— Вашего Голикова ждали два охотника. А когда вы стали варить чай, Астанай начал нервничать. Он понял, что Голикова среди вас нет. Иначе бы отряд сразу бросился на Песчанку: Голиков, он нетерпеливый...

Но Аркадий Петрович Харитона больше не слушал.

А дома Голикова ждала зареванная Аграфена.

— Ну что, Бова-королевич, доигрался? Ты думаешь, я не знаю, что тебя должны были нынче убить? Господи, зачем ты позволил, чтобы мальчишку сделали главным начальником! — Она причитала, будто Голиков был уже мертв.

— Замолчи! — не выдержал он.

— Чего мне молчать, если тебя сегодня спас только Бог, которому я каждый день молюсь?

Голиков прошел к себе в комнату, отстегнув портупею, швырнул шашку и кобуру с пистолетом на широкую лавку, сбросил сапоги, повалился прямо в одежду на постель и зарылся в груду подушек. Теперь только он понял Касьянова, которого Соловьев своими хитростями довел до умопомрачения. А ведь еще совсем недавно он, мальчишка, над Касьяновым про себя посмеивался...

ДОЛГОЖДАННЫЙ АГЕНТ

С тех пор как Павел Никитин переехал в Форпост, работать Голикову стало легче. Цыганок завел в окрестных селениях много знакомств, наловился бойко говорить по-хакасски. И местные жители шептали ему на ухо новости, которые побоялись бы произнести вслух при свидете-переводчике.

В своем кабинете Аркадий Петрович повесил большую самодельную карту Ачинско-Минусинского боерайона. На ней Голиков отмечал специально придуманными значками, где, в каких местах были замечены банды, или произошло столкновение, или, по непроверенным данным, находятся базы и лагеря «белых партизан». Все эти пометки, к сожалению, не подсказывали решений, но Голиков был убежден: систематизация сведений не пропадет даром.

Однако гораздо нужнее был просто живой человек, который бы мог сообщать о намерениях Соловьева, как это сделал однажды Гаврюшка. Но такого разведчика у Голикова не было, и он часто упрекал Пашку.

— Где я тебе возьму настоящего агента? — злился Никитин. — Астанаев всех запугал. Одного хакаса, которого Астанаев заподозрил, что он работает на Касьянова, привязали в тайге к лиственнице и остались. Комары выпили из него всю кровь... К старым бандитам не подберешься. А новичков Астанаев к

штабу Соловьева не подпускает.— И, как всегда волнуясь, Никитин начинал расчесывать свой чуб, который должен был непременно выбиваться из-под козырька фуражки...

— Давай поговорим с Настей,— предложил Пашка однажды.

— Кто такая?

— Хакаска. Охотница. Ей шестнадцать лет. Я полагаю, она может стать исключительной разведчицей.

— Где она живет?

— На Теплой речке, но часто приезжает в Форпост. Здесь у нее тетка.

— Ты с ней знаком?

— Да.

— А почему ты решил, что она захочет тебе помочь?

— Бандиты убили у нее отца.

— Ты уже говорил с ней?

— Об этом — нет,— покраснел Пашка.

— Послушай, Цыганок, ты, по-моему, в нее просто влюблен.

— Да, Настя мне нравится, но в настоящий момент я думаю только о деле.

Пашка был настоящим другом, прирожденным разведчиком и дальним помощником. Ни разу не подвел, как бы трудно ни складывалась ситуация. Но сейчас Голиков на Пашку рассердился. Голикову показалось, что Настя не пылает к Цыганку особой нежностью и Пашка придумал сделать из нее разведчицу, чтобы иметь повод встречаться «по казенной надобности». Хотя, с другой стороны, что же будет плохого, если она согласится?

— Покажи мне эту хакасскую Мата Хари,— сказал Голиков.

— А кто такая Мата Хари? — насторожился Никитин.

— Знаменитая танцовщица. И одновременно выдающаяся немецкая разведчица. Франция потеряла из-за нее семнадцать кораблей. Говорят, в первую мировую войну ни одна страна не имела более талантливого агента. А нам с тобой суда топить не нужно. Нам бы только поймать Соловьева...

Дня через два после этого разговора, когда Голиков и Никитин трудились в штабе над донесением, мимо окон верхом проехала девушка с берданкой на плече.

— Она! Вот это она! — закричал радостно Пашка.

И оба выбежали на улицу. Но девушка уже отъехала на изрядное расстояние, и они увидели только ее спину, на которой подрагивало ружье.

— Давай обгоним! — предложил Пашка.

Они забежали во двор штаба, вскочили на неоседланных

коней, припустили огородами, а потом выехали навстречу Насте. Девушка поразила Голикова: ее скуластое лицо с восточным разрезом глаз нельзя было назвать красивым, но оно дышало умом, независимостью и достоинством.

— Здравствуйте! — по-мальчишески восторженно приветствовали ее командиры.

Настя ответила легким вежливым поклоном, не вспомнив или не желая показать, что знакома с Пашкой. Это огорчило Никитина. Но когда девушка проехала мимо, он зашептал:

— Графиня! Настоящая графиня. Я ж тебе говорил...

Голиков промолчал, однако Настя произвела на него впечатление.

Вечером Аркадий Петрович и Никитин встретились с Настей в доме Анфисы. Настя была в длинном прямом платье. Она выглядела еще миловидней, чем утром, но неожиданное приглашение ее взволновало и даже напугало. Сама того не замечая, тонкой рукой она разглаживала множество косичек, переброшенных на грудь.

За столом разговора не получилось. Девушка не понимала, зачем ее и двух начальников пригласила Анфиса.

Наконец хозяйка унесла самовар и не вернулась; в комнате воцарилось неловкое молчание.

— Настя,— начал Голиков,— мне о вас много хорошего рассказывал Паша. (Никитин при этих словах принял расчесывать свой белобрысый чуб.) И я захотел познакомиться с вами.

— Я тоже слышала про вас...— ответила Настя. Голос у нее был высокий и совершенно детский. Спохватившись, добавила: — А с Пашей мы знакомы... Мы встретились у колодца. Мы оба поили коней.

Голиков про себя усмехнулся: «Ай да заместитель по разведке! Сколько же ты ждал этой минуты, забросив дела, чтобы подойти к колодцу!»

— Паша — человек скромный,— заметил Голиков, чтобы начать разговор.— Мальчишкой он занимался извозом, помогал семье прокормиться. Потом работал артистом в цирке. Это занятие требует ловкости и смелости. Теперь он хороший командир и мой большой друг. А я из Арзамаса. Слышали о таком городе?

— Нет! — Настя огорченно посмотрела на Голикова.— Я никуда отсюда не уезжала. Дальше Ужура нигде не была.

— А я много ездил: служба.

— Вы хотите, чтобы я тоже рассказала о себе? — спросила догадливая Настя.— Я живу на Теплой речке. Отец мой был лекарь. Лечить его научил один старик, который был когда-то монахом, а потом поселился у нас в тайге. Отец говорил, что

старик от кого-то прятался. Когда отец был маленький, он чем-то помог старику. Тот его полюбил и научил говорить и писать по-русски и по-монгольски. И научил его лечить людей. Отец знал, когда и какие надо собирать растения, готовил из них настойки, порошки и мази. Отец лечил многие болезни, срашивал переломы, принимал роды. Когда я была совсем маленькая, он стал всему учить меня.

— И вы тоже умеете... срашивать переломы? — спросил Павел. Глаза его смотрели восхищенно.

— Я видела, как это делал отец, самой не приходилось, — сдержанно ответила Настя.

— Но обождите, — сказал Голиков, — чтобы выбрать, какими лекарствами человека лечить, нужно знать, чем он болен.

— Это отец определял по пульсу.

— По пульсу? — усомнился Голиков. — По пульсу, я знаю, считают удары сердца.

— Это в вашей медицине, — снисходительно уточнила Настя. — Но ваша медицина еще очень молодая. А восточная существует несколько тысяч лет. Отец говорил мне: «Наше тело помнит все: каждую перенесенную болезнь, каждое падение в детстве. А кровь — это как телеграфный провод. Что провода гудят, слышат все. Но сигналы, которые поступают по проводам, понимают только специально обученные люди, у которых есть особые машины. Вместо машин у нас с тобой, доченька, руки».

— Ничего не понимаю, — огорченно сказал Никитин.

— А я, похоже, начинаю понимать. Послушайте мой пульс, Настя.

— Дайте мне правую руку, — ответила девушка и приложила свои длинные тонкие пальцы к запястью Голикова.

— Какие у вас горячие подушечки пальцев! — удивился начальник боевого района.

— А теперь левую, — сказала Настя.

Голиков уже без всякой снисходительности протянул левую руку. Опыт, который он предложил поставить на нем самом, начинал его занимать.

— Вы пережили в детстве большой страх, — негромко произнесла Настя.

— Да, у меня была нянька. Она меня пугала чертями, — согласился Голиков.

— Вы тонули и сильно замерзли.

— Верно, — рассмеялся Голиков. — Тонул мой школьный товарищ, Коля Киселев. Он попал в полынью. Я хотел ему помочь и провалился под лед тоже.

Настя не разделяла веселья Аркадия Петровича. Наоборот, лицо ее делалось все озабоченнее.

— Вы много падали. Сильно ушибали голову и спину. Вас нужно лечить...

— Спасибо, не надо,— неожиданно смешался Голиков.— Я, Настенька, совершенно здоров. Мне бы только выспаться.

— Как пожелаешь. Я бы на вашем месте не откладывала.— В словах Нasti скользнули встревоженность и обида.

— Аркадий,— сказал Никитин,— если Настенька советует...

— Паша,— оборвал его Голиков,— я не сомневаюсь в Настином умении. Но мы с тобой будем лечиться, когда поймаем Соловьева... Настенька, расскажите, что случилось с вашим отцом?

Настя погрустила, опустила глаза и снова обхватила рукой горсть своих косичек. Голиков еще раз удивился, как же красива ее узкая кисть с тонкими, удлиненными пальцами. А ведь эта рука по многу часов в день не выпускала широкий повод, скребла и мыла коня и была знакома со всякой крестьянской работой.

— Отец обрадовался, когда пришла ваша власть,— тихо сказала Настя.— Он говорил: нам теперь не будут кричать: «Убрайся, «татарская лопата»!¹ Еще он говорил, что пошлет меня учиться на фельдшера.

Двери нашего дома запирались только на ночь. Отец принимал всех, кто приходил и приезжал, слушал пульс, смотрел язык, прописывал лекарства, которые я выдавала, а готовили мы их вместе. Когда народу приезжало особенно много, часть больных осматривала я.

Однажды к нам во двор ввалилась банда Другуля. Это было неуважение к отцу. Все больные знали: въезжать во двор нельзя. Это мешает отцу. Но Другуль был пьян. Он сказал, что забирает отца в лес. Отец ответил, что не поедет к Другулю, как не поехал к Соловьеву. Но если больных к нему привезут, он их полечит.

— Отец ваш лечил бандитов? — возмутился Никитин.

— Да,— ответила Настя, прямо посмотрев в лицо Павла.— Отец их не любил. Особенно Соловья. Но отец говорил: «Я не Бог, чтобы судить, кого я должен вылечить, а кого — нет».

— Паша, когда мы берем пленных, мы тоже их лечим,— напомнил Голиков.— Извините, Настя, мы вас слушаем.

Настя потерла пальцами лоб, словно прогоняя какие-то

¹ Распространенное оскорблениe — намек на плоское монголоидное лицо многих хакасов.

тяжелые видения.. Когда она убрала руку, лицо ее было очень бледно.

— Отца начали бить. Я бросилась к Другулю. Он велел: «Девчонку берем с собой!» Но я сумела выпрыгнуть в окно и убежала в лес. А когда вернулась, отец был мертв.

Голиков вспомнил, как несколько месяцев назад, когда он служил на Тамбовщине,antonovцы убили агронома, который вывел морозоустойчивый сорт ржи и собрал первый урожай. Убийство агронома на Тамбовщине и убийство лекаря здесь были одинаково бессмысленными. Но по какой-то трагической закономерности погибали прежде всего наиболее грамотные и наиболее полезные люди.

— Вы остались жить в своем доме? — спросил Никитин.

— Да.

— Не боялись?

— Боялась. Я была уверена, что люди Другуля вернутся за мной. Я зарядила оба ружья. Когда отец учил меня стрелять, он давал мне ружье с одним патроном и отпускал в тайгу. Я должна была вернуться с белкой. И когда я ждала, что люди Другуля вернутся за мной, я надеялась, что уложу хотя бы четверых.

И четверо ко мне приехали. Не въезжая в ворота, они сошли с коней, войдя во двор, сняли шапки. Я ужасная трусиха. Я заплакала и закричала: «Уходите, или я вас всех убью!» Тогда один из тех, кто приехал, сказал: «Настюша, али не признала меня?»

Это был Соловьев. Он тоже приезжал к отцу уговаривать его уйти к нему в лес. «Настюша, — сказал Соловьев, — мы делим твое горе. Случилось ужасное злодейство. Девочка, выйди к нам и ничего не бойся!»

А уже сбежался народ, и мне было не так страшно. Я вышла, держа наготове заряженное ружье.

...В комнате неслышно появилась Анфиса, поставила на стол жбан с квасом, кружки, а потом принесла тарелку с кедровыми орешками и другую — с фундуком, сваренным в меду. И снова ушла. Никитин разлил квас по кружкам и сразу выпил свою. Настя сделала несколько маленьких глотков, а Голиков не притронулся.

— Что же было дальше? — спросил Аркадий Петрович.

— Соловьев сказал: «Настюша, опусти ружье, а то у тебя дрожат руки, и ты можешь пистолетом выстрелить». Я опустила. «Настюша, я наказал Другуля. Во всей Хакасии тебя больше никто не тронет. Я беру тебя под свою защиту. А если ты пожелаешь, в моем лагере для тебя найдется место. Я делаю это ради

памяти твоего отца, который безотказно помогал людям. И я знаю, сколько хорошего делала ты».

Настя взяла с тарелки кедровый орешек, расколола его мелкими и острыми зубами, а скорлупки положила на высокобленный стол.

— Паша, вы смотрите на меня строгими глазами, но я была благодарна Ивану Николаевичу. Он избавил меня от страха, что Другуль вернется за мной. Я спросила: «А где я вас найду?» Соловьев рассмеялся: «Найти меня просто: кинь письмо возле любой многолавки. Я в тот же день его получу и приеду за тобой сам».

— Вы уже писали Соловьеву? — непривычным для него, официальным голосом спросил Никитин. Вид у него был неприступный и одновременно растерянный.

— Нет, не писала,— рассеянно ответила Настя.— Я ведь Соловьева тоже боюсь. И потом, Соловьев сразу в свой штаб почти никого не берет. Сначала нужно жить в другом месте. А я знаю, как приходится девушки в других местах.

Настя взяла с тарелки горсть кедровых орешков и стала их раскусывать один за другим. Разговор для нее становился не только труден, но и неприятен.

— Паша,— сказал Голиков,— дойди до штаба, просмотри шифровки и жди меня там.

— Хорошо,— обиженно ответил Никитин.

— Какой он у вас строгий! — улыбнулась Настя, когда Никитин ушел.

— Паша добрый, Настя, он тепло относится к вам (девушка вспыхнула), но он совершенно извелся на работе.

Голиков взял кружку с квасом и выпил ее до дна. И Настя с удивлением поняла, что этот высокий сильный парень, самый главный здешний начальник, тоже волнуется.

— Я вот что хотел сказать,— начал он.— Соловьев проявил к вам великодушие. Я допускаю, что он уважал вашего отца, пожалел о его гибели, проявил заботу о вас. На самом деле Соловьев причинил больше горя, чем Другуль. И не будь Соловьева, скорей всего, не было бы и Другуля. Но мы не можем поймать Соловьева. А если его не остановить, он покалечит еще много народа. И много судеб.— Голиков выбрал в тарелке крупный орех и тут же о нем забыл.— Вы бы не согласились нам помочь?

Настя, которая с момента ухода Никитина сидела не шелохнувшись, догадываясь, что Пашу Голиков отослал не случайно, торопливо ответила:

— Нет-нет!

— Я не прошу вас поселиться у Соловьева. Но вы теперь можете ездить по всей тайге. А мне нужно узнать только одно: где у Соловьева его главный штаб?

— Нет,— повторила Настя.

— Почему?

— Боюсь.

— Но вы же ездите одна по тайге. А там полно всякого зверья.

— Соловьев пострашней медведя... И потом... Не хотела вам говорить... Неделю назад приезжал ко мне Астанаев. Привез в подарок колечко с красным, как капелька крови, камешком и передал, что Иван Николаевич просит, чтобы я поехала в Форпост к тетке, познакомилась, Аркадий Петрович, с вами и привеслила к себе, на Теплую речку, в гости. Я тоже отказалась.

Лицо Голикова горело. Ему было совестно, что они с Пашкой и Соловьев с Астанаевым одинаково пытались вовлечь эту беззащитную девчонку в смертельно опасное дело. Чувство вины заслонило, отодвинуло внезапный холод внутри, когда он понял, что Астанаев с Соловьевым пытались завербовать Настю, чтобы устроить очередную ловушку ему, Голикову.

— Простите меня, Настя. И забудем этот разговор.

— Это вы меня простите, что я трусила. Когда я вспоминаю Другуля, меня всю трясет.

Прошло несколько дней. Голиков поздно вернулся домой, мечтая выпить стакан молока и поскорее лечь спать.

— Анфиса приходила,— хмуро встретила его на пороге Аграфена.— Ждет она, видишь ли, тебя. Любовь у тебя с ней, что ли?

— А что?! — озорно ответил Голиков.— Женщина она красивая, свободная. Возьму и женюсь.

А сам подумал: «Что же случилось? Снова появился Кузнецов?»

Он отстегнул шашку, напялил на себя старое пальто Аграфениного мужа, которое висело на вешалке, нахлобучил его же засаленную фуражку с матерчатым козырьком.

— Чучело огородное, кто в таком виде ходит на любовное свидание? — не удержалась от смеха Аграфена.

— Ты не запирайся, я скоро приду,— ответил он.

Аркадий Петрович спустился с крыльца и долго петлял по задворкам, останавливался за деревьями и строениями, внимательно присматриваясь и прислушиваясь, пока не убедился, что за ним никто не идет. Лишь после этого он подошел к дому

Анфисы, все окна которого были темны, и постучался. Дверь тут же открылась. В полутемной прихожей с керосиновой лампой в руке его ждала печальная Анфиса.

— Что-нибудь случилось? — встревожился Голиков.

— Вас тут давно дожидаются, — коротко и недружелюбно ответила Анфиса.

И провела его в большую комнату. За столом сидела Настя. Она была в бордовом платье со множеством складок, а волосы ее были расчесаны и собраны на затылке в большой пучок. Прическа и новое платье девушке совершенно не шли, и смотрелась она полнейшей дурнушкой.

Анфиса оставила их вдвоем, что раздосадовало Голикова. Аграфена подозревала, что у него роман с Анфисой. Анфиса, видимо, подозревала, что у него начался роман с Настей. А ему сейчас было не до романов, помогать же ему Настя отказалась. Неожиданное и нецуждное свидание лишило его редкой возможности спать нынче лишних полтора-два часа. Он изо дня в день не высыпался, чувствуя, что в нем накапливается усталость. Трех-четырех часов, которые он оставлял себе на сон, ему давно не хватало. По утрам тяжелыми оставались ноги, и уже не так быстро и четко работала голова. Нужно было высаться любой ценой. Вся надежда сейчас была только на его голову. Больше в поединке с Соловьевым рассчитывать было не на что.

И Голиков решил с порога сказать Насте, что сможет уделить ей лишь несколько минут, но его остановило то, что Настя была бледна и явно чем-то взволнована, едва слышно ответила на его «Здравствуйте» и даже не улыбнулась, завидя его в полуоборванном балахоне и в фуражке, которая налезала ему на уши. Без всяких объяснений Настя взяла с широкой лавки кожаную сумку, в которую охотники складывают подстреленную дичь, вынула пергаментный свиток с красной восковой печатью на шнурке и протянула Аркадию Петровичу.

Полагая, что Насте в руки попал старинный документ, Голиков бережно развернул свиток. На пергаменте лихим писарским почерком с многочисленными завитушками было выведено:

Охранная грамота

Подательница сей находится под нашей защитой. Ей дозволено свободно передвигаться по нашим владениям для пропитания и охоты, в чем надлежит оказывать ей помощь и не чинить обид.

Ив. Соловьев.

— Откуда это у вас? — спросил Голиков, продолжая держать в руках развернутый свиток.

— Позавчера ночью привез Астанаев и спросил, не передумала ли я. Я ему ответила: нет. А вам я говорю: я согласна.

— Что?! — не понял, скорей даже не поверил Голиков.

— Я согласна. Ведь теперь меня в лесу никто не посмеет тронуть. Даже медведь. — Она хотела улыбнуться, но улыбка получилась у нее робкая.

И Голиков опять увидел перед собой напуганного ребенка.

Сколько раз потом вспоминал он этот вечер, себя в наряде огородного пугала и эту девочку в бордовом платье, со взрослой прической! Девочка доверчиво и выжидательно смотрела на него, Аркадия Голикова. От него зависело, принять или не принять ее жертву. Он принял.

Настина готовность помогать моментально их сблизила. Они перешли на «ты». Внезапно им сделалось беспринципно весело. И когда Анфиса принесла хлеб, молоко и холодное мясо, Голиков и Настя выглядели развеселившимся влюбленной парой, которой было уютно в этом не слишком счастливом доме. Поставив угощение, Анфиса отказалась поужинать вместе с ними и ушла. Она завидовала Насте.

— Уже поздний час, — сказал Голиков, когда они поели, — мне пора обходить посты, а тебе лучше уехать, пока темно. Просьба одна: узтай, где главный штаб Соловьев. Я тебя не тороплю.

— От Соловья ушло много офицеров, — сказала Настя, — если тебе это интересно.

— Конечно.

— И потом, Соловьев начал носить на себе кожаный пояс с золотом. Раньше он его не носил.

— Откуда ты знаешь?

— Люди говорят.

— Выходит, Иван Николаевич стал нервничать... Настенька, я ухожу. Если понадоблюсь, вызови через Анфису. Не будет меня — придет Никитин.

— Хорошо, — упавшим голосом ответила Настя.

— И еще, тебе нужно дать новое имя.

— Не хочу я новое. Я люблю свое.

— Не насовсем — для маскировки. Мы будем называть тебя Машей. Если кто услышит «Маша» или перехватит твою записку, чтоб не догадались.

— Ладно,— улыбнулась девушка.— Маша тоже красивое имя... раз ты его выбрал.

— Я жду тебя через неделю.

— Так долго я тебя не увижу?

— Но раньше ты просто ничего не успеешь узнать.

ПОКУШЕНИЕ

Выпукская Голикова из дома, Анфиса шепнула:
— Аркадий Петрович, идите огородами.

Петли были промазаны, и открылась дверь бесшумно. Голиков вышел на крыльцо. Прислушался. Деревня спала. Аркадий Петрович двинулся задворками спачала на окраину села. Когда он уже довольно далеко отошел от дома Анфисы, в той стороне, где был штаб, яростно залились две или три собаки. Потом одна обиженно заскулила, и вскоре стало тихо.

«Кто-то прошел мимо штаба?.. Или забежала белка?»

Доискиваться смысла, отчего залаяли собаки, он не стал. Он уже спал на ходу. Вдобавок от лазания по огородам на сапоги налипла грязь. Каждый шаг требовал добавочных усилий. А он готов был лечь на голую землю, чтобы заснуть хотя бы на десять минут, и не сделал этого лишь потому, что принял неожиданное решение.

Первый свой обход он уже пропустил (чем, верно, удивил часовых). До второго оставалось минут сорок. «Обойду посты сейчас и посплю до утра», — сказал он себе. Это значило, что он поспит без перерыва часов пять. Такой удачи ему не выпадало давно.

Обходом Голиков остался доволен. После гибели Лаптева бойцы куда старательнее несли караульную службу.

Едва переставляя от усталости ноги, Голиков добрел до Аграфениной избы. Постучал в оконечко, Аграфена отперла в тот же миг. Значит, не ложилась тоже.

— Ежели идешь на свидание до утра, — сердито сказала она, — предупреждай. А то: «Я скоро вернусь!», а уже петухи поют.

— Торговался с Анфисой насчет ее приданого,— буркнул Аркадий Петрович.

— Кабы она не попивала, цены бы ей не было,— с женской беспощадностью ответила Аграфена.

Была она верным человеком, но Голиков не считал нужным посвящать ее во все служебные тайны, поэтому ничего не сказал о Насте — Маше.

— Еда на столе,— напомнила Аграфена и отправилась спать.

Голиков повесил в темной прихожей пальто, там же сбросил грязные сапоги и босиком прошел к себе. Чиркнув спичкой, зажег огарок свечи в медном подсвечнике: последнее время было плохо с керосином. Накрытый чистым полотенцем, на столе дожидался ужин.

Есть Голиков не хотел. Он разделся, сложил на лавке вещи, закрыл на щеколду дверь в среднюю комнату, дунул на огарок и полез на печку. Здесь он нашупал подушку, сунул под нее прихваченный маузер без кобуры, натянул жаркую просторную шубу и заснул.

Ему показалось, что спал он минуту-две. На самом деле прошло не меньше получаса, когда сквозь сон он различил под окнами шаги. Он бы не обратил на них внимания, если бы кто-то прошел мимо. Его насторожило, что это были даже не шаги, а едва ощутимое касание земли мягкими подошвами охотничих пим, на которые вместо жестких подметок пришивали звериные шкуры.

Голиков не уловил бы этот почти неразличимый шорох, если бы слух его не обострился от еженощных обходов и круглосуточной настороженности. Сами по себе шаги, конечно, ничего не означали, но Голикову не понравилась их потаенность, будто кто-то крался по деревне, да и зимние мягкие пимы были не по сырой теперешней погоде. Но соседские собаки молчали. А хозяйка дворовых собак не держала.

«Спи! — сказал себе, не открывая глаз, Голиков.— Тебе все мерещится». И снова провалился в полунебытие.

Прошлую ночь Аркадий Петрович не спал совсем. Теперь ночь уже катилась к рассвету, а он все не мог оторваться мыслью от забот и тревог.

И Голиков прижался щекой к подушке, потянул шубу, чтобы укрыться с головой. И укрылся бы, на свое горе, если бы в последний миг не уловил сверхслухом короткого спора. Кто-то шепотом на чем-то настаивал. Кто-то другой, тоже шепотом, жалобно возражал.

Голиков снова, не открывая глаз, подумал, что спор ему при-

снился и никого под окном нет, иначе бы чуткие соседские собаки давно подняли неистовый лай. Эта мысль его решительно успокоила. Он перевернулся на спину и увидел сон.

Будто бы нет еще никакой войны — ни той, мировой, ни этой, гражданской, — и живет он дома, в Арзамасе. Стоит сухая осень, и они с отцом идут в воскресенье на базар. А базар богатейший, чего здесь только нет! И отец отбирает несколько связок крупного лука, такого золотистого, что хоть отливай из него обручальные кольца; в другом месте отец сговаривается и платит за три мешка картофеля, где самая маленькая картошина с отцовский кулак, а самая большая примерно с собачью голову. Потом отец покупает целую кадушку, ведра на полтора, белейшей квашеной капусты — с клювой, антоновскими яблоками, тмином и чем-то еще; а напоследок, пробуя соты, которые наперебой предлагают торговцы, он выбирает ладный, на полпуда, бочонок гречишного коричневатого меда, который любят мама и тетя Даша, и отдельно кузовок прозрачного липового — на случай, если кто в доме простудится.

Расплатясь, отец нанял подводу. Извозчик погрузил на нее мешки с картошкой и прикупленной мукой, связки лука, кадушку с капустой и бочонок меду. Потом нанял пролетку — не идти же за возом пешком, хотя до дому и близко, — и они покатали в экипаже на Новоплотинную, за ними едва поспевал тяжело груженный воз.

Когда же поезд остановился возле дома, выбежали мама, тетя Даша и сестрички. Тетка стала ахать и охать по поводу того, какая картошка, и какой лук, и какой запах от бочонка с медом, а мама принялась весело выговаривать отцу: «Ну, Петя, ты опять скупил весь базар».

Тем временем, видел Голиков, подводчик, желая заработать лишний гривенник на водку, обмотал вокруг шеи все связки лука, сгреб с воза и понес в дом на вытянутых руках сразу три мешка с картофелем. А тетка неизвестно зачем поставила ему на мешки еще и кадушку с капустой, хотя было очевидно, что с такой пирамидой войти в дом невозможно. И Аркадий попытался тетке это объяснить, но тетка погладила его своей ладошкой по голове. Раздался звук, будто алмазом провели по стеклу.

В этот момент кадушка задела притолоку двери, скользнула по мешку и разбила стекло. Оно дзенякнуло так тихо, будто его умело вынули из рамы.

Огорченный подводчик бросил на землю мешки, которые держал на вытянутых руках, достал из кармана и протянул маме серебряный рубль, как, бывало, платила мама, когда стекла в соседских окнах разбивал он, Аркадий.

Но мама рубль не взяла, а просунула в дыру разбитого окна руку. И рама, тихонько скрипнув, распахнулась. Из комнаты на теплую улицу потянуло могильным, словно из заброшенного склепа, холодом. И тогда подводчик, чтобы преградить путь холоду, схватил с земли мешок и начал его с силой запихивать в окно, а мешок в окно лезть не хотел и при этом загадочно и настороженно шуршал.

Продолжая досматривать сон, в котором он сразу увидел самых дорогих ему людей, Голиков с непостижимой ясностью понял, что часть увиденного им во сне происходит наяву: наяву кто-то умело вынул из рамы стекло, наяву беззвучно был открыт шпингалет. Голиков помнил, как, отпирая после зимы в комнате окно, сильно с этим шпингалетом намучился: железо проржало и двигалось со скрежетом. А тут шпингалет под чьей-то рукой пошел легко и мягко, будто затвор отлично смазанной винтовки. После чего почти беззвучно распахнулись створки окна. И наяву в комнате стало свежо.

Но это открытие нисколько не встревожило Голикова. Хотя мозг его полубодрствовал, веки не желали размыкаться. Он обиженно подумал: «Я же сплю. Зачем же открывают окно?»

И внезапно внутренний голос жестко ему ответил: «Чтобы тебя убить...»

Голикова подбросило, будто печка взбрькнула, как ужаленный конь, и он открыл глаза. Тут, в запечье, стояла кромешная тьма, наполненная уличным холодом, который проник уже и сюда. Кирпичная кладка отгораживала от Голикова всю комнату, кроме узкого пространства слева, где был широкий проход и темнел шкаф, а за шкафом стояла кровать, на которой он, Голиков, никогда не спал.

И хотя Аркадий Петрович никого не видел, он чувствовал, что рядом посторонние.

От сонливости не осталось и следа. Мозг, приученный мгновенно систематизировать все поступающие сведения, выстроил картину происходившего там, за печкой.

Когда во сне Голикову привиделось, что кадушка с квашеной капустой разнесла в доме на Новоплотинной окошко, из Аграфениного окна в эту минуту вынули стекло. Причем либо оно было заранее надрезано алмазом и его оставалось только выдавить, либо кто-то предусмотрительно соскоблил замазку и отогнул гвоздики, которыми стекло крепилось. А чтобы еще и смазать шпингалет, требовалась помочь Аграфене. Без нее тут было не обойтись.

«Значит, она меня предала». Голиков почувствовал, как в

нем просыпается бешеная ненависть к женщине, к которой он относился с признательностью и доверием.

Она будто бы заботилась о нем, познакомила с Анфисой, ездila по его заданию на Песчанку. А на самом деле все трое — Аграфена, Анфиса и осторожный, ускользающий Кузнецов — были людьми Астанаева и Соловьева. «Император» и его начальник разведки подстраивали ему, Голикову, ловушки, помня, что в крайнем случае они настигнут его в доме Аграфены.

И настигли...

«Да как же меня вообще занесло в этот дом?! — в отчаянии подумал Голиков.— Сперва, конечно, случайно. Тут была ошибка Пашки. А когда Аграфена призналась, что любила Соловьева (иначе об этом сказали бы другие!), она сумела меня убедить, что все это в прошлом. И я ей поверили... Хотя на занятиях по разведывательному делу нас учили, что чувства женщины — вещь ненадежная. И женщина, которая сегодня говорит: «Я ненавижу этого человека!», завтра может за него умереть».

Для командира, который три с лишним года связан с разведкой и контрразведкой, Голиков попал в эту простенькую западню до нелепого глупо.

И он пожалел, что у него сейчас нет гранаты. Он показал бы «стекольщикам» из «артели» Астанаева, а также и «гостеприимной» Аграфене, что делает одна лимонка в замкнутом пространстве. Но гранаты под рукой не было. На горячую печку он гранаты не брал.

Рассчитывать он мог только на маузер с единственной обоймой — запасная осталась в кобуре на лавке.

«Ничего, попробую отбиться,— собираясь с духом, сказал он себе.— А там разберемся.— И подавленно обмяк: — Настя!.. Мы же погубили Настю! Как же нас с Пашкой угораздило привести ее к Анфисе?! И как эту девчонку угораздило приехать нынче, чтобы сказать свое «да»?! Анфиса, конечно, все слышала. Лишь бы Настя успела уехать! — взмолился он.— А там мы ее найдем, перехватим и спрячем... если я останусь жив!» И понял: мольбы пустые. Уехать Насте Анфиса не дала. Если Настя и уехала, то связанный, в банду, в лес.

Все оборачивалось против него: он допустил слишком много глупостей. Все, кроме пустяка. Весь план «стекольщиков», видимо, строился на том, что они должны его убить во сне. Не исключено, какое-нибудь сонное зелье подмешано и в ужин, который дождался его на столе (не зря Аграфена ему об ужине напомнила дважды, хотя он был в гостях у Анфисы). А он к ужину не притронулся и, несмотря на многодневную усталость, проснулся.

В августе девятнадцатого под Кожуховкой, близ Киева, где остановилась на ночлег полурота курсантов, белые закололи на рассвете часового Дунина. Память о той трагедии и сверхчувствительность к звукам, которая выработалась в нем спасли его сейчас. Он не знал, останется ли жив. Но сонным они его уже не убьют, и сделать два-три выстрела он успеет.

«Нет,— возразил он себе,— я не имею права подохнуть на печке. Я должен спасти девчонку, которая ни в чем не виновата. А ей в лучшем случае уготована судьба Анфисы, когда Анфису изловили в лесу».

За окном произошло какое-то шевеление. Скрипнула рама — и снова все замерло: бандиты прислушивались, не проснулся ли он. В затяянной игре начали проступать некие правила. Голиков мгновенно ими воспользовался и сделал первый ход. Как бы во сне он шумно вздохнул и вытащил руку с пистолетом из-под подушки. Он хотел взвести затвор и замер. Затвор издавал сухой щелчок, взвести его можно было лишь в последнюю секунду.

Бандиты, поверив, что Голиков от шума не проснулся, опять засутились, и кто-то мягко ступил на пол комнаты, будто его опустили на руках.

Аркадий Петрович по-прежнему ничего не видел и на мгновение обрадовался, что в комнату проник лишь один «стекольщик», другие же — сколько их там? — останутся на улице для прикрытия. Но нет, вот уже лез и второй — видимо, увалень, потому что лез неловко и неосторожно, вероятно рассчитывая, что Голикова опоили отравой. В ответ, чтобы не зарывались, Голиков опять будто бы во сне потерся боком, а на самом деле подвинулся к краю печки. Бандиты снова замерли. Если бы не знать, что за этим стоит, игра могла бы показаться забавной. Но Голиков пока что играл в прямом смысле вслепую.

Аркадий Петрович мог бы спрыгнуть и открыть стрельбу по гостям, которые уже находились в комнате, но он не имел понятия, сколько их еще под окном. А в пистолете у него было всего семь патронов. И Голиков выбрал более рискованный, но и более ошарашивающий вариант: открыть огонь, когда «стекольщики» появятся в проходе.

По тяжелому дыханию и грузному, хотя и мягкому прыжку Аркадий Петрович понял, что увалень теперь тоже в комнате. По медвежьим ухваткам увалень мало подходил для такой работы.

«А может, ловкость ему и не нужна? Может, я уже не должен был проснуться? — снова мелькнуло у Голикова.— Ведь ужин и теперь дожидается меня на столе».

Он опять с неприязнью подумал о квартирной хозяйке, но мысли о ней мешали ему сосредоточиться на том, что предстояло, и он их отбросил. Правая рука, на которую он оперся, тала затекать, и он встревожился, что онемеют пальцы, перестанут быть послушными, а стрелять лучше с правой. И Аркадий Петрович, легонько высвободив руку, несколько раз сжал кисть, убедился, что пальцы не потеряли чувствительность, переложил в них маузер, еще раз напомнив себе, что затвор не взведен. И стал ждать.

Раз «стекольщикам» помогала Аграфена, они должны были знать, где он спит. Им разглядеть его на печи будет трудно, а он сразу увидит их силуэты, как только они войдут в проход между печкой и шкафом.

Голиков пожалел, что лежит головой к трубе и потому увидеть «стекольщиков» сможет лишь в самое последнее мгновение. Если бы он лежал в дальнем углу, он бы увидел убийц еще на подходе и в его распоряжении оказалось бы на две-три секунды больше.

И он их увидел... Сначала появился мужичонка маленького роста в ушанке. Он приближался неуверенно и робко, останавливалась через каждые несколько сантиметров, словно чувствовал, что в его сторону наведен маузер. А сбоку, прячась, его подталкивала в плечо массивная рука, которая, надо полагать, при надлежала пока еще невидимому увальню. Казалось, эта рука посыпала низкорослого проверить, не съест ли его он, Голиков, а мужичонка робел.

Та же рука повернула мужичонку спиной к печке, и низкорослый бочком-бочком стал продвигаться к стене. Теперь стал виден тот, кого Голиков про себя называл увальнем,— массивный, высокий, в фуражке. А следом за ним — третий. Появление третьего Голиков проглядел, то есть не услышал. Скорей всего, третий проскочил в комнату, когда Голиков был занят перекладыванием пистолета из одной руки в другую и отвлекся.

То, что он не заметил, как появился третий, Аркадия Петровича расстроило. Он понял, что либо еще не вполне проснулся, либо так переутомлен, что усталая голова на короткие отрезки времени отключается от обстановки. В теперешней ситуации это могло скверно кончиться.

Досадуя на себя, Голиков до боли в запястье стиснул повязневшую рукоятку, ощущив кончиками пальцев шероховатое дерево щечек.

«Начать,— стремительно просчитывал Голиков,— нужно с этого, третьего. Он самый среди них ловкий. Затем — в увальня. А этот, робкий, не уйдет».

Аркадий Петрович сжал пальцами левой руки плоский, прохладный затвор, приготовясь его оттянуть,— и замер. Все трое, осторожно ступая, начали обходить массивный платяной шкаф, повернувшись к печке спиной. Они направлялись к кровати.

«Аграфена меня не предала!» — пронеслось в сознании.

Хозяйка уже на второй день его пребывания в доме знала, что он спит на печке. И чтобы Голиков каждую ночь не разорял постель, кинула ему на полати подушку в цветастой наволочке, чистую дерюжку на подстилку и старую шубу, которой он и укрывался. Если бы Аграфена помогала этим троим, она бы сказала про лежанку. Иначе все теряло смысл.

Внутреннее напряжение Голикова было так велико, что он не ощутил ни малейшей радости от своего открытия, а принял его к сведению, как еще одно обстоятельство, которое случайно обернулось в его пользу. И все-таки радость прорвалась: «Настя... Не нужно спасать Настю. И Анфиса, выходит, ни при чем. И Кузнецова». Значит, Соловьев еще не загнал его в угол, не окружил своими людьми.

Голиков сразу почувствовал себя менее одиноким и беспомощным. Нет, все оборачивалось не так уж плохо. Оставалось только расправиться со «стекольщиками», которых ждали две большие неожиданности: то, что его не окажется на кровати, и то, что он давно проснулся.

Теперь, когда эти трое повернулись к нему спиной и подкрадывались к пустой постели, ему совсем ничего не стоило уложить их из маузера. И тут, как всегда в смертельных ситуациях, мысль заработала с невероятной быстротой и взвешенностью.

«Астанаев прислал не случайных людей,— догадался он.— Эти трое могут знать, где главный штаб».

Догадка была весьма логичной, но она резко усложняла положение. Одно дело ударить из маузера в их воровские затылки, другое — подчинить их своей воле, обезоружить и сделать это в одиночку и в полной темноте. Времени на обдумывание плана не оставалось ни секунды. Но в Голикове уже проснулся азарт. Аркадий Петрович любил разгадать намерение противника, притвориться, что поступает именно так, как противник от него ждет, а затем, уже действуя как бы изнутри, винзапно все сломать и повернуть в нужную ему, Голикову, сторону.

Но никогда еще Аркадий Петрович не принимал решений, где бы время измерялось долями секунды, а жизнь его зависела от ничтожных мелочей: от пушинки, которая могла попасть в нос и он бы чихнул, от шубы, которой он укрывался и которая могла зашуршать по кирпичу лежанки, или от того, не даст ли

осечки патрон. При любой случайности у Голикова не оставалось шанса выжить. И даже печка, которая до сих пор надежно его укрывала, могла стать лишь каменным мешком, из которого нет выхода.

По звону в ушах, по тому, как внезапно отодвинулись и словно исчезли все звуки, Голиков ощущал, что замедлилось время. Он знал по давней привычке к опасности, что в каждую замедленную секунду можно увидеть, пережить, просчитать и продумать вдвадцать раз больше и быстрей, нежели в обычную. Судьба дарила человеку шанс выбрать и выжить. Если человек сохранил выдержку и ясную голову, он обнаруживал этот шанс и пользовался им. Если же человек паниковал, выхода для него не оставалось. Он был обречен.

Первым в проходе между кроватью и печкой оказался низкорослый. Он боязливо двигался бочком: отставив левую ногу, подтягивал к ней правую и снова делал шаг левой. От такого движения туловище его качалось, будто у ваньки-встаньки. И в этой покачивающейся спине была какая-то печаль, словно у человека что-то болело или он давно в себе носил большое горе.

Следом крадучись щел высокий раскормленный мужик. Все внимание его было нетерпеливо направлено в темноту за шкафом, где он еще ничего не мог разглядеть. Это был увалень, который теперь двигался совершенно неслышно. Правую руку он держал за пазухой расстегнутой куртки. Что он прятал за пазухой — пистолет или нож? Скорей всего, нож — бесшумное и что ни на есть бандитское оружие.

По спине Голикова, на горячей печи, скользнул озноб. Он боялся ножей. Перед ножами у него был страх с детства. И был повторяющийся сон: он идет мимо Стригулинских номеров. Внезапно появляется мужик в малахе, взмахивает ножом. Голиков чувствует удар под сердце... и просыпается... И вот еще один, с ножом за пазухой, стоял спиной к нему, Голикову, в нескольких метрах.

Эти мысли прервало появление третьего. Он был в круглой шапочке, похожей на флотскую бескозырку, и казался стройнее, моложавее двух других. В его движениях была легкость, даже вертлявость. Он держал наготове какое-то полотнище, скорей всего мешок. И в узкий проход он проник тоже как бы с обезьяными ужимками, словно заранее испытывая радость, что пакинет мешок на голову спящего человека. Эти трое собирались убить его, Голикова, без шума.

Низкорослый прошел коридорчиком между печкой и кроватью и замер возле стенки. В его фигуре были ожидание и тревога. Увалень и вертлявый остановились с ним рядом. Голиков

видел спины обоих: жирную, слегка согнутую — уваленя и поцирковому стройную, нетерпеливую — вертлявого.

За шкафом был полный мрак. Укладываясь спать, Голиков схватил с постели еще одну подушку, чтобы лежать на печке повыше, и рассыпал остальные из целой пирамиды, которую возводила Аграфена. Во мраке эти подушки на короткое время могли создать впечатление, будто на кровати кто-то спит.

Привыкая к темноте, трое застыли. Им уже некуда было спешить. Они проникли в дом, никого не разбудив и даже обманув каким-то образом соседскую двоюродную. По звукам, которые издавал Голиков со сна, они знали, что он в комнате, и могли позволить себе перевести дух.

Вертлявый, ожидая условного знака, повернул голову и снизу вверх взглянул на уваленя. Тот зашевелил рукой, которую прятал под курткой, и над плечом его блеснул металлический треугольник.

«Топор!»

Смерть они ему уготовили самую зверскую: вертлявый должен был набросить на голову мешок, а увалень — рубить топором. Это были не только месть и казнь. Убийство было задумано еще и как устрашение.

В Голикове сейчас не было ненависти или испуга — одно омерзение, потому что он четко представил, во что превратил бы его несколькими ударами уваленя. Аркадию Петровичу доводилось видеть топорную работу. По всей вероятности, это было самое отталкивающее, что он видел на войне.

И Голиков чуть было не передернул затвор — так все в нем рвалось прикончить эту троицу, — но остановил себя: «Не сметь!» Именно этих убийц, приближенных к Астанаеву, а то и к самому Соловьеву, следовало взять живыми.

Вертлявый, убедясь, что увалень приготовил топор, стал неторопливо заносить свой мешок над изголовьем кровати, а увалень еще выше поднял топор одной рукой, как это принято у мясников, которые разделяют говяжью тушу.

Когда вертлявый уже занес полотнище над изголовьем, будто на подушке сидела бабочка, которую он боялся спугнуть, а увалень еще выше занес топор, Голиков оттянул затвор — раздался щелчок.

— Ни с места, — сказал Голиков негромко. Во рту у него так пересохло, будто он сутки без воды провел в пустыне. — Лечь на пол!

Низкорослый рухнул бревном, а вертлявый и увалень замерли в своих неудобных позах.

...Когда-то в детстве Голиков играл в «замри». Это была

далеко не безобидная игра. Аркадий однажды вышел на уроке к доске, а Гришка Мелибесов пустил ему вдогонку: «Замри!» И Голиков замер, иначе пришлось бы платить «американку» — выполнять, пока Гришке не надоест, любое его желание.

— Голиков, что с вами? Вы нездоровы? — участливо спросил преподаватель математики Эпштейн, один из лучших педагогов реального.

Но и на вопрос Голиков не имел права ответить тоже.

— Отомри! — шепотом, давясь от смеха, разрешил Гришка.

Голиков, не смея поднять на Эпштейна глаза, с грехом пополам ответил урок, на перемене врезал Гришке и перестал играть в эту нелепую игру...

Сейчас игра в «замри» превратилась в игру смертельную.

— Я велел... лечь... на пол... — раздельно повторил Аркадий Петрович.

Но вертлявый и увалень, точно говорясь, не меняли своих поз. Лечь на пол для них означало гибель. А так еще оставался шанс: было открыто окно; высокий забор скрывал от глаз все, что происходило в доме Кожуховской, а Голиков по-прежнему — они это понимали — не хотел почему-то стрелять.

Тишина и неподвижность делались невыносимыми. Стало слышно, как от первого напряжения тяжело задышал увалень, да и стоять в нелепой позе с топором над собственной головой было утомительно. Голиков чувствовал: увалень вот-вот сорвется. И еще Голиков заметил: вертлявый, все так же держа в руках свой мешок, сумел чуть присесть, видимо изготавливаясь к прыжке.

При том, что эти двое молчали, а третий лежал на полу не шелохнувшись, в неподвижных действиях увальня и вертлявого ощущалась спаянность. Астанаев прислал не новичков. Было очевидно, что они пойдут на любую жестокость и топор — не единственное оружие, которое у них с собой. Чтобы пустить его в ход, вертлявому нужно бросить мешок, а увальню избавиться от топора. Но стрелять они тоже, скорей всего, не захотят. Значит, увалень попытается топор метнуть.

И Аркадий Петрович снова с досадой подумал, что неудачно расположился на печке. Единственное преимущество заключалось в том, что за трубой царила полная тьма.

Ждать Голиков больше не мог. Инициатива в молчаливом поединке начинала переходить к убийцам. Нужно было вызывать помочь. Будто назло, крепко спала Аграфена. В другие дни, стоило ему соскочить с печки, она уже спрашивала: «Ты куда это собрался?» А теперь, когда набежал полный дом незванных гостей, ее так некстати сморило. Кричать же: «Груния,

Груня, проснись! Тут бандиты!» — было до смешного нелепо. Выстрелить? Но как под выстрелами, пусть и поверх голов, поведут себя эти трое?..

А пока что надо было поменять неудобную позу. От лежания на правом боку у Голикова снова онемела рука, в которой он держал пистолет.

Распрямив рывком полусогнутые ноги, Голиков сбросил с них шубу, но не успел большие сделать ни единого движения. Увалень, не разворачиваясь, не теряя даже четверти секунды, ловко и сильно швырнул через плечо топор. Стоя в своей неудобной позе, он рассчитал, что Голиков должен будет сесть. Услышав шорох, увалень метнул топор в то место, где, по его предположениям, должен был, сев, оказаться командир. Топор пролетел над Голиковым, ударился в кирнич, высек искры, которые осветили на мгновение лежанку. Если бы Голиков успел приподняться, топор его бы задел.

Но увалень, у которого сдали нервы, поспешил. Ему недостало выдержки еще на одну секунду.

По звуку — удару железа о камень — убийцы поняли, что увалень промазал.

— На пол! Или стреляю! — сказал Голиков.

Норовя выиграть время, вертлявый не торопясь отбросил в сторону полотнище, которое он держал, а увалень стал медленно опускать руки.

Внезапно за дверью раздался душераздирающий крик:

— Аркаде́нька, что с тобой?! — Это, как всегда не вовремя, проснулась Аграфена.

— Уйди! — крикнул он ей, испугавшись, что в возможной перестрелке она попадет под шальной пулю.

Но долей секунды, на которые Голиков отвлекся, оказалось достаточно, чтобы увалень с вертлявым рванулись к распахнутому окну. Аркадий Петрович выстрелил, но опоздал: возле печки тех двоих уже не было.

Голиков прыгнул на пол, помня, что слева, в проходе, лежит третий и что нельзя поворачиваться к нему спиной.

И Аркадий Петрович, следя за бандитом на полу, кинул взгляд в сторону окна. Вертлявого в комнате уже не было. А увалень, снова потеряв сиоровку, переносил жирную, тяжелую ногу через широкий подоконник. Заметив, что Голиков стоит в проходе, увалень выхватил из-за пояса увесистый револьвер. Голиков в ответ нажал спуск.

Бандит медленно, боком ввалился обратно в комнату, опрокинув стол с нетронутым ужином. Зазвенели кринка и разбитая посуда. Увалень замер на полу в нелепой позе, задрав одну ногу

в меховом сапоге, которая осталась лежать на широкой лавке.
«Глупо, если убит», — подумал Голиков.

В отдалении раздался винтовочный выстрел: это поднял тревогу часовой.

И тут прикладом ударили в дверь. Она не поддалась. Тогда кто-то сильно ударил в нее с разбегу плечом. Слабенькая задвижка не выдержала. Дверь в темноте распахнулась.

Покушение готовилось всерьез. Видимо, Астанаев получил от Соловьева паказ не оставлять Голикова в живых. И был разработан запасной вариант. Вторая группа проникла с крыльца или тоже через окно.

Все это стремительно пронеслось в сознании Голикова, когда он прижался грудью к печке, переложив пистолет из правой руки в левую. Аркадий Петрович понимал: через полторы-две минуты здесь будут его бойцы. Но эти минуты надо было суметь продержаться. А продержаться было нечем.

В проходе лежал (если уже не вскочил!) низкорослый, в маузере осталось пять патронов, искать в темноте кобуру с запасной обоймой не было времени.

Вот когда Аркадий Петрович пожалел, что че дал Пашке прибить ставни и не послушался Аграфену — не разрешил охранять дом часовому. Он еще успел подумать: «А что с Аграфеной?» Несколько мгновений назад она стояла за дверью и кричала ему, полная испуга от неясности происходящего и тревоги за него.

И Голиков вытянул руку с маузером, чтобы сделать последнее в своей жизни выстрела. Он увидел в дверном проеме странный силуэт с винтовкой и напружинил палец, чтобы нажать спуск.

— Аркашенька, ты живой?! — Это была Аграфена.

Голиков вмиг обессилел, будто из него выпили разом всю кровь, и опустился на пол рядом с убитым, чувствуя, как от увальня пахнет сопревшими портянками.

Аркадий Петрович испытывал облегчение, что за дверью оказалась не вторая группа «стекольщиков», — там стояла Аграфена, но его била дрожь при мысли, что он ее чуть не застрелил в ту самую минуту, когда она рвалась его спасти и лупила в дверь прикладом мужиного ружья. И еще Голиков злился на Аграфену, что она своим криком отвлекла его, когда он держал на мушке увальня и вертлявого. В результате вертлявый бежал, а увалень, кажется, был мертв. Правда, оставался низкорослый, но он почему-то был Голикову менее интересен. Что-то его отличало от двух других убийц.

— Аркашенька, ты не ранен? — Аграфена присела на корточки возле него.

— Нет.

— Ты правду говоришь?

— Правду.

— Тогда чего ты сидишь на полу?

— Я ж тебя чуть не застрелил.

Голиков понимал, что грех валить вину за свою неудачу на Аграфену, но он был настолько измучен, что не сумел сдержать раздражения.

— Я же хотела помочь.— Она заплакала.

— Ты ни в чем не виновата,— сказал он, смягчаясь, и неловко провел рукой с зажатым в ней маузером по волосам Аграфены.— Принеси огня.

Аграфена внесла керосиновую лампу. Лишь теперь Голиков заметил, что стоит раздетый, в нижнем белье.

— Отвернись,— смутился он.

Женщина отвернулась. Не выпуская маузера, Голиков натянул галифе, которые лежали на лавке.

— Посвети! — сказал он и наклонился над увальнем.

Тот лежал с полуприкрытыми глазами. Казалось, он подсматривает за происходящим в комнате, но зрачки его были неподвижны.

— Знаешь его? — спросил Голиков Аграфену.

— Нет. Он не местный.

За окном раздался топот сапог: пришла подмога.

«Вот так они могли прибежать,— вяло подумал Голиков,— а я валялся бы, как этот...»

В окно всунулся Никитин.

— Аркадий, что случилось? — Пашка был в нижней рубахе. В руке он держал револьвер.

— Залезай — увидишь,— ответил Голиков.

Цыганок перемахнул через подоконник. Задел торчавшую вверх ногу увальня. Она с глухим стуком ударила об пол.

Пашка взглянул на разор в комнате и присвистнул.

— Мебелью, что ли, бросались? Кто такой? — спросил он, показывая на убитого.

— Аграфена его не знает. А там, в углу, еще один. Осторожно.

Никитин нагнулся, поднял с пола массивный револьвер убитого.

— Аграфена Александровна, посвети, пожалуйста,— попросил Никитин и направился в проход между печкой и кроватью.

Аграфена пошла за ним, высоко держа лампу. Голиков остановился возле шкафа.

Пашка приблизился к низкорослому, который с того мгновения, как плюхнулся на пол, не переменил позы.

— Вставай! — велел Цыганок.

Бандит нехотя поднялся, не поворачиваясь к свету. Никитин быстро его обыскал, не обнаружил никакого оружия и вытолкнул на середину комнаты.

— А теперь, красавчик, позволь взглянуть на тебя! — Никитин сильным движением повернул пленного лицом к свету.

— Ты что же это, Митька, наделал, а? — закричала Аграфена. — Ты о парне своем хоть подумал?

Перед ними стоял Митька-хакас, отец Гаврюшки.

— Митька — не бандита! — заливаясь слезами, закричал пленный. — Астанай казал: Голик — живой, баба — умер!

— Паша, поговоришь с ним в другом месте! — взмолился Голиков.

Митьку увеличили. Четверо бойцов унесли убитого. Голиков поднял стол. Аграфена поставила на него лампу, отправилась за веником и через минуту вбежала зареванная.

— Что случилось? — кинулся к ней Голиков.

— Шурку отравили... Вот он и молчал.

Шурка — это была соседская дворняга с крупными, как слива, добрыми и мудрыми глазами. Когда Голиков приходил днем обедать или возвращался вечером со службы, Шурка радостно скулил, просовывая в щели забора морду и счастливо замолкал, если Голиков, бывало, почешет ему за ухом.

— Прости, что так получилось, — сказал подавленно Голиков. — Это всё из-за меня. Я нынче же от тебя съеду.

— Еще чего! — ответила, сморкаясь, Аграфена. — Собаку только жалко. Такой душевный был зверь...

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

Аграфена отмыла, отдраила пол в комнате Голикова. Сухонький плотник-старичок поставил на место стекло, вынутое ночью вертлявым (оно было аккуратно прислонено к завалинке), и начал пилить доски быстрой ножковкой, сооружая ставни.

На кухне Пашка плескался над медным тазом.

А Голиков, вымытый, выбритый, с еще влажными от холода водой волосами, во френче с белейшим подворотничком, сидел на лавке возле стола. Не хотелось никого ни видеть, ни слышать, но негде было уединиться. И дома, и в штабе на каждом шагу были люди. У всех находились к нему дела. А Голикову не давала покоя мысль, что он снова по чистой случайности остался жив. Смори его покрепче сон — и это после него Аграфена замывала бы пол. От усталости и внутренней опустошенности он полудремал. И его бы никто не осудил, если бы он лег и выспался. Но Голиков не мог и помыслить, чтобы лечь на уже застеленную кровать или забраться на лежанку в своей комнате. Он знал, что будет вскакивать на малейший шорох... Кроме того, следовало допросить Митьку.

Аркадий Петрович решительно поднялся, взял с лавки ремень с кобурой, но пальцы неожиданно разжались. Голиков успел еще услышать, что кобура с пистолетом стукнулась об пол. Затем Голикову показалось, что у него исчезли ноги, а туловище как бы повисло в воздухе и стало валиться вперед, на стену и лавку. Голиков хотел вытянуть вперед руки, чтобы смягчить падение, но руки, как и тело, перестали ему повиноваться, словно мертвые. Жила еще только голова.

Аркадий Петрович видел: к лицу стремительно приближается отполированный край широкой лавки. Дубовая доска ударила его в лоб. Он ощущал нестерпимую боль и провалился во тьму.

В раскрытое окно всунулся недоумевающий старичок плотник, а из кухни с намыленной шеей и грудью побежал Пашка. Аркадий Петрович лежал на полу ничком. Подумав, что плотник подослан бандой и это он ударил Голикова по голове, Никитин выхватил из кармана галифе маленький браунинг, чтобы, не мешкая, покончить со стариком.

— Они сами, Богом клянусь, сами! — взмолился плотник и прижал к груди руку с ножевкой.

Ударом ножовки старик не смог бы свалить Аркадия с ног. Швырнув на стол браунинг, Никитин опустился на колени возле Голикова, перевернул его и увидел, что на лбу друга начинает проступать косой рубец.

Услышав божью плотника, в комнату влетела Аграфена.

— Добили?! — одними губами произнесла она, опускаясь рядом с Никитиным.

— Кажись, сморило его, и просто нет сознания,— глухо ответил Навел.— А это он, уже падая, повредился.

Аграфена вскочила, выбежала в кухню, принесла ковшик колодезной воды, полотенце и несколько длинных полотняных

лоскутов, которые остались у нее с той поры, когда она шила рубашки. Одним лоскутом она вытерла кровь из ссадины, другим с помощью Паши забинтовала голову.

Губы Голикова разжались. Шевельнув ресницами, он приоткрыл глаза.

- Паша, я ранен? — едва слышно произнес он.
- Сморило тебя, натерпелся ты нынче, не дай бог.
- Я что, тургеневская барышня? — ответил Голиков.

Но Аграфена и Павел не читали Тургенева и не сумели оценить грустный юмор.

Никитин помог другу встать. Тело снова начало повиноваться Голикову.

Никитин показал жестом плотнику, чтобы тот закрыл окно. Аграфена из комнаты вышла. Павел раздел Голикова, положил его на широкую лавку и принялся массировать. Он гладил другу голову надо лбом, растирал шею и грудь, руки и живот, спину и ноги, затем пощипывал и поколачивал, сам обливаясь потом. Наконец Голиков нормальным, звучным голосом сказал:

- Достаточно, Цыганок, я уже в порядке.

— Надеюсь,— ответил утомленный Пашка, вытирая лицо рукавом.— У нас в цирке знаешь когда такой массаж делали?.. Допустим, шел человек по канату и сорвался. Не разился, но изрядно струхнул. Ему бы денька два погулять, а хозяин требует, чтобы выступил в следующем представлении, потому как уже всем известно, что канатоходец сорвался, и уже объявлено, что он будет выступать снова, и билеты раскуплены, и публика ждет, не сорвется ли он опять. И вот, чтобы к человеку возвратилась уверенность, придумали такой массаж. А вообще знаешь, тебе сейчас полезней всего было бы на кого-нибудь наорать. Или хочешь — побей меня. Тебе сразу станет легче.— И, выпятив грудь, Пашка замер перед Голиковым, ожидая удара.

Голиков посмотрел на преданное лицо друга с его смешными белесыми усиками и легонько шлепнул ладонью в выпяченную грудь.

Через час Аркадий Петрович сидел у себя в штабе. Он снял повязку, и только порез над бровью напоминал об утренних событиях. А посетители думали, что это след ночной схватки.

По просьбе Голикова Никитин привел Митьку. Тот с безучастным видом сел на предложенный ему стул. У него был совершенно потухший взгляд, какой бывает у обреченных больных.

- Когда ты вступил в банду? — спросил Голиков.

Митька приподнял веки, так же безразлично посмотрел на командира и снова уперся взглядом в пол перед собой.

Решив, что Митька не понял, о чем его спрашивают, Никитин повторил вопрос по-хакасски.

Митька, вяло шевеля губами, что-то ответил.

— Он говорит, что не уходил в лес к Соловьеву и никому худого не делал.

— Как же ты оказался с этими двоими?! — всыпил Голиков.

— Астанай пришел к нему домой,— переводил Никитин.— Которого ты застрелил, звали Мастер смерти. Ему убить человека — что зарезать овцу. Астанай сказал: «Покажи Мастеру смерти Голика — заберешь домой бабу».

— А кто был третий, который убежал?

— Говорят: вор, сидел в тюрьме. А еще он говорит: тебя нельзя убить. Ты заговоренный, как Соловей. Они сначала ждали тебя возле Казачьей горки, а ты догадался и пошел домой. Тогда они решили убить тебя дома, в кровати, а ты догадался и спрятался на печке.— От себя Никитин добавил: — Видишь, они ждали тебя у горки, и вы случайно разминулись. В рубашке ты родился, Аркадий. И в подштанниках.

— Узнай,— попросил Голиков,— чего они спорили под окном.

— Митька не хотел лезть в окно, а Мастер смерти настаивал. Если бы ты сразу проснулся и открыл стрельбу, то сначала убил бы Митьку.

Пленного увели.

— В одиночку ходить больше не будешь,— решительно заявил Никитин.

— А если у меня любовное свидание? — криво усмехнулся Голиков, вспомнив, что скоро должна вернуться Настя.

— Нормальное дело,— серьезно ответил Павел.— Возьмешь с собою полуэскадрон. Пока ты будешь вздыхать при луне, жать барышне ручку и лузгать с нею семечки, полуэскадрон с шашками наголо будет тебя охранять.

— Зря ты ушел из цирка,— неизвестно отчего обиделся Голиков.— Из тебя бы получился отличный коверный.

— Если я попрошуся, в цирк меня, наверное, обратно возьмут. А ежели тебя ночью втихую прикончат, то снова начальником боевого района ты уже не станешь. Или ты думаешь, что у Соловьева только один Мастер смерти? Поэтому, во-первых, я сам переезжаю в дом Аграфены. Во-вторых, ставлю возле избы часового. В-третьих, во всем, что касается твоей охраны, ты подчиняешься мне. Почитай шифровку из Ужура.

Никитин вынул из кармана вчетверо сложенный бланк тел-

грамм и вышел из кабинета. В дверях он столкнулся с дежурным по штабу.

— Аркадий Петрович, — сказал дежурный, — там мальчик, хакасенок. Плачет. Говорит, что ему нужны только вы.

— Впустите.

Вбежал Гаврюшка. Он был в женской розовой кофте с подвернутыми рукавами и в коротких штанах. На давно не мытом лице были размазаны слезы.

— Голик! — крикнул он с порога. — Я тебе помогал, я думал, ты мне как брат. А ты убил отца.

— Жив твой отец.

— Ты врешь! Русского ты отпустил, а отца убил!

Голиков, несмотря на Пашкин бодрящий массаж, находился в том странном состоянии, когда казалось, что он может в любую минуту опять грохнуться в обморок.

Дежурный по штабу еще не ушел, Аркадий Петрович попросил его:

— Проводите мальчика к арестованному.

Через четверть часа Гаврюшка появился опять. Лицо его оставалось таким же неумытым, но выглядело успокоенным.

— Голик, отпусти отца.

— Не могу.

— Он ведь не сделал тебе ничего плохого. Он ведь из-за мамки.

— Я не могу его отпустить. Он под следствием.

— Сволочь ты, Голик.

Аркадий Петрович уперся обеими руками в стол. Ему казалось, что он снова падает...

ЛЮБОВЬ, КРУГОМ ЛЮБОВЬ...

После обеда, когда Павел, схватив фуражку, убежал в штаб, Аграфена сказала:

— Иди, Аркаша, поспи часок. Я тебе постелила в мужчиной светелке. В твоей теперь будет жить Паша.

— Хорошо, — сказал Голиков. Он был подавлен неустойчивостью своего состояния. И все надежды снова выздороветь и окрепнуть связывал с возможностью высаться.

В небольшой комнате Аграфениного мужа, который не появ-

лялся уже несколько месяцев, белела заботливо разобранная постель. Голиков разделился и нырнул под одеяло.

В ту же минуту он заснул. И открыл глаза оттого, что его трясли за плечо. В комнате было темно. Свет проникал через распахнутую дверь из кухни, где моргала коптилка. У постели стояла Аграфена.

— Который час? — спросил Голиков.

— Половина десятого.

— Что же ты меня так долго не будила?

— Паша не велел. Он сказал: «Пусть поспит до утра». Но приехала какая-то Маша. Мне сказала об этом Анфиса. Я подумала: невелика барыня — подождет. А Паша говорит: «Нет, буди».

— Где она?

— Анфиска говорит, что у нее, мол, в предбаннике. Спрашиваю: «Кто такая эта Маша?» — не говорит.

— Это моя новая знакомая. Из Ужура.

— Послушай, не дурили бы вы мне с Анфиской голову. Вся деревня гудит, что у тебя с ней любовь. Когда на свиданку пойдешь, за Пашей зайди. Он обещал тебя покараулить. — И, обиженная, вышла из комнаты.

Объяснить Аграфене, кто такая Маша, Голиков не мог. Он только подумал: «С чем приехала Настя? И так быстро».

Через полчаса Голиков с Никитиным важно прошествовали к Анфисе. Каждый нес по небольшому свертку с бельем, а у Паши в руке была новая лыковая мочалка.

Анфисина банька стояла в огороде. Это было прочное строение с крошечными оконцами. Из трубы, пригибаясь, вился дымок.

Друзья для отвода глаз зашли к хозяйке. Анфиса вместе с ними вышла во двор, подойдя к баньке, легонько постучала в дверь. Брякнул засов.

— Мойтесь на здоровье, — ни на кого не глядя, сказала Анфиса и направилась в дом. Похоже, и она была чем-то обижена.

Павел остался на улице. Он сел на чурбак в сарае, у поленицы дров. С дороги Никитин был незаметен, а держал в поле зрения все подходы.

Голиков толкнул дверь и очутился в чистеньком предбаннике с высокобленным столом, на котором помаргивала коптилка и высился кувшин с квасом. Единственное окно было занавешено отстиранным домотканым половиком. У входа стояла Настя. Она была в том же длинном, до пят, сборчатом платье, что и ночью.

Еще не прошло и суток, как они расстались, а в Насте что-то переменилось. Она стала тоньше, выше ростом, смуглое лицо ее побледнело: в нем были и гнев, и тревога.

— Ты не ранен? — рванулась она к Голикову, как только он прикрыл за собой дверь.— Они с тобой ничего не сделали?

Настя неуловимо напомнила Аркадию Петровичу маму в тот день, когда он уезжал в армию и забежал в больницу попрощаться.

Настя протянула руки, то ли желая его обнять, то ли убедиться, что он цел.

Голиков взял ее протянутые руки в свои:

— Успокойся, со мной все в порядке.

Неожиданно оба покраснели. Настя села на лавку, Голиков — напротив на табурет.

— Ты не уезжала?

— Нет, я уехала, по дороге услышала стрельбу. Но мало ли теперь стреляют? А днем мне вдруг говорят: «Астанайка ночью убил Голика». Я как безумная помчалась обратно и всю дорогу думала: «За что мне такое горе: сначала Другуль убил отца, теперь Астанайка убил тебя?» И еще я думала: «Если он еще жив, я его спасу». И возле Форпоста узнала, что ты жив.

Рассказ Нasti растрогал и раздосадовал Голикова. С этой девчонкой связывал он теперь свои надежды узнать, где штаб Соловьева. Но если она будет срываться всякий раз, когда пройдет слух, что его убили, то дело не сдвинется с места.

— Есть какие-нибудь новости? — спросил он хмуро.

— Везде говорят про то, что Астанайка пытался тебя убить. И еще про то, что ты не любишь хакасов. Отпустил русского, а мучаешь Митьку. Ты правда его мучаешь?

— Да не мучаю я его! Это Соловей с Астанаевым хотят меня поссорить с хакасами.

— Знаешь, у нас скоро будет праздник — тун-пайрам.

Голиков слышал о таком празднике. Его проводили в начале каждого лета, когда скот после зимы набирал силу и появлялись в избытке молоко, сметана, творог и другие продукты, которые делали из молока. Тун-пайрам — это праздник скотоводов.

— Ты умница, Настя,— сказал Голиков, о чем-то задумавшись.

Шифровка поступила в последнюю минуту: «План ваших действий одобряем».

— Шикарно! — сказал Никитин. — Я опасался, что Кажурии не позволит. Он последнее время осторожничает. Лишь бы теперь не помешал Соловей.

Никитин был в новом френче, отглаженных галифе и в начищенных до клинового блеска сапогах, словно собирался на бал.

— Если Соловьев сорвет праздник, — ответил Голиков, — он обидит хакасов. А ему с хакасами нужно поссорить нас. Так что срывать праздник он не станет. А подстроить что-нибудь может.

Голиков тоже был в новом френче, новой папахе, и на нем скрипели новые ремни. Аркадий Петрович был гладко выбрит, но лицо его похудело, и выглядел он совершенным мальчишкой, несмотря на широкие плечи и высокий рост.

...Чоповский отряд приближался к громадной поляне у подножия зеленого холма. Впереди колонны ехали Голиков и Никитин. За ними двигалась черная лакированная карета на высоких рессорах и больших колесах. Окна кареты изнутри были задернуты занавесками. Колымагу нашли в Чебаках, в сарае Иваницкого, и наскоро отремонтировали.

На облучке с видом заправского ямщика сидел Мотыгин.

До поляны оставалось метров триста, когда Никитин подал знак, и отряд, который двигался верхом за каретой, запел.

Месяца полтора назад Голиков выпросил в Ужуре гармониста. И не мог этому нарадоваться. Каждый свободный час в отряде возникала «культработа». И еще Голиков заметил: если отряд ехал по деревне с песней, то жители меньше дичились, охотней вступали в разговоры и брали на постой.

И сейчас мужественная солдатская песня «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана», которую пела под гармонь полусотня хористов с могучими глотками, оповещала, что отряд едет принять участие в местном празднике.

На поляне стояли сотни юрт. Дымились костры. Паслись и ржали кони. Тут продавали, покупали, варили, угощали, спорили, сватали, обменивались новостями, набирались праздничных впечатлений.

Старуха с трубкой в зубах продавала, разложив на кошме, женские наряды — платья, платки, расшитые сапожки. Два

средних лет хакаса, держа уздечку вздрагивающего от их крика коня, сердито спорили. Наверное, не могли сойтись в цене.

Со всех сторон от котлов неслись одуряющие запахи мясного варева. После неближней дороги они будили нешуточный аппетит. И Голиков мысленно похвалил начхоза за предусмотрительность: тот выдал каждому бойцу перед отъездом по караваю хлеба и по нескольку длинных полос мяса, закопченного по хакасскому рецепту. Оно было вкусным и не портилось в дороге.

Неподалеку от белого шатра щублика окружила двух борцов.

— Курес, — пояснил Никитин, — национальная борьба.

Состязались молодые парни: один в желтой, другой в малиновой рубашках, перепоясанных кушаками. Оба явились на состязание в новых сапогах с вышивкой.

Борец в малиновой рубашке был хорошо сложен, красив, но полноват. Двигался он по кругу проворно, однако с некоторой ленцой. Он был уверен в своем превосходстве над противником.

Парень в желтом был повыше ростом, но худощав. Худоба создавала впечатление, что он заметно слабее. В тот момент, когда Голиков проезжал мимо, парень в желтом, держа наготове руки с растопыренными пальцами, ждал удобного момента, чтобы схватиться с противником, но при этом пока что избегал длинных, заросших волосами рук малинового, напряженные согнутые пальцы которого напоминали лапу хищной птицы. Быстро передвигаясь по естественной арене, желтый пока что не давал возможности противнику вцепиться в него. Но зрители расценили эти маневры как проявление робости и стали кричать желтому что-то обидное. От одного выкрика желтый вздрогнул — и лапища малинового обвились вокруг него.

Близость конца поединка привела толпу в нетерпение. Желтый выглядел обреченно, хотя малиновому не удалось повалить его. Малинового это злило. Толпе надоела безрезультатность поединка. Малиновый выпустил противника, собираясь применить другой прием. Внезапно желтый обхватил толстяка и оторвал от земли. Малиновый начал смешно болтать в воздухе ногами, норовя подсечь желтого под коленку, но ему это не удавалось. А желтый стал волчком кружиться на одном месте, словно малиновый ничего не весил.

Беспомощность малинового, его болтающиеся в воздухе жирные ноги возбудили в толпе смех. Малиновый моментально перестал быть кумиром. Особенно громко хохотали девушки. А желтый, точно играя в карусель, продолжал кружиться все быстрей. И вдруг остановился. Малиновый, растопырив руки, отлетел от него и плюхнулся о землю животом, как плюхается

неумелый ныряльщик о воду. Упав, он остался лежать без движения.

Толпа затихла. О победителе забыли. Он стоял посреди круга одинокий и несчастный. Никто не собирался поздравлять его с заслуженной победой, и он не знал, прилично ли ему подойти к поверженному противнику. А что, если малиновый на самом деле умер?

Сколько-то времени никто из зрителей не трогался с места. И Голиков, который вместе с Никитиным и бойцами наблюдал с седла за схваткой, кинул повод на шею коня, собираясь спрыгнуть. Никитин его остановил:

— Обойдется без тебя.

И в самом деле, по толпе взволнованно пронеслось: «Кам... кам... кам...» Зрители расступились. По людскому коридору привычным быстрым шагом двигался человек лет пятидесяти, который разительно отличался от всех остальных. У него была бархатная шапка, украшенная желтовато-серыми орлиными перьями, из-под нее до самых плеч ниспадали густые черные волосы. На овчинный полуушубок были нашиты полосы того же темно-вишневого бархата с белыми драгоценными раковинами каури, которые напоминали змеиные головки. Раковины добывались в Индийском океане. За каждую здесь, в Хакасии, отдавали быка. Довершали облачение два орлиных крыла, прикрепленных к спине.

И все-таки больше всего в облике этого человека поражали глаза: черные, цепкие, наделенные каким-то особенным блеском, словно изнутри они освещались огнем. Блеск этих глаз даже больше, чем удивительная гладкость лица, придавал всему облику мужчины поразительную молодость. Но в лице была надменность человека, который привык повелевать судьбами. Это был шаман.

Считалось: шаман избран духами, чтобы с их помощью защищать соплеменников от бед. Люди верили, что от шамана зависит, будет ли хороший погода, удачным промысел, уродит ли земля, станет ли плодовитым скот и лесной зверь.

Шаман по цвету лица определял, чем болен человек, и лечил его. Когда больной выздоравливал, целителя щедро одаривали. Но стоило шаману сказать: «Я вижу страждущего в саване» — это означало, что человек обречен.

Шаман предсказывал судьбы людей, легко отыскивал в толпе воров, видел внутренним взором то место, где затерялся в тайге ребенок или неопытный охотник. Родственники шли вместе с шаманом и находили заблудившегося.

...Шаман остановился у простертого тела, презрительно огля-

дел его. Потом с живым интересом посмотрел на парня в желтой рубашке. Победителю было лет восемнадцать. Лицо его было открытым и простодушным. Заметив, что на него глядит шаман, парень виновато опустил глаза. Шаман негромко произнес несколько слов.

— Такой победой ты можешь гордиться,— перевел Никитин Голикову.— И твоей вины, что он плюхнулся на брюхо, как мешок с кизяком, нет.

В толпе заулыбались, но не осмелились чествовать победителя в присутствии самого шамана.

Тем временем шаман присел возле поверженного борца, провел рукой вдоль его позвоночника, потом наложил обе руки ему на голову. И руки мелко задрожали, как дрожит мельничное сито, просеивающее муку. Малиновый вздохнул и приоткрыл глаза.

Шаман, заметив это, встал и протянул руку. В ней, словно из воздуха, появился бубен, массивный, похожий на щит. Шаман начал негромко выбивать на нем мелкую дробь, приплясывая вокруг неподвижного тела, и наконец энергично заплясал, высоко поднимая ноги с необыкновенным для его лет проворством, то и дело наклоняясь к малиновому и, видимо, приглашая его встать.

— Врач ему нужен,— негромко сказал Голиков.— Этот парень ушиб живот, и вдобавок у него, возможно, сотрясение мозга.

— Шаман понимает это не хуже тебя, поэтому он массировал ему голову, а теперь он просто дает представление.

Шаман еще продолжал свое камлание. Далеко разносился удары его большого бубна.

...Голиков с Никитиным остановились со своим эскортом метрах в двадцати от просторного белого шатра. Так, подумалось им, будет вежливее и они не нарушают какого-нибудь ритуала.

Молодой хакас, который стоял у входа, лишь только командиры спрыгнули с коней, тут же юркнул в шатер. Но, вопреки местным правилам гостеприимства, никто навстречу не вышел. Это было скверным признаком. Скорее всего, он означал: Соловьеву удалось поссорить Голикова с хакасами, что могло иметь самые драматические последствия.

Но за командирами, без сомнения, наблюдали из шатра. Кроме того, поблизости — случайно или нет — оказалось несколько десятков зевак. Аркадий Петрович взглянул на Никитина, спрашивая глазами: «Что делать?» Пашка едва приметно пожал плечами: он тоже не знал.

Голиков громко позвал:

— Михайлов! — К нему подъехал красноармеец.— Передай по цепочке: возможен бой. При первом выстреле — все к шатру.

Михайлов развернул коня и помчался так стремительно, будто бой уже начался. Голиков подождал, пока Михайлов скрылся из виду. Ему нужно было время, чтобы обдумать ситуацию.

Аркадий Петрович обратил внимание, что народу возле шатра прибавилось. Было заметно, что многие ждут, в какую сторону повернутся события.

— Мы, кажется, успели, отослав ребят охранять этот базар,— негромко сказал Никитин.

— Я надеюсь, никто не захочет портить праздник,— ответил ему негромко Голиков и тут же зычным командирским голосом: — Товарищ Никитин! Доложите почтенным старейшинам, что начальник второго боевого района по борьбе с бандитизмом по случаю праздника желает нацести визит вежливости.

— Есть передать... визит вежливости,— повеселел Никитин.

Прежде всего было важно, чтобы старики их приняли. А там, надеялись командиры, они договорятся.

Никитин спрыгнул с коня и исчез за пологом. Возвратился он расстроенный.

— По ихнему гостеприимству, хозяин — аалбаза, ну, это староста ближнего селения,— должен был бы выйти и тебя встретить,— сказал Павел,— а они приглашают тебя в шатер. Там, мне показалось, сильно бузит Кульбистеев. Он сидит возле самого аалбазы. Наверное, нарочно. И шаман, которого мы видели, уже там.

Кульбистеев проходил несколько раз по разведыводкам. Он был владельцем конских табунов, считался одним из самых состоятельных людей в Хакасии. Часть табунов у него отобрал Колчак. Часть, уже после Колчака, Кульбистеев подарил Красной Армии. Но имелись сведения, что он поддерживает постоянную связь с Соловьевым, который будто бы прочит его в министры своего правительства, после того как создаст «свободную и независимую Хакасию».

— Когда в шатер пролез шаман — ума не приложу,— продолжал Никитин.— А Кульбистеев думал, что я не понимаю по ихнему и сказал аалбазе: «Голиков обидел всех хакасов — нечего ему здесь делать».

Аркадий Петрович поиграл желваками:

— Цыганок, улыбнись,— и улыбнулся сам.— Нас пригласили, и это главное.

Он спрыгнул с седла, отдал повод подъехавшему бойцу и

направился вместе с Никитиным к шатру. Тяжелый полог, словно по волшебству, распахнулся. Командиры вошли.

Внутри на белом войлоке стояло несколько низеньких столиков с угощением. За ними сидели гости. Аркадий Петрович обратил внимание, что еда не тронута и два места свободны. Служба оповещения, как всегда, работала превосходно. Их с Никитиным здесь ждали.

«А если ждут к обеду, — подумал Голиков, — значит, все еще не так скверно».

В шатре сидели по преимуществу седобородые и седоголовые старцы. Некоторым было не меньше ста лет.

За столиком, где оставались два свободных места, восседал худой старик с редкой бородой. Поврежденное оспой лицо его было печальным и строгим. При появлении командиров он один только поднялся с пола и что-то произнес, глядя прямо в глаза Голикову.

— Это Наир-ага, — вполголоса пояснил Никитин. — Его здесь уважают пуще других. — И шепотом: — Его шаман даже боится. Наир-ага говорит: «Спасибо, что приехали. Будьте нашими гостями».

Наир-ага показал на свободные места слева от себя. Справа сидели шаман в своем одеянии, которое он не успел или не захотел снять, и еще один хакас лет сорока пяти — самый молодой среди присутствующих — с очень красивым полным лицом и темными, ненавидящими глазами. По глазам Голиков и узнал его. Это был Кульбистеев.

Аркадий Петрович понимал: в том холодном, почти неприязненном приеме, который ему и Цыганку сейчас оказывали, не было ничего случайного. То, что справа от Наир-аги восседали шаман и Кульбистеев, означало, что, с точки зрения хозяев, перевес в данный момент был на стороне Соловьева. И Голикову бросали вызов.

Начальник 2-го боевого района по борьбе с бандитизмом получал повод оскорбиться и уехать, то есть сделать именно то, чего от него и хотел бы Соловьев. Ссора со стариками на таком празднике надолго осложнила бы отношения Голикова с местным населением. И понадобилось бы много времени, средств, унизительных уступок, чтобы эти отношения хотя бы внешне наладить.

Голиков притворился, что не заметил брошенного ему вызова. Он решил сыграть роль полунаивного, совершенно не наблюдательного простака, не сведущего в дипломатии и политике.

Увидев, что Наир-ага по-прежнему стоит, показывая ему и

Пашке на свободные места слева от себя, Голиков снял папаху и ответил:

— Благодарю вас, Наир-ага,— и широко, простецки, обезоруживающе улыбнулся.

Но прежде чем сесть, он искал место, куда положить папаху, потом стал усаживаться за низенький столик, но ему то мешали ноги, то шашка, и он никак не мог устроиться, в отличие от Пашки, который уже сидел как литой.

Старики за столами снисходительно улыбались этой неловкости и неотесанности. Шаман по-прежнему ничего не замечал, а предполагаемый министр предполагаемой «независимой Хакасии» улыбался откровенно презрительно. Тень улыбки мелькнула даже на лице Наир-аги, хозяина этого белого шатра и всего нынешнего праздника. И только глубокий старец, что сидел за крайним столиком, без улыбки, крайне озабоченно смотрел на Голикова запавшими, выцветшими, много чего на свете повидавшими глазами. Похоже, он догадывался, что мальчишка-начальник совсем не так прост, как некоторым показалось.

Но одного Голикова добился: атмосфера в шатре стала менее мрачной. И тогда Аркадий Петрович легко и ловко сел, скрестив ноги.

За столом находились только мужчины. Открылся полог. Появились женщины лет за тридцать и девочка лет четырнадцати. Каждая несла по овальному блюду с пряно пахнущим мясом. Одно такое блюдо появилось на столе перед Голиковым и Никитиным. А Наир-ага разлил по стаканам из трехлитровой бутыли жидкость, которая пахла спиртом и скисшим молоком. Это была арака — молочная водка.

Обняв сильными тонкими пальцами свой стакан, Наир-ага поднялся. Он окропил водкой воздух вокруг себя, принося скромную дань богам и духам, которые в хакасском пантеоне между собой перемешались и породнились, и заговорил высоким мелодичным голосом.

— У нас сегодня большой праздник,— переводил Никитин.— И мы рады, что у нас...— Павел запнулся,— гости. К сожалению, праздник омрачен одним обстоятельством. И все-таки за здоровье гостей. Пусть их служба будет легкой и приятной.

И Наир-ага слегка поклонился в сторону командиров.

Голиков с Никитиным поднялись, чокнулись с Наир-агой, повели стаканами в воздухе в знак того, что они чокаются со всеми, но омочили только губы, а пить не стали.

Это мгновенно было всеми замечено. Лицо Наир-аги стало неприязненно-холодным, а лицо предполагаемого ministra тор-

жествующе-злорадным: дипломатия Наир-аги терпела крах. Даже в глазах шамана скользнула усмешка.

Наир-ага, сохранив достоинство, медленно выпил свой стакан и сел. Кульбистеев что-то сказал на ухо шаману. Шаман совсем тихо бросил два слова Наир-аге.

Старик выслушал, помолчал. Лицо его стало еще более жестким, словно он принял сугубое решение.

— Для нас это кровная обида, — глядя прямо перед собой, но уверенный, что все его слышат, произнес Наир-ага (а Никитин перевел), — когда люди, за здоровье которых мы пьем, гнушаются пить вместе с нами. Если им противно наше вино, то им должен быть противен и наш хлеб. В таком случае необязательно сидеть с нами за одним столом.

Это было публичное оскорбление, уже третье за утро, расчитанное на то, что командиры взорвутся, встанут и уйдут. Шаман и предполагаемый министр понимали, что они делают. И если два первых оскорблений были нанесены молчаливо, поскольку крылись в тонкостях местного этикета, то слова Наир-аги не услышать уже было нельзя.

И Голиков с Никитиным поднялись. Будто по забывчивости, они продолжали держать в руках стаканы. Аркадий Петрович обвел взглядом присутствующих. Вид у Наир-аги был удрученный. У входа замерла с подносом в руках девчушка. Старец, что сидел в дальнем углу, смотрел на албазу с осуждением: за свои сто с лишним лет он впервые видел, чтобы выгоняли из-за стола гостей, которые не сделали ничего дурногд.

Шаман налил себе из квадратного штофа и с удовольствием, словно не замечая происходящего, потягивал араку. И лишь на красивом и глуповатом лице предполагаемого министра появились непроницаемость и неприступность: он представлял здесь будущее правительство Хакасии, которая скоро отделился от Советской России. Кульбистеев уже рисовал в своем воображении, как поздно вечером в лесу расскажет о скандале, который он организовал, самому Ивану Николаевичу.

Между тем шаман, быстро допив второй стакан, слегка скосил свои молодые, поразительного блеска глаза и следил за тем, как поведут себя гости, которым указали на дверь. Шаман считался наместником духов на земле. Простые, иешаманские заботы его тревожили мало. Пока рождаются, болеют и умирают люди, случаются неурожай и падеж скота, он, шаман, без работы не останется, какая бы ни установилась власть.

А Наир-ага думал: «Голиков ответит грубостью на грубость. И что же будет дальше? Он уйдет со своими солдатами из Хакасии?.. Нет. Его победит Соловей? Но если бы Соловей мог его

победить, он бы это сделал давно. Значит, Голик будет продолжать здесь служить, ненавидя всех хакасов. Что же хорошего из этого получится? Что же я натворил, поддавшись совету болвана Кульбистеева!»

И старику, прежде чем заговорит Голиков, захотелось встать и принести свои извинения, сказав, что его попутали черные духи, которых полным-полно набралось в шатре, хотя тут сидит шаман, которому, прежде чем пить водку, следовало бы заняться своим основным делом. Но встать и опередить Голикова Наир-ага не успел. Аркадий Петрович высоко поднял свой стакан и снова обаятельно, обезоруживающе улыбнулся.

— Глубокоуважаемый Наир-ага,— сказал он.— Глубокоуважаемые старейшины...

Никитин перевел.

Рослый и сильный Голиков хорошо смотрелся в этой юрте. Он мог быть внуком или правнуком любого из этих старииков или старшим сыном Кульбистеева. И был на два-три года старше широкогубой, улыбчивой девчушки, которая замерла у входа.

При этом в юрте все понимали: у них в гостях большой начальник и очень смелый человек. Да, Голик не сумел пока поймать Соловья. Но и Соловей ничего не может поделать с этим мальчишкой.

— ...Прошу нас простить, что мы не выпили вашего вина,— сказал Голиков.— Мы знаем, что на сегодняшнем празднике должно быть все выпито и съедено, чтобы не обиделись ваши духи, посылающие приплод скоту и наполняющие молоком вымя овец и коров. Но у каждого народа свои обычай. Наши старейшины, которые живут в Москве, запретили нам пить вино. И наказание для тех, кто нарушит запрет, не одинаково. Если закон нарушит мой солдат, он будет посажен под арест...

Лица присутствующих стали печальными. Попасть под арест за радость выпить глоток согревающей и веселящей душу араки? Но ведь араку гонят в каждой юрте. Где взять силы удержаться?

— А если вино выпью я...— Голиков сделал паузу, и старики мудро заулыбались: они-то знали, что законы пишут не для начальников,— то меня завтра же лишат должности как опозорившего звание командира¹.

¹ В первые годы после революции в Советской России существовал сухой закон. Спирт на государственных предприятиях изготавлялся только в медицинских и технических целях и продавался лишь в аптеках по рецептам врачей. Производство самогоня считалось незаконным. На Хакасию этот запрет в 1921—1922 годах официально не распространялся: во-первых, потому, что производство молочной водки — араки — считалось национальной традицией, а во-вторых, потому, что здесь еще продолжалась гражданская война.

Цыганок перевел. Старики встревоженно зашептались: если Голик сейчас, упаси его бог, выпьет вина и на него рассердятся его старейшины, то кого же пришлют на его место?

— Поэтому не считите за обиду, что мы с Никитиным не пьем вместе с вами. Остальное угождение мы отведаем непременно.

Старики доброжелательно закивали головами: теперь все понятно. Наир-ага закрыл глаза и беззвучно прошептал благодарственную молитву добрым духам, которые не дали вспыхнуть скандалу.

А Голиков, прежде чем снова сесть на кошму, посмотрел с едва заметной усмешкой на предполагаемого ministra.

Кульбистеев же опустил голову и принялся за мясо, будто перепалка, которая произошла, его не касалась. На самом же деле Голиков не дал вспыхнуть скандалу, о котором Кульбистеева просил Соловьев... Что ж, праздник еще не закончен.

Зато Голикову улынулся шаман. Он видел за свою жизнь много слез и горя и гораздо реже встречал проявления большого ума. Ум не должностъ. Его не выдают вместе с жалованьем. И то, как вывернулся этот мальчишка, ему понравилось. Как понравился другой мальчишка, в желтой рубахе, который победил там, на поле.

А Голиков энергично принялся за еду. За время пути они с Никитиным изрядно проголодались. Павел от него не отставал.

Голиков отведал творог, овечий сыр, вяленое мясо, лепешки, сатырму — жаренное на масле толокно. Девочка принесла кувшин с толокнянным квасом. Они с Пашей его тут же распили, совершенно убедив хозяев, что не имеют ни малейшего предубеждения против их обильного гостеприимства. А девочка принесла еще и молодой баранины прямо из котла. Командиры воздали должное и баранине.

Наконец за столом притихли: в шатре ждали ответного слова Голикова, его объяснение относительно сухого закона речью считаться, естественно, не могло.

Аркадий Петрович уловил это ожидание, которое нарастало, но не спешил. Через Пашу он попросил девочку, которая разнесла еду, принести ему горячей воды. Девочка вернулась с закопченным чайником, налила Голикову целую кружку кипятка. Он выпил кипяток маленькими глотками.

Голиков не испытывал терпение собравшихся. Он приступал к главной части своей необычной миссии. И ему не положено было суетиться. Голиков представлял в шатре не только Ужур и Красноярск, но и Москву, которая не могла больше ждать, когда

угаснет этот очаг гражданской войны. Очень многое сейчас зависело от него, Голикова. Он трижды сегодня не позволил подставить ему пожку, не дал вспыхнуть подготовленному скандалу и, похоже, расположил в свою пользу некоторых стариков. Это важно. Ведь Соловьев объявил себя защитником хакасов. Среди этих молчаливых старцев были тайные сторонники Соловьева и тайные приятели Астанаева. Но были и такие, которые устали от многолетнего повсеместного горя и постоянного страха за своих близких. Никто не мог с уверенностью сказать, что Соловьев не ворвется со своей братией к нему в дом, не прикажет зарезать барана и не заберет коней. А ведь Астанаев забрал у Митьки жену. Забирал он и дочерей, и невесток.

Большинство стариков было готово перестать помогать Соловьеву, если бы они меньше боялись Голикова, о котором тоже ходило немало зловещих слухов.

Аркадий Петрович поднялся, взяв стакан.

— Хотя я лишен возможности оценить достоинства этого вина (Никитин перевел, старики заулыбались)... я хочу предложить тост... Пусть на вашей прекрасной земле воцарится покой, а в каждый дом войдут радость, счастье и полный достаток.

В шатре благодарно заплакали. Старики тут же выпили. Голиков во избежание возможных пререканий смочил для приличия губы. Их ожгло вином, напиток был крепкий. Но Голиков не спешил опуститься на кошму.

— Сегодня у вас большой праздник, — сказал он. — По нашему обычаю на праздник к друзьям не принято ездить с пустыми руками. Поэтому я приглашаю вас всех выйти ненадолго из шатра.

Лица стариков стали исприязненными и надменными, словно их разом оскорбили. В глазах Кульбистеева появилось откровенное злорадство, а шаман улыбался: ему давно уже не было так весело, как на обеде с этим Голиком.

И Никитин с опозданием понял, что они с Аркадием дали маху.

«Мог подарок принести, мог приказать своим солдатам... — ловил он обрывки того, о чем переговаривались старики. — Кто здесь гость, а кто хозяин?»

— Даже капитан-исправник уважал старейшин... — громко и возмущенно произнес Кульбистеев и под острым, клиновым взглядом Наир-аги осекся.

— У тебя короткая память, Артык, — прервал его Наир-ага по-хакасски. Он тоже был уязвлен бес tactностью мальчишки-командира, но не хотел усложнять с ним и без того непростые

отношения.— Ты забыл, как пьяный капитан-исправник тыкал твоего отца лицом в свежий конский навоз, потому что ему не понравился конь, которого он получил в подарок.— И повернулся ко всем присутствующим: — Почтенные гости, невежливо отказываться от подарка, который всем нам подготовил Голикага. Прошу вас на минуту выйти из шатра.

Никитин шепотом перевел. Голиков вынул из кармана френча белоснежный платок и вытер лицо, на котором простили бисеринки пота: мудрый старик его здорово выручил.

А Наир-ага взял Голикова под руку и вышел из шатра. Остальные последовали его примеру, но остановились возле самого входа, всем видом показывая, что через минуту-другую вернутся обратно. На то, что Голиков подготовил подарок каждому из них, они не рассчитывали. Начальство само любило подарки и с пустыми руками никогда не уезжало.

Люди на поляне, завидев старейшин, которые чего-то ожидали, оставили все прочие занятия и поспешили к шатру. Собралась большая толпа. Старики начали проявлять нетерпение.

Голиков щепнул:

— Цыганок, пора.

И Пашка не придумал ничего умнее, как, заложив два пальца в рот, по-разбойничию свистнуть. Многие старики зажали уши. Кульбистеев опять злорадно и громко засмеялся.

Голиков чувствовал, как у него от стыда пылают уши, но по неровной сухой дороге уже задребезжали высокие колеса и разболтанные рессоры. И допотопная карета с Мотыгиным на облучке, сопровождаемая эскортом из шести всадников, лихо развернулась и замерла возле шатра, дверцей к входу.

Никитин виновато посмотрел на друга, но Голиков снова стоял с непроницаемым лицом. Коль скоро подкатила коляска, можно было еще немного обождать, потому что публика бежала теперь с самых удаленных уголков поляны.

Голиков поднял руку в знак того, что просит тишины.

— Товарищи и граждане,— сказал он.— Во всей России уже установлен мир, и только в Хакасии еще продолжается гражданская война. (Никитин перевел.) Соловьев говорит, что будто бы он сражается за счастье хакасов. Нынче нам открывается возможность это проверить.

Аркадий Петрович приблизился к карете, потянул на себя лакированную дверцу с гербом. Из кареты, щурясь от яркого солнца, вышел Митька-хакас. Он был в чистой цветастой рубашке, в пиджаке, отглаженном Аграфеной, и в сапогах, которые Митька чистил сам. Он был побрит, пострижен, лицо округлилось, потому что, пока он сидел под арестом,

его каждый день кормили из солдатского котла. И лишь глаза его тревожно смотрели на одного только Голикова.

— Это Дмитрий Азарханович Ульчугачев,— представил его Аркадий Петрович, хотя многие знали Митьку.— Соловьев забрал в лес его жену Найхо, пообещав, что вернет, если Дмитрий поможет убить Голикова.

Толпа удивлению зашелестела. Что Голик арестовал Митьку, об этом было известно во всех аалах. А что Митька пытался убить Голика, большинство слышало впервые.

— В любой стране, при любом правительстве, если один человек пытался убить другого, его ждет суровое наказание,— продолжал Голиков.

Толпа, оробев, стала подаваться назад, расширяя круг. Что ждет человека, если он пытался убить начальника, здесь хорошо знали. Кульбистеев от восторга поглаживал себя по животу: устроить суд на празднике, которого не было три года,— до этого надо было додуматься! Старики стояли с непроницаемыми, хмурыми лицами. Положение обязывало их проявить выдержку до трагического завершения тягостной церемонии. Этот Голик с его простодушной улыбкой и замечательным аппетитом — большой и опасный шутник, если подготовил такой подарок.

— Именем Советской власти,— произнес Аркадий Петрович громким голосом,— как начальник второго боевого района...— Голиков остановился, чтобы Никитин перевел. На поле повисла зловещая тишина.— Я признаю Дмитрия Азархановича Ульчугачева, 34 лет, который участвовал в покушении на убийство по принуждению, невиновным. И отпускаю Ульчугачева на свободу!

Толпа встрепенулась, но Голиков поднял руку в знак того, что он еще сказал не все:

— Я предлагаю Соловьеву последовать нашему примеру и отпустить на волю Найхо Ульчугачеву и других заложников. Дмитрий Азарханович, вы свободны. Паша, растолкуй ему.

Кто знает, о чем думал Митька, когда его везли в душной карете с закрытыми окнами? Скорей всего, он мало рассчитывал на что-нибудь хорошее. А Голиков его заранее ни о чем не предупреждал. Командир и сам еще не знал, как сложится обстановка на празднике. Отпускать же Митьку просто так тоже был не резон. Неправильно понятое великодушие могло быть истолковано как проявление слабости.

На Митькином сумрачном лице с плотно сомкнутыми тонкими губами скользнула радость, которая тут же сменилась обидой и недоверием: его слишком часто обманывали последнее

время. Наблюдательный и мудрый Наир-ага произнес несколько слов. Митька вздрогнул, будто его колынули. Лицо покрылось красными пятнами, рот открылся, и он заплакал. Но плач его заглушили радостные возгласы. Люди кинулись к Митьке, окружили коляску, многие полезли на колымагу. Она затрещала, осела набок. Мотыгин закричал, соскочил с облучка, но рыдан был уже безнадежно разрушен.

И вдруг сквозь шум, треск и крики из глубины толпы донеслось:

— Ада!.. Ада!..

Неистовый голос ребенка словно разрезал людскую массу — и возле коляски появился Гаврюшка. Он кинулся к отцу и так цепко обнял его, точно Митьку собирались снова увозить, а Гаврюшка решил, что ни за что не отдаст.

Женщины заплакали. У мужчин скривились лица, будто их разом накормили клюквой. За неимением платков они стали вытираять глаза рукавами праздничных, многократно прошитых у плеча рубашек. Даже начальник 2-го боевого района по борьбе с бандитизмом товарищ А. П. Голиков внезапно отвернулся и заинтересовался колесами разломленной и ни на что больше не годной кареты. Но некоторым показалось, что солице слишком ярко блестит на ресницах молодого командира. И когда Голиков уже выяснил, что правое переднее колесо недостаточно смазано дегтем, его сильно толкнули в бок.

Командир обернулся. Перед ним стоял Гаврюшка. В его сияющих глазах было столько счастья, что только ради этого стоило пройти через сомнения и терзания минувшей ночи.

— Голик, — сказал Гаврюшка, — ты не сволочь, не сволочь... — И он снова кинулся к отцу.

ИСКУШЕНИЕ

Митьку с Гаврюшкой увезли кормить и поить. Народ стал расходиться. Главное дело было закончено. Помяя, сколько за утро они с Пашкой допустили промахов, Голиков посчитал за благо поскорей убраться восвояси. Но старики уже не спешили обратно в шатер. Наоборот, они о чем-то энергично спорили. Шаман, загадочно улыбаясь, слушал, а Кульбистеев был расстроен.

Голиков знал, что каждый из стариков ведет точный счет его с Соловьевым побед и поражений. Сорвалось ночное покушение

в доме Аграфены — очко в пользу Голикова. Соловьев тут же заявил, что Голиков истязает Митьку, — три очка в пользу «императора тайги». Но вот Голиков отпустил целого и невредимого Митьку. Завтра об этом будет знать вся Хакасия — пять очков в пользу Голикова.

Теперь начбоерайона бросил вызов «императору тайги». Примет ли его Соловьев? Отпустит ли Митькину жену? Если отпустит, счет сравняется, но ответ следовало ждать через два-три дня.

Аркадий Петрович подошел к Никитину:

— Едем домой, Цыганок.

— Старики что-то затевают, — одними губами ответил Пашка. — Не пойму что. Только слышу: «Голик, Голик!»

— А знаешь, это уже неважно. Поехали.

Голиков приблизился к старикам:

— Уважаемый Наир-ага! Уважаемые старейшины! Спасибо за гостеприимство и угощение. Нам пора домой.

Никитин перевел. Наир-ага искренне огорчился, а в глазах Кульбистеева мелькнул испуг.

— Голик-ага, — ответил Наир, — наш праздник еще не кончился. Мы все просим тебя и твоего друга побывать с нами еще немного.

В передевшей толпе, которая оставалась возле шатра, произошло новое волнение. И Голиков с Никитиным увидели, как давешний борец в желтой рубахе ведет отличного аргамака золотистой масти с длинным, до земли, хвостом. Аркадий Петрович залибовался красавцем. Сам он продолжал ездить на касьяновском Голубке, низкорослом, местной породы, выносливом и неприхотливом, но мечтал, как всякий любитель лошадей, о быстроходном скакуне.

— Если это мне, — сказал он Цыганку, — я не возьму. Я не капитан-исправник.

— Нельзя, Аркаша, — печально ответил Никитин. — Такой обычай: ты им Митьку — они тебе лошадку. Здесь не спорь.

Наир-ага вместе с борцом в желтой рубахе подвел коня к Аркадию Петровичу.

— Почтенный начальник Голик-ага, — переводил Никитин слова аалбазы, — мы благодарим тебя за мудрость и великолодущие и просим принять наш скромный подарок.

Аркадий Петрович, поколебавшись, взял повод, пожал руку Наир-аге и борцу, поцеловал жеребца в теплую шелковистую морду, отчего тот испуганно всхрапнул. Голиков понимал: приличие требовало тут же вскочить на коня и промчаться по полю, — но остерегся. Этот золотистый аргамак мог быть с норо-

вом. И если бы конь сбросил незнакомого наездника, то Голиков надолго бы стал посмешищем в глазах хакасов, которые ездят верхом, еще не умея ходить.

Всё. Дипломатическая миссия была закончена. Пора было созывать бойцов и возвращаться в Форпост. Однако Наир-ага не собирался отпускать командира. Он впился тонкими, сильными пальцами в руку Аркадия Петровича.

— Почтенный Голик-ага,— произнес аалбаза на чистейшем русском языке.

Командир вздрогнул от неожиданности. Значит, старики понимали все их с Пашкой переговоры. Правда, ничего обидного он услышать не мог. И то, что Наир-ага вдруг заговорил по-русски, свидетельствовало прежде всего о доверии.

— Мы видели много начальников,— продолжал Наир-ага.— Их присылали и царь, и Колчак, и красные. Много мы слышали и о тебе. Одни говорили, что ты хороший. Другие — что ты жестокий и ни за что убиваешь людей. Не сердись, что я тебе это говорю. Мне скоро предстоит дорога в царство мертвых, и я уже ничего не боюсь. Сегодня мы все убедились, что ты не злобив. И в благодарность хотим тебе сделать еще один подарок. Одна из наших девушек, Мангира, выходит замуж. Через неделю у нее свадьба. А сегодня на празднике она проводит теенджек — девичник. Вместе с ней — по обычая — приехало много ее подруг. Они тоже невесты, но им меньше повезло, чем ей. Теперь мало женихов, и дети редко рождаются в наших юртах. Кроме того, на праздник съехались самые красивые девушки Хакасии. Они надеются встретить здесь своих суженых. Но сначала мы хотели бы, чтобы невесту себе выбрал ты. Возьми себе в жены любую. Ты молодой. Надо, чтобы о тебе кто-нибудь заботился.

— Но у нас так не принято,— только и смог оторопело ответить начальник 2-го боевого района.

— Мы тебя просим,— настаивал Наир-ага.— Любой из нас готов стать твоим сватом.

Голиков увидел, что верный Цыганок давится от нервного смеха: такого поворота не ожидал даже он, великий знаток местных нравов. Теперь Аркадий Петрович догадался, почему так тонко улыбались старики.

— Что тебя смущает? — спросил Наир-ага.— Калым? Да, за невесту у нас отдают до десяти коров. Но ты не беспокойся. Мы знаем, что начальник ты большой, но при этом бедный. И калым мы тебе соберем, сколько бы ни запросили.

«Что им на самом деле нужно? — лихорадочно думал Голиков.— Чтобы я согласился или отказался? Предположим, я же-

нюю. Что дальше? Я становлюсь своим? Они будут рассчитывать на мое снисхождение? Но в чем? В борьбе с Соловьевым? Но если я перестану ловить Соловьева, меня уберут. А если я откажусь от нового «подарка» — обида сразу всем хакасам... Толковая голова изобрела этот план, беспрогрышный для них и заранее проигрышный для меня, какой бы выбор я ни сделал. Похоже, Соловьев не зря прочит себе в министры Кульбистеева».

Голиков не знал, что ответить. Сказать, что женат?.. Не поверят. Отказаться смотреть невест? Будет глубокая обида. Согласиться на смотрины?.. Значит, приступить к выбору. Помимо смотреть и не выбрать — обидеть еще больше. И уже не только невест, но и их семьи.

Цыганок, судя по его озабоченно-растерянному виду, ничего посоветовать не мог. А Наир-ага ждать не стал. Не выпуская руки Голикова из своей, он повел его сквозь толпу на другой край обширного поля. За ним двинулись остальные старики, Кульбистеев и зеваки, которых снова оказалось рядом предостаточно, и всадники, которые сопровождали и охраняли карету и теперь держались ближе к командиру. Получилась немалых размеров колонна, только Голикова она уже не интересовала, потому что ему открылось небывалое по красоте и печальности зрелище.

На ровной площадке ломкой пестрой линией стояло великое множество девушек. Видимо, пока шел спор у шатра, по тайному приказу старейшин сюда собрали всех еще не засватанных невест. Многие из них прибыли из далекой глухомани с робкой надеждой встретить суженого. Тут были девушки уже не первой молодости, то есть двадцати и более лет. Их женихи погибли в отрядах красных или в полках Колчака или до сих пор служили у Соловьева, откуда им уже не было дороги к свадебному пиру и к новой юрте для новобрачных. Тут были и совсем еще молоденькие девочки, которых родители поспешили вывести «в свет».

Воздух леса и беспредельных степей, чистый, без примесей хлеб, молоко необъезженных кобылиц, овечий и козий сыр, повседневная работа, а кроме того, волнения радостного ожидания сделали лица девушек нежными, розовыми и на подбор красивыми. Жизненные силы, соки женственности и материнства переполняли каждую из них. А неизбыточное свободное время, особенно зимой и по вечерам, позволило каждой приехать в ярком, пестром, витиевато-искусном наряде. Все, что было надето на девушках, было выкрашено, скроено, вышито собственными руками. По тому, во что девушка обута и одета,

можно было судить о ее мастерстве и прилежании. Наметанному глазу наряд мог многое сказать о характере невесты, ее склонностях и, даже о семье, где она воспитывалась.

— Внимательно смотри,— велел Голикову Наир-ага,— и запоминай, которая тебе больше понравится. Если выберешь — менять нельзя.

Но Голиков уже не слышал этих слов. На него смотрели сотни глаз, смотрели с любопытством, неприязнью, удивлением, восхищением, робостью и надеждой. Он физически ощущал на себе эти взгляды. Сначала они касались его лица подобно легкому движению воздуха, а потом вдруг стали затруднять каждый шаг, будто навстречу ему дул сильный, тугой ветер.

Неудобно и больно вцепясь в запястье Голикова своей сильной, далеко не старицкой рукой, Наир-ага тащил командира за собой к пугающей, ослепляющей красками нарядов, румянцем щек, выражением лиц, блеском испуганных, смущенных глаз девичьей шеренге.

Еще издали Голиков заметил дородную девушку. По мере того как Голиков с Наир-агой приближались к ней, она все нетерпеливей смотрела на них, словно Голиков был дорогим ей человеком, которого она давно ждала.

Поравнявшись с девушкой, Голиков невольно замедлил шаг, что сразу заметил старик.

— Она тебе понравилась? Ее зовут Айман. За ней дают богатое приданое. Но ты еще не видел остальных.

Голиков покраснел, и гримаса досады исказила его лицо. Его провели. Он попал в силок и от каждого невольного движения все сильнее запутывался. Отпустив Митьку, не надо было оставаться, не надо было брать коня, не надо было соглашаться на эти нелепые смотрины. Вскочи он вовремя на своего Голубка, старики бы обиделись просто за то, что он плохо воспитан. А чем закончится нелепое сватовство, невозможно даже предположить.

— Ты зачем нагнул голову? — услышал Голиков голос Наир-аги.— Ты давай смотри внимательно. Хочешь, начнем сначала?

— Нет.

Голиков поднял глаза и увидел девочку лет тринадцати. Все на ней было, как у других, но заметно победнее. И на происходящее она смотрела веселыми простодушными глазами на детском лице с милыми ямочками на щеках. И снова по сердцу Голикова полоснула жалость. За худыми, еще не развитыми плечами этой девчушки он увидел нужду целой семьи, которая надеялась поправить, положение, получив калым. Но кто в нынешней

ситуации согласился бы взять ее замуж, если она не могла быть еще ни матерью, ни выносливой поденщицей?

И снова старик спросил:

— Эта?.. Ее зовут Пахта. Она старшая дочь в семье. Отца ее повесил Колчак.

Голиков отрицательно мотнул головой и прибавил шагу. Он не мог видеть выставленного на продажу ребенка.

«Да, много останется проблем,— думал Голиков,— когда мы покончим с Соловьевым».

Наир-ага всл его дальше. То, что Голиков сначала замедлил шаг возле перезрелой Айман, а потом задержался на миг возле пичужки Пахты, не позволяло понять, какая девушка могла бы ему больше поправиться. А если Голик в самом деле готов взять жену из богатой семьи? Большой начальник не должен жить в бедности. Но старику уже было очевидно, что восемнадцатилетний командир, который не курил табак, не пил вина, каждую ночь сам дважды проверял караулы, то есть очень мало спал, и собственноручно застрелил Мастера смерти, все же не из камня. Молодость, думал старик, должна взять свое...

Зрители, которые поначалу держались в стороне, теперь осмелели и окружили Голикова и Наир-агу. Толпа была возбуждена необычностью происходящего и громко, вслух обсуждала достоинства невест: возраст, складность фигуры, красоту лица, искусность наряда. Иные девушки, смущенные такой бесцеремонностью, отворачивались или закрывались широкими, узорчатыми рукавами.

— Ну что, никто не нравится? — нетерпеливо спрашивал старик.

Голиков молчал. Было стыдно перед девушками и бойцами, что он участвует в таких смотринах, но нелепое положение, в которое он попал, не позволяло ему повернуться и уйти. Любое его движение и жест получали свое немедленное истолкование. Это подтвердил и Никитин, который с трудом пробрался сквозь скопление народа.

— Аркаша, народ обижается, что ты так быстро идешь и невнимательно рассматриваешь невест. Говорят, что тебе вообще не нравятся хакасские девушки. А некоторые считают, что «Голик сначала посмотрит всех сразу, а потом обойдет второй раз и уже внимательнее рассмотрит тех, которые красивее и лучше одеты».

— Не уходи! — попросил Голиков.

Павел пошел рядом.

— Уже заключают пари, что ты без невесты не уйдешь. Такого количества красавиц давно не было на праздниках.

К Голикову приблизился хакас лет сорока в пиджаке, под которым была новая гимнастерка. В лице его было что-то лакейское, вызывающее презрительность. Он стал громко говорить, но Наир-ага его тут же прогнал.

— Что он хотел сказать? — обернулся Голиков к Никитину.

— Что-то о невесте, которую он желал порекомендовать. За нее не пришлось бы платить калым: богатые родители.

— Что они меня все принимают за нищего?! — взорвался Аркадий Петрович. — Скажи этому свату: понадобится — заплатим и калым!

Пашка сгоряча перевел. Ответ Голикова, как важнейшая новость, мгновенно разлетелся по громадному полю. Хитрый Наир-ага прикрыл веки, чтобы этот мальчишка не заметил в его зрачках радости: «Крепкий орешек, но не камень, не камень».

Аркадий Петрович все же перехватил этот взгляд и понял, что запутался в силке больше, нежели предполагал. А тут еще совсем рядом зачем-то появился шаман. И Голиков решил, что больше ни словом, ни поворотом головы не выкажет своего отношения к происходящему, не то Наир-ага под крики толпы велит шаману окрутить его тут, прямо в поле, на какой-нибудь девице со стадом овец в придачу. Объясняй потом в штабе, что Наир-ага неправильно истолковал взмах твоих ресниц.

Голиков читал в одной книге про не слишком умного дипломата, который нелепой фразой провалил миссию, с которой его послали. И сейчас на этом празднике решалось многое — для него, начальника боевого района, и для тех, кто здесь собрался. И Аркадий Петрович снова стал быстро все просчитывать.

«Я отпустил Митьку — они решили подарить в благодарность коня. Броде так полагается по ихнему обычая. Но когда я принял от них коня, это заронило у них надежду, что я могу принять и что-то еще. Тогда, возможно, у Кульбистеева и возник план подарить мне жену. А вполне вероятно, что план был разработан в штабе Соловьева. Если это так (а как проверить?), мне нужно не просто выпутаться. Мне нужно, чтобы «император тайги»...»

— А эта девушка тебе не нравится? — спросил, улыбаясь, старик.

Перед ними в голубом платье стояла та самая девушка с умненьким, большегордым лицом, которая бесшумно и проворно разносила еду в шатре. Неизвестно, когда она успела переодеться. Такая же голубая шапочка покрывала ее волосы, заплетенные в тугие косички.

— Это моя любимая внучка, Саяна.

— Я обратил внимание на Саяну еще во время обеда, — отве-

тил Голиков. Толпа замерла: похоже, начальник сделал свой выбор.— Она замечательно принимала гостей. (Саяна, которая, видимо, тоже понимала по-русски, зарделась.) Она будет хорошей хозяйкой.

И он двинулся дальше. По разочарованным возгласам в публике Голиков догадался, что от такой невесты ему не следовало отказываться. Да и на улыбчивом лице самой Саяны он заметил растерянность и даже легкую обиду. Скорей бы все это закончилось!

Атмосфера ожидания, азарта и надежд среди зрителей становилась все напряженней. Росло убеждение, что командир без избранницы с праздника не уедет. Точнее, не сможет уехать. Этой убежденности способствовала и неудачная фраза Голикова: если понадобится, он заплатит и калым.

Тем временем мысль: стоит лишь протянуть руку, и любая из этих девчушек, пунцовав от смущения и гордости, что выбор остановился на ней, сядет, не подымая глаз, на коня и поедет делить с ним нелегкую судьбу солдата — начала кружить голову и самому начальнику боевого района.

Память напомнила ему, что истории хорошо известны случаи, когда браки заключались по государственным соображениям. И даже строгая церковь в таких случаях нередко шла на встречу, расторгая обременительные брачные союзы.

От усталости Голиков утратил на время контроль над собой и подумал, что, наверное, было бы славно проснуться утром в чистой юрте и чтобы большеротое, улыбающееся создание в голубом сначала бы подало студеной воды умыться, а потом накормило и напоило бы перед уходом на службу парным коровьим, овечьим, козьим или кобыльим молоком, напевая при этом что-нибудь на своем, пока ему испонятном языке.

«Как же я ее пойму? — озабоченно подумал Голиков. И сам себя успокоил: — Выучу хакасский. Выучил же Цыганок. Надеюсь, что произношение там не такое трудное, как во французском». С французским произношением Голиков справиться не смог.

Неизвестно, куда бы занесли Аркадия Петровича романтические мечты, если бы он не увидел случайно прищуренных глаз Кульбистсеева. В их блеске было что-то от блеска топора во тьме Аграфениной комнаты. И Аркадий Петрович, краснея от своих мыслей, вмиг отрезвел, еще до конца не понимая, что он проходил сейчас редкостное по трудности и опасности испытание, от которого могла закружиться голова и у человека более зрелого. А выхода из ситуации, в которую он попал, Голиков по-прежнему не видел. И тут он заметил Настю.

Множество косичек свешивалось ей на грудь. Платок на голове был повязан так, что выглядел будто круглая шапочка. Заметив, что Голиков и все, кто его сопровождал, на нее пристально смотрят, Настя смущилась и отвернулась, но Аркадий Петрович обратил внимание, что нынче она очень хороша... И сразу отыскался выход.

«Настя!.. Скажу, что выбираю Настю. Остальное объясню ей потом.— И сразу же гора с плеч.— Как же я не подумал об этом сразу? Я же чуть не свихнулся, а выход такой простой!».

И Голиков уже собрался шепнуть Наир-аге свое хитроумное решение — и осекся. Он понял, что чуть не сотворил страшную глупость. Да, он бы вывернулся из сиюминутной ситуации, но создал бы массу сложностей. А главное, он лишился бы разведчицы, с которой связывал столько надежд. И то, что оказался никудышным единственный вариант, который пришел ему на ум, повергло Голикова в глубокое уныние.

В этом мелькании лиц, причесок, нарядов, украшений Голиков так и не понял, кто же из девушек — засватанная невеста Мангира, которой пришло в голову провести на празднике свой девичник.

Хотя это и было невежливо, спрашивать, где Мангира, он не стал. Вопрос мог породить тьму новых осложнений. Было неизвестно, можно ли поздравлять невесту до свадьбы, или это не принято, как не принято заранее поздравлять с днем рождения. Но если поздравить можно, то, скорей всего, полагается делать подарки, а все имущество Голикова составляли, кроме запасного комплекта обмундирования, пистолет, шашка и карманные часы. На крайний случай он готов был подарить часы. Но где взять другие?.. Проклятая бедность, нелепая ситуация, из которой, похоже, ему без скандала не выпутаться.

Последней в строю невест стояла хорошенькая, скромно одетая девушка, которую очень портила родинка на левой щеке. Наверное, родинка эта стоила девушке многих бессонных ночей, потому что, видя, что приближается Голиков со своей свитой, девушка решительно повернулась к нему попорченной щекой, чтобы он не думал, что она прячет свое уродство.

При других обстоятельствах Голиков нашел бы для нее двадцать приветливых слова, но теперь не было никакой возможности. Он ведь еще ничего не придумал. Пройти, чтобы выиграть время, еще раз? Но это бы точно означало, что у него серьезные намерения, и отказаться от невесты было бы еще труднее.

— Так тебе никто и не понравился? — зло прищуря глаза, спросил Наир-ага. Он был раздосадован и не скрывал этого.

— Наоборот,— ответил Голиков,— у меня просто разбегаются глаза.

— Так возьми замуж всех! — насмешливо предложил старик.

Наир-ага втягивал Голикова в колкий разговор. Аркадия Петровича это устраивало. Он любил острый спор, а сейчас обмен колкостями давал время на обдумывание, как выйти из положения.

— Всех?! — простодушно и деловито переспросил Голиков.

У Наир-аги поднялись кустистые брови, а лицо с седой бородой удлинилось. Голиков же, прищуря глаз и слегка склонив голову, похоже, всерьез размышлял над предложением.

В семье Голиковых любили розыгрыши и разного рода импровизаций. Мальчишкой Аркадий Петрович в них особенно преуспевал. Оказалось, такой опыт может пригодиться и на войне.

— Не получится,— с печальным видом произнес Голиков.

— Почему? — всерьез переспросил Наир-ага.

— Маленько жалованье.— И теперь уже Голиков с лукавым прищуром посмотрел на старика.

От досады Наир-ага покраснел и тут же легко рассмеялся.

В толпе, когда Никитин перевел ответ друга, тоже засмеялись: одни — шутке, другие — тому, что такой большой начальник не может взять себе столько жен, сколько ему нужно, потому что ему мало платят. И лишь после этого по полю прошел гул разочарования: «Голик никого не выбрал? А как же пари на коней и овец?» Многие были уверены, что Голик непременно женится. И сразу начался торг: кто, кому, что и сколько проспорил. Правда, у наиболее дальновидных возникло подозрение, что Голик на самом деле их всех перехитрил: ведь по хакаскому обычанию невесту полагается тайно умыкнуть, с доброго согласия самой девушки...

Никитин тут же передал другу шепотом о новом предположении. Продолжая улыбаться, Голиков ответил:

— Цыганок, все в порядке.

Аркадий Петрович позволил всем отсмеяться, выразить досаду и высказать злые замечания. С лица его не сходило выражение глуповатого добродушия, словно он хотел сказать: «Такая досада: я готов хоть всех взять в жены, но не позволяет зарплата».

Внезапно простодушие ушло с его лица, которое снова стало уверененным и дерзким.

— Но я бы не хотел,— громко сказал Голиков,— чтобы смотрины закончились впустую. (Никитин перевел.) И чтобы

знакомство, которое у нас состоялось, не принесло бы девушкам никакой радости.

На поле сделалось так тихо, что стало слышно, как в воздухе проносятся дикие пчелы, а пасущиеся неподалеку кони с хрустом отрывают от земли высокую, начинающую сохнуть траву.

— Павел Михайлович,— попросил Голиков,— подгоните, пожалуйста, вон тот возок.

Сразу двадцать человек впряженлись в телегу и подкатили ее к командиру. Голиков вскочил на повозку.

— Девушки! — громко произнес Аркадий Петрович.— Вы все очень красивы. И замечательно красивы наряды, сшитые вашими руками! (Никитин перевел. Девушки заулыбались, засмеялись, начали переглядываться друг с другом.) Но, дорогие невесты, а где же ваши женихи? (И гробовая тишина повисла над полем.) У одних, я знаю, женихи погибли. У других из-за войны женихов просто не было. Это я знаю тоже. Но у многих из вас женихи в тайге... — Голиков продолжал стоять в задумчивости. И тысячи людей ждали.— Девушки, я желаю счастья каждой из вас. (И тем, кто стоял возле телеги, показалось, что голос командира дрогнул.) Я хочу, чтобы на будущий год многие из вас приехали сюда на праздник с мужьями, а еще лучше — с мужьями и детьми.

Радостный и благодарный, чуть грустный смешок прошел по девичьей шеренге. Одна из девушек что-то выкрикнула. Кругом засмеялись.

— Айман спрашивает, — пояснил Никитин, — что же делать: женихов не хватает, а ты не хочешь жениться?

— Я отвечу: гражданки невесты, передайте вашим женихам, которые находятся в тайге: Голиков разрешил им выйти из леса. Любой парень, который выйдет из тайги, придет в аалсовет, сдаст винтовку и назовет имя своей невесты, получит полное прощение, как Дмитрий Ульчугачев...

— Аркадий, ты что?! — прервал его Никитин.— Я не стану это переводить.

— Товарищ Никитин, я вам приказываю!

— Товарищ Голиков сказал... — громко и отчетливо прокричал по-хакасски Никитин и передал смысл сказанного.

Весть понеслась по полю. Кто-то чего-то не понял и спросил. И Никитину пришлось повторить второй и даже третий раз — настолько трудно было поверить в такую новость.

Над полем неожиданно раздался пронзительный женский крик: это зашлась от радости одна из невест. Другая девушка, сомлев, упала в обморок. Многие невесты кинулись на грудь друг другу.

...«Я превысил свои полномочия,— думал Голиков, пошучиваясь в седле на обратном пути. Глаза его от усталости слипались.— Штаб позволил мне отпустить только Митьку. А теперь может выйти из леса много народа. И всех придется освободить от суда, как мы поступали в «прощеные дни» на Тамбовщине. Но если Кажурин будет мною недоволен, то пусть он поедет в будущем году на праздник сам и придумает что-либо умнее, когда ему предложат в жены сразу сто невест. И что характерно — без калыма».

ЗАБОТЫ

Y себя в кабинете Голиков просмотрел сводки, не ожидая от них ничего хорошего. И не ошибся. Соловьев, чтобы не обижать хакасов, дал пропустить праздник, но совершил налет на станцию Шира. Он забрал два телеграфных аппарата, поступившие депеши и всю чистую бумагу. Положим, бумага могла понадобиться, но телеграфные аппараты в тайге ему точно не были нужны.

В другой сводке, которая поступила рано утром, сообщалось, что был совершен налет на соседнее село. Банда учинила жестокий грабеж. Это Соловьев уже дразнил его, Голикова.

Аркадий Петрович выскочил из кабинета и послал вдогонку отряд в двадцать сабель, рассудив, что с большим обозом банда уйти далеко не могла.

Возвратясь и выпив чаю, Голиков принялся за дальнейший разбор почты. В стопке номеров «Красноярского рабочего» он обнаружил плотный пакет. В нем лежала пьеса Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума».

«Как-то не вовремя!» — с досадой подумал Голиков. Две недели назад в доме Аграфены он познакомился с ее племянником Ваней. Это был ровесник Голикова, худой, белобрюхий парень, о котором говорили, что после смерти отца на его плечах держалась вся семья. Ваня пожаловался, что в станице скучно: ни комсомола, ни какого-нибудь кружка. Один только гармонист в пустом клубе.

В тот же вечер Голиков заглянул в клуб. Парни и девушки, щелкая кедровые орешки, подпирали молча стены. А в сторонке, словно никого не видя, тихо наигрывал на двухрядке гармонист.

Взглянув на столь унылое зрелище, Голиков разозлился:

«Если ребята дохнут со скуки, то почему веселить их должен я? У меня что, мало дел?» И сам себе ответил: «Если ребятам не поможешь ты, какое-нибудь дельце им подберет Соловьев».

И Аркадий Петрович предложил устроить в клубе театр. Никто из парней и девушек никогда не видел ни одного спектакля. Лишь двое встречали на ярмарке кукольника с Петрушкой, но играть в будущем театре пожелали все.

Той же ночью, составляя донесение в Ужур, Голиков, перечисляя неотложные нужды отряда, попросил прислать пьесу на современную тему. И вот ему прислали «Горе от ума». Другой пьесы, надо полагать, просто не было.

Листая маленькую книжечку с портретом Грибоедова на обложке, Голиков подумал: «Хорошо бы сбегать искупаться в Июсе, а потом лечь и выспаться, а потом написать отцу — я не писал уже месяца два». Но Аркадий Петрович знал, что не сможет сделать ни первого, ни второго, ни третьего, и послал Ване Кожуховскому записку, что приглашает к семи часам всех желающих на первое чтение пьесы.

А в половине седьмого возвратился отряд, посланный по следам «белых партизан». Отряд нагнал банду под командой самого Соловьева. Уйти далеко с обозом банда действительно не смогла, но было в ней восемьдесят сабель, и бой получился жестоким. Сколько потерял «император», установить не удалось, в отряде же двое убиты, а трое ранены. И хотя обоз отбили (солдаты бежали!), отобранные мешки с зерном и кадушки с медом возместить гибель двух парней не могли.

Пока в штабе разбирали подробности боя (Соловьев избрал новую тактику — нападает укрупненными отрядами), пока обсуждали приготовления к завтрашним похоронам, часы прошли десять. Голикову было уже не до пьесы Грибоедова, да и ребята, конечно, давно разбежались. Все-таки — для очистки совести — Аркадий Петрович счел нужным заглянуть в клуб.

Еще издали он увидел, что во всех окнах горит свет. Открыв дверь, Голиков от неожиданности остановился: старое, замызганное помещение было вымыто, вычищено, на половицах ни шелушинки от семечек, а на скамейках вдоль стен — ни одного свободного места. Лишь посреди зала стояли туалетный столик на выгнутых ножках и кресло — для него, Голикова, режиссера, будущего руководителя еще не созданного театра.

— Извините, — смущенно буркнул Аркадий Петрович. Он был утомлен, кроме того, испытывал неловкость, что опоздал.

— Мы знаем, у вас беда, — поднялся Вания. — Я сказал ребятам: Аркадий Петрович придет, раз он обещал.

Голиков подобревшими глазами посмотрел на своих сверст-

ников, которых привело сюда магическое и еще непонятное слово — «театр».

Голиков увидел Анфису: она была здесь старше всех. Увидел красивую, коротко постриженную по теперешней моде Марину. Последнее время она часто забегала к Аграфене, и Аграфена говорила: «Сохнёт по тебе, Аркаша, девка, а ты даже не замечаешь». Рядом с Марией сидел рыжий стеснительный Тимка, у которого был замечательный, широкого диапазона голос. Остальных, кроме Вани, Голиков еще не знал.

— Я прочту вам комедию великого русского писателя,— сказал Голиков.

И слово в слово пересказал то, что слышал о Грибоедове в реальном училище от учителя словесности Николая Николаевича Соколова, удивляясь тому, как долго хранит память живые впечатления детства.

Читал Аркадий Петрович пьесу долго: сначала ровным голосом, затем чуть меняя интонацию и то мимикой, то движением руки, то осанкой намечая характер Софьи, Фамусова, Скалозуба, Лизаньки или старухи Хлестовой. Он хорошо помнил текст комедии, как все когда-то прочитанное, и это позволяло ему мгновенно перевоплощаться.

Когда Голиков закончил чтение и перевернул полуистлевшую обложку, слушатели продолжали неподвижно сидеть. Для них это была первая встреча с чудом искусства, когда один человек в доли секунды становился похож то на важного, толстого барина, то на глупого, самоуверенного служаку офицера, то на странную Софью, которая смелому, пылкому, нетерпеливому Чайкову предпочла полулакея Молчалина. Голиков от усталости даже не порадовался своему успеху, а зрители еще не знали, что артистов положено награждать аплодисментами.

— Распределять роли будем в следующий раз,— пообещал Аркадий Петрович.— Пьесу возьмите, почтаете сами.

«Поставить комедию целиком невозможно,— думал Голиков на обратном пути.— Сыграть бы хоть первый акт. Да и это непросто. Ребятам будет трудно произносить стихотворный текст. И потом, они не умеют двигаться». И еще он поймал себя на мысли, что с удовольствием бы сам сыграл и Чайкового, и Фамусова, и Молчалина. И тут же иснугался своего желания, потому что почувствовал, что актерство снова влечет его, как в детстве...

Пятерых исполнителей Голиков отбирал целый вечер. Пробовались, кто хотел, а кому какую роль, решали голосованием. И отбирали очень точно. Аркадий Петрович удивлялся врожденному вкусу и чутью ребят.

Чацким выбрали Ваню Кожуховского, некрасивого, неуклюжего. Но Ваня обнаружил огненный актерский темперамент. Лизанькой стала Марина. В ней было обаяние и необходимое для роли лукавство. Софьей — Анфиса. Она даже не собиралась пробоваться на роль, а пришла, по ее словам, «посмотреть на других». Но Марина сказала, что у Анфисы должно получиться. И верно, стало получаться. В Анфисе — Софье была загадочность и значительность. Глядя на нее, становилось понятным, почему молоденький Ваня — Чацкий с таким неистовством добивается ее расположения. Роль Молчалина выпало играть рыжему Тимке с манерами приказчика из скобяной лавки, но лучшего исполнителя не нашлось.

На репетициях, которые Аркадий Петрович устраивал почти каждый вечер, он учил с голоса произносить грибоедовский стих, показывал, как двигаться, кланяться, вставать на колени и кому с какой стороны выходить. В понятливости исполнителям отказать было нельзя, а неуклюжесть исчезала медленно.

Однажды ночью после репетиции Аркадий Петрович возвращался домой. Его сопровождал боец с винтовкой. Голиков стеснялся, что его охраняют, особенно было неловко перед девчонками-«актрисками» (так их называла Аграфена).

Идя домой, слыша, как в трех шагах от него шлепает по лужкам боец Масловский, Аркадий Петрович вспомнил, что давно не получал известий от близких. Не писали сестры из Арзамаса. Не писала мать из Пржевальска. Ближе всех находился отец, но и он что-то замолчал...

Впрочем, могло быть и так, что все они послали кучу писем, но почту перехватил Соловьев. Голикова передернуло, когда он представил, что Соловьев сидит в своей берлоге и вслух читает письмо отца с вопросами о том, хорошо ли он, Аркадий, питается, не болеет ли, удается ли ему полноценно отдыхать. «Ты ведь еще растешь, — любил повторять отец, — и спать тебе нужно никак не меньше восьми часов».

С этими мыслями Аркадий Петрович дошел до ворот Агра-

фенинного дома, пожал руку Масловскому, испытывая неловкость, что часовой будет торчать на улице, а он, Голиков, спокойно спать, толкнул калитку и направился по узким деревянным мосткам к высокому крыльцу с балюстрадой.

Здесь он каждый раз вспоминал, что бандиты отравили соседского Шурика, который всегда приветливо повизгивал, всовывая морду в щели забора, когда бы Аркадий Петрович ни возвратился домой. И Голиков частенько приносил ему кость, завернутую в лопух или кусок газеты.

Соседка Раиса Федоровна никак не могла завести новую собаку. Голиков предлагал ей уже нескольких щенков — ни один не понравился.

Аркадий Петрович остановился возле крыльца соскоблить прилипшую к подошве грязь. Внезапно от сарая, где Аграфена держала дрова, к крыльцу метнулась тень.

В тысячные доли секунды, пока Голиков выхватил пистолет и сдернул предохранитель взведенного затвора, Аркадию Петровичу вспомнилось предупреждение Пашки: «Ты думаешь, у Соловьева только один Мастер смерти?» И прежде чем нажать спуск, Аркадий Петрович машинально крикнул:

— Стой!

Требование прозвучало скорее испуганно, чем грозно. Брякнула щеколда калитки — на звук голоса рванулся стремительный Масловский.

— Голик, это я! — И лохматая, давно не стриженная голова с разбегу ткнулась Аркадию Петровичу в бок.

— Гаврюшка, ах, чтоб тебя! — то ли зло, то ли с облегчением вскрикнул Аркадий Петрович. — Ты что тут делаешь?

— Жду тебя.

— Товарищ Масловский, все в порядке, — сказал Голиков часовому.

Масловский направился к калитке, а на крыльце уже выбежала Аграфена, в ночной рубашке и с охотничьей двустрелкой.

— Аркаша, что случилось?

— Ничего. У нас гость.

— Господи, когда все это кончится? — с тоской произнесла Аграфена.

Было только непонятно, что она имеет в виду: затянувшуюся войну с одним близким знакомым или ночные приключения своего квартиранта.

Голиков сбросил в передней грязные сапоги, прошел в среднюю комнату, где теперь жила Аграфена, прибавил огня в лампе на столе.

Аграфена тем временем накинула на себя старенькое пальто, сунула куда-то ружье и велела мальчику:

— Проходи!

Мальчик неуверенно перешагнул через порог. На Гаврюшке была синяя, в белый горошек рубашка, короткие, но золатанные штаны. Босые ноги были черными от грязи. Оставалось немытым и его округлое лицо с узкими глазками, носом картошкой и маленьким ртом. Ребенок выглядел совершенно запущенным.

— Покорми нас,— попросил хозяйку Голиков. Он вспомнил, что с утра ничего не ел.

— Давай сперва помоем мальчишку,— предложила Аграфена.— У меня, кажись, еще осталась в чугуне вода. А то такого ни за стол посадить, ни спать уложить...

Аграфена внесла в комнату долбленое корыто, бадью с колодезной водой, вынула из печки ведерный чугун, от которого шел пар.

— Раздевайся, дядя Аркадий тебя помоет,— сказала Аграфена.

Гаврюшка, стесняясь, разделся, бросив на пол штаны и рубаху, безропотно встал в корыто. Аркадий Петрович окатил его из ковшика не слишком горячей водой, намылил и начал осторожно тереть мочалкой, как это делал в детстве отец. От мочалки и пахнущего дегтем мыла тело Гаврюшки начало светлеть. Зато вода в корыте сделалась черной, как сажа.

Когда мытье было закончено, Аграфена принесла полотенце, рубаху и подштанники своего невесть куда исчезнувшего мужа. Все было велико, пришлось подворачивать штанины и заворачивать рукава. Некрасивое лицо Гаврюшки порозовело, сделалось симпатичным, только оставалось печальным.

— Теперь поешьте,— предложила Аграфена,— а я посплю в Пашиной комнате. Что-то я нынче притомилась.

Стол был накрыт.

Голиков налил молока, положил на кусок хлеба ломтик холодного мяса и протянул Гаврюшке. Такой же бутерброд сделал себе. Гаврюшка залпом выпил молоко и откусил кусок мяса с хлебом. Зубы у него были, как у гусенка, вогнуты внутрь.

— Все. Идем спать,— сказал Голиков, когда они поели. Глаза у него просто закрывались.

— Нет,— ответил Гаврюшка.

— Я умираю хочу спать.

— Я скажу тебе, что велел отец.

— Ладно, говори. Только побыстрей.

— Астанай убил мамку.— И Гаврюшка заплакал.

— Когда?! После праздника?

— Давно. Только Астанай говорил, что она живая и что отец должен ему помогать.

Голиков не знал, что ответить. Он порою терялся от своего бессилия.

— Помнишь, зимой Соловей хотел отобрать у тебя хлеб, а ты его перехитрил? Соловей подумал, что ты знаешь, где его главный штаб, и велел Астанаю оттуда всех забрать. Там была мамка и другие женщины с ребенками. Мужики побежали быстро, а женщины быстро бежать не могли. А мамка помогала женщине, у которой было двое детей. Тогда Астанай и еще один — его звали Мастер смерти — закололи их всех ножами.

Гаврюшка снова заплакал. Мастер смерти был мертв. Пуля настигла его здесь, в Аграфенином доме. Но Гаврюшкому горю это помочь не могло.

— Откуда отец все узнал?

— Пришла одна тетка. Ее тоже закололи, но она осталась живая и пряталась. А теперь говорит: «Я скоро помру. Я кашляю кровью».

— Штаб, где была мамка, теперь пустой?

— Нет, Соловей в него вернулся.

— И женщина знает, где он?

— Отец знает.

— Отец говорил, что ничего не знает.

— Он боялся, что Астанай убьет мамку. Теперь отец ничего не боится. Он хочет тебя отвести, чтобы ты поймал Астаная и Соловья.

Голиков налил мальчику еще молока и придвинул блюдечко с сотовым медом. Надо было подумать. Но Гаврюшка сейчас уже не хотел ни меда, ни молока и смотрел на Голикова.

Аркадий Петрович любил мальчишку и презирал его отца. Жизнь приучила Голикова опасаться слабых людей. В слабом человеке нет стержня, который определяет характер. Слабый становится хорошим или плохим в зависимости от обстоятельств. Митьку драматические обстоятельства сломали сразу.

Голиков не был злопамятен. В нем не было желания отплатить Митьке за то, что он согласился участвовать в покушении, но иметь с ним дело Аркадий Петрович не хотел.

«А что было бы, — подумал Голиков, — если бы для Митьки все обернулось самым счастливым образом? Если бы его, Голикова, удалось убить, а Найху осталась жива и в награду Митьке ее бы отпустили домой? Как бы к ней отнесся Митька, помня, через что она прошла в лагере Соловьев? И как бы отнеслась к Митьке Найху, узнав, что из-за нее он стал убийцей? И что бы

думал о них обоих Гаврюшка? Кем бы он вырос, жалея и презирая родителей?.. А как бы поступил на Митькином месте ты?» — спросил себя Голиков и тоже не нашел ответа.

А Гаврюшка ждал.

— Отец сказал, что будет тебе служить, как преданный пес.

— Почему он сам не пришел?

— Он сказал: «Голик на меня злой, Паша на меня злой, потому что я им врал». И еще: «Если Астанай увидит, что я иду к Голику, он меня убьет, а я хочу показать дорогу». И еще отец сказал: «Я не боюсь уйти к мертвым духам, но сначала я хочу увидеть мертвым Астаная».

— А тебя по дороге никто не видел?

— Я пришел с реки, когда было темно.

— Хорошо, иди спать. Утром я дам тебе ответ.

Аркадий Петрович уложил Гаврюшку на свою постель и вернулся в среднюю комнату. Он сел за стол, думая о судьбе, которая выпала Гаврюшке. Он потерял мать, мог остаться без отца. И вот явился связным, чтобы сообщить о смертельно опасном предложении отца. Если, конечно, это предложение — не ловушка Соловьева, чего мальчик, скорей всего, знать не может.

Еще Голиков подумал: «Соловьев забрал в тайгу свою жену-хакаску и детей, забрал и старика отца. Значит, своими близкими он дорожит. По какому же праву он терзает чужие семьи?»

Голиков спустился к часовому и послал его в штаб за Никитиным. В ожидании друга вздул самовар и достал со дна чемодана пачку китайского чая, подаренную в Иркутске отцом. Он берег эту пачку и заваривал чай лишь тогда, когда очень хотел спать, а нужно было работать и требовалась ясная голова.

Пришел Никитин.

— Не верю я этому Митьке,— сказал он, выслушав Голикова.

— Извини, что напоминаю: когда в Торжке начальник контрразведки белых обесчестил твою невесту Олю, ты тоже потерял голову и собирался его застрелить прямо на улице. Хорошо, что тебя перехватили подпольщики и предложили этого штабс-капитана Котова не убивать, а поймать.

— Конечно, я тогда был свихнутый,— шепотом ответил Никитин,— но убить собирался Котова, а не подпольщиков. А Митька, у которого жену увел Астанаев, убивать пришел тебя.

— А если Митька уже осатанел от подлостей Астанаева?

— А если это снова игры Астанаева, который обещал Митьке, что теперь обязательно отпустит жену, если Митька поможет тебя поймать? Ведь платят не за провалы, а за удачи.

Голиков налил из самовара чаю Пашке и себе. Никитин стал

жадно пить, а Голиков, взяв кружку, начал ходить из угла в угол.

— Ты помнишь, — сказал Голиков, — месяц назад лесозаготовители нашли в тайге останки нескольких женщин и детей?

— И ты поэтому считаешь, что Митька не врет? Но как ты докажешь, что это были женщины из лагеря Соловьева? Это первое. Кто теперь докажет, что там была и мать Гаврюшки? Это второе. А что, если Астанаев воспользовался этой страшной находкой, чтобы сочинить для тебя чувствительную сказочку? Это третье.

— Можно встретиться с женщиной, которая осталась жива.

— Неизвестно, захочет ли она встретиться. Одно дело рассказать все Митьке, другое — тебе. И потом, ты мне поручишься, что Астанаев не пригрозил и ей?.. Короче: пока мы не получим твердых гарантий, что нас не заманивают в силок, я не стану сотрудничать с Митькой.

ЭХО

Гаврюшка проснулся рано, соскочил с постели, выглянул в среднюю комнату. Голиков с Никитиным еще сидели за столом возле остывшего самовара. У растопленной печки в кухне хлопотала Аграфена.

— Голик, что сказать отцу? — спросил, не здороваясь, Гаврюшка, точно он не стоял еще в чужих, сползающих подштанниках, а был одет, обут и готов в дорогу.

Голикову нечего было ему ответить.

— Гаврюш, — сказал Никитин, — мы с дядей Аркадием хотим, чтобы ты у нас денек отдохнул, погулял. Тетя Груня тебя покормит.

— Если я быстро не приду, отец меня побьет.

— Не побьет, — успокоил его Паша. — Ты скажешь, что дядя Аркадий был очень занят и тебе пришлось ждать.

— Ла-адно, — смешно растягивая «а», ответил Гаврюшка.

После завтрака Голиков с Никитиным отправились в штаб, поручив Гаврюшку заботам Аграфены.

— Мальчики, да посните вы хоть часок, — сказала им перед уходом Аграфена. — Вы даже не ложились.

— Некогда! — буркнул Голиков.

Он понимал, что Аграфена права, как прав был во многом в

ночном споре Пашка. Но тревожность всей обстановки, ненадежность почвы под ногами, которая могла оказаться и твердым грунтом, и бездонной трясиной, рождали в нем беспокойство. И сон Голиков считал роскошью, почти нелепой тратой времени. Тем более что он отыскал способ обходиться по двое-трое суток без сна.

В амбаре у Аграфены Аркадий Петрович обнаружил набор гирь от килограммовой до двухпудовой. И по утрам делал с ними гимнастику. Начал с пятикилограммовой, дошел до пудовой, а потом и до самой большой, которая весила тридцать два килограмма. Он упражнялся с нею, пока его не прошибал пот. Тогда он раздевался, нырял в Июс, доплывал саженками до противоположного берега, поворачивал и выходил на берег бодрым, будто спал всю ночь на мягкой перине.

В штабе Голиков занялся прежде всего хозяйственными делами и обедать не пошел. Глядя на него, не пошел и Цыганок. Не дождавшись своих нахлебников, в штаб заявилась Аграфена. В двух кошелках она принесла чугунки с едой, глиняные миски, ложки, хлеб.

Решительно войдя в кабинет Голикова, не глядя на посетителей, Аграфена расстелила на письменном столе чистое полотенце, молча расставила посуду, налила первое. Голиков, видя, что Кожуховская в любой миг может взорваться, возражать не стал. Посетители — начхоз и комвзвода — деликатно ушли. Аграфена отправилась в разведотдел, молча привела оттуда Павла. Ни слова не говоря, дождалась, пока друзья покончили с обедом, забрала грязную посуду и удалилась.

Причиной же того, почему Голиков не пошел домой обедать, был Гаврюшка. Аркадий Петрович все время чувствовал, что мальчик его ждет, и не хотел идти. Голиков не был готов принять предложение Митьки и в то же время не мог обижать их обоих отказом. Доказательств того, что Митька, а следовательно, и Гаврюшка сейчас работают на Астанаева, у него не было. Имелись только опасения, хотя интуиция подсказывала, что на этот раз Митька искренен.

Стоя возле открытого окна, Аркадий Петрович увидел, что к воротам штаба подъехали двое всадников: это были Наир-ага и молодой хакас с красивым, худым, сумрачным лицом.

«Вот с кем нужно посоветоваться», — обрадовался Голиков. И тут же сник: советоваться с Наир-агой он не мог.

Наир-ага легко, совсем не по-стариковски спрыгнул с седла, отдал повод парню, который его сопровождал. У ворот аалбазу задержал часовой, но к калитке уже подбежал Никитин и привел Наир-агу в кабинет Голикова.

Аркадий Петрович ждал гостя посреди комнаты. Наир-ага, приблизясь, молча прижал Аркадия Петровича к своей груди и после этого отстранился, словно желая взглянуть на командира со стороны.

— Плохо выглядишь, Голик-ага... — сказал старик.

Аркадий Петрович его перебил:

— Какими судьбами, Наир-ага? Давайте присядем.

Старик устроился на диване, а Никитин и Голиков на стульях.

— Приехал пригласить вас на свадьбу внучки. Ты, Голик-ага, должен ее помнить. — Старик улыбнулся, но улыбка получилась печальной. — Прошу и тебя, Паша-ага.

— Благодарим. Непременно будем. Кого же она выбрала?

— Ханзар приехал со мной.

Голиков подошел к окну, чтобы внимательней рассмотреть парня. Ханзар, скрестив ноги, сидел на земле, опустив глаза. Он мало походил на счастливого жениха, у которого скоро свадьба.

— Они познакомились на празднике? — вежливо спросил Голиков, усаживаясь на место.

— Нет. Они были знакомы давно. Только я этого не знал. Я бы желал ей другого мужа, солидного и уважаемого. — Наир-ага замолчал, ожидая, что по этому поводу скажет Голиков. Но Аркадий Петрович продолжал внимательно слушать, будто не заметив второго, тайного смысла фразы. — И тогда Саяна пригрозила, что пожалуется вам.

Тут Голиков с Никитиным рассмеялись.

— Если хороший парень и они любят друг друга, то пошли им Бог счастья, — сказал Голиков.

— Трудность в том, что Ханзар почти год был в лесу, — уже робко добавил старик.

— У Родионова, у Соловьевца? — обрадовался Никитин.

— У Другуля. А когда на празднике ты, Голик-ага, объявил женихам прощение, Саяна нашла Ханзара в тайге и уговорила бежать. Он неделю прятался в сарае, пока я не сказал: «Дам согласие на свадьбу, если мне даст бумагу Голик-ага».

Аркадий Петрович слушал, улыбаясь и кивая.

Голиков вспомнил милое, смеющееся лицо Саяны.

«Ты влюбился в нее, что ли? — спросил он себя. — Нет. Но мужа Саяне и я бы пожелал другого. Не из леса».

Ханзар ему не понравился.

«Жаль, что парень из банды Другуля. Я бы предпочел, чтобы он ушел от Соловьевца и знал бы его базы. Тогда бы мне был не нужен Митька. Но порадуйся тому, что у парня хватило

мужества выйти из тайги. Кто-то должен был сделать это первым. И Ханзар сделал».

А Наир-аге он ответил:

— Мы напишем самую лучшую бумагу, чтобы молодые жили спокойно и знали: они находятся под нашей защитой. А теперь пригласите Ханзара сюда.

Когда Ханзар вошел, смуглое лицо его было не просто бледным — оно имело зеленоватый оттенок. Какой бы отвагой ни обладал этот парень, когда он решился на побег из банды (что могло ему стоить жизни!), встреча с самим Голик-агой явилась для него немалым испытанием.

А Голиков смотрел на Саянского жениха и думал: «Зачем же его понесло в лес?.. Что, если он вместе с Другулем участвовал в убийстве Настина отца? Сам он в этом не сознается. Вести расследование сейчас нельзя — таковы правила игры».

Те же правила требовали, чтобы Голиков принял перебежчика приветливо, потому что подробности через два-три часа станут известны за много километров от Форпоста. Но перед внутренним взором Голикова стояло лицо Насти, когда она рассказывала о гибели отца.

«Если бы Насте показать этого жениха, она бы, возможно, его вспомнила». Однако задача состояла в том, чтобы вслед за Ханзаром из тайги потянулись другие. «Не обидится ли Настя? — встревожился Голиков.— Но мне нужно, чтобы люди бежали из банд, чтобы Соловьев в конце концов остался один».

— Проходите, молодой человек,— сказал Голиков вслух, хотя был моложе Саянского жениха по меньшей мере на два года. Старик перевел.— Мы поздравляем вас — у вас замечательная невеста!

Наир-ага перевел. Парень вскинул голову. К его щекам прлила кровь. А в глазах были бешенство и ревность.

«Кто-то уже, наверное, сказал, что старик готов был отдать внучку за меня,— подумал Голиков.— Но тут они пусть разбираются сами».

— А теперь идите с товарищем Никитиным,— велел Аркадий Петрович.— Он с вами побеседует и выдаст вам документ, что вы имеете право поселиться в любом аале. Желаю вам счастья.

Голиков встал, но не протянул парню руку. Злобные огоньки в глазах жениха навели его на мысль, что Ханзар в банде Другуля не был безобидной овечкой.

Вероятно, парень прочитал все это по лицу Голикова, потому что снова побледнел, резко, виновато опустил голову, быстро,

рывком направился к выходу. За ним пошел Цыганок. Ему предстояло этого парня разговорить.

На лбу и шее старика выступили большие красные пятна. Губы его были гневно поджаты. Он стыдился Ханзара, которого Голиков принял со всей возможной в этой ситуации любезностью.

— Спасибо тебе, Голик-ага.

— Не за что. Я рад, что первый человек уже вышел. Но я бы хотел, чтобы местное население мне больше помогало.

— Митька тебе поможет.

— Митька?! Откуда вы знаете?

— Он ко мне приходил. Он спрашивал, идти ли к тебе.

Я сказал: «Иди».

— Он слабый. Не знаю, можно ли ему верить.

— Он слабый, но смерти Найхо Соловью не простит. Он любил ее с детства. Она его тоже. Но когда он посватался, ему отказали: Митька был слишком беден. Тогда он сказал, что пойдет на пять лет в семью Найхо батраком — отрабатывать калым. Ему и в этом отказали. Митька стал пропадать где-то с ружьем. Пушного зверя не стрелял, шкурки не сдавал. Люди начали поговаривать: не промышляет ли он с горя на большой дороге?

Однажды Митька появился в деревне. Под мышкой он нес большую розовую птицу — фламинго, завернутую в красную шелковую рубаху.

Митька направился к дому Найхо, но войти, постучаться не осмелился, сел у ворот и стал ждать. Первой вышла мать Найхо. Увидела Митьку с птицей, вскрикнула, убежала в дом. За ней появился отец. Взял в руки птицу, будто проверяя, настоящая она или нет, и сказал: «Хорошо».

А у нас такой обычай: если охотник убил птицу фламинго, он может свататься к любой красавице — отказа ему не будет. И родители не потребуют калыма. Иначе, по нашему поверью, дух птицы проникнет в дом, и девушка умрет.

ШТУРМ ЛОГОВА

После отъезда Наир-аги Аркадий Петрович долго не мог успокоиться. Он видел старика всего второй раз. Имел ли он право ему доверять? Среди хакасов Наир-ага считался человеком мудрым и добродорядоч-

ным. Своим авторитетом он, разумеется, дорожил. Но ведь шла жестокая война.

Мог ли Наир-ага работать на Соловьева?.. Да, мог. Но помочь Соловьеву заманить его, Голикова, в ловушку он бы не стал. Он любил внучку, был озабочен ее судьбой, которую уже, до свадьбы, сильно осложняло недавнее прошлое жениха. И еще больше осложнять эту судьбу старику, вероятно, не хотел бы.

«А почему ты думаешь, что Наир-ага готов помогать тебе? — спросил себя Голиков. — Потому, что о победе Соловьева и о создании «независимой Хакасии» говорить сегодня уже не приходится. И население это понимает».

...Ночью в тот лес, возле которого ранней весной произошло сражение за хлебный обоз, ушла разведка.

— Лагерь и штаб Соловьева не ищите, — наставлял их перед отправкой Цыганок. — Приглядитесь, что происходит в лесу, какая там жизнЬ — спокойная или суматошная?

Через сутки разведчики вернулись. Доложили: видели подводы с мешками и бочками (предположительно — мука и растительное масло), время от времени появлялись одиночные всадники (видимо, связные с донесениями), однажды на рассвете выехал отряд в двадцать сабель, а возвратился в сумерки, ведя коров и лошадей с вьюками (сводки подтвердили — был налет). В остальном в лесу спокойно.

Когда разведчики сообщили о своих наблюдениях и отправились отдыхать, Никитин сказал:

— Аркадий, хочешь, поищем подальше Митьку, отыщем лагерь сами?

— Я тоже был бы рад обойтись без Митьки. Но во-первых, разведчики могут напороться на бандитов, и операция провалится. Во-вторых, нам нужен не столько лагерь, сколько Соловьев. А если Митька знает, в какой Соловьев землянке?..

— Как скажешь, — пожал плечами Цыганок.

Он не все понимал в выкладках друга. Но часто выходило, что прав Аркадий. Может, это и есть командирский талант?

...Чтобы скрыть от агентуры Соловьева подготовку к захвату штаба, была придумана обманная операция. Ночью возле рудника «Богомдарованного» появилась внушительная группа всадников, одетых кто во что. Охрана рудника, теперь основательно вооруженная, открыла яростный огонь.

Утром из Ужура поступила открытым текстом телограмма: «Комбату Голикову. Примите дополнительные меры для охраны рудника». Гарнизон Форпоста был поднят по тревоге.

Аркадий Петрович надеялся, что о падете на рудник и перевоплохе в Форпосте Соловьеву донесут вовремя. То обстоя-

тельство, что люди Соловьева в налете участия не принимали, значения не имело. Пусть Соловьев посердится, поломает голову, чья это могла быть работа. И пусть Соловьеву доложат, что на рудник из Форпоста вышел отряд в шестьдесят сабель под командой самого Голикова.

Единственное, чего бы Голиков не хотел, чтобы Соловьев узнал, что по дороге на «Богомдарованный» число кавалеристов существенно уменьшится.

Первая пятерка всадников под командой Аркадия Петровича отделилась от колонны и скрылась в лесу близ того места, где был устроен весной завал. Затем, уже по сигналу Никитина, каждые четверть километра в лес устремлялась очередная пятерка. В зарослях утомленным коням давали сжевать по пол-буханки посоленного хлеба, после чего заранее приготовленными тряпками им перетягивали морды, чтобы они не ржали. Тряпками пришлось перевязывать и копыта.

Голиков со своей четверкой бойцов углубился метров на двести от дороги. Они тоже покормили наспех лошадей, съели по куску мяса и хлеба сами, выпили воды из фляжек и стали ждать. Место через Гаврюшку назвал сам Митька.

Лежа на теплой земле в высокой траве, которая его совершенно скрывала, Голиков еще раз мысленно проверил все свои действия по пунктам, как они были перечислены в их с Пашкой плане. Пока все шло четко. Теперь предстояло встретиться с Митькой, не разминуться с ним. Только после этого должно было начаться главное — операция по разгрому штаба. Нужен был Соловьев. И коль скоро Митька знал, где в бандитском лагере «дворец» самого «императора тайги», то Соловьева следовало взять живым. Чего бы это ни стоило...

Голикову хотелось, чтобы «император тайги» открыл свои тайники, вернул похищенное на рудниках золото, отобранные у жителей ценности.

Вложить в ладонь старушки отнятую золотую пятерку, отдать вдове колечко с голубым камешком, подаренное покойным мужем, или старинные серьги в форме полумесяца, привезенные прадедом из турецкого похода, — вот о чем среди прочего мечтал Голиков.

А пока что надо было встретиться с Митькой, который передал через Гаврюшку, что придет на маленькую поляну в двухстах метрах от дороги, против сопки с человеческим лицом. Аркадий Петрович нашел опушку, но расположился чуть дальше от нее, чтобы иметь, если понадобится, дополнительное пространство для маневра.

А разведчику Мише Голиков поручил залезть с ручным пуле-

метом на лиственницу. Разведчиком Миша был посредственным — не очень-то наблюдательным и даже не очень дисциплинированным. Но был у него дар, который делал Мишу в разведке человеком бесценным: он видел в темноте почти как днем. И фамилия у него была соответствующая — Совин. Нужно полагать, и предки Миши обладали этой замечательной способностью, которая и закрепилась в фамилии.

Заметив со своего наблюдательного пункта одного человека, Совин должен был дернуть спущенную вниз веревку один раз. А заметив много народа, много раз — на тот случай, если бы Митька привел с собой людей Соловьева. Тогда по приказу с земли Совин должен был открыть по ним огонь.

Второму пулеметчику, Евстигнееву, велено было неотступно следовать за Голиковым, а третий оставался с Никитиным.

Все было продумано. Все предвидимые случайности приняты во внимание. И при этом...

«В сущности, я доверился прежде всего ребенку,— рассуждал Голиков,— а десятки таких мальчишек работают на Астанаева».

«Но Гаврюшка помог тебе весной спасти обоз,— напомнил ему внутренний голос.— Узнай об этом Соловьев, мальчишка был бы мертв».

«Согласен. Но я по-прежнему почти не верю Митьке. Если Найхо в самом деле мертва, можно понять его боль, его ненависть к Астанаеву. А если Найхо все-таки жива? И женщина, которая сообщила о ее смерти, ошиблась? И на этой ошибке решил сыграть Астанаев?

«Митька,— мог сказать Астанаев,— пусть все думают, что Найхо мертва. Завтра я тебе покажу ее в лесу. Я даже оставлю вас на часок одних: вы же давно не виделись. А ты за это пособишь мне в последний раз».

И если Астанаев устроил такую встречу, что ему на это ответил Митька: «Пусть лучше помрет моя баба — лишь бы жил Голик»?»

«А Наир-ага, он тоже тебя обманул?» — спросил внутренний голос.

«Наир-ага —уважаемый человек. Война ему надоела. Но если и ему нанес визит Астанаев: «Почтенный Наир-ага, либо ты подтвердишь, что Митьке можно верить, тогда выдавай замуж свою внучку, либо я заберу ее к себе в лес прислуживать за моим столом», — что выберет (или уже выбрал) Наир-ага?»

Размышляя таким образом, готовя себя к тому, что события могут повернуться в любую сторону, Аркадий Петрович не переставал вслушиваться в шумы леса. Но порывы ветра дела-

лись то сильнее, то ослабевали. И в этом шелесте ветвей потухали, тонули остальные звуки, усиливая чувство неуверенности, которое испытывал Голиков.

Внезапно Аркадий Петрович увидел, что Николай Ткаченко, который стоял под деревом и ждал сигнал от Совина, отчаянно замахал рукой, подзывая командира. Аркадий Петрович вскочил.

Николай шепнул:

— Миша дернулся два раза.

«Двое?» — обрадовался и насторожился Голиков.

Это могли быть Митька с Гаврюшкой. Но брат Гаврюшку на такое дело, конечно, было опасно. Любой отец предпочел бы оставить сына дома. Тогда Митька с кем-нибудь? Но с кем?

Ветер на короткое время пропал, и Голиков расслышал: по лесу действительно шли двое. Шаги одного из них были неуверенны и редки, будто человек, прежде чем опустить на землю ногу, раздумывал, куда ее поставить, чтобы не произвести какого-либо шума, но бесшумность давалась ему плохо. Или он был косолап, или пьян, или еще почему, но то легонько потрескивал под сапогом валежник, то шуршала прицепившаяся к одежде ветка. Тогда человек останавливался проверить, не обнаружил ли он себя. Убедившись, что произведенный шум остался, по его мнению, незамеченным, человек двигался дальше. Тут же начинали семенить более легкие и мелкие шаги, в которых была даже беспечность.

Миша Совин никаких дополнительных сигналов не подавал. Спросить, как выглядят эти двое, было невозможно.

«Никого больше нет? — подумал Голиков. — Или Совин не видит?»

Аркадий Петрович допускал, что Астанаев мог послать вперед этих двоих, чтобы он, Голиков, вышел им навстречу. Допускал он и то, что придется вступить в бой, хотя сию минуту под рукой было всего четыре человека. Он был пятый, и до подхода остальных нужно было продержаться. При скоротечной схватке задача была не слишком простой. Аркадий Петрович приказал шепотом: «Приготовиться к бою, но без команды стрельбы не открывать». С Мишей на этот счет была особая договоренность. Сам Аркадий Петрович встал за стволом березы и вынул маузер.

Шаги тех двоих замерли. Это могло означать, что двое ждут его, Голикова, или, найдя условное место, дожидаются остальных... Все-таки Аркадию Петровичу хотелось думать, что это не мышеловка.

Внезапно донесся шепот, похожий на тот, который Голиков слышал под окном, когда его собирались убить. Один голос на-

стаивал или чего-то допытывался, а другой виновато, испуганно оправдывался или отнекивался. За деревьями в темноте Голиков по-прежнему ничего не видел.

Аркадий Петрович отделился от ствола и, мягко, неслышно ступая, не задевая веток, двинулся на голоса. Следом — Евстигнеев. Но голоса смолкли, раздался звук оплеухи и жалобный, беспомощный детский плач.

Голиков дернулся, будто пощечина пришла по его лицу.

Вполне вероятно, что Митька не хитрил, когда хотел отомстить Астанаеву. Но произошла обычная вещь: перехватили связного, Гаврюшку. Правда, удивляло, что с Гаврюшкой всего один человек. Но это могло лишь означать, что остальные поблизости.

Детский голос, плача, стал виновато оправдываться похакасски. Голиков разозлился на себя, что не удосужился выучить хотя бы две стихии хакасских слов.

В ответ на жалобные оправдания снова треснула пощечина. Ребенок заплакал так беззащитно, что Голиков выхватил из ножен шашку, которая в этих обстоятельствах была не очень-то удобна: на взмахе она могла задеть сук или ветку. Но стрелять пока Аркадий Петрович не хотел. Кто же с Гаврюшкой? Что, если это сам Астанаев?.. Как бы там ни было, прежде всего требовалось выручить Гаврюшку.

И хотя душевный порыв Аркадия Петровича в этих условиях был непозволителен — командир отвечает за весь отряд! — и думать сейчас нужно было о том, как выпутаться из силка с минимальными потерями, бросить на произвол судьбы своего маленького товарища Голиков не мог.

Аркадий Петрович по-кошачьи сделал несколько шагов. Следом за ним со своим пулеметом двинулся Евстигнеев.

«Приготовься и жди команды», — шепнул ему Голиков.

Евстигнеев кивнул.

Во мраке Голикову открылась поляна, и он увидел неподалеку от себя низкорослую мужскую фигуру. Человек был в теплой шапке со спущенными ушами (люди Соловьева и летом ходили кто в чем!), в каком-то пиджаке, но без винтовки. Это вовсе не означало, что человек не вооружен. У него могли быть и револьвер, и гранаты. А рядом с человеком в пиджаке, спиной к Голикову, стоял мальчишка. В его фигуре, опущенных плечах были виноватость и обреченность.

Жалость к ребенку пронзила Аркадия Петровича. Он успел подумать, что человек в пиджаке был удобной мишенью, но стрелять из пистолета Аркадий Петрович не хотел. А для удара шашкой он вышел неудачно — со спины Гаврюшки.

Как тут поступить, Голиков подумать не успел. Гаврюшка обернулся, почти громким, счастливым голосом крикнул: «Голик!» — и, протягивая руки, бросился к командиру.

«Ложись!» — шепотом велел ему Аркадий Петрович, хотя шептаться теперь было уже бессмысленно, потому что через секунду должна была начаться стрельба.

А Гаврюшка либо не услышал, либо ошел от радости, что появился человек, который за него застушится. Гаврюшка ткнулся, по обыкновению, в живот Голикова и обхватил ноги командира руками, лишив Аркадия Петровича возможности для какого-нибудь маневра. Голиков попытался оторвать мальчишку от себя, но, когда в одной руке маузер, а в другой шашка, это не просто, а Гаврюшка продолжал цепко держаться. Так утопающий передко утягивает на дно того, кто бросился вытаскивать его из воды.

Аркадий Петрович помнил множество случаев, когда людей на войне губил пустяк: вспорхнувшая из-под ног итица, пошедший наперекос патрон или щеколда, на которую заперла ворота заботливая хозяйка.

Но отец, который научил Голикова плавать, подсказал ему и такое: «Если утопающий тянет тебя на дно, не вырывайся, не пытайся освободиться — он будет за тебя держаться еще крепче. Стукни тонущего по макушке кулаком и после этого, гребя одной рукой, тащи его к берегу».

Голикову в эти нелепо сложившиеся, быть может, последние мгновения жизни не оставалось ничего иного, как ударить мальчишку, освободиться от его смертельных объятий и попытаться разделаться с человеком в пиджаке, который непонятно почему не стрелял и не звал на помощь. Однако везение не могло быть бесконечным. И шансов бесшумно спасти мальчишку не оставалось.

Но Гаврюшка, видимо, о чем-то догадался.

— Голик! Это ада, это ада! — вскрикнул мальчик.

— А, чтоб тебя!.. Чего ж ты плакал?

— Отец бил меня, потому что ты не пришел.

Голиков ощутил такую слабость в теле, будто впервыеступил на землю после только что перенесенного тифа.

— За вами никто не идет? — в упор спросил Аркадий Петрович.

Мальчишка отпрянул:

— Ты что?!

Внезапно он схватил обнаженный клинок шашки, которую держал Голиков, и направил ее острием к себе, точно собрался заколоться.

Голиков перехватил левой рукой жало клинка, чувствуя: отточенная сталь режет пальцы.

— Ты что надумал? — не на шутку обозлясь, спросил Голиков.

— Хотел... — От волнения Гаврюшка терял слова. — Самая страшная наша клятва... Если обману — пусть заколет эта сабля.

— Отпусти клинок. Я тебе верю.

Гаврюшка отпустил, Голиков вогнал шашку в ножны. Пальцы изрезанной руки липли к рукояти. Когда он поднял голову, возле него стоял Митька.

Аркадий Петрович не видел бывшего пленника с той минуты, как освободил его. В зимнем малахе и пиджаке, который был велик, Митька снова выглядел бедным и несчастным. Он опустился перед Голиковым на землю и лбом прижался к сапогу. «Я нынче от этой семейки свихнусь!» — подумал Аркадий Петрович и вслух сказал:

— Встань!

— Голик, — ответил Митька и произнес несколько слов похакасски.

— Отец не встанет, пока ты не простишь, что он не помогал тебе раньше, — перевел Гаврюшка.

— Скажи отцу: я все ему прощу, когда захвачу штаб Соловьева. А теперь пусть он встанет.

Митька, помедлив, поднялся.

— Ты хорошо знаешь дорогу? — спросил его Аркадий Петрович.

— Я там был один раз, — перевел Гаврюшка. — Наверное, найду.

— Далеко это? — опять спросил Голиков.

— Отсюда — час быстрой ходьбы.

«Часа три пути», — прикинул Аркадий Петрович.

— Сколько там может быть народу?

— Человек пятьдесят.

Митька еще робел перед Голиковым, но в нем ощущались решимость и деловитость, которые приходят к отчаявшимся людям, когда они принимают самое важное в своей жизни решение.

— Где стоят часовые?

— Соловей думает: его штаб никто не найдет. Часовой только возле дома Соловья, — перевел Гаврюшка.

— Соловьев там?!

— Вчера был там. Я встретил знакомого хакаса. Он жаловался: «Три дня хозяин пьет. Скучет сильно».

— Ты его спрашивал про Соловьева? — насторожился Голиков.

— Нет. Он сам сказал. Он тоже был сильно пьяный. Соловей послал искать араку: «Не принесешь — убью». А теперь араку братя негде. Коров мало.

Странное дело... В каждом слове Митьки Аркадий Петрович улавливал второй, настораживающий смысл. Известие, что Соловьев в лагере, могло быть простодушной приманкой.

«Что ж, попытаем счастья», — не очень-то бодро подумал Аркадий Петрович. А вслух произнес:

— Гаврюш, передай отцу, я на него крепко рассчитываю.

Мальчик, повеселев, перевел. Митька молча кивнул. Он вдруг обрел достоинство и внутреннее спокойствие. И Голиков впервые заметил, что Митька начинает ему нравиться.

Аркадий Петрович повернулся к Евстигнееву, который его сопровождал. Это был молодой розоволицый парень с соломенными, мелко вьющимися волосами, они выбивались из-под фуражки.

— Передай Совину и Ткаченко, чтобы шли сюда.

Когда вся группа собралась возле командира, Митька шепотом наставительно что-то внушал Гаврюшке. Голиков подумал, что хотел бы знать, о чем беседуют отец с сыном.

— Дмитрий, — прервал их беседу Аркадий Петрович. — Это Степа и Коля. Они будут тебя охранять.

Митька снова с достоинством кивнул и произнес несколько слов.

— Отец просит ружье, — сказал Гаврюшка. — Свое он нарочно оставил дома.

— Передай отцу: мне нужно, чтобы он только показал нам дорогу.

— Отец велит, чтобы коней ты оставил здесь.

— Когда я соберу всех бойцов, я так и сделаю.

«Что ж, начнем», — подумал Голиков.

Через сорок минут все бойцы были в сборе. Подошла и группа Никитина. В распоряжении Голикова оказалось тридцать восемь штыков при трех пулеметах. Двоих бойцов Аркадий Петрович оставил охранять лошадей. Мальчишку он тоже хотел поручить заботам коноводов, но Гаврюшка заупрямился. Тогда Голиков взял с него слово: как только начнется стрельба, Гаврюшка спрячется за любое дерево и будет лежать.

Впереди отряда, в сопровождении Коли и Степы, шел Митька. Он был немного косолап, но двигался легко, уже не задевая ветвей и не хрустя валежником.

Отряд продвигался медленно, со всеми предосторожностями

более двух часов. Необходимость следить за каждым движением, чтобы не производить шума, утомила людей. Но никаких признаков бандитского лагеря пока что не было.

— Аркадий, нужно сделать привал,— сказал Никитин. И, понизив голос: — Не худо бы выяснить, не темнит ли наш проводник.

— Привал! — объявил Голиков.

Красноармейцы опустились на землю, кто где стоял. Не захотел отдыхать только Митька. От солидной степенности не осталось и следа. Лицо — это было видно даже в темноте — у него блестело от пота.

Митька зашептал.

— Он говорит, что лагерь совсем близко,— перевел Никитин,— но в темноте его найти трудней. Просит, чтобы мы подождали, а он его поищет.

Просьба Голикова не понравилась, но он представил, как сам что-нибудь ищет, а сорок человек дышат ему в затылок, и сказал:

— Паша, возьми Степу и Колю, и отправляйтесь вместе.

— Я с отцом! — заявил Гаврюшка.

— Нечего отцу мешать! — осадил его Аркадий Петрович, думая о том, что ему будет спокойней, если Гаврюшка останется.

И хотя по многим расчетам выходило, что Митьке с Соловьевым не по пути, Аркадия Петровича встревожило, что проводник, местный уроженец, который должен свободно ориентироваться в лесу, до сих пор не нашел лагерь.

Митька и его сопровождение растворились между деревьями. Голиков сидел на земле, ловя взгляды бойцов. Красноармейцы догадывались: командир встревожен.

В кустарнике зашуршало. На поляну выскочил Степа Евстигнеев:

— Товарищ командир... — Он задыхался.— Никитин велел передать, что проводник пропал. Как сквозь землю.

— А вы с Колькой где были?

— Шли рядом. А хакас куда-то подсунулся. Мы подумали: подземный ход... Разве в темноте найдешь...

— Не убежал отец! — заплакал Гаврюшка.— Он врет. Они его убили...

— Замолчи! — оборвал мальчика Голиков.

Он не знал, что делать.

«Вряд ли Митька бросил бы Гаврюшку,— думал Голиков.— И если бы с самого начала собирался заманить нас в ловушку, то не взял бы его с собой.— Но эту мысль перебил простенький

довод: — А если Гаврюшка увязался сам?» И вспомнилось, как Митька в чем-то убеждал сына, перед тем как они тронулись на поиски лагеря, а тот не соглашался. И еще: «Митька может понадеяться, что мы не воюем с детьми. Или на то, что меня убьют».

— Степа, возьми Гаврюшку за руку и не выпускай. Что бы ни случилось! — велел Голиков.

Мальчишку надо было уберечь, вывести из леса невредимым и живым. Упаси бог, если что случится с ребенком. Банда в своей изобретательности обернет и это себе на пользу.

— Занять круговую оборону! — приказал Голиков.

А голова как бы сама просчитывала варианты:

«Если это подготовленная ловушка, то удар лучше всего встретить лицом к лицу. Если же Митька из каких-то своих побуждений решил в последнюю минуту сделать презент Астанаеву и Соловьеву, то еще есть шанс отступить к дороге. Но я не могу уйти, не дождавшись Цыганка и Николая».

В кустах снова затрещало.

— Без команды не стрелять! — приказал Голиков.

— Аркадий, это я! — Из-за деревьев показался Никитин.

Следом вынырнул Коля.

— Не нашли мы его,— сказал Никитин.— Перехитрил нас Ванька. Айда к лошадям. Авось прорвемся.

Голиков впервые видел друга в паническом состоянии.

Внезапно из тьмы донеслось:

— Паша... тсс... Голик... тсс... Шитаб... тсс...

И на опушку из мрака выплыл Митька. Он по-детски счастливо улыбался.

— Ада, ада! — сдавленно вскрикнул Гаврюшка.

— Тсси! — строго предупредил Митька и его.

Гаврюшка быстро заговорил по-хакасски, видимо осуждая отца, что он всех перепугал, но Митька ничего ему не ответил, только весело поерошил сыну волосы. Можно было подумать, судя по настроению Митьки, что их всех тут в лесу ожидал праздник.

— Он говорит,— перевел Никитин,— что отыскал штаб, обошел его кругом. Видел только одного часового.

— Бери тех же ребят,— ответил Аркадий Петрович Цыганку,— и вперед. Мы идем следом. Убедишься, что это штаб,— пришли Степу. Если все-таки засада — стреляй.

Возвращение Митьки сняло часть гнета с души Голикова, и все же он не позволял себе до конца поверить, что Митька исчез только потому, что Степа и Коля мешали ему найти подступы к лагерю.

Евстигнеев появился минут через двадцать.

— Товарищ командир, все точно,— доложил он.— Три дома. В окнах огни, нас не ждут. Никитин велел: давайте скорей.

— Товарищи,— повернулся Голиков к красноармейцам,— приготовьтесь к бою! Гаврюш, от меня ни на шаг!

Через десять минут отряд наткнулся на группу Никитина.

— Голик, тсс! — предупредил Митька.

Он опять ощущал себя на месте. И повел отряд к лагерю.

— Огонь! Огонь! — смешно удваивая «н», зашептал проводник.

И впрямь: между стволами деревьев мелькнул сначала один огонек, потом еще два. И Голикову открылся почти весь лагерь.

Ближе всех торцом стояло несуразное строение. Оно было метров двадцати в длину с очень узкими окнами. Дом напоминал полутюрьму-полукрепость. Видимо, эта база сооружалась в расчете, что, быть может, придется выдерживать осаду. Но по тому, как была поставлена охрана, Соловьев чувствовал себя здесь защищенным тайгою. Это подтверждала и песня, которую под гармонь на бессвязный мотив орало десятка два мужских глоток. Песня прорывалась сквозь стекла:

Один за решеткою я просижу,
Наверное, участь такая.
Сегодня герой, ну а завтра, гляжу,
Оставлю семью сиротою¹.

Поодаль справа стоял второй дом, гораздо меньший по размеру. В глубине — третий. В этих двух домах свет горел тускло. Наверное, и народу там было много меньше.

Неподалеку темнели еще какие-то строения.

Или в штабной избе происходило важное событие, или то была беспечность, но только часовой на весь лагерь оказался один. Он сидел на ступенях узкого крыльца главного, несуразного дома, держа винтовку между колен. Песня помешала ему услышать, что к лагерю подобрался целый отряд.

Момент для внезапного сокрушительного удара был самый подходящий. Но Голиков медлил. Гаврюшка толкнул его в бок.

— Отец спрашивает, — шепнул мальчик, — почему не стреляешь?

Аркадий Петрович ничего не ответил. Десять человек во главе с Никитиным ушли в обход справа, десять под командой Мотыгина — в обход слева. Троє отправились к конюшням. С ударной группой он остался сам. И медлил. Его сдерживало

¹ Подлинная песня соловьевцев. Текст ее найден при разгроме одной из баз. Хранится в партархиве Красноярского края.

опасение: что, если в штабной избе люди, которых Соловьев увел в лес силой? Что, если там похищенные женщины — вроде матери Гаврюшки или девчонки в возрасте Саяны? Будет нелепо, если они погибнут в перестрелке, возможно, в самом последнем бою с Соловьевым.

Аркадий Петрович наклонился к Гаврюшке:

— Скажи отцу, пусть вызовет Соловьева. Как только Соловьев выйдет, пусть отец сразу падает на землю.

Гаврюшка отполз. Через минуту раздался хруст валежника, и Митька своей странной, мотающейся походкой направился к ярко освещенному дому.

— Кто идет?! — испуганно закричал часовой, вскакивая.

Песня тут же смолкла.

— Митька-хакас ходи.

— Чего надо?

— Соловей надо.

— Давай отседова,— рассердился часовой за свой испуг.— Напился, шайтан. Отдыхают Иван Николаевич. Слышь, как задушевно поют?

— Соловей ходи! — громко и отчетливо повторил Митька. Скорей всего, он не понимал, что ему говорил часовой.

Между тем в главном доме возникло беспокойство. Появление Митьки поздно вечером с требованием увидеть Соловьева было достаточно необычным. В окнах замелькали тени. Глухо простучали по деревянному настилу тяжелые сапоги. Внутри избы-крепости скрипнула дверь. За ней другая. Кто-то первоначально рассмеялся. Затем раздался скрежет, словно в вагонном окне опустили раму. Голиков увидел, как в наружных дверях, которые выходили на крыльцо, открылась узкая, скудно освещенная бойница. И в напряженной лесной тишине, поигрывая басовитыми, властными потками, сильный насмешливый голос спросил:

— Чего ты, Митька, опять хочешь? — и перешел на хакасский.

Голиков притянул к себе Гаврюшку:

— Что Соловьев говорит отцу?

— Он говорит,— сдерживая слезы, прошептал мальчишка,— ну, померла твоя баба. Нам тоже ее жалко. Заведи себе другую.

Митька ответил плачущим голосом:

— Не нужна мне другая баба, отдай мне мою!

Гаврюшка не позволял себе разрыдаться только потому, что боялся не услышать, что дальше.

— Где я тебе возьму ее?! — заорал Соловьев уже по-русски.— Подахла она!

— Соловей — сиволочь! Астанай — сиволочь! — задыхаясь от душивших его слез, выкрикнул Митька.— Баба нет. Голик есть!

— Чего он там болтает? — озабоченно произнес Соловьев.— Астанай, где там твои живодеры? Пусть они его быстро возьмут. А то он правда приведет Аркашку.

— Да тише вы, Иван Николаевич! — предостерег «императора тайги» встревоженный баритон.

— Да он по-нашему не понимает.

Но баритон все равно перешел на шепот.

Голиков машинально отметил: о Митьке говорили как о ценной вещи. И при этом Соловьев не вышел на крыльце. Он догадывался, что Митька в его отчаянном положении мог пальнуть из обреза. Свободно распоряжаясь чужими жизнями, Соловьев дорожил своей.

— Митька! — громко позвал Соловьев и перешел на хакасский.

— Что он говорит? — спросил Голик у Гаврюшки.

— Баба твоя жива, мы пошутили,— механически, словно не понимая смысла сказанного, переводил Гаврюшка.— Завтра отдадим. Она в другом лагере. А сейчас иди поужинай с нами... Голик, мамка правда жива? — В голосе мальчишки появилась надежда.

— Ты же слышал, они говорились заманить отца.

И вдруг Митька вышел из-за толстого кедра, где он стоял во время разговора с Соловьевым, повернулся спиной к штабу и, счастливо хохоча, закричал:

— Голик, стреляй не надо! Баба живой!

— Ложись! — крикнул Голиков.

Но уже ударило из трех или четырех винтовок. Митька упал.

— Не стрелять! — крикнул Голиков своим бойцам.

— Голик, они его убили? Скажи? Убили?! — спрашивал Гаврюшка.

Ненависть к Соловьеву, злость на Митьку за его доверчивость, вина перед мальчишкой — все обернулось для Голикова спазмом в горле. А Гаврюшка плакал и дергал за рукав.

— Кажется, промазали, — с трудом выговорил Аркадий Петрович.

Бандиты больше не стреляли. Между деревьями воцарилась давящая атмосфера ожидания.

— Кх, кх, — не выдержал и закашлялся Соловьев.— Аркаш,

это ты там, что ли? — «Император тайги» попытался сохранить в голосе беззаботность и басовитость, но это ему не очень-то удалось: в его интонации вкрадись удивление и растерянность.

— Да, это я,— громко ответил Голиков.

Аркадий Петрович хотел вложить в слова как можно больше твердости, но голос его дрожал от волнения. Аркадий Петрович много раз мысленно беседовал с Соловьевым. Но он не мог себе представить, что наяву ему придется перекрикиваться с «императором тайги» — причем после того, как Соловьев прикажет убить несчастного Митьку,— и он, Голиков, вынужден будет вступить в переговоры на глазах у бойцов и только что осиротевшего Гаврюшки.

— Гражданин Соловьев!

— Что ты, Аркаша, со мной так строго, будто на допросе в Ачинске? Чай, мы с тобой не чужие, соседи. Зови просто Иван Николаевич.

— Не могу я вас так звать. Вы только что убили Митьку.

— Аркаша, ты должен был его убить, когда он привел к тебе в дом моих людей. А ты его отпустил. Тогда он привел тебя ко мне. Я притворился, что его пожалел. Тогда он предал тебя. Таких надо сразу пристреливать. Ты, Аркаша, меня слушайся. Я тебе худого не присоветую... Ладно, чего ты, Аркашка, желал мне сказать? Иль ты не Голиков? В темноте-то не видать. Астанайка мне докладывал, что Голик, мол, почует на руднике, стережет золото... Астанайка, докладывал ты мне это или нет?

— Мне сообщили надежные люди. Они врать не будут.

— Я — Голиков. Или предъявить документы?

— Не надо. Из всех командиров ты один со мной так свободно разговариваешь. А я и письмо твое помню: «...не нужна мне ваша «Смирновская» водка. Я из Июса напьюсь». Я еще дуракам своим говорил: «Учитесь: человек и смелость и гордость имеет, хотя я его коленкой малость и прижал».

Голиков вспомнил, как он терзался из-за этого письма. Ему-то самому оно позже казалось допельзя глупым, а вот погляди...

«Да он же тебя, как мальчишку, покупает,— сказал Голикову внутренний голос.— Ты не соблазнился ящиком водки. Он доныпна поит тебя лестью. Тем более что понимает: сюда ты пришел не с одним только Митькой...»

— Гражданин Соловьев,— снова громко произнес Голиков.

— Ну, валяй, слушаю тебя.— В голосе Соловьева скользнула досада, что беседа «по-соседски» не получилась.

— Ваш лагерь окружен. Я предлагаю вашим людям и вам сложить оружие. Рядовые без суда будут отпущены домой. За добровольную сдачу они получат полное прощение...

В лесу и в домах с уже погашенными огнями все замерло. Только на земле жалобно и беспомощно всхлипывал ребенок, но Аркадий Петрович не мог к нему даже наклониться. Голиков стоял, прислонясь к шершавому дереву и ощущая огромное внутреннее напряжение: решалась судьба соловьевщины. Кончится она или нет?

— А моему штабу ты что предложишь? — спросил Соловьев. — Тому же Астанайке? Или мне, грешному?

— Много чего за вами обоими числится.

— Что за пами числится, мы не хуже тебя знаем. (Голиков заметил: голос «императора тайги» стал сицлым.) Поэтому и спрашиваю: нам что сулишь? Только не ври. Ты, может, из всей Советской власти единственный, кому я еще поверю.

— А вы не желаете выйти на свежий воздух? Мы бы присели. Разговор не простой.

— Ничего. Мне и здесь удобно. Так что мне будет, ежели я по добруму согласию отдам тебе свой шиалер?

— Судить будем.

— И к стенке? Но стенку мне уже один раз предлагали — в Ачинске. Оттого и бежал. Иль ты мне советуешь бежать второй раз?

— Первое, что я вам твердо обещаю, — за добровольную сдачу вас не расстреляют. Второе: по суду вы получите десять лет.

— Аркаша, — с притворной обидой произнес Соловьев. — Мне тридцать шесть. Через десять лет я буду сгорбленным стариком — ни водочки выпить, ничего.

— Ива-ан Николаевич, — в то ему ответил Голиков, — вы меня удивляете. С вашей-то разведкой не знать, что теперь ежегодно на Первое мая или Седьмое ноября объявляется амнистия. Срок заключенным снижают наполовину. Больше двух-трех лет вы в заключении не проведете.

Голиков замолчал. Молчал и Соловьев. Каждая секунда тишины наполнялась все нараставшим напряжением.

— А лет тебе, Аркаша, сколько? — неожиданно спросил Соловьев, будто они сидели за столом, а не перекрикивались через весь лес.

— Восемнадцать.

— Гляди-ка. А уже такой начальник. И грамотный. И храбрый. Вот бы мой Ванятка был на тебя похож.

— Дасть бог, будет.

— Откуда?.. Какое воспитание я могу ему дать? Живет, как звереныш, в лесу, и вокруг вот эти рожи. А душа у Ванятки нежная, понятливая. Папка, просит, расскажи сказку, только

чтобы в ней не стреляли. Понимаешь, такая хворь — выстрелов боится. Трясется аж весь. Доктора я к нему возил. Купать, говорит, надо в озере Шира. А на озере стоят твои, Аркаша, люди.

— Договоримся — хоть утром купайтесь. Никто ваших близких не тронет.

— Аркаша, а ты, слушаем, не брешешь?

— Что позволим купаться?

— Нет, что к стенке не поставишь и что эта будет... как ее, что половинит срок?

— Амнистия.

— Во-во. Меня когда на Черном озере брали, тоже говорили: «Ты, Иван, через день вернешься. Даже харчей много не бери». А вернулся вишь куда. Так, может, и ты сперва выманишь, а потом скомандуешь: «Пли!»

— Предлагаю вот что. Объявляем перемирие. Через два дня я привезу вам официальное письмо из Ужуря.

— Ну, брат, я тебя за умного человека считаю! — засмеялся Соловьев. — Что Ужур, что Ачинск — один черт.

— Хорошо. Если мы заключим перемирие, то я обещаю вам телеграмму из Москвы, от Михаила Ивановича Калинина.

— Слышали?! Эй вы, рожи, слышали?! Сам Калинин будет мне писать. Этот, как его, начальник ВЦИКа.

— Председатель.

— Это, Аркаша, уже дело. Ай да «император всяя тайги»! Вон куда судьбина тебя взметнула!

Разговор так воодушевил Соловьева, что было непонятно, что его сильнее взволновало: возможность выйти из леса, начать новую, на первых порах не самую легкую жизнь или то обстоятельство, что ему, «императору тайги», готов прислать телеграмму «сам Калинин».

Наконец Соловьев успокоился. Голос его снова обрел степенность и басовитость.

— Прости, Аркаша, верно ли я понял? Значит, рядовых судить не будете?

— Не будем. С ними поступят, как с солдатами Колчака.

— Это было по-доброму. В Красноярске нас поселили в бараках. Кормили, разговаривали с нами, толковали законы новой власти, объясняли, что не надо никого звать «ваше высокоблагородие». А потом выдали каждому документ и отпустили по домам. Так будет снова?

— Да.

— Я и сейчас встречаю мужиков из тех бараков. Их больше не трогали. Кому я-то понадобился?

— С вами поступили незаконно.

— Аркадия, ты понимаешь мою обиду?

— Только жестокости вашей не понимаю.

— Мы об этом еще поговорим. Теперь обо мне. То есть о нас, о штабе. Вот я спущусь с крыльца, отдам тебе свой маузер. Что дальше?

— Я сам отвезу вас в Ужур.

— И по дороге пристрелишь, будто я пытался бежать?

— Зачем? Вы живой нужней, чем мертвый. И с вами поступят строго по закону — с его суровостью, но и с его милосердием.

— Значит, я получу десять лет?

— Да, до первой амнистии. После нее вам будет положено только пять. Нужно выяснить, распространяются ли на вас уже объявленные амнистии. Тогда сразу дадут только пять.

— А потом скостят еще половину?

— Да.

За дверью, где стоял Соловьев, послышался торопливый, горячий убеждающий шепот.

— Заткнитесь! Без вас знаю, что делать! — рявкнул Соловьев.

— Ну что? — спросил Голиков.

— Погожу я, Аркадия. Нужно все обдумать.

— Что нужно обдумать, я понимаю. Но зачем же откладывать? А так семья переедет в Форпост или на Черное озеро. Ванята пойдет в школу. Потом вы к ним вернетесь.

— Соловей! — раздался внезапно голос Митьки. — Хакасская твоя морда!

— Ада! — рванулся с земли Гаврюшка.

Голиков схватил его за плечо и прижал к земле.

Из штабной землянки ударили выстрел.

— Не стрелять! — рявкнул теперь уже Голиков.

От его голоса, усиленного эхом леса, прекратили стрельбу даже бандиты.

— Иван Николаевич, я снова предлагаю вам перемирие.

— Я тебе уже ответил: погожу. Так что мое почтение начальнику ВЦИКа.

И амбразура захлопнулась.

«Ах, чтоб тебя!» — подумал Голиков с досадой о Митьке. И хотя разговор прервался не потому, что вскочил с земли Митька, все же какую-то очень тонкую ниточку он оборвал.

Еще на что-то надеялся, Аркадий Петрович ждал. Ему казалось: еще чуть-чуть — и они бы с Соловьевым договорились. Но дзенянуло стекло. Из бокового окна, засверкал быстрыми огоньками, ударили пулемет.

Всё! Перемирие бесповоротно закончилось.

— По бандитскому гнезду огонь! — скомандовал потрясеный Голиков.

Забил короткими очередями пулемет Совина. Ответили ружейными залпами два молчавших дома. Голиков кинулся на землю и пополз вперед. За ним — бойцы. Но метров через десять пришлось остановиться: начиналось открытое пространство.

Лежа у ствола толстой ели, Голиков видел, как почти без перерыва в узком окне штабного дома вспыхивал на кончике ствола короткий язык пламени, поворачиваясь то чуть влево, то чуть вправо. Несмотря на грохот стрельбы, Аркадий Петрович слышал неприятный посвист пуль, но больше всего раздражали сухие щелчки. Это пули стукались в соседнюю засохшую лиственницу.

Аркадий Петрович отполз в сторону и несколько раз выстрелил из маузера в амбразуру, откуда был «максим», но бандитского пулеметчика надежно прикрывал стальной щиток. Зато подсвеченный пламенем пулеметный ствол опустился чуть ниже, и пули начали стукаться о выпирающие корни елки, под которой лежал Голиков. Аркадию Петровичу пришлось ткнуться лбом прямо в землю.

Но когда ствол пулемета приподнялся и повернулся влево, Голиков вынул из сумки гранату, вставил запал, дернул чеку и, досчитав до двух, швырнул в окно. Лимонка ударила в стену, отлетела и разорвалась на земле.

Огонь велся также из других окон дома. Выстрелы — это было заметно по вспышкам — шли в два яруса. Огоньки вспыхивали то выше, то ниже. Вполне вероятно, что у каждого окна стояло минимум по два стрелка и они палили по очереди.

Безрезультатность неожиданных переговоров с Соловьевым подействовала на Голикова удручающее. И в первые минуты боя он, по сути, ни во что не вмешивался. Перемирие для Голикова было бы важнее успешно сокрушенней базы. И он еще никак не мог переключиться.

И еще: прежде чем швырнуть гранату, он успел шепнуть Гаврюшке:

— Лежи тихо. Даст бог, отец только ранен. А если ты к нему поползешь, они убьют вас обоих.

Митька недвижно лежал на троне, которая вела из зарослей к крыльцу, и был отчетливо виден из леса и штабного дома.

По счастью, на помощь приполз Никитин.

— Левый дом мы захватили. Там не сильно сопротивлялись. А теперь я хочу заткнуть глотку пулемету. Мне нужна пара гранат.

— У меня всего две.

— Отдай их мне.

— С такого расстояния бесполезно.

— Но ты же не работал в цирке.

Голиков с сожалением протянул ему две последние лимонки.

Никитин исчез. А Евстигнеев, который лежал поблизости и стрелял короткими очередями, вдруг зашептал:

— Товарищ командир, посмотрите.

Аркадий Петрович поднял голову. Пашка, широко расставив руки, шел по длинному суку гигантского кедра, который стоял у самого края бандитского лагеря. Этот нависший сук на несколько метров приближал Пашку к штабной избе. Темный силуэт Никитина был отчетливо виден на фоне более светлого неба. К счастью, осажденным некогда было любоваться звездами.

Цыганок прошел почти до самого конца сука, ухватился левой рукой за ветку над головой. Это дало ему необходимую устойчивость. Другой рукой Никитин поднес гранату ко рту, выдернул кольцо, но бросать ее не стал. Пока он прижимал к рубчатому боку гранаты продолговатую скобку, взрыва быть не могло: скобка удерживала боек.

Но дальше Никитин стал делать что-то непонятное. Рукой, в которой он держал готовую к взрыву гранату, он ухватился за ветку над головой, а другой начал шарить в глубоком кармане галифе.

Чтобы рукой с гранатой держаться за ветку, нужно было высвободить хотя бы два пальца: больши́й и указательный. Удержит ли он остальными тугую скобку? Ведь если пальцы чуть ослабнут, граната рванет над головой.

Тем временем Никитин поднес ко рту вторую лимонку, выдернул чеку из нее. Потом, примеряясь, он чуть качнулся вперед и легким изящным движением жонглера забросил в широкую трубу штабного дома сначала одну гранату, затем вторую и, повернувшись, стремительно пошел, почти побежал назад.

Голиков не спускал с него глаз и в то же время держал в поле зрения дом с ожесточенно строчившим пулеметом. Аркадий Петрович почти одновременно увидел, как Цыганок прикоснулся рукой к стволу дерева, а хобот пулемета со вспыхивающим огоньком рванулся вверх, в сторону Пашки. Но тут внутри дома вспыхнуло солнце, ударила гром сдвоенного взрыва.

Аркадию Петровичу некогда было смотреть, где Пашка и что с ним.

— Вперед, за мной! — крикнул Голиков и бросился к крыльцу.

Дверь, через которую Соловьев разговаривал с Голиковым, сорвало с петель. Она держалась, видимо, только на засове. Двое красноармейцев, подбежав, дернули — и она рухнула.

Голиков стоял справа от проема, а несколько бойцов — слева.

— Кто есть живой, выходи! — крикнул Голиков.

Дом ответил тишиной, затем раздался стон.

— Не стреляйте, выходим, сдаемся! — донеслось из глубины избы.

— Только без глупостей! — предупредил Аркадий Петрович.

Первым вышел мелкий, невзрачный мужичонка. Его, похоже, осколком ранило в лицо. Он прикладывал к щеке какую-то тряпку, по кровь неостановимо капала на рубаху.

— Перевяжите его кто-нибудь! — попросил Голиков.

Он с нетерпением ждал, когда появятся Астанаев и Соловьев. Аркадий Петрович понимал: предстоят долгие, изматывающие беседы.

Поскольку Соловьев не захотел сложить оружие добровольно, то никакого снисхождения по закону ему теперь не полагалось. Вполне вероятно, что Астанаев и Соловьев готовы будут указать свои тайники, если им за это сохранят жизнь.

И еще Голиков успел подумать, что, собственно, на этом его пребывание в Сибири заканчивается. И нужно поскорей вернуться в Москву и хотя бы месяц плотно позаниматься перед поступлением в Академию Генерального штаба. К великой досаде, он здесь ни разу не открыл учебники, которые лежали на дне его чемодана.

Два мрачного вида мужика — один с длинными патлами попа-расстриги, другой с растрепанной, нечесаной бородой — вынесли пожилого хакаса.

— Астанаев? — спросил Голиков.

— Нет.

Следом вышло еще человек десять. Все без оружия.

— Кто из вас Соловьев? — требовательно спросил Голиков.

— Иван Николаевич у себя в комнате, — ответил высокий угодливый голос. Он принадлежал худому, низкорослому человеку лет тридцати в буденовке.

— Покажи, где его апартаменты, — велел Голиков. И повернулся к бойцам: — Зажгите что-нибудь!

Через минуту возле сарайки вспыхнул яркий огонь. Факел стремительно приближался к дому, будто его несли бегом. И Голиков увидел... Митку. Он держал в руке толстую палку. На конце ее горела тряпка или пакля, обмакнутая в смолу.

— Митька, ты, черт, живой?! — обрадовался Голиков.

— Живой! — закивал Митька и крикинул в темную дыру дома: — Соловей, сиволочь, ходи!

«Император» не отвечал.

— Голик, ходи, — предложил Митька и, бесстрашию освещая дорогу факелом, двинулся в дом.

За ним, робея, последовал мужик в буденовке. Аркадий Петрович, вынув маузер, собирался двинуться тоже, но его опередили Совин и Коля Ткаченко. Совин держал в руках пулемет.

Они попали в большую комнату. Под ногами лежал битый кирпич и блестели осколки стекла. Справа, возле окна, темнел на придвижном столе пулемет «максим» с задранным дулом. Уронив голову на стол, усыпанный пустыми гильзами, спал мертвым сном, сидя на табурете, человек в погонах.

Пламя Митькиного факела контило и качалось. По стенам и двухэтажным нарам метались громадные, искаженные тени.

Переступив через груду кирпича и еще одного убитого, Голиков едва поспевал за пленным, Митькой и Мишой Совиными. Коля замыкал шествие. Они остановились перед толстой дверью, которая была заперта. Голиков постучал рукояткой маузера: никто не ответил. Ткаченко принес топор. Дверь взломали. Комната оказалась пустой.

— Здесь жила охрана, — объяснил пленный в буденовке. — Спальня Ивана Николаевича дальше.

В глубине темнела еще одна дверь, обитая кровельным железом. Ткаченко постучал в нее обухом топора и отскочил в сторону, опасаясь выстрелов. Но и в спальню молчали. Ткаченко засунул лезвие топора в щель возле медной позолоченной ручки, однако эту дверь топор не брал.

Молча появился Никитин. Он нес лом, который всадили в щель. Дружно навалились — дверь поддалась. Все разом метнулись в стороны от нее, но из комнаты не стреляли.

— Соловьев, выходите! Астанаев, выходите тоже!

В несуразно построенном доме имелся лишь один выход. Девяться обитателям «императорских палат» было некуда. Но в комнате Соловьева стояла тишина. Никитин вырвал факел у Митьки, швырнул его в проем. Факел шлепнулся на пол, запахло паленой шерстью. Не медля больше, Никитин пальнул в загадочно молчащую комнату из пагана и ринулся в нее.

— Аркадия, тут никого нет.

Голиков вяло оторвал плечо от стены. Ему вдруг все стало безразлично. Он вспомнил того малого, возничего, который, робея, шептал: «Соловьев все видит, все слышит, и пуля его не берет». Тогда малый показался трусом. А те-

перь он, Голиков, мог добавить: «...и проходит сквозь стены».

Аркадий Петрович шагнул в комнату, где Пашка уже поднял с пола факел. Тут не было ни одного окна. С легкостью обрекая на смерть даже детей, «император тайги» боялся умереть сам.

В его личных покоях стоял спертый воздух. Пахло махоркой, немытым телом, гниющей кожей и паленой шерстью. Факел, который Цыганок снова передал Митьке, осветил печку в углу, турецкий ковер во всю стену, стол, опрокинутые в спешке стулья и диван, покрытый лошадиной шкурой. Такие же шкуры устилали пол.

Никитин попытался приподнять шкуру на полу — она была прибита.

— Не святой же он дух? — озабоченно бормотал Никитин. И начал обстукивать рукояткой нагана стены, а ногою пол.

В одном месте под сапогом послышался глухой звук.

— Я же говорил! — обрадовался Цыганок.

Он нагнулся, быстро нашарил в шкуре разрез и обнаружил крышку подпола с удобной ручкой. Еще не веря, что все так просто, Голиков приблизился к люку. Вокруг столпились бойцы.

— Почтеннейшая публика,— дурачясь от радости, объявил Никитин, — сейчас по моей команде «алле ап!»...

— Цыганок, перестань! — оборвал его Аркадий Петрович. — Приготовить оружие! Отойдите все подальше от люка! — И Голиков хотел открыть крышку, но Павел сказал:

— Обожди!

Он вскочил в сапогах на диван и отрезал саблей длинный золоченый шнур с большой красной кистью, который свисал со стены. В соседней комнате звякнул колокольчик. Видимо, Соловьев так вызывал прислугу. Шнур Никитин привязал к бронзовой ручке люка и дернул. Люк открылся.

— Ваше императорское величество, — не удержался Пашка, — я предлагаю вам выйти на божий свет!

Но подпол молчал. Никитин разрядил в дыру свой наган, выпул из заднего кармана никелированный браунинг, оттянул затвор и спустился вниз. К дыре поднесли факел.

— Аркаша, тут подземный ход, — глухо, как из бочки, донесся голос Цыганка. — А ну, ребята, кто со мной!

Ход вывел в пустынный овраг.

...Голиков распорядился приготовить ужин, чтобы накормить бойцов и пленных, а сам вернулся в комнату Соловьева. Через распахнутую дверь сюда проникал лесной воздух, и уже не так отвратительно пахло. На столе коптила керосиновая лампа с разбитым стеклом.

Аркадий Петрович брезгливо осматривал вещи. Тяжелая пишущая машинка. В каретке ее белел листок начатого приказа. Эта же каретка снизу доверху была забита дешевыми полуразорванными книжками. На турецком ковре, где в натуральную величину был выткан восточный мудрец верхом на понуром ослике, висело оружие: дворянская шпага с позолоченным эфесом, офицерская шашка с надписью «За храбрость» и сабля в серебряных ножнах.

Рассматривая обстановку комнаты, Голиков пытался постичь, в чем истоки поразительной неуязвимости и неуловимости Соловьева.

«Умен? — размышлял он.— Безусловно. Отважен?.. Конечно. Предусмотрителен?.. Сверх меры. Чего стоит обитая железом дверь! От кого он за ней прятался?.. Прежде всего от своих. Ведь чтобы выкопать тайный подземный ход, работы надо было ото всех скрыть. Подземный ход он копал только для себя».

Самое обидное заключалось в том, что операция, в которой попачкали все было ненадежно, зыбко, удалась. Не было подстроенной ловушки; несчастный Митька, при всех нелепостях, показал себя большим молодцом; удалось начать переговоры с Соловьевым, и был момент, когда «император тайги» всерьез обдумывал сделанные предложения. Конечно, не будь у Соловьева подземного хода, он бы, скорей всего, согласился на предложенные условия. Хоть и тюрьма, но жизнь. А после тюрьмы свобода.

Какие же еще нужно расставить сети, чтобы Соловьев в них наконец попал? И не вырвался?

— Ну, чего ты мучаешься? — спросил Пашка.

У него было отличное настроение. Исход боя решили две брошенные им в трубу гранаты. Честно говоря, после беседы с Соловьевым Голиков для руководства операцией уже просто не годился — столько сил ушло на этот разговор.

— Не пойму, как человек, который читает только этот мусор,— Голиков показал на книжонки, которые упали с эта же каретки, с окровавленными ножами и зверскими лицами на обложках,— так здорово всех дурачит.

— Зачем ты так? — обиделся Никитин, подбиравая книжки с пола.— Я ведь такие тоже читал. Да мало. Пятачок штука стоила. А что до сегодняшнего боя, то погляди на него глазами Ваньки. Он сидел тут, уверенный, что мы его никогда не найдем. А ты его нашел, вызвал, вежливо объяснил, что он окужен, предложил ему сдаться. И все его люди слышали это. И если бы не твоя беседа, разве бы они так быстро сдались? А он людей

бросил против тебя, а сам удрал. Какой у него после этого будет авторитет?

— Все это, Цыганок, верно. Только бы знать, сколько за ним по тайге еще гоняться. Мне же скоро ехать надо, поступать в академию.

— Позолоти, драгоценный, ручку вот этой сабелькой в серебряных ножнах,— полусерьезно-полудурачясь произнес Никитин.— Я тебе погадаю. Меня учила одна очень красивая и совсем еще не старая цыганка. Звала даже с собой в табор, да не смог, понимаешь ли, оставить на произвол судьбы революцию.

— Правда умешь?! — обрадовался Голиков.— Гадай.

Пашка повернулся к себе ладонь Голикова и начал ее внимательно рассматривать.

— Будет у тебя большая любовь. И ждет тебя слава. Будешь, наверное, знаменитым командиром. И еще интересно — вот линия твоей жизни. А вокруг много детей. Только, прости, проживешь ты недолго. Линия жизни у тебя коротковата...

— А когда,— перебил Голиков,— я поймаю Соловьева?

Паша посопел, повертел перед глазами ладонь друга.

— Извини, драгоценный, насчет борьбы с бандитизмом древняя наука хиромантия ничего сказать не может.

— Не может или ты не хочешь?!

— Да что ты, Аркадий?! Мне, что ли, Ванька не надоел?

— Послушай, Цыганок, а что, если никакого Соловья нет? А есть оборотень. Понимаешь, нормальный оборотень, из сказки?

— Аркаша, ляг и поспи. Ты же сам два часа назад с ним разговаривал.

— Верно. Только заметь: я его не видел. И ты тоже.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Солице клонилось к горизонту, когда отряд Голикова появился в Форпосте. Впереди верхом ехали Аркадий Петрович с Никитиным, Гаврюшка с отцом (Голиков подарил им по трофеиному коню), затем под охраной — пленные, за ними — красноармейцы.

Колонну замыкал обоз с захваченным у бандитов имуществом: винтовками, пулеметами, ящиками с патронами, тяжеловесной пищущей машинкой, лошадиными шкурами, мешками с

мукой, бочками солоницы, саногами и мануфактурой. Озорства ради Голиков велел погрузить на отдельную телегу диван карельской березы из комнаты-камеры Соловьева. Аркадий Петрович задумал поставить его у себя в кабинете, чтобы любой посетитель мог на нем посидеть. Голиков имел право поозорничать: он не потерял в почном бою ни одного человека. Лишь трое получили ранения.

Когда колонна остановилась возле птаба, несколько местных стариков подошли к телеге, на которой громоздился диван, чтобы потрогать спинку, ножки и шелковую обивку. О том, что это диван Соловьева, уже все знали.

Отдав необходимые распоряжения, Голиков отправился к себе на квартиру. Аграфена возилась в кухне, кивнула ему. В комнате Голиков сбросил оружие, снял френч, готовясь искупаться. А потом он собирался чего-нибудь съесть и завалиться на часик спать.

— Аркадий Петрович,— сказала Аграфена, через дверь отчужденным голосом,— в чугуне есть горячая вода, можно помыться. Обед у меня тоже готов.

— Спасибо,— ответил Голиков.— Я лучше в реке. Потом буду обедать.

Искупавшись, он торопливо пообедал. За столом Аграфена не произнесла ни слова, чего раньше никогда не случалось. Только налив чаю, она, не подымая глаз, спросила:

— Убил Ивана-то или просто не желаешь показывать?

Лишь теперь Голиков понял, что она не знала подробностей боя и не решалась спросить.

— Прости,— виновато посмотрел Аркадий Петрович на Аграфену.— Ушел от меня Иван. Подземный ход себе вырыл.— И, помолчав, добавил: — Рада?

— Чего мне радоваться? Одного боялась: привезешь и втолкнешь его ко мне в избу.

— Это еще зачем?

— А кто вас, мужиков, поймет. Вот же собирался он тебя убить в моем доме. А про Ивана скажу: этот, теперешний, мне совершенно чужой. Любила я другого человека. Убивают же на войне. Вот и моего, того Ивана война убила. И корю себя только за одно, что была тогда девчонкой, дурой, все поломалось в моей жизни из-за глупой обиды. Может, будь он со мной, не дала бы я ему стать таким. В Красноярск бы поехала, когда его арестовали, доказала, что не виноват. Было бы меньше горя и не было бы стыдно, ну, хоть перед тобой, что людей своих он бросил, а сам, как крыса, в какую-то дыру удрал.— И она зашлакала.

С улицы постучали.

— Посиди, я открою,— сказала Аграфена.

С некоторых пор она запирала дверь даже днем.
В комнату вошли Митька-хакас и Гаврюшка.

— Заходите,— пригласил Голиков.— Есть хотите?

— Нет,— ответил Гаврюшка.— Дядя Паша нас кормил.
Солдаты ели, и мы ели.

— Я хочу сказать вам обоим спасибо за помощь,— сказал Голиков.

Внезапно Митька заплакал.

— Митька, ты чего?

— Отец плачет, что ты не поймал Соловья,— объяснил Гаврюшка.— Теперь Астанай его убьет. Смерти он не боится, но боится, что я останусь один.

Голиков почувствовал, что в нем пробуждаются жалость и бешенство. Ему захотелось крикнуть: «Митька, а когда ты лез первым в окно этого дома, ты думал, кто осиротеет без меня?» Но Аркадий Петрович сдержался: сутки назад Митька совершил подвиг.

И он сказал:

— Будете жить при штабе и помогать по хозяйству. Здесь Астанаев вас не тронет.

На самом деле он вовсе не был в этом уверен. То есть Астанаев, скорей всего, не выкрадет Митьку из Форпоста, но выстрел из винчестера мог настичь Митьку и здесь, возле штаба. И все-таки шансов выжить тут было больше. А дома — никаких.

— Голик, ты сердитый на отца? — спросил наблюдательный Гаврюшка.

— Нет, я сердусь на Соловьева, что он не дает себя поймать,— улыбнулся Аркадий Петрович.

Он написал записку и отправил Митьку с Гаврюшкой в штаб, а когда пошел запереть за ними дверь, вбежал Ваня Кожуховский.

— Аркадий Петрович,— затараторил Ваня,— старики объявили театр делом богомерзким. И вчера никто не пришел на репетицию!..

Не будь Голиков таким усталым, он бы сказал:

«Не огорчайся, Ваня. Я часок посплю, и потом мы с тобой соберем всех наших артистов и устроим репетицию».

Но первы Аркадия Петровича были запредельно взвинчены.

— Беги к председателю сельсовета,— велел он,— скажи: я приказал созвать сходку!

Из своей комнаты торопливо вышла Аграфена.

— Обожди, Ваня... Послушай, Аркаша, тебе нужно отдохнуть. Глянь в зеркало. Краше в гроб кладут.

Но Голикова уже поиссло:

— Это не ваше дело, гражданка Кожуховская! Прошу в мои распоряжения не вмешиваться!.. Давай, Иван, к председателю!

Резкость Голикова не столько обидела, сколько встревожила Аграфену. Аркадий никогда не был груб. Вежливей человека она вообще не встречала. Но когда он вернулся с реки, она обратила внимание, что у него странный взгляд. Казалось, он все время смотрит вдаль и видит то, чего не могут увидеть другие. Однако Аграфена много хлебнула со своим супругом и усвоила: если мужик завелся, то самое мудрое — ему не перечить.

А Голиков провел щеткой по сапогам, пристегнул оружие, схватил папаху и сбежал с крыльца.

— Поведешь под конвоем в свой театр? — бросила вдогонку Аграфена.

— Понадобится — поведу! — остановился Голиков. — Если бы твоего, будь он проклят, Ивана хоть разок сводили в театр, быть может, он не стал бы разбойником.

Аграфена хотела что-то злое ответить, но смолчала.

По дороге Аркадий Петрович заглянул в штаб. Никитин молча пододвинул ему стопку оперативных сводок. Главное событие последних дней — разгром базы Соловьевса — в сводки еще не попало.

— Да ты сядь, — предложил Павел, крутя ручку настенного телефона.

За окном тревожно лязгнуло железо о железо. Никитин бросил трубку и спросил:

— Что случилось?

— Я велел созвать сходку. — И рассказал о запрете стариков.

— Что тебе дались эти старики? Собрал бы их завтра.

— Не в стариках дело. В ребятах. Они только потянулись к театру. Когда на последней репетиции я видел их глаза, я понимал, что бандитами они уже не станут. А если старики это в них затопчут, второй раз к театру ребята уже не потянутся.

За окном перестали бить в железо.

— Пойдем вместе, — сказал Никитин. Как и Аграфене, Голиков сегодня ему решительно не нравился.

Но Голиков пожелал еще краем глаза взглянуть, как устроились Митька с Гаврюшкой. Их поселили в сарае во дворе штаба. Митька в одних подштанниках скоблил ножом пол, а Гаврюшка носил бадейкой воду. Увидев командиров, Митька сказал:

— Пасыбо... хорошо.

А Гаврюшка доверчиво ткнулся головой Аркадию Петровичу в живот.

«Бог мой, как же мало людям надо для покоя!» — подумал Голиков.

Когда командиры подошли к небольшой площади возле избы, где помещался сельский Совет, там уже собралось человек сто — все, кто оказался к этому часу дома. Внезапность объявленной сходки, неясность ее причины (Ваня ничего объяснить председателю не стал) взбудоражили жителей. И Голиков с Никитиным, подходя к площади, ловили обрывки разговоров:

— Опять небось давай подводы.

— Сначала хлебушек соберут, а подводы потом.

— А я слышал, будто есть из Москвы указ,— уточнил мужик в офицерской фуражке со следами кокарды,— собрать с головы по пятьдесят пельменей. У меня, скажем, десять ртов — с меня пятьсот штук.

— А как же их везти-то по теплу? — ужаснулась полная женщина в темном платке.

— В том-то и фокус: кто не довезет... — Мужик многозначительно примолк.

— Тсс... Голиков... — пропелестело по толпе.

Аркадий Петрович с Никитиным поднялись на крыльце, которое здесь заменяло трибуну.

— Уважаемые граждане! — начал Аркадий Петрович. — Думаю, вы уже знаете, что нашим отрядом захвачена база Соловьева, а сам он бежал по подземному ходу.

— Да, слышали, а как же... Вы еще доехать не успели... — ответили из толпы, понимая, что били в рельс среди бела дня не для этого сообщения.

— А пригласил я вас, чтобы объяснить, что такое театр...

— Что? Что? — забеспокоились в толпе. — Новый налог какой? Опять разверстка?

— Да нет, про киатр хотят говорить. Ну, где актрысы голые бегают и ноги бесстыжие задирают.

— Ах, срам какой! — взвизгнул женский истеричный голос.

— Вот кто-то здесь кричит, что театр — это срам... Уважаемые граждане, театр возник в древние времена, еще до рождения Иисуса Христа. И был он не срамом, а праздником для народа. Но проклятые эксплуататоры вроде вашего Иваницкого забрали театр себе, сделав из него забаву. А теперь революция возвращает театр народу. С вашими детьми и внуками мы решили организовать театр и в Форпосте, чтобы показать, как жили и живут другие люди...

— Извините, ваше высокородие, — перебил Голикова уверенный мужской голос. К крыльцу протиснулся мужик в фуражке со следами кокарды. — Скажу прямо: нужен хлеб —

подсоберем, нужны подводы — дадим. Но детей наших задирать ноги не учит!

Голиков почувствовал, как второй раз за сегодняшний день на него накатывает волна бешенства. Но он не позволил себе взорваться. Он выждал, успокаиваясь и чувствуя, как вместе с ним успокаивается толпа, и буднично, будто соглашаясь, сказал:

— Конечно, дети ваши. Вы их растили, кормили, они будут вашей опорой в старости. И потому решите сами, как будет лучше: чтобы ваша молодежь, сатанея от безделья, пила с вами самогон и до рассвета, собираясь в клубе, щелкала орешки или бы читала в нашем театре вот такие стихи.

Голиков посмотрел куда-то поверх множества голов и произнес:

Не образумлюсь, виноват...

Но это уже был не тот голос, который только что объяснял, для чего созвана сходка, и не тот, который соглашался: «Да, конечно, дети ваши». Это был голос совсем другого, им незнакомого человека, полный душевной усталости и одиночества.

— Что, прощения у опчества просит? — раздался в тиши злорадный старушечий голос.

— Да замолчи, дура, виши, человек не в себе. Вроде как ангел божий к нему явился. С ним и разговаривает, исповедуется...

А Голиков продолжал:

И слушаю — не понимаю,
Как будто все еще мне объяснить хотят,
Растерян мыслями, чего-то ожидаю...
Слепец! Я в ком искал награду всех трудов!
Спешил!.. Летел!.. Дрожал!
Вот счастье, думал, близко...

Присутствующие не имели ни малейшего понятия о том, кто такой Чаткий, куда он летел и какого счастья ему было нужно. Но мощь и чистота его душевного порыва, а в особенности страстный клич: «Карету мне, карету!» — произвели на собравшихся завораживающее впечатление.

Когда Голиков закончил монолог и устало опустил голову, воцарилась тишина полнейшего изумления. Эти люди не были в кинематографе, не видели даже бродячей театральной труппы. Все их зрелищные впечатления исчерпывались церковной службой, громким, оглушающим пением и полуупынными плясками на свадьбах.

А здесь мальчишка-командир, которого они боялись, вдруг

словно выворотил перед ними душу. И своим незнакомым, изменившимся голосом, какой-то беззащитностью задел сердце каждого. Мужики растроганно крякали и сворачивали цигарки, а женщины сморкались, и многие качали головами, удивленно приговаривая: «Ай да парень!», не зная, как по-другому выражить свою взволнованность и благодарность.

Помог Никитин. Он стал громко хлопать. И сельчане несумело, но с удовольствием захлопали тоже. Голиков сдержанно, с достоинством поклонился. Что делать дальше, он не представлял. Слишком многое он вложил в монолог и чувствовал себя опустошенным.

На крыльце поднялся все тот же мужик в фуражке.

— Послушай, Аркадий Петрович, не серчай. Мы же этого киатра в глаза не видели. И думали неизвестно что. А это ж как молитва. Приехал человек вроде как со службы домой, а его и знать не хотят... У меня такое было. Я, значит, вернулся, когда меня рвали, а у Дашки... Одним словом, я за тебя. И опечтво тоже.

Возле телеги, словно из-под земли, появились Ваня Кожуховский, Марина и другие кружковцы.

— Аркадий Петрович, идемте репетировать,— ласково улыбаясь, пригласила Марина.— Вы давно уже не были.

— Марина,— вмешался Никитин,— он уже трое суток не спал.

— Ой, я этого не знала!

— Это правда, Марина,— подтвердил Голиков.— Но часа через два я к вам приду.

НОЧНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

В клуб Аркадий Петрович пришел, когда уже было темно. В зале репетировали. Но кресло, в котором всегда сидел Голиков, было свободно.

Аркадий Петрович снял панаху, отстегнул шапку, положил рядом на табуретку.

— Репетируем приезд Чацкого. Где Анфиса?

— Анфиса не пришла,— ответил Ваня.— Ее нет дома.

— Марина сегодня будет Софьей. Реплики, Марина, я буду тебе подсказывать.

— А я помню всю пьесу наизусть,— ответила Марина.

— Умница. Давайте с Ваней на площадку.

Ваня хорошо, взволнованно произносил текст, но плохо, неловко вбегал, чтобы упасть перед Софьей на колени. А Голиков хотел добиться от него изящества и легкости. И Аркадий Петрович показывал: вбегал, сам падал к ногам Марине и обесценил сникал. И было видно, что человек одолел множество преград, проехал сотни верст и наконец достиг заветной цели... Затем Голиков деловито подымался и спрашивал:

— Ваня, ты понял? Вбеги еще раз.

И Ваня снова вбегал, но у него не получалось, пока от отчаяния его не покинула скованность — движения обрели ту легкость, которой от него и добивался Голиков.

Несмотря на поздний час, в клубе набралось много народа. По преимуществу тут были ребята, которые еще не имели ролей, но надеялись получить в других постановках. И те, кому было просто любопытно. И хотя репетировать в присутствии публики было трудней, Голиков радовался, что интерес к театру растет, и условие ставил только одно: тишина в зале.

Когда Аркадий Петрович в очередной раз вернулся на свое место после показа, на табуретке, куда он клал панаху и шашку, сидела Анфиса. Шашку и панаху она держала на коленях.

— Анфиса! Вот хорошо! — заулыбался Голиков.

— Извините, Аркадий Петрович, но я нынче не могу. Забежала, чтобы не серчали. Я ездила проводать сестру. Очень устала. А завтра приду в любой час. Пусть только Ваня кликнет.

«Я ездила проводать сестру» — это был пароль: «Приехала Настя».

— Очень жаль. Конечно, пойдите отдохните, — ответил Голиков.

Анфиса поняла, что он скоро придет.

С того мгновения, как Аркадий Петрович увидел Анфису и узнал, что приехала Настя, он ощущал, что спало давящее, неотступное напряжение, в котором он жил все последнее время. Это был страх за Настю. Когда приближался час ее возвращения, его мысли то и дело сосредоточивались на ней. Чем лучше он ее узнавал, тем отчетливей видел, какая она маленькая и беззащитная. Думая о Насте, Голиков часто напевал привязавшуюся песенку:

От твоей хаты до моей хаты
Горностая следы на снегу.
Обещала меня навестить вчера ты —
Я дождаться тебя не могу.

Песенка была странная. Она запомнилась ему еще на Украине, а здесь, в Хакасии, обрела неожиданный и очень точ-

ный смысл. Порой казалось, что дождаться Насти у него не хватит сил.

Появление Анфисы всякий раз означало, что Настя вернулась, что она уже в безопасности. Тревога сменялась ощущением покоя и радости. В такие часы все дела делались как бы сами собой. Бойцы и младшие командиры передавали друг другу: «Наш-то опять веселый». И потом он торопливо шел к Анфисе или на иное условленное место. Это мог быть полуразвалившийся амбар на берегу Июса, или заброшенная овчарня возле Песчанки, или заросли негустого пустынного леса за станицей.

В темноте, случалось, Голиков не сразу Настию находил. Она тихо окликала его: «Аркадий» — и весело, заливчато смеялась и выходила из-за дерева в зеленоватом свете луны. Если же не было луны, он видел сначала только ее силуэт и кидался к ней, испытывая чувство вины, что заставил ждать ее в этих зарослях.

И Настя, которая истосковалась от одиночества и натерпелась страхов, пока добралась, перескакивая с пятого на десятое, все ему рассказывала. И он удивлялся ее наблюдательности.

Сведения, которые привозила Настя, ей самой казались пустяком. И радость оттого, что она видит Голикова, сменялась на ее лице смущением, что она успела узнать, по ее выражению, «какую-то ерунду». Но ерундой ее сообщения никогда не были.

Однако на этот раз, увидев Анфису, Голиков не только обрадовался, что Настя в Форпосте, но и почему-то встревожился: с чем она пришла? Разгромив базу Соловьеву, Аркадий Петрович тут же потерял ее след. Где Соловьев обосновался теперь? Каковы его намерения? Останется ли он по-прежнему «царить» в тайге или сделает попытку прорваться в Монголию? От того, станут ли известны, пусть в самом общем виде, намерения Соловьева, зависело очень многое.

Через полчаса после ухода Анфисы, сославшись на усталость, Голиков попрощался с ребятами и отправился в штаб. Там он сказал Павлу, что пришла Настя. Пашкины глаза сразу погрустели, и он отвел их в сторону: Цыганок ревновал. Как же сложна жизнь, подумал начальник боерайона, если невозможно объяснить даже Пашке, что ему, Голикову, сейчас не до любви!

— Поспи в кабинете хотя бы час, — сказал Пашка. — Потом пойдешь.

Он не предложил: «Давай пойду я». Что бы ему ни говорил Аркадий, Цыганок знал: Настя ездит в Форпост из-за Голикова.

— Настя, наверное, давно ждет. И потом, я сам хочу поскорее узнать, с чем она пришла. Я не задержусь.

Он деликатно дал понять, что идет на эту встречу исключительно по служебной надобности и никаких романтических намерений у него нет.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

На условленный стук Анфиса дважды спросила:
«Кто?» Голиков ответил шепотом. Анфиса поспешно отперла.

Настя стояла в дверях большой комнаты. Она была грустна и не сделала ни шагу навстречу.

— Ну, вы тут поговорите без меня, — бодро сказала Анфиса, — а чай будем пить вместе.

— Какой чай!.. — ответил Голиков.

Часы показывали половину третьего.

— Настенька, ты что? — тихо с порога спросил Голиков, когда они остались вдвоем.

— Ничего, — ответила Насть, садясь на широкую лавку.

Голиков придвинул табурет и сел напротив.

— Я выехала вчера на рассвете. Оставила в лесу коня. Немного за него волнуюсь.

— Хочешь, поговорим по дороге? — предложил он, сбитый непонятным ему настроением.

— Вместе нам ходить нельзя. Поговорим здесь. Налить тебе чаю?

Самовар поблескивал желтой медью на столе. Насть приподняла кружку, отвернула кран. В комнате запахло зверобоем. Анфиса заваривала его вместо чая. Зверобой на полтора-два часа снимал усталость. И Аркадий Петрович потянулся к кружке. Он всерьез опасался, что может заснуть в любую минуту, и сделал, обжигаясь, несколько глотков. Насть к своей кружке не притронулась.

— Ты знаешь, где по дороге на Саралу Сломанный Зуб? — спросила Насть.

— Что-то не припомню.

— Дай бумагу — нарисую.

— А чего ты вдруг заинтересовалась этой горой?

— Я думаю, что там Соловьев. Когда я возвращалась прошлый раз от тебя, я заметила там дымок и три дня приглядывалась к этому Зубу.

— Тебя не задержали?

— Нет. Я старалась не попадаться на глаза. И потом, у меня с собой грамота.

Голиков промолчал. Говорить о том, что, если бы ее задержали возле горы, грамота ей бы мало помогла, он не стал.

— Пока ты не выгнал Соловьева из леса, на той горе никто не появлялся. Я хорошо знаю те места.

И Настя принялась неумело рисовать в тетради Голикова план.

— Сначала я тебе объясню, где эта гора... А потом — как к ней подобраться. Это дорога. Здесь и здесь — удобные тропинки. Часовые только наверху. А с противоположной стороны очень круто. Подняться там нельзя.

— Сколько на Зубе может быть народу?

— Не знаю. Мне кажется, не особенно много.

— Но все-таки?..

— Я думаю, человек семьдесят.

Сегодня Настя уже не спрашивала: «Ну что, опять пустяк?» Но радости на ее лице не было. Голиков догадался: она сказала не все. И ждал. Настя молча выпила остывший чай. Голиков взял с тарелки и вяло пожевал кусок холодного мяса.

— Что еще? — наконец спросил он.

— Мне кажется, меня начинают подозревать.

— Кто?! В чем?!

— Не могу сказать. Но у меня ощущение, что за мной все время следят. Даже если я дома и заперты все ставни, я чувствую на себе чей-то взгляд.

— Ты видела кого-нибудь? Замечала: кто-то идет за тобой следом или прячется возле дома?

— Что ты! В том-то и дело, что никого поблизости вроде нет, а кажется, будто бы чьи-то глаза смотрят тебе в затылок.

Голиков вспомнил, как в первые недели службы здесь, в Сибири, он физически чувствовал, что Соловьев рядом. Позднее это ощущение притупилось, но оно оказалось верным. Люди Соловьева следили за его, Аркадия Голикова, каждым шагом. Следят до сих пор. И ему приходится помнить об этом ежедневно. Похоже, не ошибается и Настя. Она ведь не из робких.

— Когда тебе это стало казаться?

— Недели две назад.

— Почему ты столько времени молчала?

— Я не хотела, чтобы ты подумал, будто я трусиха. А теперь поняла, что не должна молчать, чтобы не вышло плохо тебе.

— Это все? Тогда успокойся.

«Конечно, жалко выводить Настю из игры,— думал Голико-

ков,— но ничего не поделаешь. Проваливались разведчики по-опытней, чем она. А Настя никакая не разведчица. Она таежница. Знает повадки зверей, но человеческие повадки сложней и опасней звериных. Ей ли тягаться с Астанаевым, который начисто лишен жалости к людям? Но в разведке он, конечно, талант и профессионал».

— Ладно,— сказал Голиков вслух,— ничего странного. Давай я пошлю забрать коня. Поживи пока у Анфисы. Покончим с бандой — вернешься домой.

— Нет, я не останусь. Я еще не все узнала. Видишь, я даже не узнала, сколько там народу.— Настя посмотрела на Голикова своими удивительными глазами, которые вдруг стали огромными.— Я сначала хотела выяснить все, а потом испугалась, что меня могут схватить и ты не узнаешь главного: где прячется Соловьев. А теперь я могу вернуться.

— Домой возвращаться тебе нельзя.

— Но если бы Астанаев твердо знал, что мы с тобой встречаемся и... — запнулась она,— и дружим... я бы сюда просто не доехала.

Голиков боялся за Настю, но тревога за нее боролась в нем с неотступным желанием поймать наконец Соловьева. И теперь это зависело от того, сумеет ли он не вспугнуть «императора тайги» и настичь его на горе. И нужно было, чтобы Соловьев опять не ускользнул.

Была еще одна мысль, в которой Голиков никому бы не признался: он хотел увидеть Соловьева. Допросы он бы поручил другим, а ему хотелось с «императором тайги» подробно и о многом поговорить. Соловьев притягивал его своей загадочностью и незаурядностью, бесил ускользаемостью, восхищал изобретательностью, отталкивал бесчеловечностью и низостью — прежде всего по отношению к людям, которых он увел в тайгу. Голиков вполне допускал: до беседы с Соловьевым оставался последний рывок — штурм горы.

Конечно, гарантии, что на Зубе удастся взять в плен Соловьева, никто дать не мог. Но Голиков думал: «Отчего бы после невезения не прийти наконец удаче?» И он, по обыкновению, стал просчитывать варианты.

«Отпустить сейчас Настю — огромный риск для нее. Но послать вместо Нasti кого-то другого, допустим Анфису, — риск для всей операции. С другой стороны, если Астанаев в самом деле подозревает Настю в том, что она помогает мне («Что мы с нею дружим», — горько про себя усмехнулся он), то ее исчезновение насторожит. Астанаев и его люди начнут искать объяснение. Ведь с точки зрения «императора тайги», если Насте пожа-

лована грамота, то бояться «белых партизан» ей нечего. А коли вдруг забоялась, значит, в чем-то виновата...

Дальше. Когда люди Астанаева будут настороже, вдруг где-то на Теплой речке поселится, скажем, Аифиса...»

Голиков даже скрипнул зубами: выход мог быть только один — отпустить Настю домой. Не для того, чтобы она продолжала работу, а только для того, чтобы Настино исчезновение не спугнуло Соловьева и он бы не покинул обнаруженную Настей гору.

— Сделаем так, — сказал Голиков, сам удивляясь тому, насколько трудно ему говорить. Настя, глядя исподлобья, ждала. — Ты возвращаешься на Теплую речку и замираешь. Живешь тихо-тихо. Занимайся хозяйством, шей новое платье, ходи в гости, но из поселка — ни шагу. Даже если услышишь что-то очень важное о Соловьеве. Жди, пока я пришлю человека. Он назовет пароль.

— Хорошо. — Настя новеселела. — Прости, что я тебя напугала. Вообще со мной никогда ничего не случается. Отец однажды взял меня в тайгу, оставил на пеньке. Мимо прошла спугнутая медведица, посмотрела на меня и не тронула...

Настя была еще рядом и продолжала смотреть на Голикова своими огромными черными глазами, а тревога в нем с каждой секундой делалась все сильней.

Еще мелькнуло в сознании: «Если я велю, она останется, и никто меня ни в чем не упрекнет». Но сотни людей погибли от рук бандитов. Сотни поплатились жизнью, чтобы поймать Соловьева. И он, начальник боевого района, не мог упустить хотя бы один шанс.

— Если от меня неделю никого не будет — уходи, — сказал Голиков строго. — Если приедешь на Теплую речку и увишишь, что опасно, — немедленно уходи.

Настя протянула Голикову руку с твердой, шершавой ладонью. Он бережно пожал ее.

«В сущности, Настя еще очень маленькая», — подумал Голиков с высоты своих восемнадцати лет.

«АРКАДИЙ, ЭТО МАША!»

Когда Голиков на рассвете вернулся домой, Аграфена и Павел не спали. Аграфена дострачивала на машинке рубашку — целая стопка готовых высыпалась на лавку, — а Павел старательно чистил брауниг.

— Ты ежели идешь на свиданку к своей Анфисе, — раздраженно сказала Аграфена, — то лучше оставайся там и почевать.

Она достроила шов и ушла к себе в комнату.

Никитин щелкнул обоймой, сунул браунинг в карман брюк и направился в свою комнату. На друга он не смотрел. Павел знал: Голиков встречался с Настей. И полагал: время, проведенное Аркадием в доме Анфисы, заметно превысило служебную надобность.

— Обожди, — попытался остановить его Аркадий Петрович.

— Я и без того долго ждал, — огрызнулся Цыганок.

— Обожди, — повторил Голиков и увел Павла к себе.

Он пересказал угрюому, несчастному Пашке, как прошла встреча с Настей. И хотя Павел сразу оценил важность сведений, доставленных Настей, и ту опасность, которая ей угрожала, лицо его повеселело: ревность, которой он терзался до рассвета, оказывается, не имела никаких оснований.

— Нужно подумать, — сказал Голиков, — кого послать вместо Нasti, если ей придется уехать с Теплой речки.

— Хорошо.

— Сколько бойцов, по-твоему, должно участвовать в штурме?

— Человек сто пятьдесят.

— Думаю, больше.

— Конечно, лучше, когда больше. Но тогда Соловьев догадается: ты что-то затеваешь.

— Наши приготовления мы прикроем.

— Чем? Веточками? — Пашка говорил все раздраженней.

— Спектаклем. А теперь идем спать.

...Кроме первого акта «Горе от ума», Голиков задумал показать «живую газету».

Стихотворные тексты Аркадий Петрович сочинил сам. Были тут и частушки о происках мировой буржуазии, и куплеты о Соловьеве: мол, объявил себя «императором тайги», а нет ему покоя и в глухой тайге.

«Звездою» этой части представления должен был стать Пашка. Они договорились, что Цыганок будет петь под гармонь куплеты (а хор станет ему подпевать), плясать, выполнять акробатические номера, жонглировать гранатами без запалов, а под конец он метнет шесть ножей в деревянную куклу, наряженную в бумажный костюм Главного Буржуя.

«Живая газета», помимо всего прочего, должна была отвлечь публику хотя бы на полчаса от последних приготовлений к боевой операции. Голиков и сам намеревался как можно дольше мелькать на помосте: объявлять номера, давать

пояснения, подпевать вместе с хором, прихлопывать Цыганку.

Изготовление декораций и всякой утвари Голиков перенес из клуба в два сарай близ штаба. И оживление возле штаба тайный наблюдатель мог объяснить подготовкой к празднику.

В кузнице клепались светильники с жестяными отражателями — представление, естественно, должно было состояться вечером.

Аграфене снова пришлось созвать «бабскую артель»: из кучи длинных платьев, фраков, тяжелых штор, найденных на чердаке дома Иваницкого, предстояло перекроить и сшить костюмы для актеров.

Днем Голиков репетировал с исполнителями «живой газеты». Под предлогом того, что ему нужно усилить хор, из Ужура прибыло пятьдесят кавалеристов. Вечером же Аркадий Петрович занимался только первым актом «Горя от ума», а ночью и рано поутру готовился к штурму.

Спал он в эти дни только по два часа в сутки. Порывался обойтись и без них, но Пашка наорал на него, и Голиков, сердясь на Цыганка, подчинился.

Все это время Настя не выходила у Аркадия Петровича из головы. Уже на четвертый день после ее отъезда он собрался было отправить к ней Анфису с наказом уходить, но Пашка отговорил:

— Еще рано. Мы не готовы к штурму. Если Настя уйдет и Астанаев обратит на это внимание, то чего ради мы посылали девчонку рисковать?

Голиков понимал: такой совет дался Цыганку нелегко — и лишь подивился, что нервы друга на этот раз оказались крепче, нежели у него.

Цыганок отправил к горе двух разведчиков, которые еще не вернулись. И внешне все шло своим чередом, но по мере приближения дня штурма тревога в душе Аркадия Петровича нарастала.

— Ладно, я пошлю Анфису, — пообещал за обедом Пашка, словно он среди прочих цирковых дарований умел еще и читать мысли.

А через час (Анфиса еще не успела уехать) пришла странная шифровка: «По поступившим сведениям, в деревне Теплая речка сделал остановку красноармейский отряд под неизвестным командованием. Проведя в поселке два дня, отряд произвел грабеж и скрылся. Количество награбленного не выяснено. Комбату Голикову произвести расследование и доложить. Кажурин».

Но Голиков отлучиться из Форпоста не мог.

— Бери десять человек и скачи на Теплую речку, — велел он

Павлу.— Обойди все дома. Расспроси, верно ли, что это был целый отряд и в красноармейской форме, выясни, у кого что отобрали. Может, отряд и не взял ничего, а попросил накормить. А пока сведения дошли до Ужура, обычная просьба превратилась в «грабеж».— Голиков говорил, будто успокаивая себя и Павла.— Наведайся и к Насте. Если увидишь, что ей там худо, объяви, что она задержана по подозрению в пособничестве банде. И вези ее сюда.

— Есть арестовать и везти ее сюда! — обрадовался Пашка.— Только мне надо repetировать с хором...

— Езжай! — коротко ответил Голиков.— Я порепетирую сам.

Когда из тяжелых штабных ворот выехал отряд во главе с Цыганком, Голиков отправился в клуб.

Там уже собирались исполнители. Гармонист тихонько наигрывал для себя, разминал пальцы. Петь, да еще озорные частушки, которые он же и сочинил, Голикову не хотелось. Но дело есть дело.

— Начнем, товарищи, приготовились,— обратился он к хору.

Хотя у него самого слух был неважный, Аркадий Петрович видел, что народ в хоре подобрался на редкость музыкальный. И они уже думали с Пашкой: было бы разумно, кроме театра, создать постоянный певческий ансамбль.

Лишь только Голиков успел пропеть вместо Пашки первый куплет, а хор — дружно, озорно рявкнуть припев, в клуб, стараясь не помешать, вошел шифровальщик. В руке он держал листок. Голиков протянул руку. Шифровальщик вложил в нее листок с несколькими карандашными строчками.

«В дополнение к оперативной сводке от 6 часов утра,— прочитал Голиков.— На берегу Теплой речки найдено изуродованное тело девушки. Ведется опознание».

Наверное, Аркадий Петрович сильно побледнел, потому что гармонист, с ревом сжав меха, поставил на пол гармонь, сорвался с места и вернулся с железной кружкой, через край которой переливалась вода. Голиков выпил всю кружку.

— Что-нибудь случилось? — спросил гармонист под внимательными взглядами всего хора.

— Да, тяжело заболел отец,— ответил Голиков.— А он у меня уже старенький. Воюет с 1914 года. Попал в госпиталь.

— Я тут без вас позанимаюсь,— предложил гармонист.— А вы отдохните. А то щеки у вас румяные, а сами вы очень бледный.

— Ничего. Продолжаем работу. Со второго куплета.

Аркадий Петрович по-дирижерски взмахнул рукой. Хор замолчал. А Голиков, почти не слушая, думал:

«Если в первом сообщении не было сведений о погибших и арестованных, то вполне вероятно, что неизвестная девушка стала жертвой уголовников или банды Соловьева, которая время от времени убивает своих пленниц».

Но Голиков смутно ощущал, что в этом пункте своих рассуждений он не связывает концы с концами. Вернее, не решается их связать.

В отряде Соловьева действительно убивали пленниц, но делали это по преимуществу во время отступлений. А за последние несколько дней никаких стычек с бандой не было. Это во-первых. А во-вторых, два загадочных события происходят одно за другим на Теплой речке, будто в Хакасии нет больше места.

Когда кончилась репетиция, Аркадий Петрович понял, что боится остаться один. И он сел с начхозом считать, сколько понадобится гранат, патронов во время штурма. Затем прикинули, чем посыпать пакормить перед дорогой бойцов и что дать с собой.

Воспользовавшись тем, что Цыганок уехал, а сна не было ни в одном глазу, Голиков устроил ночной прогон первого акта «Горя от ума» и репетицию отдельных номеров «живой газеты».

Голиков совершенно твердо помнил, что домой обедать в эти дни он не ходил ни разу. Еду Аграфена приносила на репетицию или в штаб и сидела, пока он все не съедал.

Лишь на трети сутки сон сморил Голикова почью в кабинете, когда Аркадий Петрович прилег на соловьевском диване.

...И приснился ему страшный сон. Будто бы он вернулся домой, в Арзамас, и побежал в реальное повидать своего школьного учителя Николая Николаевича. В классе на втором этаже за партами сидели все учителя во главе с директором, бывшим статским советником Иваном Алексеевичем Смирновым, по прозвищу «наш дедушка», а Пашка, держа в одной руке гранату с выдернутой чекой, другой писал на доске цифры.

«Цыганок,— шепотом сказал ему Голиков,— ты ведь закончил всего три класса».

«Я в цирке, под куполом,— зло ответил Пашка,— получил самое лучшее образование».

Голиков побежал домой. На вешалке в прихожей висело мамино пальто с белым песцовыми воротником и лежала белая песцевая шапочка. Аркадий Петрович со всей отчетливостью вспомнил во сне, что не видел маму два с половиной года, и бросился в столовую. У самовара на мамином месте сидела Агра-

фена. Не произнеся ни слова, она ему налила чай в стакан с папиным серебряным подстакаником.

«А где мама?» — удивился Голиков.

«В тайге,— ответила Аграфена.— Твоя мать вышла замуж за моего Ивана. Так что Соловьеву ты теперь приходишься пасынком, убить его ты не можешь: овдовеет и станет несчастной твоя мать».

«Я все равно его убью».

«Иван посадил меня к самовару, чтобы я тебя предупредила: мы теперь одна семья».

И тут в комнату верхом на рыжем вислоязом коне ворвался Никитин. Он стал гарцевать на столе, ухитряясь не задеть самовар и чайную посуду. Но крахмальная скатерть сразу покрылась грязными следами копыт, что разозлило Голикова.

«Слезай со стола!» — крикнул он Пашке.

А Цыганок ответил: «Аркадий, это Маша».

«Какая Маша? — огрызнулся Голиков.— Ты не видишь — это Аграфена, с которой мы теперь уже родственники».

И открыл глаза. Светало. Возле дивана стоял Никитин. Он был в фуражке со спущенным ремешком, глаза его были красны то ли от пыли, то ли от слез.

— Аркадий, это Маша! — настойчиво, со значением говорил Цыганок.

— Какая Маша? — рассерженно повторил Голиков. Он совершенно не отдохнул за ночь и был по-детски обижен, что Пашка его так рано разбудил.— Маша?! — вскрикнул он.

Ведь это он сам дал Насте второе, маскирующее имя.

— Ее нашли на берегу Теплой речки.

То, чего Аркадий Петрович большие всего опасался, случилось. Настя, которая отважилась работать против Соловьева из девчонкой привязанности к нему, Голикову, погибла.

«Найдено изуродованное тело девушки...»

Голиков вскочил. Он был в сапогах, во френче, на ремне — пистолет. Пашка попытался было что-то рассказать, но Голиков не стал его слушать. Он вынул из ящика стола четыре лимонки, сунул их в карманы галифе, схватил в углу шашку и, не пристегивая ее, позабыв папаху, выбежал во двор.

Никитин был потрясен случившейся трагедией еще больше, чем Голиков. С той минуты, как ему было разрешено забрать Настю, он почти не слезал с седла. И когда Аркадий Петрович бросился на улицу, у Никитина не было сил кинуться следом. Но, услышав за окном: «Коня!.. И быстро!» — Павел понял, что друг в невменяемом состоянии и способен наворотить бог весть каких дел. Тогда Никитин, чувствуя,

как болят ноги, ковыляя, вышел на крыльцо и тоже крикнул:

— Свежего коня!.. И аркан!..

Ему подвели высокого жеребца. Никитин тяжело, неловко плюхнулся в седло. Ощущив в руке свернутую кольцом колкую веревку, он устало выехал из ворот и припустил по дороге.

— Аркашка, стой! — крикнул Никитин из последних сил, когда кони вынесли их в чистое поле.

Но Голиков не собирался замедлять ход. Никитин дважды хлестнул лошадь концом аркана. Жеребец, обожженный болью, понесся еще резвее, высоко задрав голову, но и Аркадий Петрович, не оборачиваясь, полоснул своего коня шашкой в ножнах.

Тогда Никитин, собрав остаток сил, привстал на стременах, свистнул. Его жеребец понесся вперед на пределе своих возможностей. Вращая над головой веревку с петлей, Никитин надеялся, что удастся еще на несколько метров сократить расстояние. Не получилось. И тогда он, рискуя промахнуться, метнул аркан. Веревка, не долетев до головы коня, захлестнула петлей туловище Голикова. Никитин остановил жеребца. Аркан сорвал Голикова с седла, и он скатился кувырком в густую мягкую траву, что росла вдоль дороги.

...Потом они сидели, искупавшись в Июсе, на этой траве, ели хлеб и овечий сыр, которым поделился с ними пастух, что стерег неподалеку отару.

Никитин рассказал, как он приехал с бойцами прямо на похороны. Настю хорошили на кладбище в Сарале, рядом с комсомольцем-активистом, убитым бандой за полгода до этого.

— Я выступил. Я сказал, что прислан тобой для расследования несчастья. Кто бы ни был виноват в случившемся, он понесет суровое наказание. Народу на кладбище собралось не очень много. Одна женщина сказала: «Это ваши и убили. Чем вы лучшие Ваньки?»

Кладбище на краю деревни, за ним — холм. Вдруг с холма бандиты открыли огонь. Мы ответили, кинулись, но уже никого не поймали... А когда вернулись к могиле, там оставалась одна старуха. Она прочитала по-хакасски молитву, разожгла по ихнему обычью костер, положила в огонь какую-то еду, а потом спросила меня:

«Ты Голик будешь?» — «Нет. Я Никитин». — «Чтоб вы все сдохли! — заплакала она.— Из-за вашего Голика такую девочонку замучали».

Я плохо соображал. Только после ухода старухи я понял: она что-то знает, кто и почему убил Настю. Я бросился ее искать и не нашел. Одно я выяснил совершенно точно: красноармейский отряд в аале останавливался. Командир — фами-

лии его никто не знает — и трое бойцов поселились у Насти. Остальные, еще человек восемь, — в соседних домах. А потом этот командир, никому ничего не говоря, арестовал Настию и увез ее с собой.

— Но, может, это были все же люди Астанаева?

— Спрашивал. «Нет, — отвечали мне, — они были одеты в вашу одежду. Вежливые. Не просили водки и всё «товарищ... товарищ...».

Голиков переставал что-либо понимать. О том, что ему помогает Настия, знали Никитин, Анфиса и Кажурин. Командир этого загадочного красноармейского отряда мог прослушать о том, что к Насте приезжал сам Соловьев. Или тот же командир мог обнаружить «охранную грамоту», которую Настия не прятала, а, наоборот, старалась, чтобы о ней знало как можно больше народа. Грамота была ее прикрытием и защитой. Предположим, командир не разобрался и арестовал. Но зачем же было ее поспешно убивать, да еще таким зверским образом?..

Если верить невразумительным словам исчезнувшей старухи, Настия, видимо, догадывалась, что погибает из-за какой-то нелепости. Возможно, пытаясь спастись, она и назвала имя Голикова. А командир? Не обратил внимания или счел хитростью?

Соловьеву таинственный отряд оказал величайшую услугу.

— Ты разведчик или кто?! — заорал вдруг Голиков на Пашку. — Как ты посмел упустить старуху?

Пашка вскочил с земли:

— Это ты ни черта не понимаешь! Она была для тебя просто разведчицей. А я ее любил! Я давно ее любил!!

— Прости, Цыганок. Настия была мие сестрой. Но сестрой родной.

Никитин разделся, с разбегу нырнул в речку, поплавал и вышел на берег.

— Поехали домой, — утомленно сказал он. — А то пас небось уже ищут.

— Уже нашли. Вон твои пинкертоны нас караулят. Только стесняются подойти.

В Форпосте, не заезжая в штаб, отправились домой. И разошлись по своим комнатам. Голиков чувствовал, как его душит горе. Он хотел, он мечтал выплакаться, он помнил, как в далеком детстве становилось легче на душе, если поплачешь. Но слез не было...

Аркадий Петрович лежал поверх одеяла, глядя в потолок и боясь уснуть. Стоило на секунду сомкнуть веки, как он видел

доверчивое, нежное и счастливое лицо Насти, слышал ее залихватский смех — и открывал глаза.

Вошла Аграфена.

— Аркадьевна, дам я тебе тепленого молочка? (Он молчал.) А хочешь, я тебе водочки налью? Ты выпьешь и поспишь.

Ни молока, ни водки он не хотел. А хотел, чтобы его все оставили в покое. Потом он слышал, как Аграфена шепталаась в соседней комнате с Пашей. И в комнату ввалился Никитин. В одной руке у него была зажженная свеча, в другой — кружка, накрытая ломтем хлеба. И то и другое Цыганок поставил на широкий подоконник.

— Я думаю вот о чем,— сказал Павел, садясь на табуретку возле кровати.— Ну почему я такой несчастный? В Торжке я полюбил Олю. Она была старше меня, но мы договорились, что поженимся.

— Я помню. Ты рассказывал.

— Над ней снахальничал начальник белой контрразведки. И она убежала из Торжка, оставила только записку. И я все думал, что встречу ее. А встретил Настю. Но она меня не любила. Она любила тебя. Теперь погибла и Настя. Что, если меня кто-то проклял и я приношу любимым девушкам только несчастье?

Лишь в эту минуту, вслушиваясь в Пашкины слова, Голиков осознал то, что весь этот нескончаемый день гнал от себя: ведь Пашка видел Настю. Видел перед тем, как ее опустили в могилу. Голиков сел.

— Ты здесь, Цыганок, ни при чем. Идет жестокая война. Человеческая жизнь порой ничего не стоит. Я думаю, что и к тебе придет счастье.

Пашкино лицо с белесыми, испелеными усиками сморщилось, подбородок задрожал. Голиков обхватил друга за шею, притянул к себе, и они оба, как маленькие, заплакали.

НАКАПУНЕ

Yтром Голиков продиктовал шифровку в Ужур: «Вторично требую установить, какой чоновский отряд и под чьим командованием был направлен в район Теплая речка — Сарала — рудник «Богомдарованный», где он произвел действия, которые носили провокационный и,

по сути, контрреволюционный характер. Я подозреваю вмешательство штаба 1-го боерайона».

Через несколько часов поступил ответ: «Подтверждаем: кроме запрошенного вами подкрепления, ни одно воинское подразделение на территорию 2-го боерайона направлено не было. По мнению разведотдела, на Теплой речке действовала переодетая банда».

Прочитав телеграмму, Голиков от волнения пересел из кресла на соловьевский диван. Аркадий Петрович привык к нему и, смешно сказать, полюбил его. На этом диване хорошо думалось. Но сейчас спокойно сидеть он не мог.

Он допускал, что на Теплой речке могла действовать переодетая банда, что арест и убийство Насти были частью умело и точно проведенной операции. Убрали опасную для них разведчицу, Соловьев и Астанаев свалили вину за ее гибель на красных. То, что обман удался, имело для банды немаловажное значение: Настю в селениях любили. Она многих вылечила. Особый талант у нее был в лечении детей. Если Настю убила банда, значит, ее кто-то выдал. Но кто?! Аграфена?.. Но она ничего не знала и не знает. Анфиса?.. Но Анфиса слишком ненавидит Астанаева и Соловьева. Выследили Настю, когда она приезжала в Форпост? Почему же не схватили ее на обратном пути, а дали вернуться домой?

И если до получения ответа из Ужура Голиков испытывал прежде всего чувство вины перед Настей, то теперь в нем нарастала тревога за исход готовящегося штурма. Настю не подстрелили на трофе. Ее увезли и допрашивали, быть может, в том самом лагере, который она обнаружила. Чего от нее добивались?.. Что она отвечала?.. Судя по тому, как с ней обошлись, держалась она стойко. В таком случае нужно в кратчайший срок закончить подготовку штурма. Это все, что можно сделать, чтобы отомстить за Настю. Внезапно Аркадия Петровича будто ударило током: «А если слова старухи были бредом? И Астанаев не знал, что Настя ездит ко мне в Форпост?»

Голиков пришел к Никитину в разведотдел:

— Я мог вчера наделать глупостей, когда понесся на Теплую речку.

— Я потому и помчался за тобой. И своим разведчикам сказал: «Настя вылечила троих бойцов и самого Голикова, когда он жил еще в Чебаках. Убийство девушки потрясло нашего командира».

Эта наивная, хотя и правдоподобная версия мало что могла замаскировать, но Голиков был признателен Цыганку, что он о такой маскировке позабылся.

— Нам бы теперь нужен пленный,— сказал Никитин.
— Конечно. Только брать его мы не будем.
— Почему?
— Если мы схватим какого-нибудь гонца возле новой базы, Соловьев догадается, что мы знаем, куда перебрался его штаб. Если же возьмем пленного в другом месте, он, скорей всего, ничего не расскажет.

— Как же готовиться к штурму, если ты вяжешь меня по рукам и ногам?

— Пошли разведчиков. Пусть они на двое-трое суток замрут возле горы. И чтобы не вздумали брать бинокли. Блеск стекол их выдаст... А для себя мы с тобой решим: Насти на допросе ничего не сказала. Исходя из этого, мы и будем готовиться к штурму. Иначе нам придется на время все остановить. Соловьев поменяет базу. И получится, что Насти погибла зря... Что с афишами?

— Нарисовали двенадцать штук. Осталось указать число.

— В субботу. Все состоится в субботу. Цыганок.

Через полчаса на стене многолавки появился красочный плакат:

Внимание!

В субботу состоится первое представление молодежного театра станицы Форпост. Будет показано:

I. «Живая газета» — с куплетами, плаксами и цирковыми номерами. Главный исполнитель — известный артист провинциального цирка Павел Никитин. Также участвует объединенный хор бойцов 2-го боерайона.

II. Первое действие пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» — из жизни дворян и помещиков.

III. Гуляние до утра. Играет гармонь.

Несколько афиши в тот же день было расклеено в окрестных селах. В пятницу утром в Форпосте появились первые зрители. Они прибывали целыми семьями — верхом и на возах. Кто жил поближе или не имел коней, шел с торбой на плечах пешком.

Голиков велел поставить при въезде в деревню бойцов с повязкой «Распорядитель». Они отвечали на вопросы гостей, помогали размещению и одновременно несли охрану. Почти каждая прибывшая семья сначала спрашивала, не отменяется ли представление, — настолько невероятным казалось, что оно может состояться. А потом люди распрягали за селом коней, ставили юрту или палатку, разжигали огонь, начинали готовить. Те, кто имел родных или знакомых, засиживали во дворы.

К вечеру окрестности Форпоста напоминали громадный

цыганский табор. Слышалась вперемешку русская и хакасская речь. Среди приезжих было много детей и глубоких старцев, которые по многу лет не покидали насиженных мест, а теперь пожелали увидеть небывалый праздник.

У Голикова сразу возникло множество проблем. Он был уверен, что среди добродушно улыбающихся гостей находятся люди Астанаева, и поставил часовых возле каждого колодца. Под предлогом того, что нужно помогать приезжим, бойцы сами черпали своим ведром воду. Шанс подбросить в колодец отраву сокращался до минимума. А кроме того, четыре группы кавалеристов патрулировали вокруг деревни. Им было приказано внимательно за всем наблюдать, ни в какие бытовые происшествия не вмешиваться, если только не возникнет попожарщина или стрельба.

Поскольку из-за наплыва публики Форпост нуждался в дополнительной охране, Ужур прислал еще пятьдесят кавалеристов.

Возникла и другая проблема: такого количества зрителей не ожидали. Даже если бы в клубе было дано три представления подряд, его увидела бы в лучшем случае пятая часть публики. А Голиков пока что собирался показать лишь одно. И они с Цыгапком решили вынести представление на улицу.

Под театр выбрали ровный участок справа от села, если стоять спиной к Казачьему холму. В оставшиеся сутки пришлось синхронно вкапывать столбы, сколачивать помост, натягивать палатки, в которых должны были переодеваться, гримироваться и ждать своего выхода исполнители. Нужно сказать, что в сооружение сцены с великой охотой включились несколько десятков гостей. Они копали, пилили, тесали, вбивали крюки. Руководил работой гостей Митька.

Он внимательно за всем наблюдал, подсказывал, поправлял, кого-то вежливо отстрипал и начинал делать сам. Работа двигалась так споро, что Голиков подумывал уже, не сколотить ли заодно и скамейки, но Митька, который, живя при штабе, выучился говорить по-русски, заявил:

— Ни пада. Каждый сиди своя шкура.

Поскольку представление должно было состояться под открытым небом, попадобилось изготовить еще два десятка светильников. Из Ужура вместе с подкреплением прислали бочонок керосина.

Одним словом, от забот пухла голова, а между тем репетиции, костюмы, помост, светильники, размещение гостей были для Голикова и Никитина не самым главным делом. Штурм они продолжали готовить своим чередом.

От верных людей командиры уже знали: среди публичи имеются люди из леса. С них не спускали глаз, но не трогали. Астанаев, наверное, сильно бы удивился, если бы ему сказали, что представление будет дано в первую очередь для его шпионов. Соловьев и Астанаев должны были поверить, что все помыслы Голикова заняты подготовкой к празднику и что гибель Насти событие хотя и печальное, но оно никак не повлияло на жизнь батальона.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ

В половине третьего ночи Голиков с Никитиным явились домой и разошлись по своим комнатам, чтобы подняться в пять, по, как и в предыдущие ночи, Аркадий Петрович не смог заснуть. Стоило закрыть глаза, он видел Настю. Его точная зрительная память воссоздавала до мельчайших подробностей тот миг, когда он впервые заметил ее в окне; он вспоминал встречи с ней у Аифисы и в особенности последний разговор. В тот вечер надо было сказать: «Останься!» — и она бы осталась. Нужно было произнести одно только слово, но он его не произнес.

Измучавшись без сна, Голиков подумал: «Будь жива Настя, она бы дала какой-нибудь сочной травы. — И зло себе же ответил: — Будь жива Настя, ты бы отлично спал без всякого зелья».

В пять он поднялся еще более утомленный. Оставалось надеяться, что запаса его сил достанет еще на одни трудные сутки.

К семи вечера перед помостом, от которого пахло свежеоструганным деревом и смолой, собралось более полутора тысяч человек. Они плотными рядами сидели на земле, подстелив одеяла, кошмы, шкуры. И еще не менее пятисот пребывало в юртах: женщины, которые не решились оставить малолетних детей, опьяневшие от дневных возлияний мужчины и глубокие старцы.

Зрители окружили сцену. За возможность сидеть ближе многие готовы были смотреть представление сбоку или даже со стороны отсутствующих кулис.

Наконец двое участников представления — Фамусов и Главный Буржуй из «живой газеты» — вышли с пучками лучинок и

закгли светильни. Совершенно пустая сцена внезапно сделалась уютной и заадочно-манящей. Зрители начали проявлять нетерпение. Голиев зашел сначала в одну, потом в другую налакту за сценой. Исполнители в костюмах и гриме были готовы к выходу в громадный зрительный зал без стен и потолка. Аркадию Петровичу передалось волнение участников.

— Хор, на сцену! — велел он.

Пятьдесят бравых кавалеристов — без шашек и карабинов — поднялись на помост. Следом к самым плошкам вышел Голиков. Первые ряды сразу примолкли, но остальная публика, увлеченная разговорами, возбужденная едой, вином и многолюдем, замолкать не собиралась.

Павел стукнул скалкой в большой медный таз, взятый у Аграфены. Низкие, упругие звуки поплыли над полем. И публика притихла.

— Дорогие папи гости!.. Мы открываем сегодня молодежный театр...

Голиков был в новом френче, новых сапогах, даже портупея на нем была новая. И в публике сразу обратили внимание, что командир вышел без оружия. Аркадий Петрович хотел по такому случаю быть в цивильном платье, но у него не было иной одежды, кроме фурмениной.

— ...А теперь перед вами пройдут все участники представления, — закончил Аркадий Петрович.

Гармонист заиграл марш. Началось печто вроде циркового парада-алле, предложенного Пашкой. Прошел по краю помоста, раскланиваясь, Ваня Кожуховский, одетый для «живой газеты» Колчаком (морская форма ему очень шла); Петя Трубин был в черном отцовском пиджаке, заменившем фрак, но зато в настоящем шелковом цилиндре и с настоящей тростью с желтым костылем набалдашником; Петя исполнил роль Главного вселенского Буржуя. Их звуки менуэта, под радостный смех и восторженные выкрики проплыли по сцене Фамусов, Лизанька, Молчалин и очень красивая Софья.

Но самый большой успех еще до начала представления выпал Цыганку. В желтой соломенной шляпе, чесучовом пиджаке, брюках щудочкой со штрипками, с белым, по-клоунски вымазанным лицом он вышел на сцену, отбивая четвертьку. Павел уже преславился как неутомимый плясун на вечеринах. И публика приветствовала его как местную знаменитость.

Наконец Павла, которому пришлось дважды обойти площадку, отпустили. Гармонь смолкла. Голиков объявил первый номер. Это была песня.

Белая армия, черный барон
Снова готовит нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.

Хор исполнил ее слаженно и мощно. И с этого момента началось небывалое: каждую песню публика требовала тут же исполнить еще. А когда вышел Цыганок со своей чететкой и куплетами, то его заставили повторить номер еще и еще...

Голиков-постановщик мог быть доволен: «живую газету» принимали восторженно, но как начальник 2-го боевого района Аркадий Петрович был озабочен: уходило время. А теперь добавилось беспокойство: если Пашку заставят повторять каждый номер, он просто очень устанет.

Голиков взглянул на часы. Десять минут назад с окраины Форпоста в сторону Саралы ушла первая часть штурмового отряда. И теперь каждые четверть часа должны были уходить новые группы. А далеко от Форпоста потаинными тропами двигался к той же горе приданый боевому району отряд Шаркова.

Наконец Аркадий Петрович объявил, что будет показан первый акт «Горя от ума». На площадку внесли напольные, давно остановившиеся часы — они были выше человеческого роста, — два мягких кресла, а когда на помост водрузили соловьевский диван, зрители встрепенулись, заволновались, многие кипулись к сцене, чтобы рассмотреть его поближе. Десятки людей видели этот диван в кабинете Голикова, а еще больше народа о нем слышало. И вот теперь его вынесли на всеобщее обозрение. Диван своим появлением грозил затмить исполнителей и сорвать спектакль. Голиков пожалел о промахе, но всего на свете не учтешь...

И снова Навел удариł колотушкой в медный таз. Сорвавшаяся с места публика послушно вернулась на свои кошмы и одеяла. Голиков, стоя один на сцене, по-хозяйски окинул взглядом обстановку, развернул лицом к зрителям часы, пододвинул ближе к светильникам кресло. Еще раз напомнил публике:

— Итак, комедия писателя Грибоедова «Горе от ума»! — и спустился по крутым ступеням к палаткам, возле которых дожидались выхода исполнители.

Аркадий Петрович придирчиво посмотрел на каждого, поправил взбитый кок Ване — Чацкому, помог развернуть веер Марине, которая играла Софью (Анфиса из-за смерти Насти играть Софью отказалась и неостановимо запила).

— Начали...

Аркадий Петрович переждал шум нового радостного узнавания, дождался тишины и первых взволнованных реплик. Кажд-

дое слово звучало в вечернем воздухе отчетливо и громко. Голиков не зря заставлял ребят повторять одну и ту же реплику десятки раз. Афористичные фразы легко слетали с губ юных актеров, для которых это был дебют. И чеканные стихи Грибоедова впервые звучали здесь, в хакасской степи.

Осторожно ступая, Голиков открыл полог и вошел в одну из палаток. Посредине, на столе, горела керосиновая лампа. Рядом высилась кипа костюмов для «живой газеты». Аркадий Петрович взял несколько из них в охапку и по-хозяйски понес, обходя зрителей, которые столпились за сценой, в деревню, к штабу. Шел он деловито и неторопливо, ощущая на себе взгляды и слыша шепот: «Голик... Голик...»

Но, войдя в свой кабинет, Аркадий Петрович швырнул костюмы прямо на пол, потому что дивана не было, жадно выпил из стоявшего на полу котелка давно остывший чай, съел из другого котелка холодную кашу с мясом, сбросил парадный френч, натянул теплую рубаху, надел старенький китель, пристегнул ремень с кобурой, щелкнул карабинчиками, прицепляя пашку.

Когда Голиков переоделся, в кабинет ворвался Цыганок с другой охапкой костюмов. Лицо его было в гриме, по-клоунски белое.

— А здорово у нас получилось! — сияя от радости, сказал он, будто «живая газета» и куплеты с чечеткой были главным в этот вечер.

— Здорово. Давай поешь. Через пять минут выходим.

На самом деле у Голикова этих пяти минут уже не было. Они сильно опаздывали, но Аркадий Петрович разрешил себе такую роскошь, чтобы побить самую малость одному.

Готовя праздник, Аркадий Петрович ни на миг не забывал, что представление было только ширмой, но при этом он всецело беспокоился, как примут «живую газету», получится ли веселое, политически острое и эксцентрическое зрелище. И когда с парада-алле все пошло на «ура», Аркадий Петрович пожалел, что ни родители, ни друзья, ни учитель Николай Николаевич не делят с ним радость его первого режиссерского успеха. И Голиков был всецело огорчен, что и сам он не увидит, как пройдет первый акт «Горя от ума», хорошо ли выбежит Вания, не начнет ли торопиться и глотать слова Марина — Софья.

И вот, чтобы отрубить все мысли, связанные с представлением, и позволить отдохнуть голове, Голикову и понадобились эти пять минут. Аркадий Петрович с досадой подумал, что нет дивана, на котором можно было растянуться и расслабиться. Он сел в свое полужесткое кресло с подлокотниками, прикрыл глаза и постарался три минуты ни о чем не думать.

...А вскоре он уже мчался впереди своего отряда. Рядом с ним, не отставая, скакал Ткаченко. Пять минут уединения, которые позволил себе Голиков, не дали отдыха. Наоборот, спало напряжение, связанное с подготовкой к празднику, и навалилась усталость. Коля Ткаченко это подметил, когда командир тяжеловесно и неловко взгромоздился на седло, и решил, что будет, по возможности, с ним рядом.

— Ничего,— виновато улыбнулся Голиков,— ветерком обдует. И поужинать я успел.

Пока что все шло по плану, если не считать, что они на полтора часа позже выехали из Форпоста. А дальнейшее в значительной мере зависело от Соловьева — от его осведомленности и от того, как быстро разберутся в ситуации присланные на представление люди Астанаева.

Думая о них, Голиков с Никитиным рассчитывали вот на что. Если агенты Астанаева снохватаются, что отряд красных ушел из Форпоста, послать сообщение голубиной почтой они не сумеют: голуби ночью не летают. Значит, гонцу предстоит обогнать отряд. Путей, конечно, много, но короткая дорога одна. И главная задача состояла в том, чтобы гонца перехватить. Но как в бескрайней степи, в темноте это сделать?..

От этих беспокойных рассуждений Голиков перешел к мыслям о том, что их ожидает на горе. Он не хотел растревлять себе душу воспоминаниями о Насте, продолжая считать себя виновным в ее гибели. Но теперь он отвечал за бойцов, которых вел. И в нем нарастала тревога: что же все-таки знаст о предстоящем штурме Соловьев?

Трудность борьбы с «императором тайги» состояла еще и в том, что многие элементарные правила войны тут, в Хакасии, становились неприемлемыми. Так, Голикову пришлось отказаться от типичной разведки местности из опасения, что неосторожность кого-либо из бойцов даст Соловьеву понять, что его новая база тоже раскрыта. И Пашкиным разведчикам пришлось довольствоваться самым поверхностным обзором горы.

«Белый горно-партизанский отряд» состоял по преимуществу из местных жителей. Присутствие чужого человека, след они подмечали с поразительной обостренностью. А для Голикова это оборачивалось двойным, тройным риском. И не было выбора.

— Товарищ командир,— почти касаясь стременем санога Голикова, прошептал Ткаченко,— кто-то скажет вдогонку.

— Тебе кажется,— ответил Голиков. И тут же скомандовал: — Отряд, стой!

Кавалеристы замерли. Одинокий всадник этого не ожидал.

Стало слышно, как в нескольких сотнях метров позади отряда, сбоку от дороги, кто-то резко придержкал коня. Значит, у всадника были основания желать остаться незамеченным.

— Паша, возьми четверых разведчиков — и на перехват!

Пятеро кавалеристов подались резко вправо, а Голиков понесся дальше, но душа его была неспокойна. Что, если Никитин упустит лазутчика? Тогда придется сразу отменить операцию. А пока нужно было двигаться дальше, но не во весь опор.

...Никитин нагнал отряд через час, когда Аркадий Петрович уже считал, что человек Астанаева перехитрил его разведчиков: либо ушел от них, либо бросил коня, а сам затаился в степи. Никитин подъехал к Голикову, ведя за собой низкорослую мохнатую лошаденку. На ней, опутанный волосяным арканом — тем самым, знакомым Голикову, — сидел мужик лет сорока в рубахе навыпуск. Лицо у него было скуластое, глаза по-местному раскосые, а борода светлая, густая. Отец его, вероятно, был русский.

— Чуть не сбежал,— сказал Никитин, подтягивая повод лошаденки, чтобы Аркадий Петрович мог поговорить с пленным.

Л у Голикова не было даже минуты, чтобы остановиться. Допрашивать он мог только на ходу.

— Паша, развязжи его.

— А если удерет? — спросил Никитин, по распоряжению выполнил.

— Как зовут? — спросил Голиков.

— Мирген... Абдорин.

— Ты куда скакал?

Абдорин молчал.

— Ты не молчи! — зло бросил Никитин.— Няпчиться с тобой некогда. Скажешь правду — будешь жить.

Абдорин вдруг начал давиться, будто проглотил кость.

— Да говори ты! — рассердился Никитин.

— Я ехал в Чебаки.

— Зачем?

— Сказать Хаиру Ямандыкову, что ты с отрядом уехал из Форноста.— Говорил пленный чисто, без акцента.

— Что за Хаир?

— Человек Астанайки.

Дорога сузилась. Втроем в один ряд ехать по ней было нельзя. Голикоэ проскакал вперед, Абдорин с Никитиным — следом.

— Зачем тебя послали в Форност? — спросил Аркадий Петрович, когда они снова поравнялись.

— Астанайка не понимает, для чего ты устраиваешь праздник. Ведь у тебя горе.

Голиков дернулся в седле, будто его полоснули кнутом. У него действительно горе. У него и у Пашки. И оно было хладнокровно учтено теми, кто Настю убил.

«Значит, я их не обманул, — с горечью подумал Голиков, — но озадачил. В таком случае на Зубе они меня не ждут».

— Настю ты выследил? — резко спросил Голиков. — Только не вздумай врать.

Абдорин снова начал от страха давиться.

— Не я... Богом клянусь, не я... Да я бы сам за нее... Она же мое сыночка спасла. Он пулькой подавился.

— Это был твой сын?! — вздрогнул снова Голиков.

Когда они встретились с Настей предпоследний раз в заброшенной овчарне, она сперва ни о чем больше не могла говорить: «Представляешь, по дороге к тебе я спасла ребеночка...»

...Четырехлетний мальчионка играл пистолетной пулей без гильзы. Сложив трубочкой губы, он втягивал пулю в рот, а потом выдувал к себе в ладошку. Заигравшись, он потянул ртом воздух посильней — пуля проскочила в дыхательное горло. Началось удушье. Мальчик стал синеть. За час перед этим в аале остановилась Настя. Абдорин с ребенком на руках прибежал к ней.

— Девонька, спаси! Что хочешь отдашь! Резать горло надо — я согласный!

Мальчионка задыхался, крупные слезы текли из его глаз.

Делать операцию Настя отказалась: не умела, тем более что пуля проскочила в трахею достаточно глубоко. «Но я вспомнила, — рассказывала Настя, — как привезли отцу вот так же девочку, которая вдохнула бусинку». Настя взяла мальчионку за ноги, опустила вниз головой и стала трясти. Тяжелая пуля в медной оболочке выскоцила из трахеи и упала к ногам Нasti...

— Абдорин, кто выдал Настю? — умоляющим тоном спросил Голиков.

— Ей-богу, не знаю. Я бы сказал.

— Настя спасла тебе сына.

— Ваше благородие...

— Я даю тебе минуту. Скажешь правду — отпущу. Будешь молчать — не обижайся... Кто выдал Настю?

— Настенька выдала себя сама.

— И калечила себя сама?!

— Обожди, ваше благородие. Скажу, что знаю. Я не состою

у Ивана Николаевича в отряде. Когда от Хайра приходил человек, он рассказывал..

Голиков хотел спросить, что за человек, откуда, как он выглядел, но все это отступило назад перед нетерпением скорее выяснить, что на самом деле произошло с Настей.

— Не знаю, как получилось, только начал Астанайка подозревать, что она часто ездит к тебе в Форпост. А Иван Николаевич Настю уважал. И ну Астанайку на смех: «Мой главный шпион девчонок уже боится». Астанайка решил доказать. Переодел своих людей и послал их на Теплую речку. Настя из дома уже не выходила — видать, чувствовала: что-то против нее затевается. Когда поселились у нее эти переодетые, она сперва тоже молчала. А потом не выдержала и попросила «командира» что-то тебе передать.

— Что она сказала? Что?!

— Ваше благородие, я не знаю. Вроде «передайте Голику» и еще что-то.

— Но хоть одно слово, которое она произнесла!

— Не было меня там, ваше благородие. Бог спас. Она этому командиру что-то сказала, а он не понял. Он думал, у тебя с ней просто любовь. А потом смекнул: что-то не то — и увез с собой.

— Кто ее допрашивал в банде?

— Сам Иван Николаевич. Сначала он говорил с ней ласково, а потом осерчал и...

— Замолчи! — перебил его Аркадий Петрович.

Слушать, как «осерчал» Соловьев, допрашивая с саблей в руке безоружную девчонку, было Голикову не по силам.

Времени на разговор больше не оставалось.

— Ты знаешь, где теперь у Соловьева штаб?

— Нет.

— Ты был когда-нибудь на Сломанином Зубе?

— Кажись, был. Отец брал на охоту. Но точно не помню.

— Мне кажется, ты лукавишь!

— Сыночком клянусь!

— Ткаченко, свяжешь пленного и оставишь с коноводами.

— Ваше благородие, ты же обещал...

— Отпущу, раз обещал. Но мне еще нужно о многом тебя спросить.— И Аркадий Петрович дал шпоры коню.

Теперь нужно было наверстывать упущенное время.

«Настя пыталась мне что-то передать,— думал Голиков.— Либо то, что она не может выехать с Теплой речки (вероятно, опасалась, что ее схватят. В селе ей было спокойней: надеялась, Соловьев не рискнет забирать ее при всех...). Либо то, что Соловьев на горе. Либо то, что Соловьев с горы ушел (сам ушел, а

людей оставил? Что гора обитаема, подтвердили разведчики). Либо что-то еще, чего я даже не предполагаю. Знает ли Соловьев, что предстоит штурм?.. Абдорин на этот счет ничего сказать не мог. Хорошо, что мы его перехватили. Это стоит тоже немалого».

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Коней оставили в лесу. Аркадий Петрович шел с головным отрядом. В отдалении двигался резерв под командой Шаркова. Слева и справа начинали подъем два других отряда, по прямой связи с ними не было. Имелся только приблизительный расчет времени, когда они все должны были оказаться наверху. Для фланговых отрядов восхождение было более сложным. Они подымались без проверенных дорог и тропинок.

Неожиданности начались почти сразу. Из-за крутого подъема не брали ничего, кроме оружия, гранат, патронов, нескольких сухарей и фляг с водой. Чтобы легче было двигаться, шинели оставили внизу. А в горах ночью резко похолодало. Начался сильный ветер. Пока люди находились в движении, было тепло. Как только замедляли темп, начинали мерзнуть.

Даже Голикову, который круглый год обливался холодной водой, казалось, что ледяной ветер продувает его насквозь, унося из-под кителя остатки тепла.

Головной отряд медленно подымался по горной тропе. Она петляла, приспускалась между валунами и опять шла наверх. Где-то слева и справа подымались еще два отряда, но сомнуться они все могли только у вершины, если им суждено было благополучно подняться до верха...

Небо на востоке чуть прояснилось. Голиков встревожился: светать начинало раньше, чем ему было нужно. Он расплакивался за непроизвольную потерю времени, которое не сумел наверстать.

— Быстрей, товарищи, быстрей,— подбадривал он бойцов.

Но красноармейцы и без того двигались достаточно энергично, изредка приостанавливаясь, чтобы перевести дух. Лишь одна остановка оказалась длинней, когда разведчики ушли вперед и сняли дозор.

— Их там было двое. Они спали,— доложил Коля Ткаченко.

Предупредила о дозоре Настя, нарисовав смешного человечка на своем неумелом плане. Еще двух человечков Настя нарисовала в других местах, но разведчики этих постов не нашли. Либо Настя ошиблась, либо часовых за ненадобностью Соловьев убрал.

Беснечность караульных свидетельствовала, что Настя на допросе ничего не сказала. Это был привет от нее. Последний...

Голиков почувствовал благодарность и нежность к ней. И тут же себя одернул: «Астанаев мог подсунуть тебе этих двоих. Мог нарочно их напоить, чтобы ты подумал: дорога открыта. А встреча тебя ждет наверху».

Он не усомнился в стойкости Нasti. Просто знал: пока все не кончится, нельзя говорить об удаче, нельзя расслабляться.

Посветлело еще сильней. С минуты на минуту могло выглядеть солнце, а до вершины оставалось метров двести, почти не прикрытых растительностью и тьмой. Одни валуны.

В этот момент их на самом деле приметили: из старой засохшей лиственницы, которая росла на краю террасы, где расположился соловьевский лагерь (об этой лиственнице тоже предупреждала Настя), ударили винтовочный выстрел. Он гулко и неторопливо раскатился по горам.

Отряд замер. Голиков спрятался за валун. Ведь выстрел мог быть и случайным. Допустим, кого-то угораздило прийти сюда поохотиться. Однако опять ударило, и еще трижды раскатисто ахнуло наверху.

Отряд обнаружили. Дорога была каждая секунда. Голиков крикнул:

— Бегом! — и выскочил из-за камня сам.

Бойцы сорвались с места, полезли, поползли; кто сумел, побежал наверх, чтобы успеть, пока стреляет один, забраться как можно выше. Из-под ног бойцов сыпались камни. Увесистый обломок, катясь, сильно ударил Голикова по бедру, но Аркадий Петрович не ощутил боли. Он был поглощен лишь тем, чтобы одолеть, пока наверху разберутся что к чему, хотя бы еще сто метров.

Но отряд не успел. Сверху начали бить из двух-трех десятков винтовок. Голиков опасался, что через минуту-другую подтащат пулемет. Если это в самом деле главная база Соловьева — теперь, во всяком случае, — то пулемет должен быть. И Голиков закричал:

— Вперед! — и стал еще яростней карабкаться, не открывая ответного огня.

Прицельный огонь с такого расстояния был невозможен. И Голиков берег патроны. Кроме того, Аркадий Петрович знал

по себе, как неуверенно и беспокойно чувствуешь себя в обороне, если атакующие молчат. Но он подметил, что начинают первничать и бойцы, потому что всегда легче, если на огонь можно ответить. И, вынув из расстегнутой кобуры свой маузер, он выстрелил. Это было сигналом. Словно обрадовавшись, со всех сторон заухали винтовки.

Но пошел участок, усеянный валунами. И продвижение замедлилось. Каждый боец, прежде чем сделать шаг, выбирал, куда перебежать, за каким камнем спрятаться.

Двигаясь чуть позади цепи, Голиков следил за нестрой картиной начавшегося боя, делая короткие перебежки сам, если только лихорадочное карабканье по склону можно было назвать перебежкой.

Метрах в восьмидесяти от террасы бойцы залегли. Подъем тут сделался еще более крутым. Пули свистели, впиваясь в камень, осыпали плечи и лица бойцов мелким крошевом, колкой, царапающей пылью. Если бы одолеть эту крутизну, дальше было бы легче. Там гора становилась положе и рос кустарник. От пуль он, конечно, прикрывал плохо, но мог облегчить восхождение.

Однако до кустарника нужно было одолеть метров тридцать открытого пространства. Крикнув: «За мной!» — Голиков попытался было пробежать эти метры. Следом поднялось десятка два бойцов, но сверху пустили катышком несколько гранат. Рванув, они подняли столбы пыли и каменных осколков.

— За камни! — велел Голиков.

Замелькали бинты: появились первые раненые. Осколок то ли гранаты, то ли гранита разодрал Аркадию Петровичу рукав и расцарапал плечо. Беда была невелика. Но Голикову было неприятно, что он в разорванном кителе. Отшибли булавку от внутреннего кармана, где он хранил документы, Аркадий Петрович застегнул ею распоротый рукав, который намок, но перевязывать плечо он уже не стал.

Все вместе взятое означало, что лихой, на авось подготовленный штурм захлебнулся. Прежде всего, было плохо рассчитано время. Голикову не хватило тех самых полутора часов, которые он потерял из-за растянувшегося представления, а потом еще минимум сорок минут из-за Абдорина.

Конечно, все могло быть хуже, если бы упустили Абдорина, если бы часовые открыли стрельбу еще с первого, ликвидированного поста. Все так. Но теперь он, Голиков, лежал в нескольких десятках метров от вершины, не смея двинуться ни вверх, ни вниз. И если бы он сейчас дал команду отступить, то народу полегло бы не меньше, чем от броска вперед.

Спасти отряд могли только фланговые группы, но они не давали о себе знать, очно провалились. На худой конец оставался резерв — отряд Шаркова, который можно было бы послать в обход. Но дл. удара по двум флангам он был малочислен. Наконец, для любых маневров требовалось время. А его не было. Между тем у словьевцев появилась возможность неторопливо выводить из строя бойцов.

План операции, согласованный с Ужуром и со штабом ЧОНа губернии, рассчитанный на внезапность и в немалой степени на простое везение, оказался с большим количеством изъянов, чем полагал Голиков.

С вершины закриали:

— Ага, попались! Жалко, Митьки-хакаса нет... Зато сам Голик вроде здесь... А где Паша?.. Паша где? Его Астанайка хотит видеть.

Но тут низкий начальственный голос цыкнул:

— Заткнитесь! — И потом: — Эй, вы, там, внизу, не стреляйте!

Рядом с лиственицей выросла фигура человека. Он держал в руке белый платок

— Иван Николаевич Соловьев обращается к вам, гражданин Голиков, и к вам, гражданин Никитин, с предложением. Иван Николаевич предлагает вам всем почетный плен. Кто пожелает, сможет поступить к нам на службу. Но всем будет сохранена жизнь.

Такого унижения Голиков еще никогда не испытывал. Он не слушал, что дальше ричал этот голос. Он поймал только последнюю фразу: «На раздумье — пять минут!» — и крикнул:

— Не стрелять!

Фланговые отряды по-прежнему не давали о себе вестей. Пять минут, полученные на раздумье, означали передышку и отсрочку.

Сверху тоже не стреляли. Аркадию Петровичу показалось, что в лагере возникло оживление, доносились неразборчивые выкрики. Затем стал тихо. И вдруг над горами раскатился сильный добродушный баритон:

— Аркаш, ты, чё ль, здесь опять?

Это был голос Соовьева. Парламентер с платком исчез, но Соловьев на его место не встал. Он прятался за лиственицей. Разговаривать с «императором тайги» Аркадий Петрович не хотел, но и молчани могло быть неверно истолковано.

— Да, это я. — Гликов поднялся.

— Ну, коли пожаовал, не поленился, то милости прошу в гости. Всех накормим и обогреем. «Смирновская» для сугрева,

которую я тебе обещал, у меня и тут найдется. Только винтовки оставьте внизу.

— Спасибо,— ответил Голиков,— за приглашение. На службе не пьюм. И винтовки бросить не можем: казенное имущество.

— Но дурака-то валять тебе тоже не положено! — рассердился Соловьев, по-прежнему не показываясь из-за дерева.— Куда ты отсюдова денешься? Ежели я сейчас кликну охотников, они твоих всех уложат рядом. И тебя в первую очередь. Но я не душегуб. Я не желаю, чтобы про меня говорили: «Ванька Соловьев убил малое дите!» Ты же мне в сыновья годишься... Хочешь, подымайся ко мне один. Давай погутарим. Честное казацкое, волос не упадет с твоей головы.

Бойцы, сколько их видел Аркадий Петрович, разом повернули головы в его сторону. А Пашка Никитин за своим валуном просто сел. Все зависело от Голикова.

Первым желанием Аркадия Петровича было крикнуть «Замной!», но он остановил себя, потому что его бы уложили на месте и отряд в этой унизительной и беспомощной ситуации остался бы без командира.

Решения Голикова ждали бойцы. Ждали и наверху, возле лиственницы. Молчание давало Аркадию Петровичу выигрыши во времени, но ставило в двусмысленное положение. Не отвечая «Нет!», он давал основание думать, что размышляет над сделанными ему предложениями: либо сдаться, либо вступить в переговоры. Голиков ощущал на себе настороженные, неприязненные и даже враждебные взгляды бойцов, которые, выходит, допускали, что командир способен принять одно из условий Соловьева.

— Аркаша, я жду! — раздался сверху нетерпеливый и теперь уже раздраженный голос.— Али тебе нужно получить письмо от начальника ВЦИКа? — насмешливо добавил Соловьев.— Тогда поимей в виду: пока ты молчал, я отправил двоих парнишек с пулеметами вниз. Они тебя встретят там, коли ты захочешь вернуться домой.

Если это в самом деле было так, то ловушка захлопнулась.

«Нет,— подумал Голиков,— он еще не успел этого сделать. И если отправит пулеметчиков вниз, то им понадобится не меньше двадцати минут».

Но пауза слишком затянулась. Дальнейшее молчание могло быть принято за готовность согласиться. И Голиков, никак не называя Соловьева, громко выкрикнул:

— Газголова не будет.

И выстрелил из маузера. Это означало, что переговоры закончены. Они помогли выиграть несколько минут.

Сверху ударили залп и залился пулемет. Возможно, один из тех, которые Соловьев собрался отправить вниз. Красноармейцы ответили. Тогда с террасы покатились гранаты. Бойцы вжались в камни. Аркадию Петровичу стало ясно, что поднять людей на штурм террасы он просто не сможет. Тяжелое положение превратилось в безвыходное.

Но тут выстрелы донеслись слева и почти одновременно справа. Видимо, «горные партизаны» поначалу не придали этому значения. Упоенные тем, что отряд Голикова сам себя посадил в силок и теперь беспомощен, они решили выполнить угрозу Соловьева... Но огонь на флангах усилился. Несколько «белых партизан», забыв осторожность, вскочили в полный рост, и сразу же замолчал пулемет.

Голиков поднялся, обежал валун и начал карабкаться наверх, но раздробленный взрывом гранит осыпался у него под ногой. Аркадий Петрович человек плюхнулся и начал сползать вниз. Рядом невесть откуда очутился верный Коля Ткаченко. Он подставил ногу. Аркадий Петрович уперся в нее своей ступней. Скользжение прекратилось. Тем временем бойцы продолжали карабкаться наверх, приближаясь к террасе.

Обход с флангов Соловьев прозевал. В «императоре тайги» при несомненном военном даровании и незаурядном уме была какая-то странная беспечность. Причину этой странности Аркадию Петровичу предстояло уяснить чуть позже. А пока было очевидно: головной отряд «император тайги» принял за все наличные силы наступавших.

Голиков полз; цепляясь, подтягивался; где удавалось, он делал два-три шага бегом, зная и видя: бойцы тоже делают все возможное, чтобы достичь террасы. И они добежали до кустарника. Открытое со всех сторон пространство тут кончилось. Но к этому моменту наверху навели порядок. Опять дружно забили винтовки. Снова застучал ручной пулемет. И цепь наступавших залегла.

ДУЭЛЬ

Голиков поднял лицо, чтобы взглянуть, далеко ли до вершины, и увидел, что до террасы оставалось еще метров пятьдесят и что прямо над его головой та самая лиственница, о которой предупреждала Настя.

А неподалеку от лиственницы, за камнем, Аркадий Петрович

разглядел человека, который стрелял из длинноствольного маузера. Голиков приложил к глазам бинокль. В то короткое мгновение, когда человек, высунувшись из-за камня, сделал выстрел и спрятался снова, Голиков приметил новую папаху из черного каракуля, офицерский френч без погона, с расстегнутой верхней пуговицей. И лицо худощавое, с казацкими усами, которые обрамляли рот. Человек не был похож на рядового «горного партизана».

Несколько дней назад Ужур прислал не очень-то удачную любительскую фотографию. На ней были сняты довольно странного вида мужчины. Кто в штатском, кто в полувоенном, все без оружия. Но позы, в которых они сидели, говорили о том, что эти люди знакомы с войной и что они стесняются фотографа. Среди них абсолютной естественностью отличался только один, помеченный на снимке цифрой «3». Он был узкоплеч, но, ощущалось, крепок и жилист. На самые брови надвинута папаха. Лицо худое, усы казацкие, а глаза полны страдания...

«Соловьев!» — ожгло Голикова.

Там, за камнем, вел огонь из маузера сам «император тайги». И сразу весь бой для Голикова ограничился узким пространством, которое отделяло кустарник от того камня.

Чуть недавно Голиков бы обрадовался этой мимолетной встрече. Ему было бы любопытно увидеть лицо человека, который два с половиной года держал в напряжении громадную губернию; человека, с которым он, Голиков, уже несколько месяцев состязался в невыносимо трудной игре. Для каждого из них она в любой час могла закончиться смертью. И все же в их отношениях был элемент молодечества и озорства, позволявший в любую минуту вступить в переговоры.

Но за минувшие дни была убита Настя. И то, что Голиков наконец увидел Соловьева, обрадовало его лишь потому, что он для себя решил: «На это раз не выпущу живым!»

Сейчас вся надежда была на верность глаза, твердость руки и безотказность маузера. За четыре с лишним года пистолет не раз выручал его в самых гибельных ситуациях. Вот почему Голиков с ним до сих пор не расстался, хотя пистолет давно пообтерся, затвор ходил свободней, чем положено, и уже дважды приходилось менять слабевшую возвратную пружину. Но никогда еще безотказность маузера и точность его боя не были нужны так, как теперь.

Голикова передернуло. Не от страха, не от холода — он ощутил нервный озноб. Голиков чуть отполз в сторону. Заросли тут были реже, но из земли выступал обломок скалы, за которым можно было надежно укрыться.

Когда Голиков переползал, Соловьев выстрелил. Аркадию Петровичу показалось, что Соловьев узнал его тоже. Или заметил блеск окуляров И с этого мгновения «император тайги» уже не давал сделать ни одного движения. Стоило Голикову чуть высунуться из-за обломка, две пули подряд влепились в гранит, срикошетили, осыпав лоб командира каменной колкой крошкой.

Аркадий Петрович онять на миг выглянул из-за укрытия, увидел часть лица край папахи, выстрелил и спрятался. И снова две пули проносились рядом. Было очевидно, что Голиков промазал.

Дуэль с Соловьевым осложнялась еще и тем, что «император тайги» стрелял из двенадцатизарядного маузера, который не требовал времени на перезарядку после каждого выстрела. Не оставалось даже долей секунды на паузу, которой мог бы воспользоваться Голиков, чтобы прицелиться.

Аркадий Петрович лежал за камнем, лихорадочно обдумывая положение. Бойцы шли, бежали, карабкались, ползли. А он неподвижно распластался на земле. Любая попытка вскочить, выйти, выползти из этого случайно подвернувшегося укрытия могла для него закочиться плохо. Но объяснить это он никому не мог. Прежде всего потому, что никого рядом не было. Много-месячный поединок с «императором тайги» приблизился к своему логическому окончанию — к прямой дуэли, где один из двух был обречен.

Вспомнился «Герой нашего времени» Лермонтова. Дуэль Печорина с Грушницким на краю обрыва. Насколько та дуэль, от которой при чтении замирало сердце, была проще этой!

У Голикова остался выход. Он мог крикнуть: «У лиственницы — Соловьев!» Но что-то мешало ему это сделать. Так, в детстве мальчишеская гордость не позволяла ему во время драки позвать на помощь или попросить пощады. Любопытно, что и Соловьев ничего не звал на помощь тоже.

Позиция Соловьева была удобней. Сверху было лучше видно. От подножия лиственницы ничего не стоило пустить катышком гранату. А снизу гранату было не докинуть. Не говоря уже о том, что даже для попытки понадобилось бы встать в полный рост. Кроме того, Соловьев мог в любую минуту отползти от края террасы и положить конец дуэли. Ни одним из этих вариантов «император тайги» не воспользовался.

Но поединок затягивался. И Голиков опасался, что бойцы решат: он просто прятается за камнем на пороге главной бандитской базы. В самом деле, кому же охота умирать, если победа так близка?

Дуэль пора было кончать, а Соловьев затаился. Он, видимо, понял, что Голиков не может больше оставаться за камнем, что ему волей-неволей придется выползти или выйти. И Аркадий Петрович рискнул повторить прием, который его однажды спас в девятнадцатом под Киевом.

Голиков вытянулся вдоль камня, лег на правый бок, надел на левый сапог свою папаху и стал медленно поднимать ногу, пока верх папахи не высунулся над камнем. А сам в это время вполглаза, прижавшись к земле, наблюдал, что происходит на краю террасы.

Голиков заметил: столь же осторожно выглянул из-за своего валуна Соловьев. В макушку папахи он не стрелял. Макушка могла быть пустой. Думая, что Голиков за обломком его не видит, «император тайги» приподнялся, вытянул руку с маузером, чтобы нажать спуск, когда папаха приподымется хотя бы еще на полвершка.

Аркадий Петрович шевельнул ногой с шапкой. Соловьев напрягся, как напрягается кошка, готовясь к прыжку. Голиков увидел его грудь в прорези прицела, мягко надавил спуск и держал его, пока пистолет, вздрогнув несколько раз, не замер. Соловьев дернулся, а затем ткнулся лицом в землю.

Опустив затекшую ногу с надетой на нее папахой, Голиков тоже ткнулся щекой в землю — от полного бессилия. Если бы кто-нибудь пробежал мимо, то принял бы Голикова за убитого — настолько расслабленной была его поза.

Сначала в душе и голове было пусто, ни проблеска чувств или мыслей. А затем откуда-то из глубины мозга всплыла единственная фраза: «С Соловьевым покончено!»

Этого еще никто не знал. Ни Ужур, ни Красноярск, ни Москва. Не знал Пашка, не знали бойцы. Не знал верный Коля Ткаченко. Знал только он один. К концу дня, понимал Аркадий Петрович, новость станет известна всей губернии. «Красноярский рабочий» напечатает сообщение на первой странице: «Комбат А. Голиков, применив военную хитрость, метким выстрелом обезвредил И. Соловьева».

Но порадоваться не было сил. Голиков сел за камнем. В тот же миг по граниту полоснула очередь. Штаб еще не был взят. И Голиков словно очнулся от сна: продолжался бой, а военное счастье переменчиво. И отдал последнюю команду, которая была услышана:

— Гранаты к бою!

Дальше все смешалось.

Голиков помнил, что Коля Ткаченко подобрался к подножию лиственницы, бросил гранату, потом втбую — и пулемет замолчал. Наступающие вскочили с земли. Где-то в центре лагеря раздалось «ура!».

Карабкаясь к подножию лиственницы, Голиков наткнулся на убитого красноармейца. Это был Горбунов, из недавнего пополнения. Ему было двадцать два года. Он лежал на спине. Грудь его от левого края до правого была прошита очередью.

Потом Голиков уже сам стоял на краю террасы. Справа от него был ствол гигантской лиственницы с дуплом, а у ног, будто бы повинно свесив голову с края обрыва, неподвижно распластался Соловьев. Правая вытянутая рука его разжалась. Рукоять маузера лежала на ладони, но указательный палец продолжал обнимать курок.

У Голикова на секунду возникло подозрение, что Соловьев, по привычке к хитростям, только притворился мертвым, а на самом деле он сейчас рывком перевернется на спину, подхватит маузер и с хохотом выстрелит в упор. И Голиков направил свой перезаряженный пистолет в плечо Соловьева, готовый нажать на спуск, если только «император тайги» шевельнет пальцем. Но Соловьев лежал неподвижно.

Чтобы окончательно убедиться: «император тайги» убит, нужно было его перевернуть. Но Голиков по-детски суеверно боялся мертвых. Это был даже не страх, а неприязнь живого к неживому. Он робел при виде человека, которого только что настигла смерть. Война не истребила этой робости.

И в Аркадии Петровиче все противилось тому, чтобы приспаться к убитому Соловьеву. А звать кого-либо, чтобы его перевернули, Аркадий Петрович постеснялся. Он переложил свой пистолет в левую руку, наклонился, вынул из ладони убитого длинноствольный маузер — совершенно, кстати, новый, — засунул его себе за ремень, а после этого, взяв «императора тайги» за правое предплечье, рывком перевернул его на спину.

Убитому было лет двадцать восемь. Вблизи тщательно выбритое лицо с темными, старательно подстриженными усами было простовато. Жизнь, только что покинувшая его, не оставила в его чертах следов сильных переживаний или глубоких раздумий. Правда, полуприкрытые глаза и опущенные углы рта придавали мертвому выражение обиды, словно ему обещали

что-то совсем иное, гораздо лучшее, нежели смерть, — и обманули.

Соловьев, сверстник Аграфены, который прошел мировую, колчаковщину, а теперь вел свою третью войну, таким молодым быть не мог.

В аналитических обзорах разведотдела губЧОНа уже выдвигалось предположение, что «в целях подтверждения легенды о своей сверхъестественной вездесущности, способной воздействовать на темное сознание отсталых слоев населения, атаман Соловьев использует двойников, обладающих портретным сходством».

Правда, ни один из захваченных в плен бандитов версии разведотдела не подтвердил. О двойниках знал узкий круг приближенных Соловьева. Иначе маскарад с переодеванием перестал бы быть секретом. А на легенде о том, что Соловьев вездесущ, все видят и пуля его не берет, держалась немалая часть его нравственного влияния.

Что перед ним двойник, Аркадий Петрович уже не сомневался. Убитый был тщательно побрит и пострижен, одет во все новое. При этом френч был явно тесноват, и лже-Соловьеву пришлось его расстегнуть у воротника. Появясь этот лже-Соловьев в хакасском аале, никто бы не усомнился, что перед ним «сам». А для Голикова было очевидно: «император тайги» опять его перехитрил и подсунул живой манекен.

Аркадий Петрович почувствовал себя не только разочарованным и обманутым. Он был упражен. Он вел дуэль, уверенный, что перед ним Иван Соловьев, и был готов пожертвовать собой, чтобы покончить с «императором тайги».

Настоящий Соловьев «подавал голос», предлагал вступить в переговоры, сдаться в плен, перейти на его сторону. «Император тайги» иронизировал по поводу «письма от начальника ВЦИКа». А когда понял, что ему грозит окружение, подсунул это живое чучело, наряженное в тесный мундир.

«Для чего он мне подсунул двойника? — обозленно думал Голиков. — Да чтобы я решил, что он мертв, и не искал настоящего «императора тайги».

И он закричал во всю мочь:

— Ищице Соловьева!.. Соловьева ищите!

А на горе еще шел бой. Изрядное число соловьевцев засело в домах с окнами-бойницами. И Голиков завелся. Теряя привычную сдержанность, он поклялся себе, что покончит сегодня с Соловьевым.

Потом он помнил себя стоящим посреди лагеря. В руках у него была винтовка с примкнутым штыком. На штыке белый,

неровно оторванный лоскут, которым он размахивал. А Коля Ткаченко кричал: «Всем гарантируем жизнь!» Откуда взялась винтовка и лоскут на штыке, Аркадий Петрович сказать не мог, но помнил, что не решился послать кого-нибудь с этим флагом. Коля Ткаченко попадобился единственно потому, что у Голикова что-то случилось с горлом, он не мог кричать и говорил только негромким сиплым голосом.

Но стрельба прекратилась не сразу. Когда Аркадий Петрович уже маячил посреди нагорья, размахивая своим флагом, бандиты решили его, как потом они признались, «малость понуждать». Они сделали несколько выстрелов из винтовок. Одна пуля сорвала папаху. Другая попала в флаг. Голиков ждал третьего выстрела. Размахивать винтовкой он перестал: напряжение ожидания оказалось велико, — но с места не двинулся. И люди, которые засели в домах, стрельбу прекратили. Наверное, в отчаянности и стойкости есть нечто завораживающее. Не убили его, видимо, еще и потому, что смерть парламентера обозлила бы красноармейцев, а положение осажденных было незавидным.

Потом из раскрытых дверей обоих домов выходили люди. Без обрезов и винтовок они чувствовали себя неуверенно. В их движениях были робость и виноватость, а волю к сопротивлению сломала обреченнность. Понурив головы, они стояли нестройной толпой, поеживаясь под взглядами красноармейцев. И трудно было поверить, что это они были главными исполнителями воли Соловьева.

Самого «императора тайги» Голиков среди тех, кто сложил оружие, не увидел.

— Где Соловьев? — обратился он к нескольким пленным, которые стояли ближе к нему.

Ответом было молчание.

— Я спрашиваю: где Соловьев? — В его сиплом голосе слышались досада и раздражение.

— Серчаёт... как бы того... — начали перешептываться пленные.

И высокий пожилой мужик в белой рубахе, домотканых штанах сказал:

— Ивана Николаевича туточки нету.

— Где он?!

— Нужно полагать, далёко.

— А был он с вами?

— А как же, — ответил охотнико мужик. — Ты же с ним, ваше благородие, беседу имел. И он гостевал с нами, пока ты не начал цулять со всех сторон.

Впервые от человека Соловьевца Голиков услышал слова, в которых заключалась горечь и скрытая ирония по отношению к Соловьеву.

— Сейчас он где? — Первые Голикова были на пределе.

— Где — не скажу. А в какую сторону побежал, показать можно.

— Акимыч!.. — попытался его остановить хакас с бельмом на глазу.

— Да ладно, — огрызнулся мужик. — Сколько можно дрожать. Император вон сам удрал, а тебя, холуя, покинул... Айда, малец, покажу, — предложил он Голикову.

— Сапожков, — крикнул Аркадий Петрович, — присмотрите за пленными. Остальные — за мной!..

— Кто ушел с Соловьевым? — спросил Голиков Акимыча.

— Известно кто: Астанайка, полковник Макаров, потом этот, адъютант Ивана Николаевича Чихачев. Ну, и какие его охраняют. Иван Николаевич им золотыми пятерками каждый месяц платил. Они за эти пятерки отца родного могли в горящий костер посадить.

И Акимыч привел Голикова с бойцами к тому краю горной террасы, о котором еще Настя предупреждала, что по нему невозможно взобраться наверх. Здесь росли две ели. Одна была старая, высокая, подгибающаяся, которая вцепилась изогнутыми хищными корнями в каменистый грунт. Другая была моложе. Она без всяких усилий росла на граните.

Аркадий Петрович еще издали приметил, что к елям привязаны канаты. Оставив Акимыча, он рванулся вперед — канаты были обрублены. Дальше вниз, метров тридцать, шла совершенно отвесная стена. Видимо, Соловьев приказал, когда спустился, канаты обрубить, чтобы за ним не последовали остальные. Исполнитель, за немалые деньги или из рабской преданности, волю «императора» выполнил.

— А другие веревки есть? — спросил Голиков Акимыча.

В сарае нашлась пеньковая веревка. Вниз по отвесной стене спустился целый взвод. Но догнать «императора» не удалось. Внизу у Соловьева были припасены еще и кони.

ПРОМАХ

4ва дня под наблюдением начхоза Абрамовича с горы свозили трофеи: оружие, боеприпасы, продукты, обувь, кожи.

Возвратясь в Форпост, Голиков распорядился устроить

праздничный обед, на который попала часть трофеиных припасов. Во время обеда Аркадий Петрович обошел все столы и каждую группу бойцов поблагодарил за отвагу.

Красноармейцы были довольны, что командир посидел с ними и поблагодарил не на плацу, а вроде как по-семейному, подомашнему. И все же новый успешный побег Соловьева подействовал на всех удручающим образом.

Аркадий Петрович предпочел внезапность и риск более тщательной разведке. Он выиграл на том, что Соловьев его в это утро не ждал. И проиграл на том, что не послал ни одного человека в сторону отвесной скалы, не подумав, что она может оказаться пригодной для спуска. Вину за допущенные промахи Аркадий Петрович целиком взял на себя.

Переживания Голикова усиливались еще и тем, что, готовя операцию, он в глубине сознания допускал, что Настя во время допроса не выдержала и сказала о том, что он, Голиков, готовит штурм. Лишь после того, как разведчики сняли беззаботно спавших часовых, Голиков убедился, что Настя на допросе не сказала ничего. И теперь ему было стыдно перед девчонкой, что он позволил себе усомниться в ее стойкости.

Десятки раз до начала операции и по дороге к этой соловьевской базе Аркадий Петрович спрашивал себя: «А у тебя самого хватило бы сил промолчать под пыткой?» И хотя он помнил, как доктор Бадмаев оперировал ему без наркоза ногу, а на Тамбовщине из-за новой контузии он позволил хирургу вынуть без наркоза чугунные осколки из руки и плеча, Аркадий Петрович не решился себе ответить: «Да, вынес бы».

Во время хирургических операций он терпел одуряющую боль, чтобы выжить, стать здоровым и вернуться к службе. А Настя терпела печеловеческую боль, когда Соловьев терзал ее тело саблей, понимая, что для нее все кончено. Даже если она останется жива, она будет навсегда искалечена. И терпела ради него, Аркадия Голикова... Чтобы он одолел Соловьева...

В его ушах еще звучали Настины слова: «Поймаешь Соловья — тогда и отдохну, поеду учиться в Красноярск. Я ведь только в Ужуре и была...»

Вереница тягостных событий болезненно и странно подействовала на Голикова. С одной стороны, он чувствовал усталость и полное душевное опустошение, когда все, что происходило вокруг, ему было совершенно безразлично. А с другой — его раздражал любой пустяк. За обедом Аграфена спросила его, дать ли ему еще картошки с мясом. Он внезапно крикнул ей:

— Отвяжись от меня! — и сбросил со стола все, что перед ним стояло.

Днем Цыганок принес очередную разведсводку:

«Банда под командой Соловьева около станицы Чебаки изрубила на пашне несколько инородцев и русских — сторонников совласти»*.

Голиков прочитал, скомкал и рявкнул:

— Такое мне больше не таскай!

«Что со мной? Что я делаю?!» — тут же спросил себя Голиков.

В нем словно поселился двойник — мелкий, злобный, неумный и мстительный.

«Нужно,— с беспокойством подумал он,— немедленно выспаться».

Предупредив Никитина и Галиева, Аркадий Петрович отправился домой. В комнате раздевся, лег в чистую постель и мгновенно заснул. А через несколько минут вскочил как ужаленный. Среди безмятежного, как в детстве, сна ему в голову отчетливо пришла очень важная мысль. Он оделся и отправился в штаб.

— Пришли ко мне Акимыча! — велел он Никитину.

— Я долго с ним говорил,— ответил Паша.— Человек он хороший, Соловьева не любит, по знает мало. Дай ему отдохнуть.

— Никитин, выполняйте приказание!

Привели Акимыча. Когда они остались одни, Голиков сказал:

— Акимыч, помоги мне.— Просьба прозвучала жалобно.

— Чем же, ваше благородие, я могу тебе помочь, ежели я есть человек бессчастный и каторжный? Я всю жизнь трудился на семью. А меня сначала чуть не повесил и при всех выпорол Колчак, потом Соловей погнал к себе в лес. Теперь я попал к вам и жду, как решите мою судьбу.

— Акимыч, матерью клянусь: отпущу домой. Только узнай, куда сбежал Соловьев.

— Да как я могу узнать, сидячи в каталажке?

— А я тебе дам убежать.

Сначала на лице Акимыча появилось неподдельное изумление, а потом по глазам его стало видно, что в нем борются два чувства: желание стать свободным и страх перед тем поручением, которое ему давал Голиков. Как все, он боялся Соловьева.

— Я убегу, а ваши меня изловят и поставят к стенке,— нашел он довод, на самом деле думая, что лучше суд, нежели месть Соловьева.

— У тебя будет документ,— усмехнулся Голиков, который эту мысль Акимыча прочитал.

— А что я должен буду делать?

— Узнай, где Соловьев. После этого живи как хочешь.
— А если я не узнаю?..

— Не вздумай меня обмануть... Я все буду знать про тебя. Но если постараешься и не найдешь, все равно отпущу: за доброе твое желание помочь.

— Давай документ. Только где же я буду хранить твою бумагу? Люди Астанаева живо ее найдут, если станут обыскивать. А не носить нельзя: твои пристрелят, если поймают.

— Это будет не бумага.

Голиков внезапно повеселел, закатал рукав френча, отрезал ножницами полоску от рукава нижней рубахи, аккуратно подровнял лоскут и вывел на сером полотне карандашом:

Удостоверение

Тов. Нил Акимович Гвоздин является моим разведчиком.

Начбоерайона ЧОИ 2 Голиков.

Аркадий Петрович вынул из ящика стола печать. Чернила в массивном письменном приборе засохли. Голиков опять взял ножницы, полоснул острым концом по левой руке выше кисти. Появилась кровь. Аркадий Петрович обмакнул в нее печать и приложил к удостоверению. На полотнищем лоскуте оттиснулся бордовый овал с бордовой звездой посередине.

Голиков протянул скрепленный кровью мандат — Акимыч отшатнулся. В нем, человеке набожном, возник страх: «А не дьявольщина ли это? Не продаю ли я душу?» Но Голиков странным взглядом, сердито, даже угрожающе посмотрел на него. Трижды перекрестив глазами лоскут, Акимыч торопливо сунул его в дыру подкладки своего пиджака.

— Сейчас тебя поведут обратно в сарай, — сказал Аркадий Петрович, приглушив голос. — Отойдешь от штаба на три дома — и беги. Не бойся. Часовых я предупрежу. Вернешься, получишь вольную и десять аршин манифактуры — гостинец жене.

Голиков позвал Никитина и сообщил, как они с Акимычем договорились. Пашка ответил:

— Очень хорошо. Я все подготовлю.

Акимыча увели. Вскоре на улице раздались выстрелы. Это приступил к выполнению своего задания Акимыч.

А три дня спустя он объявился... в Ужуре, в штабе 6-го Сводного отряда. Акимыч пришел с жалобой на Голикова, что командир заставлял его вернуться в банду. В подтверждение Акимыч вынул мандат, объяснив, как документ был изготовлен. После этого бывший соловьевец и бывший секретный агент

Голикова попросил дать ему помолиться в церкви хотя бы под конвоем.

Будучи позднее допрошен, Акимыч показал следующее: к Соловьеву он попал не по добной воле (что могут подтвердить многие). Война, которая идет в Хакасии третий год, ему вот как надоела. Парнишке-командиру он душевно желал бы помочь, поэтому и на просьбу согласился, но одновременно и заробел: парнишка показался ему вроде как не в себе — речь отрывистая, глаза блестят, словно у него горячка, и нет в его фигуре полной надежности.

«А вдруг,— объяснял Акимыч,— я к нему вернусь, а он мне скажет: зачем из-под стражи бежал? И еще я беспокоился: не связан ли парнишка с нечистой силой? Уж больно не по-христиански он скрепил свою роспись кровью. И пока я не отдал эту тряпку и не помолился в церкви, не мог ни есть, ни спать».

Ужур без всяких комментариев поставил 2-й боевой район в известность, что Н. А. Гвоздин явился с необычной повинной и в соответствии с решением Енгубкому от 27 января 1922 года без суда и следствия отпущен домой.

Голиков не показал шифровку даже Цыганку. Было не только стыдно за промашку, но и страшно: как же он мог так ошибиться? А если бы Акимыч явился не в Ужур, а к Соловьеву и Астанаев, с помощью Акимыча, заманил бы чоновский отряд в толково подготовленную ловушку?

«...ОТКРЫВАЙ ВОРОТА»

К началу лета 1922 года борьба в Ачинско-Минусинском районе достигла невиданной остроты. Крестьяне оказались недовольны тем, что им резко увеличили «яичный и масличный налог», а также налог на хлеб. И многие снова начали активно поддерживать «белых партизан». Соловьев почувствовал себя, как никогда, уверенно.

Тогда руководство Енисейской губернии по каналам ГПУ вышло на самого «императора тайги» и предложило мирные переговоры. Соловьев охотно на них пошел.

Во время встречи «император тайги» держался с достоинством, согласился, что поднятое им движение, несмотря на некоторые успехи, обречено. Соловьеву было предложено добровольно сложить оружие и обещано: всем — от рядовых до него самого — гарантируется жизнь, рядовые тут же будут отпу-

щены, а командиры понесут наказание, заметно смягченное амнистией.

«Император тайги» ответил:

— Условия божеские. Мы тоже были не ангелы. Я должен обдумать и посоветоваться.

Переговоры, от которых зависела дальнейшая судьба Енисейской губернии, держались в строжайшем секрете. Поскольку они носили сугубо дипломатический характер, о них не было поставлено в известность даже губернское военное командование.

Но командование имело свою разведку, которая донесла, что в самом неожиданном и легко доступном месте обнаружен новый временный лагерь Соловьева, где царит трудно объяснимое оживление. Поскольку о «белых партизанах» уже более недели не поступало никаких сообщений, то сведения, доставленные военными разведкой, тоже были признаны сверхсекретными, и губернскому руководству о них сообщено не было.

Операция, наспех проведенная военным командованием губернии по захвату лагеря Соловьева, закончилась копузом. Побросав нехитрое имущество, «император тайги» ушел с людьми в лес. Ни о каких дальнейших переговорах не могло быть и речи. Прежде всего потому, что Соловьев был обижен и глубоко убежден, что переговоры служили ширмой для ловушки. Объяснить же ему, что он стал жертвой нелепого соперничества гражданской власти с военной, было некому...

Тогда губернское руководство в порыве беспомощности распорядилось брать в заложники семью соловьевцев «со всеми отсюда вытекающими последствиями».

— Мы заложников брать не будем! — заявил Голиков Никитину.

И на территории 2-го боевого района ни одна «белопартизанская» семья арестована не была. Но Соловьев разослал по губернии листовки. В них он писал: «Советская власть... в бессильной злобе хватает и расстреливает родственников партизан. Мы, белые партизаны, всегда считали власть жидов и коммунистов слепой и бессмысленной... но все-таки считали, что правительство составлено из людей нормальных... Граждане, теперь вы видите... что над каждым из вас висит опасность быть уничтоженным...» При этом Соловьев заявлял: «...Мы не можем подымать оружие против жен и детей коммунистов!»*

Зато Соловьев разрешил своим людям необузданную жестокость с пленными. Захватив на руднике Улень четырех шахтеров, «белые партизаны» тут же их «изувечили до неузнаваемости».*

Со всех сторон поступали сообщения, что «крестьяне боятся выезжать на пашни и отлучаться из села, боясь быть убитыми... Население голодает, ропщет на Советскую власть за то, что она не принимает никаких мер»*.

— Пашка, ну, сделай что-нибудь! — просил Голиков своего начальника по разведке.— Где у Соловьева новая база, где он прячется?

— Как я тебе узнаю?!

— У тебя же есть агентура.

— Местные жители снова боятся Соловьева. Он опять творит что хочет. Полюбуйся.— И протянул шифровку.

«С рудника Юлия были посланы три красноармейца с пакетом. Через три дня этих красноармейцев нашли убитыми... холодным оружием»*.

— Ну и делов натворила губерния! — не выдержал Павел.— Ведь у Соловья уже почти не оставалось людей. Грабил, но старался не убивать. А теперь и грабит, и убивает, и при этом верит в свою безнаказанность. Было время, когда Соловей хотел бежать за рубеж. Теперь он снова считает себя «императором всей тайги».

Голиков заперся в кабинете. Впервые за три с половиной года, проведенных на войне, он чувствовал, что в нем просыпается ожесточение. Раньше он был чужд мстительности и злобы, часто проявлял великодушие. Простили же он Митьку. Отпустил, как и обещал, Миргена Абдорина. Но в последние дни в нем все чаще давали о себе знать усталость и раздражение.

Голикову так сильно захотелось вырваться из того пугающе скверного состояния, которое час от часу становилось все хуже, что он вдруг спросил Кожуховскую:

— Нет ли у тебя чего-нибудь выпить?

От изумления Аграфена выпустила из рук сковородку: привыкла, что квартирант у нее непьющий. Разговор случился за обедом. Голикову предстояло вернуться в штаб. Аграфена подняла сковороду, вышла, принесла половину граненого стаканчика и посоветовала:

— Заешь черемшой.

Голиков выпил. Вкус и запах у самогонки, которую он все-рэз пробовал впервые, был отвратительный, но по телу разлились тепло и спокойствие. Он почувствовал себя уверенным и сильным.

«Так просто? — удивился и обрадовался Голиков.— Не зря в старой армии выдавали ежедневно чарку водки».

Однако выпитые полстаканчика отодвинули неприятные ощущения всего на два часа. И Голиков подумал: «Еще бы

столько — и я бы завершил до ночи всю работу». Но идти домой, чтобы попросить у Аграфены вторые полстаканчика, он постеснялся. И, не глядя в глаза, поручил это Пашке. Верный Цыганок обомлел, как и Аграфена, все же зелье достал и принес. Голиков сделал на этот раз уже несколько хороших глотков, не опьянел, а, наоборот, взбодрился. И на душе снова стало спокойно, будто за стенами дома ничего не происходило.

Через час вернулись раздражительность и тревога. Голиков вышел из-за стола, снял с гвоздя, вбитого в стекну, шашку, надел на руку плетку с рукояткой из ноги дикого козленка.

Плетка появилась у Голикова недавно. Раньше он плетками никогда не пользовался: берег коня, считал достаточным, если коснется боков его шпорами или плоской стороной клиника. Умное животное всегда его понимало, прибавляло ходу, а если было нужно, неслось во всю прыть.

Теперь же, едва он взлетал в седло, Голикову начинало казаться, что конь, неутомимый и легкий в беге, едва тащится. И он тут же взмахивал плеткой.

Аркадий Петрович последнее время все чаще ловил себя на том, что многое делает как бы вопреки своей натуре, будто в нем теперь соседствовали два человека: прежний, воспитанный матерью и отцом, прилежно учившийся у старых, умудренных жизнью солдат, у Ефимова, у Тухачевского, и новый, запосчивый, нетерпеливый, свободный от многих нравственных понятий — уважения, снисхождения, жалости...

В кабинет без стука влетел Паша. Вид у него был ошалелый:

— Знаешь, кого я к тебе привел?.. Считай, главного разведчика Соловьева!

— Ты серьезно?!

— А как же? Помнишь, мы все гадали: кто следит за тобой и за мной здесь, в Форпосте? Стал я приглядываться к каждому дому. И показался мне подозрительным Месник Аргудаев. Сначала он куда-то отвез свою жену и детишек. Потом я заметил: он часто отлучается и держит голубей...

Никитин втолкнул в кабинет хакаса лет сорока. Аркадий Петрович встречал его в Форпосте. Он всегда был грязен, обгорев и начинал униженно кланяться издалека. И вот оказалось: этот будто бы пищий и совершенно забитый хакас и был всевидящим оком Астанаева. Это опасное и незримое око Голиков неизменно и повседневно учитывал, принимая любое оперативное решение. Чтобы ввести в заблуждение неуловимого агента Соловьева, приходилось делать много тяжелой дополнительной работы.

— Садитесь, Аргудаев,— пригласил Голиков, показывая рукой, в которой была зажата плетка, на диван.

Никитин сел на стул возле стены, а сам Аркадий Петрович вернулся на свое место.

— Я думал, мы просто соседи,— сказал Аркадий Петрович.

— Я не служил у Ивана,— поспешил ответил Аргудаев. Говорил он по-русски правильно.

— А по-моему, служил,— поправил его Никитин.

— Нет! — Глаза Аргудаева блеснули гневом.

— Тогда посиди.

Никитин вышел и вернулся с мешком, запустил в него руку и вытащил голубя. Это был сизарь.

— Твой?

— М-мой! Но у многих голуби...

— А это что?

На тонкой ножке голубя была манжетка с продолговатым карманчиком. Никитин осторожно вынул из него свернутый в тугую трубочку листок.

— Прочитать? (Разведчик сник и молчал.) Значит, служишь у Ивана Николаевича? — В голосе Никитина прорвалась злорадная нотка.

Разведчик снова не ответил.

— Аргудаев, молчать бесполезно,— сказал Голиков.— Помочь себе вы сможете, только если начнете говорить.

Аргудаев обхватил себя руками, будто ему стало холодно. Он выглядел маленьким и еще более несчастным, чем всегда.

— Часового здесь, в Форпосте, заколол ты? — спросил Никитин.

— Я никого не убивал. Я только следил за штабом.

— А кто убил? — допытывался Никитин.

— Астанай хотел, чтобы я. А я ответил: «Ты у себя дома тоже всех убиваешь?» Тогда он кого-то прислал. Я не смотрел кого. Я этого не хотел.

— Почему ты пошел служить Соловьеву?

— Он за хакасов.

— А что хорошего Соловьев сделал хакасам?

Арестованный молчал. Ответить на это ему было нечего.

— Ты знаешь, где база Соловьева? — спросил Голиков, переходя на «ты».

— Знаю.— Ответ прозвучал едва слышно.

— Покажешь?!

— Не могу.

— Почему?! — Голиков даже вскочил.

— Я поклялся Богу, что буду верно служить Соловью.

— Но Бог же видит: хакасы ничего хорошего от Соловьева не получили.

— Пусть Соловей за это ответит Богу. Но если я нарушу клятву, Бог накажет не только меня, но и моих детей. Меня Бог уже наказал. Моя жизнь кончена... Я думаю о детях.

— Аргудаев, если ты нам покажешь базу Соловьева, я тебе все прощу, как Митьке. Вернешься к семье. Захочешь — будешь жить при штабе.

— Я поклялся.

И тут Голиков впервые почувствовал, что это такое, когда вино ударяет в голову. Он вскочил из-за стола. В глазах от ненависти все плыло. Плеткой, которая висела на руке, он полоснул арестованного...

Голиков еще не знал, что этот удар плеткой будет сниться ему сотни раз в его повторяющихся снах все девятнадцать лет, которые ему оставалось прожить.

— Я покажу штаб, — неожиданно согласился Аргудаев. И поправил на плече располосованную рубаху.

— Паша, отбери четверых разведчиков! — велел Голиков. — Выходим на рассвете.

Оставалось до рассвета часа три. Голиков пошел домой. Не стал есть и попробовал заснуть. Но лишь только закрывал глаза, начинало казаться, что он плывет и куда-то проваливается. И еще мутило. Он подымался несколько раз пить воду. Так и не заснул.

Встретились в штабе. Разведчики и Аргудаев были готовы. Аргудаев был вымыт, одет в целую чистую рубаху, принесенную из дома, но выглядел сумрачным.

— Ты что, передумал? — спросил Голиков.

— Я слова не менять, — усмехнулся Аргудаев.

Усмешка Голикову не понравилась, но он был озабочен предстоящим походом и тут же о ней забыл.

— Сначала пойдем к кошарам, — твердым голосом предложил Аргудаев. — Я запрятал на берегу винтовку. Я читал листок: если хакас выходит из леса, он должен отдать винтовку. Я хочу по закону.

Хождение за винтовкой должно было занять минут сорок, не меньше. Голиков предпочел бы забрать ее на обратном пути. Однако перечить не стал. Дав согласие, Аргудаев переступал через многое. Теперь он хотел все сделать по закону, чтобы и с ним поступили по закону.

Голиков согласился.

Аргудаев, два командира и трое бойцов вышли на улицу и повернули направо. За копарами двинулись берегом реки. Внезапно Аргудаев юркнул в кустарник, но не побежал, а поднял с земли карабин и тяжелый ягдташ с патронами. То и другое он протянул Голикову. В эту минуту лицо его было мужественно и даже торжественно. Никаких следов боязни или смятения в его глазах и облике не было.

Тяжелый ягдташ Голиков повесил на плечо, а карабин продолжал держать в руке: он был без ремня.

— Ваше благородие, пойди на минуту сюда, чего я тебе скажу, — отозвал Аргудаев Голикова в сторону.

Паша насторожился. Голикову просьба не понравилась тоже, но он решил: последняя уступка. Чтобы успокоить Цыганка, поднял руку: «Оставайся на месте». Ничего плохого случиться не могло. Карабин Аргудаев отдал, новый ему взять пока что было негде.

И Голиков направился следом за пленным, пока заросли не отгородили обоих от Никитина и бойцов.

— Ну, что? Говори скорее. Теряем время, — сказал нетерпеливо Голиков. Он вдруг ощутил беспокойство.

В ответ Аргудаев, ненавидяще сощурив глаза, нагнулся голову, как бык, который изготоился ударить рогами.

Голиков понял: ни на какую базу Аргудаев их вести не собирался. Он остался верен «императору» и своему Богу. И Голикова охватила апатия. Он сам удивился своей вялости, тому, что не отскочил в сторону, не выставил перед собой карабин, то есть не сделал ничего, чтобы уберечься от удара. Ему все стало безразлично. Будто наблюдая за происходящим со стороны, он еще подумал: «Спешит. Недостаточно низко нагнул голову».

Удар пришелся не в живот, а в грудь. Но грудь у Голикова была крепкой. Еще с детства (в Арзамасе часто происходили кулачные бои) Голиков помнил: если удар в живот или грудь нельзя отвести, нужно напрячь все мышцы и слегка наклониться вперед. Это он сделал.

Удар покачнул Голикова, но не сбил его с ног. После усыпляющего маневра с карабином Аргудаева постигла неудача, однако он попытался осуществить свой план до конца и пропустил вдоль реки. Почему он выбрал для своей попытки берег? Убежать в лесу было бы несравненно легче. Наверное, он рассчитывал на внезапность, на то, что Голиков потеряет от удара сознание, а Никитин и красноармейцы не сразу поймут, что произошло в зарослях.

Но в это утро не везло всем. Аргудаев бежал вдоль русла.

Голиков вскинул карабин, задержал неровное дыхание — удар в грудь был нешуточен, — поймал на мушку спину в белой рубахе... «Нужен живой!» — напомнил себе Голиков, опустил мушку чуть ниже и выстрелил.

Аргудаев захромал и, понимая, что быстро бежать не сможет, бросился в воду, сразу уйдя на глубину. «Повернет направо и уйдет по течению», — с досадой подумал Голиков.

Однако вынырнул Аргудаев не справа, а на середине. Голиков этого не ждал, торопливо пальцул и промазал. Аргудаев нырнул снова. Тем временем Голиков уже понял, что разведчик Соловьев, совершая новую ошибку, рвется на другой берег, и ждал. Когда из воды появилась голова, Голиков выстрелил в третий раз. Голова дернулась и опустилась.

...В штабе они с Пашей разошлись по своим комнатам. Голиков плюхнулся на соловьевский диван.

«Ведь Аргудаев знал, — билось в голове, — где новая база Соловьева».

Но еще сильнее, чем потеря Аргудаева, Голикова потрясло, что за короткий срок его обманули второй раз подряд. А ведь и Акимычу, и Аргудаеву он обещал, что отпустит их домой. И отпустил бы, и наградил бы мануфактурой...

С детства у Голикова была особенность, о которой знали друзья и родные: его невозможно было обмануть. Он безошибочно чувствовал, когда его пытались провести, как белая мышь чувствует запах рудничного газа. На войне это много раз спасало ему жизнь. А теперь он уподобился глухому скрипачу или собаке, которая потеряла чутье.

Тело Аргудаева прибивало волной то к одному берегу, то к другому, но жители, опасаясь гнева Голикова, спешили оттолкнуть труп. О том, что разведчика Соловьева застрелил «сам Голик», все, разумеется, знали.

Наконец в одном улусе Аргудаева извлекли из воды, похоронили, а председатель местного аалсовета послал в Ужур письмо: «Голиков убил неповинного человека. Аргудаев никогда с Соловьевым связан не был».

Промахи и неудачи Голикова сильно ободрили «императора тайги». В разведдонесениях сообщалось, что Соловьев объединяет вокруг себя мелкие бандгруппы, готовясь нанести сильный удар. Первым подтверждением тревожных сведений стала активизация разведки Соловьева. За короткий срок на территории 2-го боевого района было перехвачено еще семь агентов «императора тайги». Трое были вскоре без суда, по приказу Голикова, расстреляны. Еще один был убит при попытке к бегству. Двое бежали.

Удто по команде, пошли доносы.

Б Красноармеец Мельников, которого Голиков арестовал и отдал под суд за совершение восьми грабежей, не отрицая предъявленных ему обвинений, счел необходимым написать «в инстанции», что «на этот путь» его «толкнул товарищ комбат Голиков»*.

Тайный осведомитель разведотдела 6-го Сводного отряда Сулеков тоже почему-то нашел нужным сообщить начальству, что он «прибыл в Ужур» сообщить «военкому Волкову и особенно комбату Голикову»* (разрядка моя.—*Б. К.*) о местонахождении бандитов. Но комбат, якобы получив эти ценные сведения, никаких мер против Соловьева не принял. На самом деле Голиков с марта в Ужуре не служил и беседовать там с Сулековым не мог.

Оставалось загадкой, каким образом бывший красноармеец Мельников, доставленный в Ужур для суда над ним, пришедший из тайги Сулеков и другие одновременно догадались пожаловаться на Голикова по одному и тому же адресу.

Одна жалоба пришла по телеграфу из Чебаков. В ней сообщалось, что отряд Голикова творит бесчинства. «Примите меры для спасения населения». Подпись: «Усть-Фиркальский зампредсполкома Коков»*.

Телеграмма с грифом «Секретно. Срочно» была переслана губисполкомом начальнику губернского ГПУ Щербаку.

Щербак, не считая возможным вмешиваться в дела частей особого назначения, переслал эту телеграмму командующему ЧОНа губернии Какоулину, который написал на телеграфном бланке: «Подтвердить командиру 6 Сводотряда о немедленной замене Голикова и самого его (Голикова.—*Б. К.*) направить безотлагательно в мое распоряжение. В. К.»*.

Следом поступила телеграмма из поселка Шира:

«Начальнику частей особого назначения Енисейской губернии. Срочно.

Разъяснение телеграммы волисполкома... На основании запроса начбоерайона-2 тов. Голикова считаем нужным сообщить, что таковая была составлена со слов делопроизводителя сельсовета Божье Озеро. На поверке оказалась полным вымыслом, за что волисполком просит извинения у тов. Голикова, в чем и довожу до вашего сведения. Предволисполкома Цыцыкара, зампредволисполкома Коков»*.

А затем была прислана третья телеграмма:
«Начальнику частей особого назначения из Чебаков.

Адрес тубЧОНа со станции Шира... на Ваше имя подана телеграмма от имени усть-фиркальского волисполкома якобы опровержение телеграммы своей за № 517. Волисполком такой телеграммы не подавал. Подал ее комбат Голиков, совершив подлог... Усть-фиркальский предисполкома Коков»*.

Которая из трех телеграмм была подлинной, то есть какую из них послал сам Коков, если он послал хотя бы одну? Выяснить это было совсем непросто. Требовалось направить в Чебаки и Шира человека, дав ему надежную охрану, то есть отряд.

История с телеграммами оказалась вконец запутанной, когда пришла разведсводка, что банда Соловьева отбирает лошадей, хлеб и одежду у крестьян. А в конце: «Убили на днях председателя волисполкома Кокова»*.

Соловьев и раньше время от времени убирал представителей Советской власти. Но почему на этот раз был убит именно Коков? Случайность или точно рассчитанный удар? И тогда возникал новый вопрос: если не случайность, то не имел ли Соловьев отношения к истории с телеграммами? А если имел, то чего он добивался: чтоб Голиков остался начальником боерайона или чтобы прислали другого человека?

Оставалось загадкой и то, что во всех трех телеграммах должность Кокова называлась по-разному.

Из всех жалоб, которые поступали в Ужур и Красноярск, чаще других повторялась одна: в штабе Голикова за короткое время было расстреляно пять человек. Документы по этому поводу были направлены в губернское Государственное политическое управление и легли в картонную, уже побывавшую в работе папку с надписью:

Дело № 274

по обвинению быв. командира войск ЧОН т. Голикова Аркадия Петровича в должностных преступлениях, выразившихся в самочинных расстрелах... Начало 3 июня 1922 года*.

* * *

Штаб ЧОН
Енисейской губ.

Сообщаю резолюцию командующего губЧОН на Ваше отношение за № 769/сек от 1 июня — «Арестовать — ни в коем случае. Заменить и отзвать. В. Какоulin».

В настоящее время Голиков отзван в губштабЧОН.

Начальник штаба (подпись)*.

Гаврюшка с отцом продолжали жить при штабе. Время от времени Митька собирал котомку и шел прощаться с Голиковым и Пашей, намереваясь вернуться домой. Хотя Митька неутомимо работал и к нему не было никаких претензий, сам он считал, что живет при штабе из милости и дольше оставаться неприлично.

Сначала Аркадий Петрович и Никитин терпеливо убеждали его, что он никому не мешает и честно зарабатывает на жилье и еду. А последний раз Голиков на Митьку просто накричал:

— Тебе нельзя домой! Тебя с Гаврюшкой Астанаев убьет! И Митька понуро вернулся к себе в каморку.

А Гаврюшка при штабе ожила. Бойцы, которые истосковались по своим детям, охотно с ним разговаривали, брали с собой в хозяйствственные поездки, позволяли купать лошадей, учили разбирать и чистить оружие.

Аграфена мальчишку мыла и стригла, следила, чтобы он ходил во всем чистом, и сокрушалась, что не может поселить его у себя. Разлучать Гаврюшку с отцом было неправильно, а селить их вместе в доме, где квартировали Голиков и Никитин, было ни к чему.

И все-таки больше всех Гаврюшкой занимался Аркадий Петрович. Он приохотил мальчика к чтению и письму. У хакасов своей письменности тогда еще не было. Аркадий Петрович с Гаврюшкой читали по очереди вслух тот самый синий томик Гоголя, который Голиков взял с собой четыре года назад, уезжая из дома. Память Гаврюшки удивляла даже Аркадия Петровича. Если какой-то эпизод производил на Гаврюшку впечатление, мальчик моментально запоминал его слово в слово.

Отправляя по делам нарочного в Ужур, Голиков давал ему с собой записку в библиотеку, и Гаврюшке привозили книги. Последнее время Аркадий Петрович из Форпоста не уезжал, и Гаврюшка почти неотлучно находился при командире. Конечно, когда шло совещание, мальчишка в кабинет не входил, но, лишь только начинались занятия в поле, Гаврюшка возникал тут как тут. Он лихо ездил верхом, а Цыганок научил его разным хитрым веящам: подымать на скаку с земли платок, мчаться, стоя на спине коня, и другим приемам.

На стрельбах Гаврюшке давали карабин с одним патроном. Мальчик долго целился, плавно нажимал спуск и огорчался,

если не попадал в «яблочко»: пока он целился, у него усневала устать рука, тонкая, с длинными, гибкими пальцами. И Голиков, наблюдая за тем, как эта рука наводит карабин, думал, что учить-то Гаврюшку нужно бы игре на скрипке или на пианино. Подметая пол, забивая гвоздь или доставая из колодца воду, Гаврюшка без слов, одним голосом выводил весь репертуар гармониста Вазиева.

Та же тонкость руки мешала Гаврюшке научиться владеть саблей. И Аркадий Петрович посоветовал ему развивать силу.

Гаврюшка посыпал Аграфене воду, колол тяжелым топором дрова, а когда Аграфена сказала, что дров ей хватит на три зимы, Гаврюшка стал ходить по дворам, бескорыстно предлагая свои услуги. За его широким кушаком торчал остро отточенный топор.

Во многих домах, где не было мужских рук, Гаврюшке просто были рады. Денег или съестного он в уплату не брал. Но после того, как мальчишка заканчивал работу, его кормили. Он с большим достоинством, как и положено настоящему работнику, усаживался на уготованное ему место.

Иные добрые женщины нарочно придумывали для него дело, чтобы лишний раз накормить. Они помнили, как страшно погибла Гаврюшкина мать Найхо, и знали, что любую из них могла постичь такая же участь.

За последние месяц-полтора Гаврюшка сделался крепче в плечах. В лице его появились обстоятельность и взрослость. Голиков знал по себе, как быстро мужают на войне дети. Тем более что на долю Гаврюшки выпали тяжелейшие переживания. И Голиков относился к нему, как к младшему брату, ведь разница между ними была всего шесть лет.

Аграфена, по просьбе Аркадия Петровича, перешла мальчику старую гимнастерку и старые галифе. Сапоги ему стачал местный сапожник. Он же изготовил ремень с пряжкой. А кубанка со звездочкой у Гаврюшки была своя.

Облачаясь в полную красноармейскую форму, Гаврюшка стал все чаще намекать, что у него должно быть и оружие. При этом он недвусмысленно поглядывал на пояс Голикова, на котором висела кобура с маленьkim маузером.

Дарить мальчишке огнестрельное оружие Аркадий Петрович не собирался, но в чем-то Гаврюшка был прав. И однажды перед всем строем Голиков вручил мальчику офицерский кортик в позолоченных ножнах, с рукояткой из слоновой кости.

Этот кортик Голиков сам получил в подарок в день своего пятидесятилетия от Ефима Осиповича Ефимова. И хотя дарить подаренное вроде бы не полагалось, Аркадий Петрович рассу-

дил: это как раз тот случай, когда можно. В своей речи перед вручением он сказал:

— Я награждаю этим оружием Гавриила Дмитриевича Ульчугачева за преданность делу революции и проявленный героизм. О том, в чем проявился этот геройзм, сегодня говорить еще рано.

И, держа кортик на вытянутых руках, отдал его мальчику.

КАТАСТРОФА

Соловьев засел в тайге. Голиков дважды перехватывал группы, которые направлялись к «императору тайги», в надежде узнать, где новый лагерь. Но Астанаев создал систему подстанций. Каждая группа шла сначала до одной временной базы, затем — до другой. Конечного пункта она не знала. И перехват в общей сложности пятнадцати человек выявить местонахождение Соловьева не помог.

Сам «император тайги» в письме, которое впервые начиналось грубым обращением «Аркашка, сволочь», грозил, что он еще «всех умоет в крови». Послание свидетельствовало, что Соловьев теряет самообладание. И это делало его особенно опасным.

Из разных источников поступали сведения, что Соловьев извлек из тайников драгоценности, золото в монетах и слитках, собираясь, если станет совсем худо, бежать за рубеж. К этому подталкивала близость границы. В связи с этим разведотдел губЧОНа выдвинул версию, что Соловьев, обладая немалыми средствами, способен будет, находясь за границей, создать снабженный новейшим оружием диверсионный отряд, который вернется в Хакасию.

В газете «Красноярский рабочий» появилась заметка о том, как теперь укреплена граница. Соловьеву давали понять, что уйти за рубеж ему не удастся.

В стране полным ходом шла демобилизация. Сотни тысяч красноармейцев возвращались к своим семьям. И только в Ачинско-Минусинском районе Сибири сохранялось военное положение. Со службы никого не отпускали. Бойцы грустно шутили: «Если хочешь домой — беги к Соловьеву, а через день явись с повинной. Тебя отпустят».

Чтобы люди не слонялись без дела, Аркадий Петрович ввел жесткий график ежедневных занятий. Во время бесед обсуждалась международная обстановка, возможности новой экономической политики и такая новость, как выпуск советского червонца, который в международной торговле обеспечивался золотом и приравнивался к десяти рублям царской чеканки.

Но большую часть времени Аркадий Петрович отводил военному обучению. Только что прибывшему пополнению из новобранцев он прививал навыки свободного владения саблей. Одно из заданий состояло в том, что боец должен был успеть на полном скаку рубануть саблей по трем близко поставленным чучелам.

Молодые красноармейцы, набранные из крестьян, технику рубки, которая требовала проворства, осваивали с трудом. И Голиков раз за разом гонял всю группу — двенадцать человек — по кругу, хотя уже измотались люди и запарились кони.

Плац для занятий находился сразу за селом. Каждое утро здесь собирались зрители: старики и ребятишки, но раньше всех прибегал Гаврюшка.

Не слезая во время занятий с седла, неутомимо демонстрируя, в чем состояла ошибка того или иного бойца, Аркадий Петрович нет-нет да и поглядывал в сторону своего воспитанника. Голикова удивляло, что Гаврюшка совсем по-особому реагировал на происходящее, нежели другие мальчишки. Если остальных волновало одно: рубанул боец по чучелу или промазал, — то Гаврюшка внимательно наблюдал, как бойцы разгоняли коней, готовили к взмаху шашки. И в этой его внимательности было что-то взрослое.

Раздумья Голикова прервала очередная неудача рыхловатого парня по фамилии Прунцов, который успевал нанести за один прогон в лучшем случае два удара. Ничего страшного в этом, разумеется, не было, но Голикова сегодня все раздражало.

По прежнему опыту Аркадий Петрович помнил: бойцов в насквозь мокрых гимнастерках надо бы отпустить. И завтра все стало бы получаться даже у Прунцова. Но в Голикова нынче словно вселился бес. С упрямством, неразумность которого он сам же сознавал, Аркадий Петрович требовал, чтобы Прунцов хотя бы коснулся саблей всех трех чучел.

Но дело было не только в упрямстве. Голиков не знал, успеет ли он провести еще одно занятие. В его кармане лежала шифровка, что начальником 2-го боевого района назначен комбат Заруднев. Комбат Голиков освобождается от

должности. Ему следовало прибыть в Ужур, а затем в Красноярск.

Что его ждало в Красноярске: разжалование, суд?

Когда шифровальщик доставил сюда, на плац, телеграмму, текст резанул своим подспудным смыслом: «Все. Больше не нужен».

Пока Заруднев находился в пути, Голиков продолжал работать, не жалея себя и других.

— Ваша, Прунцов, ошибка,— сказал Голиков совершенно уже растерянному бойцу,— в том, что вы, привстав в стременах, забываете стиснуть коленями бока своей Березки. Поэтому, когда вы взмахиваете саблей, у вас одна забота — не свалиться на землю... Посмотрите еще раз.

Голиков развернулся, легонько, плашмя дотронулся шашкой до бока своего коня. Анненский малиновый темляк шапки был обмотан вокруг кисти Аркадия Петровича.

Конь резво взял с места, набирая скорость. Три безобразных чучела стремительно приближались. Голиков привстал в стременах, отвел назад руку с клинком для удара и внезапно почувствовал, что его не держат ноги. На глазах бойцов и зрителей он сплюхнулся мешком на седло, рука с шашкой повисла, как простреленная. Спина обмякла. И Голиков почувствовал, что он сползает с коня лицом вниз.

Он хотел удержаться, выпрямиться, но тело вышло из повиновения. Разум и туловище существовали как бы отдельно. Простейшие движения: распрямить спину, напрячь руку и поднять шашку, примотанную темляком к кисти,— все это ему стало недоступно.

Проплыло нетронутым чучело в офицерской фуражке с разлохмаченным козырьком. Голиков заметил недоумевающие лица мальчишек и стариков. Перед глазами его теперь мелькали тонкие ноги коня в белых носочках. Голиков не падал на землю только потому, что его ноги застряли в стременах.

«Как стыдно! Что со мной?» — пронеслось в мозгу. Но он по-прежнему не мог шевельнуть даже пальцем.

— Голик умер! Голика застрелили! — раздался полный отчаяния голос Гаврюшки.

От этого крика Аркадий Петрович рванулся, ощутил, что к нему возвращаются силы и способность управлять своим телом. Он нащупал в гриве коня повод, схватил его, попытался выпрямиться. В этот миг отключилось сознание.

Что Голиков убит, показалось не одному Гаврюшке. Но никто не услышал даже отдаленного выстрела.

На ходу, в седле, Голикова настигла болезнь.

...Когда Аркадий Петрович приоткрыл веки, по глазам ударили желтый свет керосиновой лампы. И хотя фитиль был прикреплен, даже робкий свет был непереносим.

— Уберите лампу,— слабым голосом попросил Голиков.

Откуда-то сверху, из тьмы, над ним склонилось некрасивое, полное тревоги женское лицо. Широкие губы шевельнулись.

— Что ты сказал, Аркашенька? — спросила Аграфена.

— Свет... режет...

Свет переместился, и место Аграфены заняла грузная фигура доктора, с которым Голиков совершил первое путешествие в поселок Шира.

— Что со мной, доктор? Я ранен?

— Нет. Я полагаю, первное истощение. Я бы забрал вас к себе на курорт Шира, но боюсь, что на третий день вы от меня сбежите ловить Соловьева. Поэтому я хочу, чтобы вы переехали в Красноярск.

— Никуда я не поеду. Я совершенно здоров. Я могу встать прямо сейчас.

— Аркадий Петрович, силой вас никто не повезет.

— Я здоров. Я подымусь сейчас.

Голиков почувствовал, что в нем опять просыпается бессмысленное упрямство. Он отбросил одеяло, спустил ноги с постели и ступил на матерчатый коврик. Голова заметно кружилась, но все-таки он сделал несколько шагов, радуясь, что в споре с медициной прав оказался он. Лишь только Аркадий Петрович так подумал, ноги перестали его держать, и он начал падать лицом вперед.

Внезапно из полутишины что-то почти неосязаемо скользнуло по плечам, а потом намертво сомкнулось на груди, не дав Голикову удариться головой о дубовую столешницу. Это были руки Аграфены.

— Помогите, доктор! — вскрикнула она, чувствуя, что тело Голикова оседает, выскальзывая из ее объятий.

...Неделю доктор Иван Семенович не уезжал из Форпоста. Он поил Голикова отварами успокоительных трав, куда входил прежде всего чебрец. Здесь его называли богородской травой. Среди хакасов чебрец считался не имеющим себе равных по целебности. А еще в отвары входил марьяин корень и корень валерьяны. И Голиков даже днем полудремал, а когда просыпался, Аграфена кормила его супом, сваренным по рецепту того же доктора. Это была домашняя лапша с перцем, лавровым листом и мелко накрошенной бараниной. Ее закладывали, когда суп закипал, и варили всего десять минут. Вопреки сомнениям Аграфены, за эти десять минут мясо успевало свариться. Суп

получался замечательно вкусным и, по уверениям доктора, незаменимым при ослаблении организма.

На пятый день, когда Голиков почувствовал себя заметно лучше, доктор велел Аграфене истопить баню, но в чан попросил налить воду не из колодца, а из бочки — до горечи соленую, с плавающими в ней красноватыми раками. Ее привезли по просьбе доктора из озера Шира.

Доктор помог Аркадию Петровичу дойти до бани (Голиков был еще слаб), сам тер его мочалкой, обливал этой разогретой целебной водой, мял Аркадию Петровичу плечи, спину, живот, хлестал веником, окатывал холодной водой, потом снова горячей, пока Голиков не расхохотался от восхитительного ощущения, что болезнь ушла, что к нему опять вернулись здоровье, молодость и сила.

— Вот и славно,— приговаривал утомленный доктор,— вот и славно. Теперь вас и женить можно. Проживете двести лет. Эким замечательным телом наградили вас родители!

Вытираясь в просторном предбаннике широким льняным полотенцем, Голиков сказал:

— Спасибо, Иван Семенович. Думал: все, отвоевался комбат. Соловьев не убил — болезнь прикончит.

— Это вы народ благодарите, Аркадий Петрович. У него я научился пользу каждой травинки понимать. И что с человеком может сотворить вода — когда холодная, когда горячая, а особенно соленая, из наших озер. Европейская медицина существует от силы два века. А народная — тысячелетия. А сейчас мы еще и чаю горяченького попьем из зверобоя.

На следующее утро, видя, что пациент чувствует себя гораздо лучше, доктор позволил ему встретиться с новым начальником боевого района, который прибыл два дня назад.

Николая Ильича Заруднева Голиков принял сидя в кресле, том самом, которое было доставлено для постановки «Горя от ума». На Голикова были отпаренные Аграфеной галифе и китель и надраенные Пашкой сапоги (сам Голиков погибаться еще не мог).

Заруднева Аркадий Петрович знал еще по Ужуру. Даже среди крепких сибиряков Николай Ильич отличался могучим сложением и высоким ростом. Красивое и мужественное лицо его дышало доброжелательством и спокойствием.

Родом он был из батраков. Служил у Чапаева и в Первой Конной. В 1920 году был награжден за храбрость орденом Красного Знамени.

— Вам большой привет от Кажурина и всех товарищей,— сказал Заруднев, усаживаясь на стул.— Кажурин велел пере-

дать, что вам будет обеспечено любое необходимое лечение.

— Спасибо.

— И еще Кажурин просил передать: он очень жалеет, что пришлось отстранить вас от должности. Он считает: вы здесь знаете местиюсть и людей, а мне придется все начинать сначала. И последнее. Если все же состоится разбирательство, то будут учтены все ваши заслуги...

— Благодарю, — перебил Голиков. — За свою несдержанность и свои ошибки я готов ответить... — Он не терпел, когда его жалели. — А теперь я постараюсь ввести вас в курс дела.

— Никитин мне уже многое рассказал.

— Он человек надежный и смелый. Вы можете на него опереться. Но я бы хотел объяснить вам главное. Иван Соловьев — явление, ни на что не похожее. Я полагаю, что историю соловьевщины будут изучать в военных академиях как одну из форм партизанской войны.

— Да что вы, Аркадий Петрович? — Заруднев широко, насмешливо улыбнулся. — Обыкновенный бандит. Конечно, умный.

— Николай Ильич, я немного знаком с военной историей. На протяжении веков бывали случаи, когда воюющие противники прибегали к хитрости. Но Иван Соловьев, бывший житель Форпоста, где мы с вами беседуем, казачий урядник с четырехклассным образованием, два с лишним года ведет продуманную «психологическую войну». (Заруднев продолжал улыбаться — обаятельно, не обидно, тем не менее слегка насмешливо.) Я думаю, — сухо закончил Голиков, — что нашу беседу вы еще вспомните.

Вечером, после ухода Заруднева, Голиков сложил пожитки.

Проводы решено было устроить во время утреннего построения. Хотя предстоящий отъезд громогласно не объявлялся, на плацу собралась вся деревня. Иван Семенович настоял, чтобы Голиков простился с красноармейцами сидя в тачанке, в которой его должны были увезти.

В восемь утра тачанка, в которой находился Голиков, отъехала от ворот Аграфениного дома. Правил ею незнакомый боец, присланный вместе с экипажем из Ужура. Аркадий Петрович был в парадной форме и при оружии. Сидел он неестественно прямо. Глаза его от волнения блестели. А щеки покрывал густой румянец, которому могла позавидовать любая деревенская красавица. И только Иван Семенович, Аграфена и Никитин знали, что недавно появившаяся пунцовость щек — один из признаков его заболевания.

Тачанка двигалась к плацу. Голиков еще издали увидел

толпу местных жителей, которые собрались его проводить. Были тут бородатые мужики, которые еще недавно возражали против создания театра, а потом ходили даже на репетиции; были многодетные женщины, потерявшие мужей,— им отряд Голикова помог вспахать землю, накосить сено. Пришли все кружковцы (они уже были комсомольцами). А Марина мечтала играть в настоящем театре. Молча стояли в толпе Гаврюшка и его отец. Митька с утра уже был слегка пьян. Гаврюшка растерян. Голиков взял с Заруднева слово, что Ульчугачевы будут жить при штабе до полной ликвидации соловьевщины.

Отряд был построен на плацу. Голиков ревниво и придирчиво, как бы глазами постороннего, осмотрел его. Кони были в Июсе отмыты, гривы расчесаны. Почти все красноармейцы были в новом обмунировании, в надрасных сапогах.

Держа ладонь, которая слегка дрожала, возле папахи, отдавая честь, Голиков проехал вдоль шеренги бойцов. Он знал всех поименно и без ошибки мог сказать, кто откуда родом, у кого какая семья, кто как вел себя в разных ситуациях. Это он устраивал экзамен самому себе: кого из них чему научил, кто обучению не поддался, а на кого просто не хватило времени. И теперь, прощаясь с ними, он негромко произносил одну и ту же фразу:

— Благодарю за храбрость и верную службу... Желаю счастья.

И бойцы вразнобой отвечали:

— Спасибо, Петрович... И чтобы сами скорей поправлялись. Благодарим, что зря не посыпали под пули.

Когда Голиков простился с батальоном, Заруднев крикнул:

— Боевому отважному командиру товарищу Голикову — «ура»!

Потом Заруднев с Никитиным соскочили с коней, подошли к тачанке. Среди местных жителей произошло какое-то движение. Из толпы вышел старик — тот самый, который поначалу больше всех возражал против театра. Он встал вполоборота к тачанке, взмахнул рукой с заскорузлыми, негнувшимися пальцами, и хор из низких мужских и высоких женских голосов запел:

— Защитнику живота нашего, пастырю детей наших Аркадию Петровичу доброго здоровья и многая лета... многая лета...

Этот внезапный заздравный молебен уже невозможно было вынести. Голиков поднял руку, прощаясь со всеми. В тачанку торопливо сел со своим саквойжем доктор. Повозка тронулась. Хор смолк. И тут раздался крик:

— Голик, возьми меня с собой!

К тачанке подбежал Гаврюшка. Он вскочил на подножку и

очутился лицом к лицу с Аркадием Петровичем. Гаврюшка был в старой своей рубашке и старых штанах, а в руке он держал небольшой узелок, из которого торчала золоченая, слоновой кости рукоятка кортика. Из глаз Гаврюшки текли слезы.

— Я не могу тебя взять, — подавляя жалость к мальчику, ответил Аркадий Петрович. — Я же еду лечиться. Когда поправлюсь, я тебе напишу.

Он притянул Гаврюшку к себе, поцеловал его и легонько оттолкнул. Мальчик соскочил с подножки.

— Поехали, быстрей, — попросил Голиков бойца на облучке.

За селом Голикова ждал эскорт — полтора десятка кавалеристов, которые должны были сопровождать командира до самого Ужура. И Аграфена верхом на лошади. Заметив тачанку, она спрыгнула с коня. Голиков велел остановиться.

Аграфена подошла к нему, обхватила лицо руками, расцеловала:

— Будь здоров, сынок. Подлечишься — приезжай. Я тебя выхожу.

Голиков не смог ничего ответить. Тачанка дернулась и понеслась уже без остановки. За ней взял рысью с места конвой.

Не удалось попрощаться только с Анфисой, которая почти не выходила из дома. А Голиков к ней пойти не смог.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Госпиталя в Ужуре не было. Селить Голикова на частной квартире командование в целях безопасности не захотело. И Аркадия Петровича поместили в его бывшем кабинете при штабе. Там уже стоял топчан, застеленный свежим бельем.

Вечером, когда Голиков помылся в бане и пообедал, его пригласил к себе командир 6-го Сибирскоговодного отряда Кажуриин.

После вопросов о самочувствии, о здоровье Кажуриин сказал:

— Если можешь, объясни мне, что такое Соловьев.

— Вы, наверно, будете смеяться, как Заруднев, — ответил Голиков. — Но этот человек обладает особым даром воздействия на людей. Наверное, в нем есть что-то от шамана. Или потому, что он прожил всю жизнь в Хакасии. Или потому, что его жена — хакаска... Я ведь помню все, что патворили Соловьев и

его банда. Но когда я в лесу окружил его лагерь и, даже не видя его, только услышал его голос, во мне что-то встрепенулось, какая-то радость, какая-то гордость: «Я говорю с самим Соловьевым...»

— А как тебе кажется, Заруднев без тебя справится, доведет до конца?

— Если научится отвечать хитростью на хитрость. Если поймет: дело не в количестве сабель. Тут совсем другая война.

— Жаль, что с тобой все так нелепо вышло. И заболел, и вообще. Нам про Соловьева подобное и в голову не приходило.

И тогда Голиков спросил о том, о чем хотел спросить с самой первой минуты:

— А меня отстранили насовсем?

— Я этого еще не знаю. Ситуация вокруг тебя сложилась непростая. Поступило много жалоб. Некоторые из них очень похожи и написаны чуть ли не одной рукой. Красноярск настаивает — нужно разобраться. Одно могу сказать: работу мы тебе всегда подберем. Главное сейчас — выздороветь. Тем более доктор говорит: ты уже тогда, во время штурма, был болен. Это нам всем повезло, что приступ не случился с тобой на горе.

СЕАНС ГИПНОЗА

В Красноярском госпитале, в отделении неврологии, Аркадия Петровича поместили в четырехместную палату. Двое больных были спокойны, они шли на поправку. А третий, невысокий чернявый парень, все время трудолюбиво жужжал, вопроизводя звук высоко летящего самолета. Это был потерпевший катастрофу летчик.

Утром Голикова пригласил к себе заведующий отделением. Ему было лет пятьдесят. Лысеющая голова его с широким лбом была с изрядной сединой. Отливалась сединой и рыжеватая борода, но обветренное, без морщин лицо оставалось молодым.

— Здравствуйте, Аркадий Петрович. Я ваш лечащий врач. Зовут меня Мойсей Абрамович.

— Доброе утро, доктор.

— Я внимательно ознакомился с вашей историей болезни и все же не понял, что с вами произошло.

— Я полагаю — переутомление.

— Неврастения, упадок сил такой картины не дают. От

персупомлсния люди не теряют внезапно сознания. В вашем роду никто первыми заболеваниями не страдал?

— Никто.

— А в детстве вас не пугали? Вы, скажем, не заикались?

— Я не был в детстве пугливым.

— А на войне? У вас не появлялось чувство беспомощности?

— Появлялось. Много раз. Но я всегда находил выход. Иначе бы нам не довелось познакомиться.

По озабоченному лицу доктора было видно, что он разочарован ответами, а Голиков не собирался ему помогать. Он догадывался, что болен тяжело, но надеялся, что еще выплынет, и рассчитывал прежде всего на себя.

— Хорошо, расскажите, что предшествовало болезни.

— Вы хотите сказать — падению с лошади? Было очень много работы.

— О работе вашей наслышаны. От Соловьева лихорадило весь край. Теперь, слава богу, стало потише.

— Кроме работы, был еще театр.

— Вы ездили на спектакли? Куда же?

— Нет, я спектакль ставил. А когда возвращался поздно ночью с репетиции, то садился за стол и писал.

— Стихи?

— Нет. Роман.

— Когда же вы спали?

— Я мало спал. Иногда по двое-трое суток не спал совсем. Но поверьте, доктор, чувствовал я себя хорошо. И спать совершенно не хотелось. Утром искупаюсь, позавтракаю — и снова за работу.

— Неужели вы, Аркадий Петрович, не понимали, что даже самый могучий организм нуждается в отдыхе?

— Понимал, но не мог остановиться. Было ощущение, что жизнь уходит, в любую минуту могут убить, а я еще ничего не сделал.

— Но ведь вам всего лишь восемнадцать, — рассмеялся доктор. — Это мне пятьдесят пять. Я могу сказать: я многое не успел. А у вас целая жизнь.

— Наверное, я по-другому ощущаю движение времени, доктор. Для меня оно идет быстрее. Я служу с четырнадцати лет. В августе 1919-го, когда я закончил Киевские командные курсы, нас было сто восемьдесят человек. А через две недели осталось восемнадцать. Как сложилась судьба этих восемнадцати, я не знаю. Вполне вероятно, что в живых я остался один. А ведь я прошел еще пять фронтов. Мне везло: я был всего два раза

ранен и дважды контужен. Но я понимал, что везение должно когда-то кончиться. Я читал: люди играют в рулетку. Им, слушается, раз за разом выпадает выигрыш, а потом неудача. И они все спускают до копейки... Вот почему я себя не жалел. Я не надеялся, что долго проживу.

— А чувство тревоги появлялось у вас часто? — полубезразличным тоном спросил Мойсей Абрамович.

— Я не боялся смерти. И сейчас не боюсь, — ответил Голиков. — Просто я опасался, что она придет слишком рано.

— Спасибо за откровенность. Мой учитель говорил, что лечить нужно не листья, а корни. А истоки вашего заболевания мне по-прежнему не ясны. Как бы вы отнеслись к сеансу гипноза?

— Иронически. К нам в Арзамас приезжал один гипнотизер. Люди, которых он приглашал на сцену, по его команде нюхали несуществующие цветочки и сидя засыпали. А потом обнаружилось, что он аферист, а «добровольцы» подкуплены.

— Если вы не возражаете, я сам проведу сеанс.
Голиков покраснел.

* * *

ИЗ РАССКАЗА «ПЕРВАЯ СМЕРТЬ»

«Однажды, когда в «мертвый час» в нижнем этаже остановили свой бег бесчисленные машины, когда перестали шуметь потоки воды, смешанной с электричеством, и потухли фиолетовые лампочки кабинета светолечения, и спустилась тишина, нарушаемая только легким стуком переставляемых шахматных фигур, в комнату вошла сестра и сказала: «Голиков, к доктору, на гипноз»...

— Это нужно, — сказал доктор. — Сядьте, расслабьте мускулы, распустите мысли и старайтесь не думать ни о чем.

Мне было приказано сесть, я сел. Было приказано лечь, я лег. И доктор монотонным, ровным голосом рассказывал мне о том, что я хочу спать и что у меня тяжелеют веки, что я засыпаю, что я уже сплю...

Но это была явная ложь, ибо в этот момент спать мне вовсе не хотелось...

И мне стало неудобно. Думаю: старается человек, а я все ничего. Спрятав усмешку в края губ, я решил быть серьезным. Но в ту же минуту кто-то положил мне тяжелые мохнатые лапы на виски, стало темно, и, вздрогнув, рывком я открыл глаза.

Доктор улыбался. Напротив, за столом, сидел откуда-то взявшийся ассистент и что-то дописывал.

— Как вы себя чувствуете? Вы выглядите хорошо, несмотря на то, что вы проспали всего пятьдесят четыре минуты.

Я не знал, проспал ли я четыре или пятьдесят четыре минуты, но я знал, что относительно моего вида доктор говорит неправду, ибо лицо у меня было холодное и, вероятно, бледное.

— Доктор,— сказал я, показывая головой на ассистента,— что он записал?

— Потом,— колеблясь, ответил доктор.

Но я был настойчив. Тогда он взял меня за руку и спросил:

— Может быть, вы помните историю с мадьярами?

Точно от гула орудийного взрыва, дрогнул под ногами гладкий, протертый сулемою пол. Я сел на стул и, жадно глотая воду из протянутого мне стакана, сказал, улыбаясь:

— Еще бы не помнить...»

* * *

Это был, казалось, полузаенный случай. Летом 1919-го Голикова послали с передовой в тыл. По дороге его нагнали два всадника в незнакомой форме и приставили винтовку к затылку. «Все... Кончено»,— успел подумать он. Внезапно один из всадников крикнул: «Наш!» И они ускакали.

Эти двое были из красной мадьярской бригады.

* * *

— Как странно,— сказал доктор,— сейчас, вероятно, вы этого не помните. А у нас записано: «...и у одного из них с правой стороны не хватало на груди медной пуговицы...»

— Да, я этого не помню.

— Это у вас в подсознании, и навсегда,— был ответ доктора.— С этого потрясения началась ваша болезнь.

ДОПРОС

Kак-то днем, когда Аркадий Петрович находился в палате, вошел рослый военный. В лице его были значительность и замкнутость.

— Вы — Голиков? — спросил он.— Я — Коповалов, началь-

ник особого отделения губернского ГПУ. На вас заведено уголовное дело. Я хотел бы снять с вас допрос.

Аркадий Петрович знал: главный врач дважды отказывал сотрудникам ГПУ в разрешении на беседу с ним, Голиковым, ссылаясь на то, что больной слаб и к такому разговору не готов.

На третий раз Коновалов просто явился без разрешения (иначе бы врачи предупредили). По счастью, в этот день Голиков впервые чувствовал себя лучше: перед глазами ничего не плыло и не было давящей тоски.

— Я готов ответить на ваши вопросы.

Коновалов вынул из сумки бумагу, ручку с пером, пузырек чернил.

— Сколько вам лет?

— Двадцать¹. Сын сельского учителя. Образование — пять классов. Профессия военная.

— Имущественное состояние?

— Никакого.

— Партийность?

— Член РКП(б) с 23 августа 1918 года. Одновременно состоял в комсомоле. Не судился, но был под следствием за оперативную работу: за самовольное наступление на деревню Хамуриевку под Кубанью.

— Вас обвиняют в том, что вы отбирали у населения скот.

— Не отрицаю, что мною у некоторых граждан скот действительно был взят, но с их согласия, под расписку и при условии, что скот будет оплачен. Так, мною было взято у девяти крестьян по овце. За три хозяевам было уплачено на месте. Остальные шестеро крестьян не явились в село Форпост, где они должны были получить муку. Кстати, овцы брались с разрешения председателя сельсовета Сулекова. Он же подсказал, кто из жителей улуса может мне продать лишних овец.

Было мною также конфисковано пятнадцать коров, которые принадлежали Абдорину. Он находился в банде. Из этих пятнадцати коров восемь подлежали распределению, согласно инструкции от 20 сентября 1921 года, между беднейшим населением. Семь остальных по доверенности сельсовета переданы Чебаковскому отделению Губсоюза в обмен на мануфактуру, которая была необходима мне для оплаты секретных агентов.

Обо всем этом я доложил инспектору для поручений Брюзгину из штаба ЧОНа 5-й армии, который мне никаких порицаний не делал. Кстати, мануфактура не была израсходована, по-

¹ Так в протоколе. На самом деле в 1922 году А. П. Голикову было восемнадцать лет. Ошибка, вероятно, объяснялась нездоровьем.

скольку секретные агенты, посланные в банду, не вернулись.
Все сто аршин сданы мною под расписку.

— Вы также обвиняйтесь в расстрелях без суда и следствия.

— Да, суда не было. Но следствие я вел. Только оно не фиксировалось. Некому было вести протоколы. Я даже сообщил командующему губЧОНа Кокоулину, что не имею возможности посыпать ему регулярные сводки, потому что Ужур забрал у меня единственного грамотного писаря.

— Сколько человек было вами в последнее время арестовано?

— Восемь.

— Какова их судьба?

— Один, хотя у него было найдено два ящика с винтовочными патронами, по просьбе председателя волисполкома был мною отпущен. Двое убиты при побегах. Трое расстреляны по моему приказанию как уличенные и сознавшиеся в преступлениях. Подлежали расстрелу, но бежали еще два человека.

— На каком основании были произведены аресты?

— Прежде всего, по агентурным данным и показаниям бандитов, но эти данные не фиксировались.

— Признаете ли вы себя виновным?

— Безусловно. Я признаю себя виновным в несоблюдении законной формальности следствия... Но все, что требовалось для укрепления совласти и искоренения бандитизма, мною делалось.

* * *

Постановление начальника особого отделения губГПУ Коновалова. 1922. 17 июня.

За произведенные расстрелы без всякого следствия и сохранения каких-либо письменных следов (Голиков А. П.—Б. К.) подлежит заключению под стражу*.

* * *

— Доктор, я пригласил вас посоветоваться.

— Слушаю, товарищ командующий.

— В деле, которое заведено на Голикова, мне лично неясна одна подробность. Выдавая удостоверения своим разведчикам, он надрезал руку — вот здесь сказано: «выше кисти» — иставил печать кровью. Как вы можете это объяснить?

— Мне Голиков такого не рассказывал... Могу только предположить: либо он пытался вызвать отвлекающую боль, чтобы заглушить какие-то тяжелые переживания, либо у него пони-

жена чувствительность кожных покровов. Одно скажу: Голиков серьезно болен. Война — занятие не для детей, товарищ командующий.

* * *

Резолюция командующего ЧОНа губернии на постановление начальника особого отделения губГНУ Коновалова об аресте бывшего комбата А. П. Голикова:

Ограничиться подпиской о невыезде.*

«ВАМ НУЖЕН ПОКОЙ...»

В день выписки Мойсей Абрамович пригласил Голикова к себе в кабинет на чашку чая.

— Я, кажется, разобрался в корнях вашей болезни, Аркадий Петрович, — сказал Мойсей Абрамович, пододвигая к Голикову глиняный горшочек с медом и тарелку с нарезанным хлебом.

У Голикова мгновенно пересохло во рту.

— Во время встречи с мадьярами вы пережили большое первое потрясение. А когда вас ранило в ногу и сбросило с лошади, вы получили сильную контузию спинного и головного мозга. Контузия была опасней ранения, но ваше могучее здоровье позволило вам с ней справиться. Вы бы могли прожить беззаботно двадцать и тридцать лет, если бы немножко поберегли себя. Но сначала вы круглые сутки были на ногах, потому что вам не давал покоя Соловьев, а затем перестали спать, потому что началась болезнь.

— Значит, то, что я ставил спектакль и писал, — это болезнь?

— Это как раз шло от вашей молодости и ощущения своих больших способностей. А вот то, что вы по несколько суток не спали и при этом не уставали, шло от начавшейся болезни. Для такого состояния существует специальный термин — «усталость, не ищащая покоя»... Давайте, я налью вам еще чаю.

Голиков протянул чашку с блюдцем.

— Наш организм мудро устроен, — продолжал Мойсей Абрамович. — Половину своих сил он хранит про запас — на случай болезни или тяжелых обстоятельств. Скажем, человек попал на

войну или заблудился в тайге. Вы израсходовали этот запас. Но если бы вы при своем образе жизни — служба, любительский театр, занятия литературой — хоть раз в неделю отсыпались, ваша первая система скомпенсировалась бы. Но вы продолжали безостановочно тратить свой резерв, полагая, что он беспределен, пока от полного упадка сил не потеряли сознание. И поскольку вы человек мыслящий, наделенный сильной волей, я хочу вам сказать: ванны и мицстуры — это хорошо. Но прежде всего вы должны помочь себе сами.

«Если врач говорит больному: помоги себе сам, — значит, медицина свои возможности исчерпала», — догадался Голиков.

При мысли, что в свои восемнадцать лет он заболел навсегда, стол, за которым он сидел, красный медный самовар на тумбочке, доктор, обнимавший большую, чуть ли не литровую кружку, вздрогнули и поплыли перед глазами. С этого иногда начинался приступ. Но Голиков с такой силой вцепился в край стола, что почувствовал в пальцах остройшую боль. Все предметы вернулись на свои места.

— Что же вы мне посоветуете? — спросил Голиков, убедясь, что перед глазами больше ничего не плывет.

— Вам нужен покой: деревня, крестьянская работа, парное молоко по утрам. И я надеюсь, что природа возьмет свое.

— Спасибо, доктор, но я пока еще военный человек.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Из госпиталя Голиков переехал в общежитие комсостава. Ему отвели маленькую комнату. Он ежедневно нашагивал по ней многие километры в ожидании, пока его вызовут или за ним придут.

Пока он болел, попал в беду один из его командиров, Овчинников. Поехал на свадьбу, сильно напился, кого-то ударил. Возник большой скандал. Поскольку Овчинников своим поведением опозорил звание командира Красной Армии и звание партийца, то приговор был такой: десять лет.

По счастью, в Москве Ревтрибунал Республики принял во внимание, что Овчинников за храбрость и боевые заслуги был представлен к ордену Красного Знамени. Награждение, естественно, состояться уже не могло, но срок Овчинникову сократили.

А чем обернется для Голикова его история, никто сказать не мог.

Наконец рано утром в дверь постучали. К Голикову уже давно никто не заходил. Стук мог означать одно: за ним пришли. Аркадий Петрович давно успел одеться и умыться. Вещи у него были сложены в чемодан. После того как Овчинникову за драку на свадьбе дали сразу десять лет, Голиков для себя ничего хорошего не ждал.

Подошел, щелкнул ключом, открыл дверь. Посыльный из штаба — с сумкой, наганом и саблей — протянул пакет:

— Распинайтесь.

«Значит, это еще не арест».

В конверте было приказание явиться на следующий день в штаб ЧОНа на общее собрание комсостава. Повестка: разбор персонального дела бывшего начальника 2-го боевого района А. П. Голикова.

«Общее собрание — не суд, но разбор,— скорей всего, завершится требованием разжаловать и отдать под трибунал», — понял Голиков.

Он пришел за четверть часа. Был переполненный зал. Возле стола президиума Голиков увидел командующего войсками ЧОНа губернии, его начальника штаба, командира 6-го Сводного отряда. На приветствие ему ответили, но никто не подал руки. Никто не подошел сказать хоть одно ободряющее слово.

Командование заняло места за столом с красной скатертью. Голикову показали на свободный стул в первом ряду. Пространное сообщение сделал комбат Виттенберг. По заданию штаба ЧОНа он выезжал во 2-й боевой район для проверки фактов. Закончил он свое выступление так:

— Я требую для Голикова суда и высшей меры наказания*.

Присутствующие замерли. А Голикову показалось, что остановилось сердце. Потом оно слабо трепыхнулось и замерло снова. Да, он готовил себя и к такому повороту событий. И все же слова Виттенберга прозвучали как выстрел возле уха. На войне никогда не угадаешь, откуда в тебя влепится пуля.

«Выходит, арестуют меня здесь,— стремительно прополосилось в мозгу Голикова.— Для чего же разбирательство? — Он почувствовал злость и обиду.— Хорошо, что не взял с собой пистолет. А то бы мог наделать глупостей. Я их и без того уже наделал немало. Жалко, не успел написать матери и отцу. Хотя проститься время еще будет. Быть может, папа даже уснеет приехать. А как все воспримет мама с ее туберкулезом? Когда я еще только начал ходить в клуб большевиков в Арзамасе, она говорила: «Аркаша, не сломай себе голову!»*

Если бы я ее тогда послушал, жил бы сейчас дома, закончил бы нынче восьмой класс... И ни тебе Соловьева, ни обмороков на мостовой, ни трибунала.

Ладно, пусть, не жалко,— сказал он себе.— Я ж за светлое царство... чтоб жили другие... Нет, жалко,— возразил он себе.— Если б в бою, как Яшка Оксюз. А так, чтобы тот же Виттенберг скомандовал: «Пли!» — жалко. Но все равно. Пусть. Просить я у них ничего не буду».

— Товарищ Виттенберг,— прервал тягостную тишину в зале командующий,— здесь не суд, а вы не прокурор. Благодарю за сведения. Вы можете сесть.

«Значит, Виттенберг вынес мне смертный приговор сам? Его никто не уполномочивал?!»

— Товарищ Голиков, вы не слышите? — донесся будто издалека голос командующего.— Пройдите, пожалуйста, к трибуне.

— Извините.— С трудом возвращаясь к действительности, к тому, что происходило в этом зале, Аркадий Петрович встал и занял место, которое освободил Виттенберг.

— Скажите,— продолжал командующий,— почему на вас одновременно поступило столько заявлений?

— Не могу сказать, товарищ Какоулин.

— А может быть,— вступил в разговор начальник штаба,— отрицательных фактов было гораздо больше, чем имеется в вашем деле?

— А разве товарищ Коновалов из ГПУ и теперь товарищ Виттенберг установили добавочные факты помимо тех, которые я сам перечислил в своих показаниях? — спросил Голиков.— Тогда я готов их внимательно выслушать...

— Голиков, не будьте заносчивы,— оборвал его Какоулин. Казалось, он хотел добавить: «Иначе для вас все плохо кончится».

— Прошу простить.

— В своих показаниях вы говорили и писали, что два агента Соловьева были убиты при попытке к бегству. Это подтвердили и свидетели. Но почему трех других вы велели расстрелять? Почему вы не прислали их в Ужур, чтобы судьбу этих людей решил суд?

— Не с кем было посыпать.

— Не говорите ерунды,— резко оборвал начальник штаба.

Как и Виттенберг, начальник штаба был настроен против Голикова. И Голиков это понял и решил: самое лучшее — не отвечать на его замечания. Если будет возможно.

— Товарищ командующий,— сказал Голиков,— я писал вам

в рапорте, что на десять тысяч квадратных километров у меня всего 126 человек. На соседнем боевом участке в это же время имелось 305 бойцов. Но и этих 126 человек я не мог держать при себе. Они были разделены на несколько мелких гарнизонов. Со мной в Форпосте оставалось от 20 до 40 сабель. Посыпать пленных в Ужур с двумя или тремя конвоирами было бессмысленно. Я уже пробовал. В лучшем случае Соловьев пленного отбирал. В худшем — отбирал и убивал конвой. А посыпать с каждым пленным хотя бы десять человек я не имел возможности. Мне их негде было взять.

— Обождите, — остановил его командующий, — вы просили у нас подкрепление. И мы вам его дали.

— Да. Верно. Я просил у вас 80 человек. И мне действительно дали... восемь. И в приказе будто в насмешку было сказано: «Для укрепления района Голикова».

— Это правда?! — повернулся командующий к своему начальнику штаба.

— Тогда больше не было... А взять у первого боевого района я считал неэтичным...

— Я принимаю ваш упрек, товарищ Голиков.

— Но мы же давали вам временное подкрепление, когда вы просили, — не унимался начальник штаба.

— Значит, вам было где его взять?! — не выдержал Голиков.

— Товарищ комбат, я вас призываю к порядку! — повысил голос Какоулин.

— Товарищ командующий, плохо с нервами, но я постараюсь... Отвечаю на вопрос. — Он повернулся в сторону начальника штаба. — Если бы я имел в своем распоряжении хотя бы еще двадцать человек, я бы мог отрядить конвой. А чтобы дождаться конвоя из Ужура, мне было негде арестованных держать. Когда были пойманы Порасеков и Костюк, я приставил к ним трех часовых. Но агенты были прекрасно обучены. И они в первую же ночь бежали. Ловить агентов Астапаева, а потом ждать конвой из Ужура на практике означало возвращать противнику его лучших разведчиков.

— Товарищ Голиков, — спросил командующий, — но вы понимали, что выносить приговор бандитам — не ваше дело, как не дело комбата Виттенберга выносить приговор вам?

— Понимал, но поймите и меня. Если я дам уйти разведчику, он завтра же примется снова работать против моего батальона. И что же, ловить его опять и снова дожидаться, пока пришлют из Ужура конвой?

Для тех, кто присутствовал в зале, было очевидно: парень

попал в переплет. Сначала его бросили против Соловьева, ничего толком не объяснив, не дав в нужном количестве ни людей, ни оружия. В Ужуле и Красноярске сами не знали, что делать с «императором тайги». А теперь судить о Голикове, что он сделал хорошо, а что плохо, нашлось немало охотников.

* * *

Резолюция командующего частями особого назначения Енисейской губернии по делу А. П. Голикова:

*Мое впечатление: Голиков по идеологии — неуравновешенный мальчишка, совершивший, пользуясь своим служебным положением, целый ряд преступлений. В. Какоulin**.

* * *

Выписка из протокола заседания Енисейского губкома партии.

22 июня 1922 г. В 12 часов дня.

Слушали	Постановили
<i>О т. Голикове А. П., бывшем командире войск ЧОН</i>	<i>Передать дело в Контрольную комиссию для разреше- ния в партийном порядке*</i>

* * *

*Енгуботдел ГПУ
30 июня 1922 г.*

*В Контрольную комиссию
при губкому.*

*При сем препровождается дело за № 274 по обвинению
Голикова Аркадия Петровича... Обвиняемый находится на
свободе*.*

* * *

Контрольная комиссия при Енисейском губкоме партии постановила: учитывая молодость А. П. Голикова, обширность и отдаленность 2-го боевого района от уездного и губернского центров, ненадежность телефонно-телеграфной связи, из-за чего приходилось самостоятельно принимать многие труднейшие решения, а также уважая прежние заслуги, ранения и контузии, А. П. Голикова из партии не исключать, а перевести на два года «в разряд испытуемых с лишением права (на этот же срок.—Б. К.) занимать ответственные посты»*.

* * *

...Полночи после решения Контрольной комиссии ходил он по городу, не разбирая дороги. Забрался в какие-то трущобы, где ему встречались странные фигуры. Будь Голиков в другом состоянии, это бы его насторожило, тем более что пистолет он оставил в комнате. И сделал это нарочно, чтобы сгоряча чего-нибудь не натворить. В нем жило сейчас только два чувства: обиды, что он больше не нужен, и безразличия к своей судьбе.

Подозрительного вида мужчины и женщины просили у него закурить или спрашивали, который час, приглашали повеселиться. И бестрепетность, с которой Аркадий Петрович доставал кисет, протягивал спички и отворачивал рукав кителя, чтобы взглянуть на фосфоресцирующие стрелки, пугали этих далеко не случайных прохожих, которые воздерживались связываться с молодым и очень странным военным. Только благодаря этому Голикова в ту ночь не ограбили и не убили.

Возвратясь под утро к себе в комнату, Аркадий Петрович прежде всего достал из-под подушки кобуру с пистолетом и отнес к дежурному, попросив спрятать в железный ящик. Лишь после этого Голиков лег не раздеваясь на широкую кровать и проспал более суток. В Красноярске больше делать было нечего. Голиков достал лист бумаги.

Командующему ЧОН Енисейской губернии

Р а п о р т

Прошу Вашего распоряжения о предоставлении мне... отпуска для подготовки к поступлению в Военную Академию РККА, причем доношу, что в Красной Армии служу с декабря 1918 года. Последние занимаемые должности: комполка 23 запасного ОВО, комсводотряда 1, комполка 58 отдельного Нижегородского по подавлению восстаний, начбоерайона 2 Енисейской губернии.

Военное образование — Высшая стрелковая школа. Ранений три: два в ноги, одно в руку и грудь...

Бывший начбоерайона ЧОН 2 Голиков*.

* * *

Р е з о л ю ц и я: Начальнику ГПУ Красноярска.

По приказанию КомЧОНгуб настоящую переписку препровождаю на Ваше заключение.

НачштаЧОНгуб (подпись)*.

* * *

Ответа не было долго. Голиков отправился в штаб ЧОНа.

— Я тебя давно жду, — сказал Какоулин.

— Я не решался, товарищ командующий. Поверьте, мне очень скверно. Чем больше проходит времени, тем больше я мучаюсь, что приказал расстрелять тех троих. Я и теперь не сомневаюсь, что они давно и успешно работали против нас. Но если бы я не был так утомлен, я бы что-нибудь придумал. Быть может, я бы сам отконвоировал их в Ужур.

— Здесь, Аркадий, и наша вина. Поэтому мы не стали тебя судить. Не разжаловали, не лишили звания командира полка. А пролетят два года, где бы ты ни был, приедешь сюда, и мы тебя восстановим в партии. Мы помним, что ты сделал для губернии. Рапорт твой я подписал. Только аттестацию возьми в губкоме комсомола. Я туда позовю.

* * *

Из дневника А. П. Гайдара, 30-е годы:
«Снились люди, убитые мною в детстве».

* * *

На следующий день губком комсомола выдал Голикову аттестацию, с которой он должен был обратиться за содействием в Центральный Комитет комсомола.

Начальник 2-го боевого района по борьбе с бандитизмом, бывший командир 23 полка... командир 58 отдельного Нижегородского полка армии по подавлению восстаний Голиков Аркадий Петрович состоит членом РКСМ с августа 1918 года, то есть с самого начала ее организации.

Несмотря на свою молодость (18 лет), за время четырехлетнего пребывания как члена РКСМ в частях Красной Армии занимал ответственные посты, задания на которых выполнял с успехом.

В настоящее время губернский комитет отмечает проведенную работу по укреплению Красной Армии, просит дать соответствующую аттестацию и оказать содействие при поступлении в Академию Генерального штаба, дабы он мог получить законченное военное образование.*

Получив в штабе губЧОНа проездные документы, Голиков столкнулся в коридоре с Никитиным.

— Цыганок, ты здесь?

— Я искал тебя в госпитале, — ответил озабоченный Пашка. — Врач мне сказал, что ты выписался. А у меня огорчения.

— Какие же?

— Я давно просил послать меня в разведывательную школу. Появилось место. Меня вызвали в Красноярск. Но оказалось, что место в химическую школу. А будет ли в разведывательную, никто сказать не может. Соглашаться или нет?

Голиков подумал: «У каждого свое представление о счастье. Пашка может остаться в Форпосте, а вот рвется в школу. Меня посыпают в академию, а я хотел бы вернуться в Форпост». Но Цыганку он сказал:

— Конечно, езжай. Вероятно, и в этой химической школе есть разведывательное отделение.

— Тогда пойду скажу, что я согласный, — заторопился Никитин. — Да, у меня внизу, в мешке, гостище тебе от Аграфены.

Они бегом спустились вниз. Пашка передал небольшой берестяной туесок. Друзья торопливо обнялись и расцеловались — чтобы никогда больше не встретиться.

Павел Михайлович Никитин закончил школу химической защиты, но к разведработе он вернулся только в 1941 году, когда его послали в тыл противника, в действовавший там партизанский отряд. В обязанности Никитина входил сбор разведывательной информации и организация диверсий. Однако судьба распорядилась иначе.

Командир отряда, куда попал Никитин, оказался не пригодным к военному делу. И к тому же выяснилось, что он трус. Отряд, который насчитывал триста человек, был на краю гибели. Радиосвязи с Большой землей партизаны не имели: разбило радио. Просить или ждать замены не было возможности. И тогда Павел Михайлович — при поддержке партизан — сменил командира, взял командование на себя и спас отряд.

Как тут не вспомнить, что той же осенью 1941-го Аркадий Петрович Гайдар, корреспондент «Комсомольской правды»,

попал в похожий партизанский отряд на Украине, под Каневом. Тамошний командир, секретарь местного райкома партии, тоже ничего не смыслил в военном деле, неохотно брал к себе окруженцев и никому из прибывших к нему опытных командиров, даже в высоких чинах, не доверил командирской должности.

22 октября 1941 года партизаны понесли жестокое поражение в бою у лесопильного завода. Гайдар прикрыл пулеметным огнем отступление товарищей и помог спасти отряд. После боя командир предложил... отряд распустить и «уйти в подполье». Гайдар, который пользовался непрекаемым авторитетом, особенно после того как проявил мужество и стойкость в проигранном бою, сказал: «Нет!»

Авторитет же командира после такого предложения упал до последней черты. Партизаны стали объединяться вокруг Аркадия Петровича. Было очевидно, что командиром в ближайшее время станет он. Только нужно было уйти из этих мест, где прежний командир по привычке считал себя хозяином.

Однако накануне ухода, на рассвете 26 октября, Аркадий Петрович погиб...

А Павел Михайлович Никитин прожил еще много лет. В 1967 году за активное участие в гражданской войне, в том числе и в борьбе против Соловьева, он был награжден орденом Красного Знамени.

Автор этой книги, несмотря на разницу в возрасте, много лет дружил с Павлом Михайловичем. Десятки страниц непростой повести, которая сейчас перед вами, написаны с его слов.

В туеске Голиков нашел баночку с медом, круг копченой колбасы, зажарственные пироги с черемухой и письмо от Аграфены. Она сообщала, что Митька совершенно спился и потому Гаврюшку она пока забрала к себе.

Гаврюшка, писала она дальше, пьет чай из его, Аркадия, кружки, утром обливается холодной водой или ныряет в Июс и вообще все делает, «как Голик». Еще Аграфена спрашивала, не голодно ли ему, а то они с Гаврюшкой привезут ему еды. Тем более что мальчишка ждет писем и рвется в Красноярск.

Взволнованный такой любовью и заботой, Голиков тут же написал им обоим, что вспоминает их каждый день, возить ему ничего не надо, потому что его посылают в Москву. Однако при первой же возможности он приедет в Форпост.

В Форпост Голиков не вернулся и Аграфену уже никогда не видел. А Кожуховская продолжала его помнить. И чем больше

проходило времени, тем ярче представлялись Аграфене те месяцы, когда в ее доме квартировал начальник 2-го боевого района, которого она по привычке продолжала звать Аркадкой.

Кожуховская еще раз вышла замуж, но и этот брак не принес ей детей. И вскоре она опять осталась одна, продолжая жить и работать в том же Форпосте, который стал называться станица Соленоозерная и превратился в совхоз имени Буденного.

Внезапная перемена в ее жизни произошла в конце 60-х годов, когда к ней в дом нагрянули тимуровцы-следопыты из школы № 16 города Черногорска. Они собирали сведения о жизни и службе комбата Голикова. От них Аграфена Александровна впервые узнала, что бывший ее квартирант стал писателем, героически погиб на войне и награжден посмертно орденом.

Выяснилось, что кинокартину «Тимур и его команда» Кожуховская видела и некоторые книги Гайдара читала. На воротах домов в бывшем Форпосте были прибиты ребятами тимуровские звезды. Но все это она никак не связывала со своим бывшим жильцом.

Адрес Аграфены Александровны Кожуховской ребята из школы № 16 подарили автору этой книги.

Осенью 1966 года я надолго застрял в Ужуре. Раскисли после дождей дороги. Не ходили рейсовые автобусы. Ужурский райком партии пошел мне навстречу и предоставил самосвал, чтобы я доехал до Форпоста, повидал Кожуховскую и на том же самосвале вернулся.

Аграфене Александровне в ту пору шел восемьдесят второй год. По лицу ее было видно, что она прожила долгую и трудную жизнь, но оставалась деятельной и неутомимой. Всю работу по дому делала сама. И про Голикова рассказывала с такой теплотой и с таким количеством подробностей — что сл, что больше всего любил, о чем спрашивал и про что рассказывал, — будто Аркадий Петрович съехал с ее квартиры не полвека назад, а всего лишь на прошлой неделе.

Магнитофон я останавливал только для того, чтобы поменять кассету. Несмотря на долгую дорогу, мы с водителем отказались от обеда и даже от чая: дорожили каждой минутой пребывания в этом доме. Рассказ Кожуховской был ценен втройне: она знала и помнила Голикова, погибшую Настю и — чем ошеломила в тот день и меня — самого Ивана Соловьевса. Она даже показала из окна то место, где когда-то стоял его дом.

А потом Аграфена Александровна послала какого-то мальчишку за «дядей Ваней». И явился Иван Алексеевич Кожуховский, ее племянник. Он-то и рассказал мне всю историю молодежного театра, где был у Голикова правой рукой.

В 1978 году, когда вышел фильм «Конец императора тайги», Аграфене Александровне было 93 года. Она жила в доме для престарелых, сохранив ясность мысли и твердость памяти. Она еще успела увидеть кинокартину о поединке Голикова с Соловьевым.

Роль Аркадия Голикова исполнил Андрей Ростоцкий, которого пригласили сняться в картине, когда он еще заканчивал ВГИК. А квартирную хозяйку Голикова сыграла решительная и красивая Дана Столярская.

Добавлю, что в Хакасии этот фильм видели все от мала до велика, потому что до сих пор там не прекращаются споры о Голикове и Соловьеве.

Но вернемся к нашему рассказу.

В письмо Аграфены был вложен неровный клочок бумаги. «Голек,— прочитал Аркадий Петрович,— я па тибе сильна скучяю. Гаврюша».

Но Гаврюшку Голиков тоже ни разу больше не увидел. Лишь много лет спустя внезапно мелькнул Гаврюшкин след. Случилось это в 1937 году.

Большая группа советских писателей возвратилась из Испании, где шла гражданская война. На стороне республиканцев сражались тысячи антифашистов — добровольцев из разных стран, в том числе из Советского Союза. И один из писателей рассказал о подвиге лейтенанта Григо (все добровольцы сражались в Испании под псевдонимами).

...Наш танк был подбит фашистами и остался на нейтральной полосе. Франкисты прекратили обстрел машины, рассчитывая взять экипаж в плен. На выручку отправился другой танк, под командой лейтенанта Григо. Под огнем нескольких пушек, то и дело меняя направление, чтобы сбить с прицела артиллеристов противника, танк лейтенанта Григо остановился в трех метрах от подбитой машины. Лейтенант выполз из нижнего люка, накинул петлю троса на крюк поврежденного танка, вскочил на броню и крикнул: «Давай!» Машины, отстреливаясь, поползли в сторону позиций республиканцев.

Но когда оба танка от огия фашистов прикрыл холм и все, кто наблюдал за подвигом танкистов, кинулись к машинам, они увидели, что лейтенант Григо мертв. Он лежал на броне, пристегнувшись ремнем к ободу запасного бака.

Рассказчик видел погибшего лейтенанта. И его поразила одна деталь. На ремне, которым Григо пристегнулся к металлическому ободу, висел, поблескивая позолотой, офицерский кортик.

Выяснить настоящее имя погибшего лейтенанта в ту пору не

представлялось возможным. Это считалось большой военной тайной. И еще одну подробность вспомнил рассказчик. Местные жители называли Григо так: «Русский танкист с золотым кинжалом».

Был ли это Гаврюшка, который стал взрослым, кто знает?

ЗАВИСТЬ

А пока что Аркадий Петрович лежал на полке вагона, который увозил его из Красноярска в Москву. Он вынул из чемодана два учебника, собираясь перечитать их в дороге, по мысли его блуждали вокруг Форпоста.

Голиков корил себя за то, что вспыхах не спросил у Цыганка, кому тот передал свои дела и свою агентуру. Скорей всего, это был человек Заруднева. Что представляет собой Заруднев в деле, Аркадий Петрович тоже спросить не успел.

Голиков не хотел себе признаться, что завидует Николаю Ильичу — не его могучему здоровью, а тому, что он будет продолжать поединок с «императором тайги».

И хотя Голиков ехал в Москву учиться и предстоящее поступление в академию должно было стать для него немалой нравственной победой, полной победой для себя он мог считать лишь окончательное поражение Соловьева.

КРУШЕНИЕ ПЛАНОВ

Голиков ехал через всю страну. Поезд останавливался почти на каждом полустанке, а то еще и между станциями, дожинаясь встречных составов или пополняя запас топлива: паровоз топили дровами.

Однажды вечером состав подошел к Арзамасу. Было желание провести дома хотя бы день, тем более что вернулся отец. Но Голиков первничал. Он уже две недели находился в пути и опасался, что снова опоздает на экзамены в академию.

Дать же домой телеграмму «Буду проездом такого-то числа» не мог: никто не знал, когда и где поезд сделает остановку.

Было еще одно обстоятельство, из-за которого Аркадий Пет-

рович первничал: состояние его здоровья. Хоть и чувствовал он себя неплохо, но не возвращалось ощущение силы и надежности организма.

Выписку из истории болезни, полученную в госпитале, где говорилось, что Голиков А. П. в настоящее время ограниченно годен, он положил на самое дно чемодана, а медсправку для академии взял в гарнизонной поликлинике, где его впервые видели. Никто в его здоровье там не усомнился. Впрочем, в гарнизонную поликлинику Аркадий Петрович обратился по совету командующего губЧОНа.

И для себя Аркадий Петрович решил: он приедет в Арзамас, как только поступит в академию.

В канцелярии академии, которая переселилась на Кропоткинскую, пожилой командир тут же просмотрел его бумаги.

— Послужной список у вас отличный. Могу, Аркадий Петрович, добавить: еще не было случая, когда бы нашим слушателем стал восемнадцатилетний боевой офицер... извините, командир, да еще с четырехлетним стажем.

— А с какого числа экзамены? — спросил Голиков, желая на самом деле узнать о другом.

— Экзамены через две недели. Надеюсь, вы успеете подготовиться. А завтра в десять медицинская комиссия. Но это чистая формальность.

Из канцелярии Голиков вышел расстроенный. Еще на Тамбовщине его терзала мысль, что он провалится на экзаменах, потому что не было времени на подготовку. А сейчас эта мысль отошла на задний план. Лишь бы проскочить комиссию...

Собралась медкомиссия на втором этаже в просторном зале. Каждый врач сидел за отдельным столом. От одного специалиста к другому редкой цепочкой, стесняясь своей наготы, двигались кандидаты в слушатели. Каждый держал в руках «Карту обследования».

Осмотр в этот день проходило человек двадцать. Основной поток ожидался перед самыми экзаменами. И Голиков подумал, что ему бы лучше пойти, когда будет много народа. Но отступать было поздно.

Первым его осмотрел терапевт, среднего роста, полноватый, с крупной лысеющей головой. Он внимательно послушал легкие, затем сердце и, похлопав Голикова по упругому, круглому плечу, сказал:

— Сердце как молот. Жалобы есть?

— Что вы, доктор, — Голиков показал в улыбке все тридцать два ни разу не пломбированных зуба, — мне жаловаться еще рано.

И терапевт размашисто написал: «Здоров».

Зато тревожно долго не отпускал хирург, здоровяк лет сорока, одного роста с Голиковым. Положив Аркадия Петровича на клеенчатый диван, он долго и жестко мял ему живот сильными волосатыми руками, поминутно спрашивая:

- Не беспокоит?
- Н-ничуть! — сдавленным голосом отвечал Голиков.
- А это у вас что? — Хирург надавил пальцем вмятину на голени.

— Сквозное ранение. Шрапнель. Девятнадцатый год.
— Задета кость?
— Бог миловал.

— А эти шрамы и рубцы? Вы что, спали на битых бутылках, как Рахметов?

— Рахметов спал на гвоздях, — уточнил Голиков. — А сейчас гвоздей не достанешь. (Хирург улыбнулся.) А эти рубцы — на память о самодельной бомбе из обыкновенного чугуника, в каких варят картошку. Тамбовщина. Двадцать первый год.

— Сколько же вам досталось осколков?
— Точно не помню. Два крупных и мелкие.
— Жить вам двести лет, товарищ Голиков. — И пометил на листе: «Абс. здор.».

Окулист и отоларинголог надолго Аркадия Петровича не задержали. Отоларинголог только уточнил:

— Правым ухом вы слышите хуже, чем левым. Часто пристужались?

— Ни разу. Я не знаю, что такое насморк. Ушиную перепонку мне порвало взрывной волной, когда меня ранило шрапнелью.

Оставалось показаться невропатологу. Старый, маленьского роста, с остроконечной бородкой, он, в отличие от других врачей, задавал вопросы громко, причем с ехидцей, будто был заранее уверен, что его попытаются обмануть.

Голикова он встретил странным вопросом:

— Давно у вас, молодой человек, такой румянец, будто вы красная девица?

— Наверное, с детства, — находчиво ответил Аркадий Петрович. — У моей мамы тоже замечательный цвет лица.

— С детства? — рассмеялся невропатолог. — Вас что, выбросили из люльки? — Он посмотрел вокруг, полагая, что удачно пошутил.

Голиков велел себе: «Спокойно!» Он догадывался, к чему подбирается ехидный старичок.

— Если бы меня выбросили из люльки, — не гася улыбку, возразил Аркадий Петрович, — я был бы горбатым.

— И вас никто не стукал по голове посторонним предметом?
Скажем, сковородкой?

— Совершенно точно, никто.

— Приятно слышать,— огорчился старичик.

Он усадил Голикова на стул и взял весело поблескивающий никелированный молоточек. Голиков знал, для чего он служит, и собрался в комок, чтобы в тот момент, когда доктор тюкнет пониже коленцой чашечки, нога не взлетела к потолку.

— Расслабьте ножку,— попросил доктор.— Я вам не сделаю больно. Я легонечко.

И нога в самом деле не вознеслась к потолку, но вздрогнуло все тело.

— Значит, из люльки в детстве вас не роняли? И сковородкой по темечку не стукали тоже?

Голиков помотал головой, продолжая улыбаться, точно это была не очень остроумная, но все-таки игра.

— И вы желаете меня уверить, что у вас никогда не было скрытой травмы черепа?

— Да уж не думаете ли вы, доктор, что, пройдя четыре года войны, я позволю кому попало тюкать меня по затылку?! — взорвался Голиков.— И если бы даже у меня была скрытая травма черепа, разве это повод для насмешек?

В зале наступила тишина. Смолк ровный гул. Врачи и будущие слушатели повернулись в сторону Голикова и старишка. Невропатолог сконфузился.

— Извините. Я был не прав. Мне показалось, что вы меня разыгрываете.

«Слава богу, пронесло!»

— Последняя просьба: сделайте три приседания и встаньте.

— С большим удовольствием, доктор. Хоть двести раз.

Голиков плавно присел и без усилия встал, чтобы присесть снова. Было видно, что этот командир, завтрашний слушатель академии, а в будущем, возможно, один из полководцев Красной Армии, обладает атлетически развитым телом.

— Превосходно, товарищ Голиков,— удовлетворенно заметил невропатолог. И вдруг, словно обозлясь: — А теперь руки вперед — и держать!

Аркадий Петрович усмехнулся. Вытянул руки с мощными бицепсами: он без натуги выжимал двухпудовые гири. Внезапно Голиков почувствовал, что по прошествии нескольких секунд руки начали мелко дрожать. Это была какая-то стыдная дрожь, будто он чего-то боялся, но Голиков не мог с нею совладать, а доктор не давал другой команды. Наоборот, он спокойно сел за свой стол, пододвинул «Карту обследования» и четким, краси-

вым, совсем не докторским почерком записал: «Травматический невроз». Лишь после этого он разрешил, не оборачиваясь:

— Можете опустить!

А Голиков почувствовал, что ненавидит его. Не за то, что доктор поставил диагноз, а за то, что этот махонький старичок так унижал его, будто он, Голиков, нарочно дважды падал с седла: первый раз — когда его сорвало с коня взрывом шрапнели, а второй — когда коня и его самого ранило взрывом самодельной бомбы (о которой он рассказывал хирургу).

Невропатолог же, наоборот, сразу успокоился, стал деловит и сосредоточен. Он лишний раз убедился в своей исключительной опытности, определив болезнь, которую проглядели другие. Впрочем, этот случай был по его части.

В действительности же он не сделал никакого открытия. «Травматический невроз» под вопросом значился в выписке, которую Голиков прятал на дне своего чемодана. Ехидный старичок просто спял этот щадящий вопрос, который дарил еще какую-то надежду.

Травматический невроз — это была распространенная во время войны болезнь, которую вызывали ушибы головы или позвоночника. Описание болезни Голиков нашел в двух медицинских справочниках, где отмечалось, что травматический невроз обычно проявляется через десять и даже двадцать лет после сильного удара. А у Голикова болезнь проявилась через три года после первой контузии и через год после второй.

Среди симптомов недуга — в острые периоды — значилось стойкое нарушение сна, беспричинная перемена настроения, возбудимость, взрывчатость, кратковременное затмение сознания, склонность к жестоким поступкам и запоям. Недоставало в справочниках лишь одной подробности: как болезнь лечить.

Диагноз, каллиграфическим почерком запеченный в «Карту обследования», закрывал дорогу в академию.

Ночью Аркадий Петрович не спал, а к девяти утра явился в академию опять. В вестибюле был вывешен список допущенных к экзаменам. Своей фамилии он на листке не нашел.

Конечно, после вчерашнего проигранного поединка с невропатологом он мог рассчитывать лишь на чудо, но чуда не произошло.

Хотелось с кем-нибудь поговорить, чтобы кто-то сказал: «Ничего, брат Аркана...» Но не к кому было кинуться. Тухачевский снова командовал войсками Западного фронта. Конечно, Голиков мог пойти к командующему войсками ЧОНа Республики Александрову. Но как раз к нему сейчас и не было желания идти: и потому, что Соловьев не был пойман, и потому, что

он, Голиков, был отстранен, и, наконец, потому, что не прошел медкомиссию. Он не терпел жалости к себе, предпочитая одолевать свои беды сам. И не любил выглядеть неудачником.

Голиков поднялся на второй этаж, где опять в том же зале проходили осмотр новые кандидаты, и попросил вызвать председателя медкомиссии. К нему вышел хирург.

— Я знакомился с вашим личным делом, товарищ Голиков, — начал хирург, не дожидаясь вопросов. — На заседании комиссии я пытался вас отстоять и предложил зачислить вас на год условно. Вы бы ходили на занятия, сдавали зачеты и одновременно лечились бы у Егора Васильевича, нашего невропатолога. Начальник академии согласился. Больше того, он получил разрешение у заместителя председателя РВС. Не согласился только Егор Васильевич. Он настаивал, что лечение ничего не даст. Скорей всего, он на вас обижен за строптивость.

— Я не хотел Егора Васильевича обижать... А как вы полагаете, с военной службы меня уволят?

— Я бы не спешил. Молодость должна взять свое. Непременно жду вас в будущем году.

ТЯГОСТНЫЕ ХЛОПОТЫ

П олдня Голиков бродил по городу. В Столешниковом переулке он спустился в трактир для извозчиков. Тут стоял неторопливый говор, в воздухе висел родной ему запах кожи, лошадиного пота, сена и дегтя.

Аркадий Петрович плюхнулся на лавку в углу, и половкой с несвежим полотенцем, перекинутым через руку, принес ему наперченного варева, изрядный кусок сома с гречневой кашей, тарелку овсяного киселя и два стакана горячего чая. Хлеб лежал в берестяной хлебнице.

После того как Аркадий Петрович съел все, что ему привнесли, он вспомнил, что во рту не было ни крошки со вчерашнего утра. И мысли его, отчасти успокоенные обильной едой, потекли вяло, но толково.

Домой он не поедет. Ведь Арзамас — это не только отец, сестрички и тетя Даша. Это и школьные друзья. Что он им расскажет о себе, когда они соберутся? Что он внезапно теряет сознание на улице и что у него дрожат руки, будто он всю жизнь воровал кур?

В общежитие Аркадий Петрович вернулся поздно. Соседи по комнате уже спали. А утром, укладывая вещи в чемодан, Голиков увидел конверт с аттестацией, которую получил в Енисейском губкоме комсомола. Она была адресована в ЦК РКСМ. Заступничество ЦК ничего изменить не могло, но там можно было посоветоваться.

В военном отделе его принял заведующий, который коротко назвал себя: «Захар». Лет двадцати трех, в галифе и гимнастёрке, он дергался от внезапно вспыхивающей боли в левой прорытой руке.

— Тебе что, правда только восемнадцать? — спросил Захар. — Не волнуйся. С учебой поможем. Даже если экзамены не сдашь, поднажмем. Я сегодня же поставлю вопрос на бюро.

— Не надо ставить на бюро. Случилось вот что... И я теперь не зпаю, что делать. Ехать обратно?

— Ты первый комсомолец, который получил направление в академию. Ты будешь там нашим человеком. Я все-таки поговорю на бюро. Нельзя, чтобы революция из-за какого-то капризного старика теряла такие кадры. Я жду тебя завтра утром.

...На другой день Захар был уже помягче и повеселей.

— Бюро со мной согласилось. Ты Александрова, командующего войсками ЧОНа, знаешь? Получай к нему письмо. Мы хотим, чтобы ты остался в Москве подлечиться. Раз. И подготовиться как следует. Два. Ты ведь когда окончишь, все равно будешь наш брат комсомолец. Нам это очень важно.

Голиков ушел от Захара слегка обескураженный бурной поддержкой и озабоченный тем, что визита в штаб ЧОНа ему не миновать. Но письмо к Александрову облегчало этот шаг.

Только выйдя из здания ЦК комсомола, Аркадий Петрович прочитал подготовленное Захаром письмо:

Командующему частями особого назначения РСФСР тov. Александрову

Центральный Комитет РКСМ просит Вас назначить тов. Голикова на соответствующую должность в частях введенных Вам войск города Москвы, дабы он смог подготовиться и своевременно попасть в Академию РККА...*

...Когда Голиков вошел в кабинет, Александров поднялся из-за стола, молча его обнял, потом усадил и сказал:

— Как ты, Аркаша, вырос за эти полгода! Мы тут читали твои реляции с соловьевского фронта... Где ты теперь?

Александров стал впервые говорить ему «ты».

Аркадий Петрович — в который раз — коротко поведал свою историю, а потом достал из сумки письмо от ЦК комсомола.

— Ты что же думал: если не попросит комсомол, мы о тебе не позаботимся? — усмехнулся Александров, быстро пробежал письмо глазами, и улыбка на его лице пропала. — Где же я найду для тебя в Москве свободный чоновский полк?

— Да не нужен мне полк.

— В штабе я тоже сократил половину работников... Потом, тебе ведь просто нужно отдохнуть и подготовиться в академию. Давай мы дадим тебе отпуск на год. Ты получишь квартиру с отоплением, сохранится твой оклад. А если мне понадобится опытный командир, ты у меня под рукой...

Через три дня Александров вручил Аркадию Петровичу выписку, что Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами РСФСР тов. Фрунзе ему предоставлен шестимесячный отпуск с сохранением содержания по последней занимаемой должности.

— Не хватит шести месяцев, — сказал Александров, — дадим еще. Был у меня разговор с заместителем председателя РВС Уборевичем. Он слышал о тебе от Тухачевского. Уборевич сказал: «Нам нужны надежные, грамотные, отважные и смело мыслящие командиры. И мы сделаем все, чтобы Голиков остался в рядах армии». Только с квартирой ничего не вышло. Езжай в Красноярск. Через полгода приедешь опять.

«За полгода, — думал Голиков, — я отосплюсь, отдохну и стану совершенно здоров».

НЕ У ДЕЛ

В Красноярск Аркадий Петрович возвращался со стесненным сердцем, а приняли его хорошо, тепло. Командующий губЧОНа пригласил Аркадия Петровича к себе.

— Мы тебя зачисляем в резерв, — сказал он. — Ты и в коллективе, и свободен от повседневных дел. Будет желание — включайся в работу. Плохо себя почувствуешь — тебя никто не осудит.

23 февраля 1923 года страна отмечала пятую годовщину со дня образования Красной Армии. В этот день Голикова пригласили в президиум торжественного заседания. Он был в числе немногих ветеранов, которые прослужили в Красной Армии более четырех лет.

В конце торжественной части состоялись награждения. Трем ветеранам были вручены ордена Красного Знамени. Аркадий Петрович получил почетные малиновые галифе и денежную премию в 500 рублей.

Жил теперь Голиков в удобной квартире комсостава. В первые два месяца он напряженно готовился к поступлению в академию, пока не убедился, что может без малейших усилий ответить на многие вопросы, что помнит почти все из того, что изучал на Киевских командных курсах и в Высшей стрелковой школе в Москве. Болезнь не коснулась тонких и чутких механизмов памяти. Значит, она не так опасна, и он, скорей всего, излечится.

Аркадий Петрович завел себе строгий распорядок дня. Утро начинал с гимнастики по системе Мюллера. В книге «Моя система» Мюллер подробно рассказал, что с детства был слабым, болезненным и сам разработал упражнения, которые помогли ему стать здоровым и сделали его известным спортсменом.

Голиков легко овладел упражнениями. Тело опять становилось гибким, сильным, голова ясной. Он выздоравливал.

Однажды Аркадий Петрович возвращался к себе па квартиру. В руках он нес кульки с продуктами, которые получал раз в десять дней. Переходя мостовую возле самого дома, он почувствовал, что сердце внезапно неистово забилось, а затем, словно переутомясь, замерло, подкатило к горлу — и стало нечем дышать. На Голикова стремительно двинулась мостовая. Теряя сознание, он увидел, как приближается к его лицу разделенное на клетки полотно брускатки и крышка люка с надписью «Водопроводъ».

Очнулся он в госпитальной палате. Голова была перевязана. От соседа по койке Аркадий Петрович узнал, что в госпиталь его доставил на пролетке постовой милиционер. И сделал это во время, потому что уже не прощупывался пульс.

Мнения врачей разделились. Невропатологи считали, что обморок был связан с сердечно-сосудистыми явлениями. А терапевты полагали, что это был очередной приступ травматического невроза. Разрешить спор мог лишь консилиум, тем более что чувствовал себя Голиков плохо. Но приглашение трех профессоров должно было стоить немалых денег. У госпиталя их не оказалось. Тогда деньги на консилиум дал губком комсомола.

Профессора установили: к прежним недомоганиям добавилось «истощение нервной системы в тяжелой форме на почве переутомления и бывшей контузии с функциональным расстройством и аритмией сердечной деятельности»*. Положение было признано угрожающим, потому что могло закончиться остановкой сердца. Консилиум рекомендовал физиобальнеологический и терапевтический институт в Омске, где имелась закупленная в Европе аппаратура. Но лечение было платное и стоило очень дорого.

— Сколько? — спросил Голиков.

Ему ответили. Сумма была сумасшедшая.

Начальник госпиталя пошел к командующему войсками ЧОНа губернии Какоулину. Тот сказал:

— У меня таких денег нет.

«Не нужен, не нужен, не нужен...» — забилось в мозгу девятнадцатилетнего комполка, когда он узнал ответ Какоулина.

Но выяснилось: нужен. Деньги снова дал губком комсомола.

ВЫНУЖДЕННАЯ ХИТРОСТЬ

Лечение в Омске помогло. Аритмия прошла. Тем временем шестимесячный отпуск подошел к концу. Голиков выехал в Москву. И Александров снова тепло его принял.

— Выглядишь ты, Аркаша, молодцом, — сказал он.

— Я в самом деле чувствую себя здоровее. У меня перестали трястись руки. Видите? — Он сделал десятка полтора приседаний, встал, вытянул руки — они почти не дрожали. — Но все равно опасаюсь комиссии.

— Ну, если ты себя хорошо чувствуешь, комиссию мы обхитrim. Мы положим тебя в госпиталь с жалобой на аритмию.

— Но у меня аритмии уже нет.

— Тем лучше. А мы скажем, что она есть, что она появляется. И ты выйдешь из госпиталя со справкой, что прошел курс лечения и в настоящее время здоров. С такой справкой тебе не нужна будет комиссия. И ты прямо пойдешь сдавать экзамены.

— А если во время учебы случится обморок?

— Ну и что? Да, у тебя была аритмия... Лишь бы в бумагах не тянулся хвост этой твоей болезни.

Голикова положили в неврологическое отделение Первого красноармейского коммунистического госпиталя. Прописали ванны, массаж, велосипед, он пил успокоительные микстуры. А в свободные от процедур часы много читал. В госпитале было богатое собрание книг по военному делу, новейшие журналы, художественные произведения последних лет. Голиков носил книги в палату большими стопками.

Врачи его состоянием были довольны. Перевели на свободный режим. Два-три раза в неделю Аркадий Петрович выезжал в город, смотрел спектакли Художественного театра, наконец увидел балет в Большом. Он часами стоял в Третьяковской галерее возле пейзажей Левитана или «Степана Разина» Сурикова.

Время от времени Аркадий Петрович звонил Александрову. Командующий был в курсе того, как протекало лечение, и посмеивался в трубку, что они обхитрят того зловредного старичка, который, кстати, больше не является членом комиссии.

А перед самой выпиской Аркадий Петрович, возвращаясь из столовой, потерял сознание. Хитроумный план рухнул...

Когда Голиков опять смог выходить на улицу, Александров пригласил его к себе.

— Ты получишь отпуск еще на полгода,— сказал Александров.

— Не хочу. Увольняйте. Или дайте мне какую-нибудь работу!

— Замолчи! — впервые закричал на него Александров. Он подошел к сейфу, щелкнул ключом, распахнул дверцу, вынул толстую папку.— Как ты думаешь, что у меня здесь?

Но откуда Голиков мог знать?

— Здесь копии твоих донесений из Ачинско-Минусинского района. Я помнил, как просил тебя о помощи. И когда ты согласился и уехал, мне было совестно, что я тебе не объяснил, сколько народу уже свернуло себе шею на борьбе с этим «императором тайги». Но я помнил, как ты по моей просьбе спас 23-й Воронежский полк, где перед твоим назначением были арестованы почти все командиры, и надеялся: ты придумаешь что-нибудь невероятное и в Сибири.

Дней десять назад у меня тут было совещание, я разбирал на нем твою операцию по спасению обоза с хлебом. Я говорил: нужен талант, чтобы разгадать замысел противника, но нужен особый талант, чтобы нанести противнику урон, воспользовавшись его же планом. Я говорил о тебе в Реввоенсовете. Если понадобится, мы пошлем тебя на лечение за границу.

— Говорят, травматический невроз лечат в Китае.

— В Китай — рискованно. Там много белогвардейцев, особенно колчаковцев. Там тебя просто убьют. А в Европу — надежней.

— И я смогу поехать во Францию?

— Сможешь и во Францию, хотя и там белогвардейцев достаточно. Как у тебя с языками?

— С немецким прилично, с французским хорошо, но скверное произношение.

— Исправляй произношение. Бери уроки у какой-нибудь старушки из бывших... Ты нужен нашей армии, Аркаша.

Александров поднялся. Голиков почувствовал, будто ему стал тесен воротник френча. Стало мокро глазам. Он не сумел ничего ответить. По-уставному четко повернулся и вышел.

* * *

Ночью Аркадию Петровичу впервые приснился сон, который с той поры повторялся едва ли не каждый месяц. И Голиков назвал его так: «Сон по схеме № 1».

Сон по схеме № 1, записанный А. П. Гайдаром¹:

«После многих лет войны я, красный командир, возвращаюсь в свой город. Мои товарищи по школе все еще сидят на школьных скамьях, хотя уже и в старших классах. Вместе с ними на свое старое место сажусь и я. И с тревогой замечаю, что я-то ничего не знаю из того, чему они научились без меня, а кроме того, за годы войны я позабыл абсолютно все, чему прежде учился.

И вот я чувствую себя одиноким, окруженным вежливой враждебностью и холодком.

Особенно запоминается черная доска. Я стою в военной форме 1923 года (остальные одеты просто). Преподаватель спрашивает со скрытой иронией:

«Вы что же? Или совсем не знаете, или позабыли?»

«И позабыл, и не знаю!» — злобно кричу я и, звякая тяжелыми шпорами, под ехидные смешки выбегаю за дверь. За дверью пусто».

¹ Сны были записаны А. П. Гайдаром по просьбе лечащего врача Л. О. Эдельштейна в декабре 1930 года во время пребывания в клинике им. С. С. Корсакова 1 Московского медицинского института им. Сеченова. История болезни А. П. Гайдара, в которой сохранились собственноручные записи снов, иронические стихи, заметки дневникового характера, найдена в 1987 году в архиве клиники ее врачом А. Г. Выгоном и любезно предоставлена автору книги.



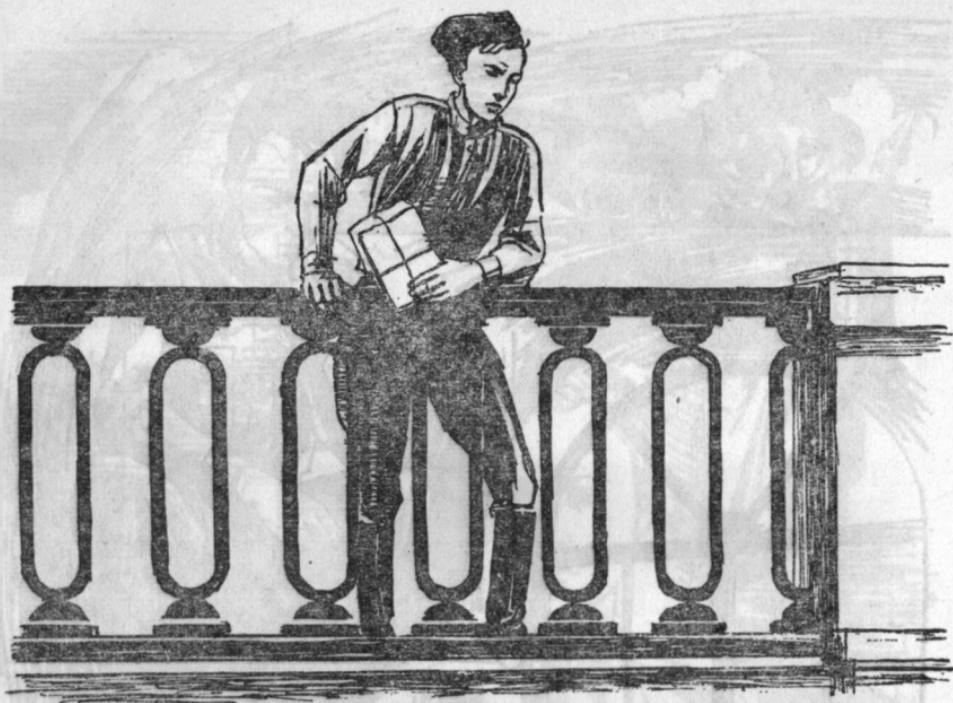
часть вторая

ОТЧАЯННОЕ УСИЛИЕ









РЕШЕНИЕ

23 августа 1923 года Голиков получил приказ о новом шестимесячном отпуске, жалованье за полгода, полный комплект обмундирования и проездные документы. Он мог по ним взять билет в любой конец страны.

Но пока что Аркадий Петрович снял номер в гостинице «Дрезден», чтобы побывать одному. Он устал от постоянного присутствия людей.

Несмотря на заботу Александрова, Голиков понимал, что дела его не хороши. Он сомневался в том, что сумеет полностью исцелиться. Возможная поездка во Францию давала надежду, но Голиков принадлежал к числу грамотных больных. Он уже знал, что травматический невроз — заболевание распространенное. Вспышку его дает война. И если бы европейские врачи отыскали средство для его лечения, об этом бы стало известно и в России.

Война и профессия командира приучили Голикова трезво взвешивать шансы в любой ситуации. Десять шансов из ста было за то, что организм справится сам (об этой возможности говорили многие); десять — за то, что поможет лечение за границей; десять — что произойдет какое-нибудь чудо, которое сразу поможет стать здоровым. Итого: тридцать не самых весомых шансов против семидесяти. Тридцать в лучшем случае. Значит, нужно было готовиться к тому, что с армией предстоит расстаться.

Из приобретенного в армии Голикову, как будущему штатскому человеку, могло пригодиться умение объяснять. Ему нравилось быть учителем — еще с тех пор, когда его родители преподавали в школе при сахарном заводе во Льгове.

Однако для работы в школе Аркадию Петровичу недоставало образования: он закончил всего четыре класса реального, а в пятом проучился одну четверть. Правда, открываются разного рода курсы для взрослых. Но кто его будет кормить, пока он станет доучиваться?

Конечно, существовало множество ремесел, где его скучное образование не было бы помехой, но ремесла его не влекли.

Аркадий Петрович вспомнил все, чем довелось ему заниматься до ухода в армию: был делопроизводителем в укоме партии, техническим секретарем в газете «Молот».

Как никогда, он теперь нуждался в совете, в том, чтобы кто-то вместе с ним все взвесил и помог принять решение. Но советоваться с отцом стало сложно. Аркадий Петрович его по-прежнему любил, однако отец заметно постарел и опростился. У Голикова было ощущение, что отец его теперь не поймет.

Из близких оставалась еще мама. Она могла бы, по своим способностям, стать отличным врачом, потому что понимала и жалела больных, или общественной деятельницей, как Коллонтай, или журналисткой: мама живо и легко писала. Жизненные обстоятельства не позволили ей в полной мере проявить себя.

Но маму отличала проницательность. Многое в детях, в первую очередь в нем, Аркадии, она разглядела раньше других. Аркадий был еще совсем маленьким, когда мама заметила, что в нем проснулась потребность сочинять стихи. И она подарила ему альбом в сафьяновом переплете. Стихотворцем он не стал и не станет, но своим подарком мама дала понять, что уважает его тяготение к литературному творчеству. Не с этого ли дня он стал осознавать себя как личность? А после отъезда отца на войну мама велела подавать Аркадию чай в отцовском подстаканнике. «Он теперь единственный мужчина в доме...» — говорила она о десятилетнем сыне.

Когда Аркадий после ранения приехал в Арзамас и влюбился без памяти в Зойку, мама первая это заметила и деликатно предложила пригласить Зойку на обед или на чашечку чая.

Драма началась с того дня, когда сделалось известно, что у мамы роман с Зойкиным братом, Александром Федоровичем, высоким красавцем с мушкетерскими усами. Утаить в маленьком городе возникшие отношения оказалось невозможно. Мама решилась на отчаянный шаг — уехала вместе с Александром Федоровичем по партмобилизации в Среднюю Азию, в Пржевальск. Александр Федорович оставил свою семью, а мама бросила на попечение тети Даши девочек. Аркадий простил маме «позднюю любовь», хотя было больно за отца, но не простил, что она кинула на произвол судьбы сестер, и перестал маме писать.

Мама заведовала в Пржевальске райздравотделом и одновременно была председателем ревкома, налаживала здравоохранение и участвовала в борьбе с басмачами. Там она заболела туберкулезом и теперь жила в Крыму.

Мама была бы счастлива увидеть сына. Но после того, как Голиков два года ей не писал, он не решился к ней ехать, уверив себя, что не хочет волновать ее своими заботами.

На самом деле она каждый день его ждала, но узнать и понять это ему было суждено позже...

...Голикову вспомнилось, что мама советовала в свое время делать записи в дневнике «Товарищ». «Тебе потом самому будет интересно», — сказала она.

А когда он попал домой после первого ранения, мама часто садилась к нему на постель и просила его что-нибудь рассказать. Он отбирал случаи побезобидней, а если удавалось, то и повеселей. Мама слушала, не спуская с него своих серых потрясенных глаз. Иногда они наполнялись слезами, иногда прищуривались, словно мама пыталась угадать, через что же еще прошел ее мальчик, от которого исходил такой знакомый по больнице запах лекарств.

Однажды мама сказала: «Это нужно записывать». Он удивился: «Зачем? Я и так все помню».

...И теперь, сидя в глубоком, с облезающей обивкой кресле гостиницы «Дрезден», Аркадий Петрович как о само собой разумеющемся подумал: «Надо вернуться к рукописи».

У этой рукописи была своя история. Зимой 1922 года Аркадий Петрович приехал в Ужур. Место новое. Друзей и близких не было. А хотелось с кем-то посидеть, подумать, поговорить.

Однажды — просто так, для себя, только чтобы вспомнить, где, в чем успел, а где срывался, — он сел писать записки. Думал: «Выйдет интересно — переделаю в роман». Но первые страницы — про Арзамас — получились вялыми. А главное, понял, что пишет не для себя, что мысленно обращается к будущему читателю, и решил, что глупо делать двойную работу, надо сразу приниматься за книгу.

Роман задумал автобиографический и себя в нем вывел под именем Сергея Горинова, самоуверенного, находчивого, порой до дерзости смелого курсанта. И сразу пришло название — «В дни поражений и побед».

В романе Голиков писал о многом, что ему довелось увидеть и пережить самому. Так, по дороге из Москвы в Киев курсантский эшелон из-за какой-то мелкой поломки остановился в Конотопе. Начальник станции пустил вперед грузовой порожняк, который, едва отъехав от Конотопа, полетел под откос: крушение готовилось курсантскому эшелону.

Поведал Голиков и о том, как его, пятнадцатилетнего слушателя, назначили внезапно командиром курсантского оперативного отряда и послали на ликвидацию атамана Битюга. Этот Битюг занимался главным образом тем, что выводил из строя железнодорожные пути. Его банда растаскивала рельсы и шпалы.

Тогда же, летом девятнадцатого, случилась одна история, о которой Голиков не знал, как рассказать...

НЕНАПИСАННАЯ ГЛАВА

«Тревожные вести... Оборвана связь... Весна... Начало любви к Стасе».

Арк. Голиков. «В дни поражений и побед» (черновик)

Стася была хорошенкой телефонисткой лет семнадцати. Ходила она в коричневом платье гимназистки с кружевным воротничком и такими же манжетами. Кружева всегда сверкали белизной. Пышные рыжеватые волосы Стася стригла коротко, подбирала их возле ушей булавками. Нежное, слегка загорелое лицо ее всегда выглядело оживленно и приветливо.

На Киевских командных курсах работали по вольному найму еще несколько девчонок. Две чернобровые, яркие украинки

были явно красивее Стаси, но почему-то в Стасю была влюблена чуть ли не половина слушателей.

Словно ненароком курсанты встречали ее у ворот по утрам, когда она приходила на службу, и оказывались возле проходной в конце дня в надежде проводить Стасю до дома.

Но еще ни одному курсанту не выпадало такой удачи. Стася позволяла ее «немного проводить», если собиралось несколько человек. Но где-то на полпути она останавливалась.

— Мальчики,— говорила она,— возвращайтесь, а то командиры будут сердиться,— махала всем рукой и убегала.

Голикова угораздило влюбиться в Стасю тоже. Пока Стаси не было поблизости, он о ней, случалось, подолгу не вспоминал, но если в столовой за обедом или вечером после отбоя среди товарищей заходил о ней разговор, он чувствовал что-то вроде ревности, хотя не перемолвился с девушкой ни единным словом.

Тайная влюбленность Голикова в Стасю, наверное, сошла бы на нет, если бы комиссар курсов Бокк не устроил в актовом зале бывшего кадетского корпуса бал. Слушатели могли пригласить знакомых девушек.

Друг Аркадия, Яшка Оксюз, пришел с Олей (через неделю они поженились); Левка Демченко не отходил от тоненькой телеграфистки Саши; Федорчук явился с полной, яркой красавицей, которую всем представил как свою двоюродную сестру. А Голикову пригласить было некого.

Но ему повезло. Почти никто не умел танцевать, а Голиков в реальном трудолюбиво учился танцевальному искусству, поскольку в Арзамасе, где он приобрел известность «как декламатор из реального», его приглашали в женскую гимназию и на благотворительные балы.

Стася пришла на молодежный вечер в белом платье, белых туфельках, с белой сумочкой в руках и тоненькой ниткой жемчуга на загорелой шее. Когда Голиков ее увидел, он с трудом дождался, пока оркестр грязнул «На сопках Маньчжурии», и направился в сторону Стаси. Ее окружало десятка полтора курсантов, которые надеялись разговорами возместить свое неумение танцевать.

При появлении Голикова курсанты расступились. Он щелкнул каблуками, поклонился: «Разрешите пригласить...» Стася обрадованно улыбнулась, вышла из полуокольца поклонников, уверенно, как старому знакомому, положила на плечо руку, ожидая такта, чтобы войти в ритм вальса. И для них начался сказочный, неповторимый вечер.

Они легко поплыли по самой дальней кромке зала, потому что им нужен был простор. Казалось, они уже танцевали вместе

тысячу раз — так стремительно и невесомо было их скольжение по паркету под музыку военного оркестра, известного всему Киеву.

Так было танец за танцем. И хотя Голиков после арзамасских балов ни разу не танцевал, он изящно вел свою самую красивую на этом вечере даму, летел с ней по навощенному полу, будто по воздуху, галантно опускался перед ней на колено, чтобы обвести Стасю вокруг себя, потом снова вскакивал и летел дальше.

Наступил такой момент, когда все, кроме них двоих, перестали танцевать и только смотрели, словно попали в театр. И Аркадий со Стасей плыли по залу, будто не замечая, что оказались в центре всеобщего внимания. Стася время от времени приподымала веки, и Голиков видел по ее горячим глазам: она счастлива и благодарна, что у нее такой кавалер и что ей выпал небывалый успех.

Старенький капельмейстер, стоя вполоборота к залу, тоже любовался ими и не прерывал игры, пока совершенно не утомился оркестр.

После бала Голиков отправился провожать Стасю, которая на этот раз не протестовала. Они шли по ночному Киеву, где продолжалась неясная и тревожная жизнь. Раздавались негромкие голоса. Мелькали тени. Вспыхивали и поспешно гасли в окнах огни. Приоткрывались, кого-то впуская или выпуская, и тут же стремительно захлопывались двери домов. Оживление объяснялось просто: Петлюра подходил к Киеву. И ободрились многие — от притаившихся белых до профессиональных уголовников, которые поняли, что властям сейчас не до них.

Но Аркадий со Стасей не обращали ни на что внимания. Они были поглощены друг другом и той звеневшей в них радостью, которая выпала им среди войны в эту уже начавшуюся ночь.

Аркадий, чувствуя себя в ударе, негромко читал Стасе стихи Блока, Апухтина, Лермонтова и Пушкина, а потом, осмелев, и свои.

— Я хочу прочитать вам еще одно, — сказал Голиков. — Оно имеет посвящение: «Одной таинственной знакомой».

— Кто же эта знакомая? — спросила Стася, будто не догадываясь.

Но ответить Голиков не успел. Справа, из темных ворот, вышло несколько странно одетых мужчин. На высоком и широкоплечем была соломенная пастушья шляпа. На другом тускло поблескивал шелковый цилиндр, третий носил монашеский клобук, а еще на одном была дамская шляпа со страусовым пером...

Деловито оглядев улицу, компания убедилась, что все вокруг пустынно.

— А вот идет баиньки симпатичная барышня,— сказал тот, что был в соломенной шляпе.— Мы с ней побалакаем... Как это будет? — Он повернулся к клубку.

— Парле де франsez,— подсказал клубок.

— Ну, вот так мы с ней и побеседуем,— пояснила соломенная шляпа.

— А если солдатик не пожелает ждать? — спросил, подыгравая, клубок.

— Но мы ж недолго. (Ватага нарочито грубо заржала.)

— А ежели у него самого горячая кровь?

— Пропишем ему речных пиявок. Днепр неподалеку. (Ватага дружно хохотнула.) Или отворим кровь.

Этот, в соломенной шляпе, был, наверное, каким-нибудь доморощенным лекарем.

Стася, которая всю дорогу шла справа от Голикова, перебежала на левую сторону и вцепилась обеими руками в его предплечье.

— Аркаша, вы меня не бросите?

— Отпустите руку,— сказал он ей тихо, чтобы не услышала ватага.

Но Стася вцепилась еще сильней.

— Отпустите руку,— попросил он опять, замедляя шаг.— У меня в кармане пистолет.

По прищуру глаз и презрительности, мелькнувшей в ее лице, Голиков понял, что она ему окончательно не поверила. Стася знала: пистолеты носят в кобуре или в правом заднем кармане. И этот Голиков, которому она позволила себя проводить, не только трус, но и непроходимый лгун.

В последние мгновения перед драмой, которая ее ожидала, Стася еще нашла в себе силы усмехнуться.

— Я понимаю: вы утомились, танцуя,— сказала она громко.— Отдыхайте.— И отпустила его руку.

А у Голикова не было времени объяснять, что в правом кармане галифе у него от ношения маузера дыра. И поэтому, забежав после танцев к себе в комнату, он положил свой пистолет в левый.

Когда Стася больше не висела на нем, Голиков как бы машинально сунул руку в карман. Рукоять легла в ладонь, затвор был взведен. И Голикову сразу сделалось почти спокойно.

В ватаге — он насчитал — было шестеро. В пистолете, вспомнил Голиков, оставалось пять патронов. После вчерашней ночной перестрелки, когда он патрулировал по городу, он не

дозарядил маузер. Оплошность, которая могла дорого обойтись.

Еще одно встревожило Голикова: чем вооружена ватага? Через секунду-другую он, скорей всего, станет мишенью сразу для нескольких револьверов. Сможет ли он спастись сам и спасти девчонку, которая ему доверилась? Ведь если его убьют, ей несдобровать.

Была еще одна проблема: он не хотел стрелять первым. То, что несла эта полуписьная ватага, было оскорбительно, однако пока что это была болтовня. И пока что любой из этих боярков мог сказать: «Це ж мы пошутковали, а солдатик молоденький злякався и ну палить!»

Но если дать им открыть огонь первыми, можно просто не успеть ответить.

— Иди к нам, барышня, у нас тебе будет весело,— пообещал тот, что в соломенной шляпе.

— Ходи, гарнусенька, к нам, не пожалеешь,— добавил клобук.

И ватага стала рассредоточиваться. Трое прошли немного вперед, трое начали заходить со спины. Оставалась открытой подворотня, откуда шестерка вышла, но было очевидно, что Голиков со Стасей в эту западню не пойдут. А слева, против подворотни, начинался узкий переулок, который ватага еще не успела перекрыть.

— Бегите в переулок,— шепнул Голиков Стасе,— я их задержу.

Стася заколебалась. Бежать одной было страшно.

— Бегите! — уже раздраженно повторил он.

Оглядываясь, Стася сделала несколько неуверенных шагов. Ей почему-то казалось, что и это всего лишь хитрость трусоватого кавалера. Шайка кинется за ней, а Голиков побежит совсем в другую сторону.

Соломенная шляпа, клобук и еще один, в кепочке, поняв или услышав, чего хочет Голиков, чуть прибавили шагу, чтобы не искать потом девчонку по парадным. И тогда Голиков крикнул:

— Стоять!

Все трое от удивления остановились. Но остановилась и Стася.

— Беги, я тебе сказал! — разозлился Аркадий, машинально отступая в сторону переулка на несколько шагов, чтобы держать в поле зрения эту шестерку ряженых.

Только теперь Стася наконец поверила, что это не уловка, и кинулась в переулок.

Соломенная шляпа рявкнула клобуку и его соседу: «Ну!» — и повела головой в сторону Стаси. Двое рванулись, чтобы при-

пустить за Стасей, но Голиков крикнул: «Стояты!» И те замерли, не понимая, откуда в этом молодом солдате такая властьность тона и выдержка. Ведь ему с девчонкой все равно не убежать. При этом у мальчишки не было винтовки. На ремне не болталась кобура. Правда, левую руку он держал в кармане. Но кто же носит оружие в левом? От страха он все перепутал. Ни в левом, ни в правом кармане у него ничего нет.

А у Голикова мелькнуло: «Глупо умереть вот здесь, на пустынной улице, от руки обыкновенных ворюг».

Внезапно стук каблучков в переулке смолк. Либо Стася отыскала безопасное место, либо побоялась бежать дальше одна. А ватагу наступившая тишина привела в ярость: девчонка, похоже, смылась, они в дураках, а парень стоит и неизвестно почему командует. И соломенная шляпа, распалаясь, рявкнула:

— Девчонку найти! Она где-то ждет его. А это само...

— ...парле де франсез,— подсказал клубок.

— Да... мы устроим при нем. Теперь, хлопец, такое время, что все люди должны это... делиться. Кто чем может.

Он дернул головой. С места сразу сорвались двое — в клобуке и в кепке. Голиков, не поворачиваясь к ним спиной, отбежал еще на несколько шагов к переулку. И, вынув наконец из кармана руку и не перекладывая маузер, с левой выстрелил. С головы знатока французского слетел клубок.

Выстрел прозвучал неожиданно. Трое, что стояли поодаль, кинулись вдоль по улице врассыпную. Вожак сунул было руку в наружный карман пиджака. Опять хлоннул выстрел. Соломенную шляпу точно ветром сдуло с головы предводителя, но не унесло: шляпа была на резинке.

— Я велел стоять... — повторил Голиков.— Справа по очереди бросай оружие!

Вожак швырнул паган, двое остальных — ножи.

— Пистолеты! — напомнил Голиков.

— Один у нас... пистолет,— объяснил вожак.

— Повернулись ко мне спиной — и в подворотню!

Троица двинулась в сторону ворот. Голиков подобрал револьвер с двумя патронами и ножи, сунул за ремень. Сейчас он походил на разбойника с большой дороги.

Голиков мог отконвоировать эту троицу. Но куда и зачем?.. За хранение оружия сейчас не судили. Остальное же было как бы шуточкой...

Голиков шел по переулку, негромко повторяя:

— Стася, Стася, где вы?..

Она выпорхнула в своем белом платье из парадного, обхватила руками его голову и стала целовать щеки, глаза, лоб, губы,

и ее лицо было мокрым от слез. А он был так измучен, что не нашел в себе сил ей ответить. Он только неловко чмокнул ее, вынул из кармана белоснежный платок, вытер ей глаза, щеки, а потом отдал ей платок, чтобы она высморкалась,— так он делал, когда ревели сестры.

Стася спрятала платок в рукав и сказала:

— Я выстираю и тебе отдам... Помнишь у Чехова: «Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми ее»... Я завтра познакомлю тебя с родителями... Знаешь, я очень счастливая. Не случись такого, я бы не узнала, какой ты.

Голиков лишь к рассвету добрел до курсов. Обеспокоенный Бокк не ложился.

— Иди два часа поспи,— разрешил комиссар курсов, выслушав короткую исповедь.— Днем ты уезжаешь на Волынь командиром оперативного отряда.

В суете и сборах Голиков не успел повидать Стасю. А в экспедиции ему пришлось очень круто. Зеленые приложили немало стараний, чтобы уничтожить курсантский отряд. И наступил такой момент, когда Аркадий понял, что ему нужна помощь.

С величайшим трудом он дозвонился до Киева. И услышал голос Стаси.

— Аркадий, это вы? — Голос у Стаси был счастливый и ликующий.— Я все время вас вспоминаю! Когда вы приедете? Я выучила стихи, которые вы мне читали: «Никогда не забуду (он был или не был, этот вечер): пожаром зари сожжено и раздвинуто звездное небо, и на желтой заре — фонари...»

Но Голиков опасался, что связь в любое мгновение прервется.

— Стася,— перебил он ее,— передайте Бокку: мне нужны патроны, ручной пулемет и хотя бы еще двадцать человек... Здесь очень трудная обстановка.

— Аркадий, я записываю: патроны, ручной пулемет и хотя бы еще двадцать человек. Сейчас же передам. Я вас очень жду.

Но ни подкрепления, ни боеприпасов Голиков не получил. Дозвониться второй раз он тоже не смог: атаман Битюг спилил столбы.

Когда, обозленный, Голиков вернулся в Киев и с ходу выложил Бокку все претензии, Бокк сказал:

— О звонке и просьбе я слышу впервые. Я велю принести журнал дежурств.

На странице от 5 августа значилось: дежурство приняла и сдала Станислава Шимановская. Записи о звонке Голикова не было.

— Голиков, вы побледнели. У вас с ней роман?

— Я один раз проводил ее домой.

Бокк покрутил ручку телефона:

— Шимановскую ко мне.

— Шимановская не вышла на дежурство.

Посыльный вернулся с сообщением, что вся семья ночью куда-то спешно уехала.

Через три дня на Крещатике Голиков случайно столкнулся со Стасей. Она кинулась к нему, обрадованная и виноватая.

* * *

Из черновиков повести «В дни поражений и побед»:

«Вы сволочь, Стася, вы сволочь, Стася, и я не знаю, почему я не стреляю в вас...»

* * *

Тогда, летом девятнадцатого, Голиков долго не мог прийти в себя и неотступно думал: что же произошло?

Он не сомневался, что Стася искренно обрадовалась, когда он позвонил с Волыни, и записала в журнале, о чем он просил. Но страница оказалась вырваний.

Видимо, кто-то из ее близких состоял в белогвардейском подполье. Стасю устроили телефонисткой на курсы. Она первой узнавала о новостях, приказах и распоряжениях, которые поступали. Курсы были наиболее надежной частью киевского гарнизона.

Но когда позвонил он, Голиков, Стасю заставили не сообщать о звонке. Это было требование, которое обрекало ее на проигрыш. Однако расчет, видимо, строился на том, что отряд Голикова погибнет или вот-вот падет Киев. Но Голиков вернулся, а город еще не пал, и семье Стаси пришлось срочно переехать.

И еще Голиков спрашивал себя: правильно ли он поступил, когда, встретив Стасю, отпустил ее? Спасти девчонку от тех негодяев, а потом самому отконвоировать ее в особый отдел? Мальчишеское рыцарство взяло в нем верх.

«Да, в этом я виноват перед революцией,— думал позднее Голиков,— но я искупил вину тем, что не жалел себя...»

Теперь, по прошествии нескольких лет, он собрался было об этом рассказать. Но как?.. Не прицепится ли к нему задним числом какой-нибудь Коновалов из ГПУ? Не запросит ли киевские курсы: мол, был ли подобный случай? И писать не стал. Иметь дело с ГПУ он больше не хотел. Беседами с Коноваловым был сыт.

Голиков возвратился в Арзамас. Дома Аркадию Петровичу отвели Талкину комнату.

— Я не хочу стеснять Талку, — заявил он.

Талка-Наташа была любимой сестрой.

— Тебе нужен покой, — ответил отец. — И Талочка не возражает.

О матери в доме почти не говорили. В новой квартире, которую отец получил на улице Карла Маркса, 12, Голиков уже не нашел двух великолепных фотографий матери и отца, сделанных перед самой войной.

В Талкиной комнате возле окна стоял круглый стол из бывшей детской и висели книжные полки с любимыми книгами и немногими учебниками. В новой квартире со старой, бедной обстановкой Голиков почувствовал себя защищенным присутствием и вниманием отца, теткиной заботой и нежностью соскучившейся сестры. Талка без стука входила к нему в комнату, усаживалась на стул и начинала рассказывать про то, как они бедствовали до приезда отца, что пишут из Крыма Оля и Катя, которые жили с мамой, и как обстоят дела в комсомольской организации.

«Назначать свидания девчонкам время у них есть, — жаловалась она на мальчишек, — а напилить дров для больницы некогда».

Талка стала взрослой. Она уже знала, что очень красива, что это ей дает власть над мальчишками и право требовать от них повиновения.

На четвертый день, когда в квартире никого не было, Аркадий Петрович выдвинул из-под кровати свой чемодан, взял из него стопку тетрадей. На обложке одной из них была нарисована звезда с расходящимися лучами и стоял заголовок: «Арк. Голиков. «В дни поражений и побед». Аркадий Петрович работал над рукописью, пока не пришел обедать отец.

— Идем, сынок, — сказал он, входя в комнату, — все стынет.

Голиков вскочил: он еще не мог привыкнуть к такому чуду, что рядом отец, что его можно видеть сто раз на дню.

За обедом отец рассказывал городские новости, жаловался, что начальство ничего не понимает в кооперации, норовит прижать мужика, а он, отец, ездит в Нижний Новгород, спорит, заступается. Только благодаря этому закупки

сельхозпродуктов в уезде растут и кооперация набирает силу.

Но была в их теплых и добрых отношениях одна странность. Отец никогда не спрашивал: «Сыпок, а что ты пишешь?» Голиков чувствовал, отец считал его писания делом нестоящим: мол, стихами и другим бумагомаранием люди болеют, как и корью, в детстве...

В доме почти каждый вечер бывал Коля Кондратьев, друг Аркадия по реальному, комсомолу и 58-му полку, где Коля служил рядовым. Теперь он считался женихом Талки. Коля с Талкой беспрерывноссорились. Коля писал страстные письма с клятвами, мольбами и стихами. Длинные любовные реляции и посвященные ей сонеты Талка беспечно разбрасывала по всему дому.

Аркадий Петрович почти каждый день их мирил, но это мало что могло изменить: Талка не любила Колю. Возможно, у них бы все и сладилось, но сестру, комсомолку, раздражало, что Коля, недавно еще секретарь уездкома, служит приказчиком в лавке нэпмана, да еще в отделе дамского белья. Коля терзался от унижения, но другой работы не было.

— Ничего, Колька,— успокаивал Голиков,— Талка тебя еще оценит. Характер у нее, конечно, прямой и трудный — вся в меня,— но если уж полюбит, то на всю жизнь.

Казалось, Голиков мог в минуту разрешить самую сложную проблему, в том числе и свою. На самом деле ему было одиноко и тревожно от собственной неустроенности.

Однажды Аркадий Петрович поделился с Кондратьевым своими надеждами испытать силы в литературе. Но Коля был слишком поглощен собственной любовной драмой.

— Что ты? Разве можно теперь прожить писанием? — ответил он, не заметив, как побледнел Голиков.

Положение Аркадия Петровича становилось все более трудным. Ведь, помимо всего, он приехал посоветоваться. Он нуждался в поддержке. И однажды сказал:

— Папа, я хотел бы пригласить друзей, чтобы почитать мой роман.

Отец не спросил: «Какой?» Он только поинтересовался:

— Когда?

— Завтра.

— Хорошо, я приду пораньше с работы.

На другой день после обеда отец уже не пошел на службу, а принялся помогать тете Даше и Талке. Он вытирая пыль, рубил секачом мясо на пирожки, затем разложил по тарелочкам закуску: семгу, ветчину, свежий сыр, икру,— поставил бутылочку вишневой наливки, которая хранилась у тетки бог знает с

каких пор, выгородив на столе угол для Аркадия и его тетрадок.

А виновник суматохи, бледный, разом похудевший, с встревоженным лицом, безвылазно сидел вторые сутки у себя в комнате. Он зачеркивал, исправлял, переписывал, потому что ему вдруг все перестало нравиться и замирало дыхание при одной только мысли, что такое же скверное впечатление от романа будет и у гостей.

Первым, ровно в семь, явился Коля Кондратьев. Он был похож на американца из фильма — в клетчатом сером костюме, серой клетчатой кепке и крагах. И хотя пришел Коля слушать роман своего друга, он галантно протянул Талке какой-то сверток.

Коля получал в своей лавке большой оклад и считался завидным женихом. Помимо других достоинств, он вырос в хорошей, солидной семье: отец его был известный всему городу почтальон. Но Коле никто не был нужен, кроме Талки. А Талке не был нужен он.

Сидя в этот печальный для него день в ожидании других приглашенных на диване в столовой, Коля Кондратьев не знал, что участвует в событии, о котором со временем будут писать в книгах и статьях.

Не знал Коля и того, что в поисках счастья с разбитым сердцем он уедет вскоре на Урал, в Пермь. Там, в газете «Звезда», работал их общий арзамасский друг Шурка Плеско, назначенный заместителем редактора.

С этим отъездом на Урал у Коли будут связаны мечты стать прославленным журналистом, которого захотят печатать и столичные газеты. Что тогда ему скажет Талка? Что она ответит, когда к своему короткому письму — «помню и люблю» — он приложит десятка полтора блистательных статей, из которых будет очевидно, что он способен не только торговать дамским бельем?

Не знал Кондратьев и того, что следом, по совету все того же заботливого Шурки, в Пермь, пережив радость первого литературного успеха и новую жизненную катастрофу, приедет и Аркадий.

Там, в «Звезде», он возьмет себе загадочный псевдоним «Гайдар», которым станет подписывать фельетоны, и обретет местного значения известность. А заработав немного денег, задумает совершить путешествие по Средней Азии и пригласит с собой Кольку. Об этом путешествии Гайдар напишет потом книгу «Всадники неприступных гор», где будет и много реально случившегося, и много придуманного. Но главных героев будут звать так: Гайдар и Николай.

Потом они расстанутся надолго, пока их не сблизит и навечно не породнит сходство военных судеб.

В 1941 году Гайдар и Кондратьев уйдут на войну. Оба журналистами. Оба добровольцами.

В сентябре 1941-го Гайдар откажется от места в последнем самолете, который пойдет из окруженногоКиева на Большую землю. Он останется с попавшей в катастрофу 600-тысячной армией и пройдет с ней нелегкий путь до Канева и Леплявы, где на двух берегах Днепра теперь установлены два памятника писателю-партизану Аркадию Петровичу Гайдару.

Приняв самоотверженное и трагическое решение остаться в осажденном Киеве, Гайдар отправит жене, Доре Матвеевне, письмо, последнее, которое придет на Большую землю. Пошлет он его с двумя приятелями из той же редакции «Комсомольской правды», которые от места в самолете не откажутся, письмо же, разумеется с уверениями, возьмут. Но не передадут. Они стыдливо, без объяснительной записочки и каких-либо извинений, опустят его в почтовый ящик. И не появятся у Доры Матвеевны ни в сорок первом, ни сорок лет спустя, что не помешает им написать и опубликовать очерки, рассказы и книги, где они восторженно поведают, какое им выпало счастье «по-мушкетерски» на войне дружить с Гайдаром...

А Кондратьева судьба забросит в Севастополь. Редактор маленькой флотской газеты, Николай Федорович Кондратьев летом 1942-го откажется от места в подводной лодке и только попросит взять на Большую землю несколько номеров выпущенной им газеты. А сам останется с теми, кому выпадет драться у стен Севастополя до последнего патрона, прибереженного для себя, потому что отступать будет некуда.

Газеты, посланные Кондратьевым на Большую землю, где-то затерялись. Место гибели самого Кондратьева и его могила неизвестны. Как и многим тысячам неизвестных матросов, памятником ему служит Черное море.

Так в самом главном окажутся похожи два друга, два выпускника Арзамасского реального училища, два сослуживца из 58-го Нижегородского полка Голиков и Кондратьев, столь разные, казалось бы, по душевному складу и по уровню своих литературных дарований.

Вскоре прибежали запыхавшиеся Нина и Митя Похвалинские. Они совсем недавно поженились, дня не могли просуществовать порознь и стеснялись того, что им вместе так хорошо и что все это видят по их счастливым лицам.

Нина жила в одном дворе с Голиковыми, была подругой дет-

ских игр Аркадия и Наташи. Аркадий много раз по-рыцарски брал на себя нечаянные проступки Нины, потому что девочку дома за любую оплошность наказывали и ставили в угол.

С Митей же Аркадий Петрович познакомился в армии. Вместе с Кондратьевым Митя служил рядовым в 58-м полку. Однажды, когда Похвалинский по небрежности сбил холку своего коня, комполка Голиков послал его на кухню чистить картошку, пока не заживет холка.

Подошло еще несколько знакомых и приятелей. Отец просунул голову в комнату сына:

— Аркашенька, неудобно, полный дом гостей.

Голиков, сердясь, что не хватило времени, надел френч, застегнул его на все пуговицы, взял стоику тетрадей и вышел в столовую, забыв поздороваться.

— Я думаю, мы сначала закусим чем бог послал, — сказал отец, — к тому же пироги как раз поспели.

— Нет, — заявила проницательная Нина, которая в детстве была влюблена в Аркадия и всегда улавливала его душевное состояние, — мы сперва послушаем Аркашу. Ведь правда, Митя? — И покраснела оттого, что все опять увидели, какая она счастливая.

— Конечно, послушаем, — согласился Митя.

Первую страницу Голиков прочитал настолько тихим голосом, что тетка ему сказала:

— Аркашенька, ты погромче. А то я ничего не разберу.

И он стал читать громче. За столом воцарилась тишина. И если кто, утомясь от неподвижной позы, задевал ботинком за ножку стула, на него осуждающие смотрели.

Часа через два отец предложил сделать перерыв:

— Аркаша, все после работы...

— Да-да, — согласился Аркадий Петрович.

Гости в самом деле проголодались и набросились на еду. И Голиков чувствовал себя покинутым и одиноким. Сам он есть не хотел.

За столом сохранялось напряжение, будто все собирались у постели больного. Чувствуя это, отец не стал разливать наливку. Вино требует тостов. За что же пить? За роман? Но кто же знает, хороши ли остальные главы? И гости, видя, что Аркадий нетерпеливо ждет, пока они расправятся с едой, торопливо и смущенно жевали и глотали, не разбирая вкуса пирогов и блюд.

— Аркаш, а ты почему не синь? — сказала Нина. И вдруг поняла: — Ты так волнуешься? Но ведь это очень интересно, глупый. Не веришь — спроси у Мити.

Это был самый первый читательский отзыв. И давящая тяжесть от ожидания неминуемого провала отпустила Голикова. Он благодарно улыбнулся (как человеку, в сущности, мало нужно!) и ткнул вилкой в тарелку с розовой ветчиной. Он давно уже очень хотел есть.

Всю вторую часть вечера Голиков читал, то и дело поглядывая на Нину. Так, он знал, делают на корабле во время качки, чтобы устоять на ногах и не подхватить морскую болезнь. Когда же он закончил, мозеровские часы на стене пробили два.

— Аркашенька, ты молодец, — сказала Нина, — ты настоящий писатель... Митя, отвернись. — И она поцеловала Голикова.

— Хорошо пивень про войну, — сказал печальный Кондратьев. — Точно. Никакой клюквы.

— Жаль, что это не про наш 58-й полк... — вздохнул Митя. — Но нам с Ниночкой правится.

Друзья ушли. Настала минута, которую Голиков ждал и больше всего боялся: они с отцом остались одни.

Аркадий Петрович с детства во всем подражал отцу. На войне, когда возникали обстоятельства, где он не знал, как ему поступить, а требовалось немедленное решение, он спрашивал себя: «А как бы поступил отец?» И всегда находил простой, дельный ответ, в котором заключалась такая крестьянская обстоятельность и житейская опытность, которой у самого Аркадия быть не могло, как не могло, скажем, быть навыков вождения паровоза.

И хотя они с отцом не виделись четыре года, их духовная близость, которая возникла в детстве, дала возможность Голикову избежать многих ошибок и промахов. Сколько раз, поступая, «как папа», он удостаивался похвал начальства и молчаливой благодарности самых беспощадных своих судей — бойцов!

— Ты хочешь знать мое мнение? — спросил отец.

Он машинально провел ладонью по бритой голове, и рука его дрожала.

Отец остался таким же доброжелательным, заботливым и мудрым, каким он был всегда, но при этом из него что-то ушло. Какая-то часть его существа словно отмерла.

— Мне твой роман тоже понравился, хотя начало скучновато. Но если ты будешь много заниматься, способности твои разовьются. Здесь ты весь в маму. — Он замолчал. Отец продолжал любить мать, и годы разлуки эту любовь не ослабили. — Но ты не учитываешь: тебе скоро двадцать лет, а у тебя никакой профессии.

— Папа, я пока еще военный человек.

— Сын мой, посмотрим правде в глаза. Ты был военным

человеком. И я был. Но платят мне не за восемь лет пребывания на войне, а за то, что я скучаю излишки продуктов у крестьян. Страна разорена, как после нашествия Мамая. И печники, бондари, землепашцы и торговцы еще долго будут нужнее писателей.

— Но ты же сам мечтал обучить грамоте всех крестьянских детей России.

— Да, мечтал.

— Почему же ты отказываешь в праве мечтать мне?

— Потому что такие мечты требуют здоровья. У меня оно было. У тебя его нет. Ты его оставил на войне. А теперь давай посмотрим, во что обходится занятие литературой. Я тут подготовил для тебя записочку. Добролюбов умер в 25 лет. Решетников — в 30, Слепцов — в 32. Гаршин бросился в лестничный пролет в 33. Белинский сгорел от туберкулеза в 37. Чехов — в 44. Гениальный, при жизни признанный Гоголь получил душевную болезнь и уморил себя с голоду в 52 года. Я не говорю про Рылеева, Лермонтова, Пушкина, не говорю про Чернышевского, Полежаева, Шевченко. Так или иначе, они умерли насильственной смертью...

— Папа, я много раз мог умереть на войне. И если я проживу хотя бы еще десять лет...

— Пойми, у тебя их может не быть. — Глаза отца блеснули слезами.

— А почему ты не приводишь в пример Льва Толстого, который прожил 82 года, или Тургенева? Он до старости лет, я читал, был влюблён в Полину Виардо.

— У них были «дворянские гнезда». Поэтому их не тронула чахотка. Толстой мог позволить себе отказаться от денег за издание своих книг.

— Что ты мне предлагаешь?

— Нельзя строить судьбу в расчете на то, что удастся напечатать твои тетрадки. С работой теперь плохо. Коля торгует у частника кружевными панталонами. Но тебе, как бывшему комполка, должность подберут. Я уже говорил. Если твои литературные дела пойдут хорошо, ты службу оставишь. А если не получится, у тебя есть надежный тыл. Что ты на меня укоризненно смотришь? Думаешь, я старый и сильно поглупел?

— Сорок пять лет, папа, — не старость, хотя война не молодит. Я хочу тебе напомнить, что в молодости тебе не грозил голод, а ты убежал из дома, бедствовал, почти нищенствовал, чтобы стать учителем. Почему же ты отказываешь в праве рисковать мне?

— Мой романтический порыв закончился ислепо. Я мечтал просвещать, пробуждать детские души. А стал акцизным чиновником... Теперь — кооператором.

— Зачем же ты посылаешь в чиновники и меня?

— От безвыходности. Кончится твоя пенсия, на что ты будешь жить? У меня только жалованье. Я посылаю Оле с Катей в Крым, скоро Талочка уедет учиться в Нижний — придется посылать и ей. Нам с тетей тоже нужно на что-то жить.

— А если мне повезет?

— Я был бы счастлив увидеть в витрине книгу: Аркадий Голиков. «В дни поражений и побед». Но быстро и легко слава приходит только к гениям. Державин хотел расцеловать юного Пушкина, Белинский и Некрасов прибежали почью к молодому Достоевскому, прочитав «Бедных людей», а Байрон однажды проснулся и узнал, что он знаменит. Но эти случаи потому и сохранились в памяти, что были исключением. Не сердись, но большого дарования в тебе я не вижу.

Голиков и сам себя спрашивал: «А если все окажется напрасным? Если книгу никто не напечатает?» Сейчас было не поздно сказать: «Да, папа, ты прав, я сделаю, как ты советуешь».

Но Голиков уже знал: тетрадные страницы способны поглощать все силы. И еще он убедился: строки, написанные утром, на свежую голову, лучше, точнее тех, что ложатся на бумагу вечером, после рабочего дня. Так было у него, хотя он знал, что Достоевский писал и диктовал только по почам. И по почам писал Бальзак. А если Бальзак садился за стол днем, то задергивал шторы, будто ночь.

Но самый главный вывод, который сделал для себя Голиков, состоял в том, что ходить на службу днем, а писать почью он уже не мог. На это просто не было сил.

Так он оказался перед выбором: либо принять предложение отца, либо уехать. Стать шестым ртом в доме в расчете на отцовское жалованье он не мог.

Отец сидел и ждал, машинально кроша на тарелке кусок пирога с мясной начинкой.

— Я понимаю, папочка, твою озабоченность. Знаю, сколько ты сделал для дома, для девочек. И все-таки, мне кажется, сегодня ты не прав. У каждого человека должна быть мечта и возможность, пусть единственная, рискнуть. В твоей и маминой судьбе многое не задалось. Но хотел бы ты представить свою молодость без дерзаний, без работы с детьми, без праздников, которые вы с мамой устраивали своим ученикам?

— Конечно, нет.

— И еще. Ты был солдатом. Потом стал командиром полка. Тебя водили в бой. Потом водил в бой ты. Помнишь ли ты хоть один случай, чтобы солдата оторвали от земли в атаку и тут же крикнули, что отступать он должен вон в тот лесок?.. Спасибо тебе за твою заботу, но я сегодня вечером еду в Петроград.

ОТЧУЖДЕНИЕ

Голиков приехал в Петроград. Он попал сюда впервые. На привокзальной площади он обратил внимание на громадную, несуразную фигуру то ли городового в круглой шапке, то ли ямщика, восседавшего на тяжеловесном битюге. Это был памятник Александру Второму, поставленный его сыном Александром Третьим. Памятник обошелся в свое время в миллион рублей.

На той же площади сутились сотни приезжих. В стороне выстроились извозчики пролетки.

Голиков застегнул шинель, подхватил увесистый чемодан и подошел к милиционеру:

— Как пройти к Главному штабу?

— По Невскому прямо. Видите шпиль Адмиралтейства?.. Не доходя, направо.

И Голиков ступил на Невский проспект, о котором читал и с которым был знаком по множеству снимков и литографий. В первые минуты проспект никакого особенного впечатления не произвел. Просто длинная, ровная улица с добрыми домами. Но Аркадий Петрович осталенел на Аничковом мосту, где атлет укрощал горячего коня. Скульптор изобразил четыре момента. И Голиков, который несколько лет провел в седле, впервые видел столь совершенную красоту человеческого и конского тел, отлитую в уже позеленевшей бронзе.

Аркадий Петрович сразу узнал улицу имени 3-го июля с полукруглым зданием Публичной библиотеки. Он вспомнил известный снимок: 3 июля 1917 года на пересечении Невского и Садовой была расстреляна из пулеметов демонстрация, которая требовала от Временного правительства прекращения войны. И кто-то с соседней крыши сделал этот снимок-обвинение.

Потом Голиков поразился махине Казанского собора с двумя памятниками — Барклаю де Толли и Кутузову. А на том же Невском, напротив собора, высилось угловое здание с глобусом

на крыше — бывшее торговое представительство известной фирмы «Зингер»: она торговала по всему миру швейными машинками. У входа Аркадий Петрович увидел вывески, от которых у него дрогнуло сердце. Здесь помещалось Государственное книжное издательство, редакция альманаха «Ковш» и еще какие-то издательские заведения. Но Голиков поспешил пройти мимо: он еще не был готов нести сюда рукопись.

Перво-наперво следовало повидать школьного учителя Николая Николаевича Соколова, прозванного Галкой, который восемь лет назад, возвращая домашнее сочинение «Старый друг лучше новых двух», сказал:

«Я нахожу, Голиков, что у вас есть литературные способности».

Тогда, на уроке, он, Голиков, не сумел оценить волшебства этих слов. После короткого периода, когда он увлекся писанием стихов, а учитель остудил его порыв: стихи он тогда сочинял плохие,— Аркадию расхотелось быть писателем. И неожиданный успех домашнего сочинения застал его врасплох.

Получив приглашение Галки бывать у него на квартире и брать домой любые книги, Голиков больше всего на свете боялся, что учитель будет говорить с ним о его литературных способностях, которые Аркадия в ту пору совершенно не интересовали.

Теперь же он повзрослел и многое понял. Прежде всего, как дорого стоит, оказывается, человеческое участие. Голикову пришлось проделать путь от Хакасии до Москвы, от Москвы до Арзамаса, из Арзамаса в Петроград, чтобы повидать старого учителя, показать ему роман и спросить: «Я смогу стать писателем?»

Миновав мост через речку Мойку, Голиков увидел справа короткую изгибающуюся уличку и свернул в нее. Улица заканчивалась высокой желтой аркой, за которой открывалась широченная площадь с громадным столбом посередине. Его венчал ангел с крестом. То была площадь Урицкого. Раньше ее называли Дворцовой. На противоположной от арки стороне тянулись лепные стены Зимнего дворца, того самого, где полтора столетия жили русские цари.

Будь у Голикова другое настроение, он осмотрел бы и арку, и Александрийский столп, воспетый Пушкиным, и Зимний и, конечно, вышел бы на Неву. Но, очутившись возле дома, где поселился Галка, он заторопился к учителю.

Николай Николаевич жил в общежитии Военной академии имени Толмачева, в которой теперь преподавал. Общежитие располагалось в помещении бывшего Главного штаба. Вах-

тер предупредил Голикова, что Николая Николаевича еще нет.

— Ничего. Я подожду,— ответил Голиков.

Он поднялся на третий этаж, прошел по длинному полуovalному коридору, нашел комнату Галки. Она была заперта. Голиков поставил возле нее чемодан и выглянул в окно.

Дворцовая площадь была как на ладони. Слева он нее желтело здание Адмиралтейства с золотым шпилем, увенчанным золотым парусником. А между Зимним и Адмиралтейством на другом берегу Невы серела мрачная крепостная стена, над которой тоже взмывал золоченый шпиль. То была Петропавловская крепость. Построенная Петром Первым как морская крепость, она позднее стала главной политической тюрьмой страны. А теперь превратилась в музей. Голиков об этом читал.

Еще Голиков подумал о том, как необычно складываются людские судьбы. Галка преподавал словесность в Арзамасском реальном. Когда началась революция, его назначили редактором первой в городе большевистской газеты «Молот». Одновременно он заведовал отделом народного образования. Затем его послали на работу в Нижний Новгород, потом в Москву, теперь он обосновался в Петрограде. В Толмачевке Галка был проректором по науке, читал курс русской истории и вел словесность. Командиров Красной Армии приходилось прежде всего учить грамоте.

Голиков улыбнулся, подумав, что Галка обрадуется, узнав: его бывший ученик командовал ротой, полком, боевым участком, был рекомендован в Академию Генерального штаба... Кто знает, вдруг Галка возьмет да и скажет:

«А давай-ка, Аркадия, пошлем подальше докторов. Конечно, наша Толмачевка — не Академия Генштаба, но мы тоже даем недурное образование. Бумага о том, что ты командовал полком, у тебя есть? Сходим к ректору. Я предложу ему для начала зачислить тебя вольнослушателем. А там, даст бог, переведем и в основной состав».

Правда, в такой сказочный поворот событий верилось не очень. А с другой стороны, кто может сказать, как через полчаса в наше время повернется твоя судьба?

Или даже так. Галка позвонит в издательство:

«Я прочитал рукопись одного командира, моего бывшего ученика. Это автобиографические записки. По-моему, любопытные, я бы рекомендовал их посмотреть и, по возможности, опубликовать...»

Раздались шаги. По коридору утомленно шел сугубо штатский человек в мятом френче и потерявшей форму фуражке с матерчатым козырьком. Облик дополняла мужицкая запущен-

ная борода, но сквозь стекла золотых очков смотрели знакомые, с острым взглядом глаза.

Голиков ринулся к бородачу:

— Николай Николаевич!

Галка, неприятно пораженный, отпрянул:

— Прошу извинить, но по служебным делам я дома не принимаю.

— Николай Николаевич, это я, Аркадий Голиков, я учился у вас в Арзамасском реальном!

— Голиков?!

Бывший учитель деловито прижал Аркадия Петровича к себе. Затем отпустил и начал шарить по карманам в поисках ключа. Наконец отомкнул дверь и пригласил:

— Входите.

Новое жилище бывшего учителя не походило на прежнее, как и он сам. Это была комната метров в тридцать, с двумя высокими окнами, почти без мебели. Обстановку составляли складная кровать-гармошка, застеленная почему-то лоскутным одеялом, как в домах бедняков, и письменный стол, который, по всем признакам, служил по преимуществу обеденным. К стене был прислонен единственный стул с кожаной узорчатой спинкой.

При скудности мебели комната не выглядела пустой. Вдоль ее стен почти в человеческий рост выселились штабеля книг: старинных — в кожаных переплетах и новейших — в мятых, полуоторвавшихся обложках. Это были все больше труды по истории.

— Вы прямо с вокзала? — спросил Николай Николаевич. — Тогда мы, не откладывая, соорудим чаек.

Через четверть часа они сидели за столом: Голиков — на единственном стуле, а Галка придвинул складную кровать.

— Я имел сведения о вас, — сказал Николай Николаевич, — когда вы командовали 58-м полком, там служило много наших земляков. Они сообщали, что относитесь вы к солдатам хорошо и зря под пули не посыпаете.

Голиков покраснел. Он понятия не имел, что о нем пишут бойцы.

— А теперь, Аркадий, выкладывайте, где вы нынче живете и служите.

Голиков без лишних деталей поведал, как сложилась его судьба после Тамбовщины.

— Приехал посоветоваться, — закончил он и вынул из чехла стопку тетрадей.

Галка сдвинул в сторону чашки и тарелки, освобождая ме-

сто, но радости и оживления оттого, что его ученик приехал издалека, чтобы показать свой первый роман, на лице Николая Николаевича не появилось. Галка утомленно пролистнул несколько тетрадок, словно прежние ученики ему каждый день приносили рукописи на отзыв.

— Хорошо,— сказал он,— приходите в субботу, поговорим.

Голиков остолбенело поднялся. Он меньше всего думал, что ему поздно вечером нужно будет искать почлег. Он даже прикинул, что отлично устроится на полу, постелив газеты и укрывшись своей шинелью. А почевать пришлось на Николаевском вокзале.

Сквозь дрему Голиков вспоминал, что еще в Арзамасе Галка славился как добротой и щедростью (при том, что жил на преподавательское жалованье), так и трудно объяснимыми чудачествами, когда он подолгу не появлялся в училище и никого дома не принимал. Ходили слухи, что он тайком попивает, но они скоро рассеялись. А потом стало известно, что у Галки периодами бывает подавленное настроение, тогда он избегает людей и становится необщителен. Вероятно, под такое настроение и попал Голиков.

Утром на Фонтанке, возле Цепного моста, Аркадий Петрович снял комнату. Хозяйке, Галине Афанасьевне, он сказал, что поживет недельку. На самом деле у него было предчувствие, что он приехал в Петроград надолго.

Комната была маленькой, но с отдельным входом из коридора. И еще Голиков был доволен, что поселился неподалеку от Невского. Рядом стоял Большой драматический театр. На его сцене Аркадий Петрович увидел знаменитого комика Горин-Горяйнова в «Смерти Тарелкина» и артистов Московского Художественного театра, которые приехали на гастроли.

А днем он гулял по городу, чаще всего по Невскому. Многое тут ему пришло по душе, но больше всего нравились, как их называли, старые петербуржцы: вежливые, доброжелательные, отзывчивые, они охотно объясняли, как пройти к Александрийскому театру или к Марсову полю. И речь их была изысканная, интеллигентная, словно каждый, кто жил в этом городе, непременно кончал хотя бы классическую гимназию.

Голиков изматывал себя ходьбой по городу. Он успевал за день побывать в двух-трех музеях, повидал многие исторические места. И ждал субботы.

Когда в назначенный день с кульками и пакетами, которые норовили выскочить из рук, Аркадий Петрович появился в комнате учителя, тот решительно заявил:

— Половину пакетов унесете с собой.

Голиков не сводил глаз с озабоченного лица учителя, надеясь понять, прочитал ли Галка рукопись и какое она произвела впечатление. Но Николай Николаевич, предупредительный и чуткий в прежние времена, здесь, будто испытывая терпение Голикова, неторопливо выкладывал на тарелки балык, колбасу, пирожные от «Норда», а Голикову поручил нарезать хлеб. Наконец он принес из кухни чайник.

— Ну, будем пить чаек и разговаривать,— пообещал Галка.— Делайте бутерброды.

Голиков положил себе на хлеб кусок рыбы, но есть не смог.

— Тяжелая была у вас на войне жизнь,— сказал Галка.— Это ведь только девятнадцатый год. А воевали вы по двадцать второй...

При других обстоятельствах Голиков был бы рад поддержать этот разговор, но сейчас решалась его судьба. И, чувствуя, как бьется о грудную клетку сердце, спросил:

— А рукопись... на что-нибудь годится?

— У вас довольно свободная манера письма. Некоторые события вы изобразили занятно. Вот история с разоблаченным мельником — она была на самом деле?.. А всякие там школьные шалости не интересны.

Последняя фраза совершенно добила Аркадия Петровича. Страницы про реальное можно и выбросить. Главное: продолжать или нет? Но об этом Галка ничего не сказал, хотя и сделал несколько замечаний.

— Спасибо, что прочли.— Голиков сгреб тетрадки, вынуя из кармана купленную по дороге «Вечернюю газету».

— Давайте перевяжем веревочкой,— предложил Галка.

— До свидания,— сказал Голиков, когда упаковал тетрадки.

Николай Николаевич кивнул, приглашения заходить не последовало.

Почти ничего не видя перед собой, готовый швырнуть на землю газетный сверток, Голиков вышел на Невский.

Был поздний вечер. На столбах горели старинные квадратные фонари, переделанные из газовых. Проходя мимо сквера возле Казанского собора, Голиков опустился на первую свободную скамейку. В нескольких шагах от него, на пьедестале, держа в вытянутой руке подзорную трубу, стоял сокрушитель Наполеона, фельдмаршал и светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов.

Беседы, ради которых Голиков приехал в Петроград, не получилось. Аркадий Петрович вполне допускал, что Галка находится в том полуболезненном состоянии, когда в Арзамасе он просто запирался дома. Если бы Голиков появился днём

на десять раньше, вероятно, Галка принял бы его по-другому.

Теперь Голикову рассчитывать было просто не на кого. Но самый печальный итог встречи состоял в том, что Голиков не мог сказать, верит ли он в себя, как прежде. Ведь если бы рукопись всерьез чего-нибудь стоила, Галка отметил бы это. А он так говорил о романе, будто прочитал пачку писем, которые прислали с войны один знакомый.

Между тем о школьных сочинениях Николай Николаевич, случалось, беседовал с ним, Аркадием, часами, особенно когда Голиков удачно написал еще одну работу — «О разнице поэзии и прозы».

Конечно, можно было бы вернуться в Арзамас. Отец бы простил и резкость в споре, и презрение, с каким он, Аркадий, отверг канцелярскую должность. Но Голиков еще в детстве с иронией отнесся к библейской легенде о блудном сыне, который «ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный»*.

Голиков и тогда, в детстве, осудил блудного сына не за то, что он вернулся к отцу, а за отсутствие характера. Вернуться домой, не добившись цели, — это не по-мужски. А в нем, Голикове, дома воспитывали мужской характер. В особенности, как это ни странно, твердости и последовательности требовала мама. Возможно, потому, что ей в молодые годы недоставало твердости в характере отца. И она желала видеть эту твердость в сыне.

О возвращении в Арзамас теперь не могло быть и речи.

«Поехать бы к маме, — подумал он. — Она бы прочитала и все прямо сказала». Но отправиться в Крым сейчас значило уподобиться тому же блудному сыну. Пока он, Голиков, был здоров и на службе, он считал себя вправе обижаться на маму и не писать ей, а теперь, когда ему пришлось туго, он готов мчаться в Алупку.

Мама была опасно больна. Туберкулез сжигал ей легкие. Навестить ее было необходимо. «Я сделаю это, по не раньше, — поставил он себе условие, — чем добьюсь какого-нибудь успеха».

Аркадий Петрович отвлекся от своих размышлений, взглянул на вечерний Невский. Напротив Казанского собора, на углу Невского и канала Грибоедова, темнел дом с глобусом, где помещались все ленинградские издательства.

Еще нынче днем Голиков думал, что скоро придет сюда, но встреча с Галкой совершенно выбила почву из-под ног.

«Ничего, не пропаду, — почти вслух подумал Голиков. — Пусть я не гожусь для учебы в академии и службы в армии, пусть я не гожусь писать книги. Но у меня еще не совсем глупая голова и есть руки, которыми я могу выжимать двухпудовые

гири. Пойду в грузчики, а романы пусть пишет какой-нибудь современный лорд Байрон. Однако для начала я сделаю доброе дело и спущу в канал тетрадки».

Эта мысль неожиданно развеселила Голикова. Во-первых, канал был назван в честь Грибоедова, комедию которого Голиков помнил наизусть и ставил в Хакасии. Во-вторых, канал проходил мимо дома с глобусом, и Голиков как бы отдавал честь всем издательствам, редакциям и редакторам. А главное: канал служил для отбросов...

До чугунной ограды было менее ста метров. Голиков поднялся, держа газетный сверток за аккуратную петельку, умело завязанную Галкой. Эту стопку тетрадей он таскал за собой по всей Хакасии, вез в Красноярск, оттуда в Москву, наконец в Петроград, чтобы рукопись нашла свое окончательное пристанище на дне канала Грибоедова.

Голиков четко представил, как занесет руку со свертком над медленно текущей, грязной водой с бликами от уличных фонарей, разожмет указательный палец, с него легко соскользнет петелька, пакет плюхнется, поплынет, как бумажный кораблик. Пористая бумага быстро напитается водой, и пакет уйдет на дно. И у него, Аркадия Голикова, начнется совершенно другая жизнь. Какая, он не знал. Но завтра спозаранок, совершенно точно, он уже не кинется к столу.

Едва Голиков представил это, как ощутил озноб, а затем ему сделалось жарко до дурноты, будто, сидя на холодной скамейке, он подхватил горячку или сыпняк. В висках застучало: тук-тук!.. Видимо, близился приступ, который сейчас был бы совсем некстати. Голиков представил: его привезут в больницу, в приемном отделении, ухмыляясь, развернут сверток, а ему это теперь было ни к чему. Сверток оттягивал палец и всю руку. И прежде чем отключится сознание, понял Голиков, он должен избавиться от свертка.

Голиков поднялся, одернул шинель и увидел, что фельдмаршал и светлейший князь Михаил Илларионович, сойдя с высокого пьедестала, стоит на тротуаре, опустив подзорную трубу и осуждающе глядя на него своим единственным зрячим глазом.

Голиков чуть было не спросил: «За что?» — хотя нелепо было задавать вопросы бронзовой статуе. Но Кутузов, будто прочтя его мысли, ответил:

«За малодушие. То, что ты пожелал знать мнение своего отца и своего учителя, свидетельствует о твоей почтительности к старшим. Это похвально. Однако то, что ты так сильно огорчился, услыша их суждения, говорит о твоем слабодушии. Не хватало только, чтобы ты и сам нырнул, как истеричная девица,

в тот же канал. Это, батенька, не по-мужски. И не достойно русского офицера. А в вашей семье, семье Сальковых, к которой принадлежит твоя мать, все были офицерами стойкими. Я знаю. Я с кем-то из них служил. Да и ты в слабохарактерности до сих пор замечен не был».

«Но если...»

«Нужно уметь выслушивать все мнения. Если же они тебя не убедили, останься при своем. Отец твой — хороший человек, но неудачник. И бой, где был ранен солдат, всегда кажется ему сокрушительным поражением, хотя на самом деле он может быть сокрушительным для противника. Учитель твой тоже хороший человек, но он болен: что-то с первами. И это делает его порой безразличным к жизни вообще, в том числе и к твоей. Ты тоже, конечно, не здоров. Но ты молод, в тебе есть мечта. Останься ей верен. Человек часто лучше знает, на что он способен, нежели другие».

Мимо прошла группа студентов. С удивлением и испугом они посмотрели на то, что массивный бронзовый Кутузов стоит на тротуаре и ведет неторопливую беседу. Но Голикову сейчас было не до мнения прохожих. Он наконец услышал то, из-за чего приехал в Петроград.

И внезапно в сознании Аркадия Петровича родилась очень важная мысль. Кутузов уже много лет высился на своем пьедестале как победитель французов, хотя не дожил до падения Парижа. В Париж вошел Александр Первый.

Рядом с Кутузовым, на таком же пьедестале, стоял Барклай де Толли, «непопулярный немец» (как назвал его Толстой), которому выпал тяжелый жребий командовать всей русской армией в начале нашествия Наполеона. Барклай не видел иного способа ослабить французскую армию, как увести ее в глубь России. Но Барклаю не верили. Сместили. Он принял эту несправедливость с величайшим достоинством, остался при армии. А Кутузов, заняв его место, продолжал отступать. Другого пути не было и у него. И памятник поставили им обоим за мужество в дни поражений.

«Вот именно, — снова услышал Голиков странный, металлизированный, будто из бочки идущий голос. — Ты думаешь, легко было произнести: «Властью, врученной мне моим государем и отечеством, я приказываю оставить Москву!»?

«Нет-нет, упаси бог, нет!»

«Может, я даже написал это в приказе Давно было. Не помню. Тут, на лавочке, уселись однажды молоденькие барышни. Они смотрели на меня и читали по очереди книжку «Война и мир» какого-то графа Льва Толстого. Я не имел чести

его знать, но многое он поведал очень верно. И у него в книге сказано, будто этих слов я не произносил, будто они сказались сами. Тут он ошибся. Кто-то должен был эти слова произнести. Кто-то должен был взвалить на себя их непомерную тяжесть. Я это сделал, потому что считал это единственным правильным. История показала, что я поступил верно. Настоящий путь легким не бывает».

Кутузов повернулся к Голикову спиной, положил на край постамента свою трубу, опустил на гранитную приступочку тяжелую чугунную ногу и, с немыслимым проворством взлетев на пьедестал и поправив плащ, опять взял в руку подзорную трубу.

...Голиков продолжал сидеть на той же лавке. Его бил озноб. А перед ним на постаменте высился Кутузов и вытянутой рукой с подзорной трубой показывал ему на двери дома с глобусом.

Внезапно Голиков рванулся, будто его ожгло кнутом: «Где тетради?»

Рядом, на лавке, лежал газетный сверток, перевязанный шпагатом. Петелька его была оборвана.

ОДИНОЧЕСТВО

На следующий день Голиков не находил себе места. Два вчерашних разговора не выходили у него из головы. Он понимал, что встреча с Галкой была наяву. Об этом напоминал газетный сверток с тетрадками, перевязанный шпагатом. А разговор с бронзовым фельдмаршалом был, скорее всего, сном — там, на скамейке, в преддверии несостоявшегося пристуна. Сон был очень коротким, быть может даже молниеносным, но из тех, что запоминаются навсегда, как явь. В ушах стоял странный, металлизированный голос. Любопытно, был ли он похож на голос самого Михаила Илларионовича?

Два потрясших Голикова впечатления — безразличие, проявленное бывшим учителем, и слова полководца, который призвал не поддаваться малодушию, — еще никак не укладывались в его сознании.

Голиков подумал, что неудачи преследуют его. Он не поймал Соловьева, заболел, не прошел в академию и не сумел выздороветь, несмотря на созданные условия. Наконец он понял, что со службой в армии покончено. Он выбрал другую профессию.

И вот сначала его решение не поддержал отец, а потом не поддержал и школьный учитель, который восемь лет назад публично объявил, что у него, Аркадия Голикова, есть литературные способности.

Галка не принадлежал к двоедушным людям, которые говорят одно, а думают другое. Двоедушие среди интеллигентных людей вообще не принято.

Галка, несомненно, был тогда искренен. Поэтому важно было понять: его вчерашнее безразличие шло от нездоровья или оттого, что учитель в нем, Голикове, ошибся?

А в голове звенели слова бронзового фельдмаршала: «Человек часто лучше знает, на что он способен, нежели другие».

«Буду продолжать», — сказал себе Голиков. Но радости эти слова в его душе не вызвали. Он собирался в неведомый путь, не представляя, сколько продлится дорога и куда приведет (или заведет?). Самым пугающим было, что он остался совершенно один...

Голиков пошел в ванную, умылся. Захотелось есть. Пожевав хлеба с засохшим куском сыра, он запил свой завтрак водой из графина и сразу почувствовал себя уверенней и спокойней.

Аркадий Петрович развязал на столе пакет с тетрадками, взял с подоконника чернильницу-непроливайку и ручку с пером. Пусть он не станет Львом Толстым. Он просто расскажет о том, что видел и пережил.

«Нужно все досписать и переписать,— сказал он себе.— Сколько времени это у меня займет?.. В лучшем случае месяца три». Такой срок его сильно озабочил.

В Москве, в Реввоенсовете, Голиков получил жалованье за шесть месяцев — тысячу двести рублей. Это были большие деньги. Собираясь в Арзамас, он купил всем подарки, двести рублей послал маме и девочкам в Крым. Дал на хозяйство тетке, немного пошиковал. По городу он ездил на извозчике (это в Арзамасе-то, где за полчаса можно было не торопясь пройти из одного конца города в другой!). К друзьям и знакомым в гости без свертков с вкусными вещами не ходил. Скоро стало очевидно: при таком образе жизни рубли из карманов вылетают очень быстро.

Когда же Аркадий Петрович сорвался в Петроград, то взял денег на дорогу туда и обратно и немного на жизнь, отдав остальное тетке. Ведь Голиков собирался повидать Галку, получить ее благословение, и, не мешкая, вернуться в Арзамас.

Ехать домой он не мог. И рассчитывать нужно было на те деньги, которые лежали в кармане френча. Аркадий Петрович сразу отложил тридцать рублей, чтобы заплатить вперед за

квартиру. Пятерку — на то, чтобы купить бумагу. После этого у него осталась тридцатка. Если он сумеет прожить на полтинник в день, ему хватит на два месяца. При этом на машинистку он уже не мог отложить ни рубля.

Было очевидно: прежде чем сесть за стол, нужно раздобыть хоть немнога денег. Голиков отправился на биржу труда. Там он увидел тысячу безработных, которые ходили сюда изо дня в день. Немного растерявшись в толчее, Аркадий Петрович толкнул дверь с надписью: «Администрация».

Там его принял вежливый человек, заместитель директора биржи. Посмотрев документы Голикова, заместитель объяснил:

— Берем на учет коренных петроградцев. А вы приезжий. Нужны люди, которые имеют специальность и проработали не менее семи лет. Поскольку вам всего девятнадцать, могу записать вас как подростка. Пребывание на фронте мы зачем как трудовой стаж. Но у вас нет профессии. А учить вас никто не будет. Нам некуда деть и опытных людей.

Голиков ушел с биржи еще более подавленный. Значит, времена почти не осталось.

Возвращаясь по Невскому домой, Аркадий Петрович зашел в Гостиный двор, купил две пачки бумаги, заплатил за нее рубль двадцать. Его денежные запасы стали «шагреневой кожей».

Дома он отдал хозяйке деньги за квартиру — за два месяца вперед. Сходив в магазин, принес в кошелек хлеб, сахар, крупу, соль, дешевой колбасы.

Кашу утром он собирался варить сам. До сих пор он обедал днем в подвальчике, в кооперативной столовой, которую держали два чистеньких старичка. Обед из солянки, двух котлет с жареной картошкой и чаем (хлеб был бесплатным) стоил на треть дешевле, чем в государственной столовой. Но теперь и обеды в 25 копеек были ему не по средствам.

Утром после завтрака Голиков сел за стол. Сначала он записал на листке замечания Галки. Два из них ему показались весьма дельными. Он их обвел па листке рамочкой. После этого как бы чужими глазами прочитал свои тетрадки. И установил одну закономерность: интересные главы чередовались с совершением невыразительными эпизодами, будто пером водили два разных человека.

Галке не понравилась глава про школьные проказы. Голиков былся над ней три дня, сделал гораздо лучше, а после этого понял, что глава не нужна. Три дня ушли впустую.

Но в своей неудаче Аркадий Петрович увидел предостережение. Он снова пролистал все тетрадки, составил перечень эпизодов, увидел: некоторые можно убрать.

Просмотрев сокращенный план, Голиков отметил: действие будет развиваться энергичнее. Потеряв три дня на переписывание школьных глав, Аркадий Петрович сэкономил минимум две-три недели на том, что не придется переписывать явно лишние страницы. Его «шагрепевая кожа» чуть-чуть растянулась.

На радостях Голиков не стал днем варить надоевшую кашу, а спустился в столовую и съел сразу два обеда. Они обошлились ему в шестьдесят копеек.

— Что вы, молодой человек, редко к нам захаживаете? — спросил хозяин.— Если у вас денежные затруднения, мы вам поверим в долг.

— Нет... то есть спасибо... деньги у меня есть... просто никогда,— сбивчиво ответил обрадованный Голиков.

Два полных обеда изрядно прибавили ему сил. И он переписал первую главу — про то, как Сергей Горинов приехал в Москву. Следующие разделы не вызвали трудностей, но Аркадий Петрович застрял на главах о том, как друг Сергея Николай отыскал своих родственников, семью Агорских. Здесь пришлось все придумывать, потому что он, Голиков, родных мамы в Киеве не застал.

После смерти деда семья продала дом и куда-то переехала. Будь жив дед, Голиков искал бы их энергичней. По деду, которого он помнил смутно, Аркадий скучал. Что-то в деде по тем давним воспоминаниям было трогательное и притягательное.

А в романе Николай родных своих находит. И эта встреча позволила Аркадию Петровичу прочертить две сюжетные линии. Дочь Агорских, Эмма, влюблялась в Николая. А отчим Эммы оказывался членом подпольной белогвардейской организации. И Эмма, которая его не любила, помогла его разоблачить.

Образ Эммы в какой-то мере был навеян воспоминаниями о телефонистке Стасе, и Голиков наделил Эмму такими чертами, которые хотел бы видеть в Стасе.

Дней десять Голиков работал с утра до вечера, пока не обнаружил, что во второй половине дня начинает уставать и уже почти ничего не делает, а только по многу раз обводит пером уже написанные буквы и строки.

Чтобы повысить продуктивность, Голиков стал после обеда уходить в Публичную библиотеку. Там он читал подряд все журналы, смотрел новинки литературы. В библиотеке голова отдыхала. И за утро он стал успевать гораздо больше. А то случалось еще и так: он возвращался из библиотеки, садился к столу и работал часа полтора.

В том, как теперь складывалась его жизнь, Голикова все устраивало, кроме одной малости: стремительно таяли деньги.

Тратить ровно полтишник в день не удавалось. То он спускался в столовую обедать, то в библиотеке не удерживался и отправлялся в буфет. Два раза был в театре, смотрел «Маскарад» с Юрием Юрьевым в роли Арбенина и пустенькую комедию с великим комическим актером Константином Александровичем Варламовым. Содержание комедии он бы не смог даже пересказать, но помнил, что, сидя на галерке, хохотал без остановки вместе с залом.

А ночью приснился сон.

Повторяющийся сон по схеме № 2, записанный А. П. Гайдаром:

«Я приезжаю в отпуск. Встречают со сдержанным удивлением. В это время развертываются какие-то события. Чаще всего назревает антисоветское восстание (еще не восстание, но вот-вот оно вспыхнет). Масса движения. Масса народа. Всевозможные группировки и комбинации, но я никак не могу найти своего места.

Я теряю всякую ориентировку. И паконец в момент восстания остаюсь — в самой гуще — одиноким и изолированным.

Я вынимаю маузер и стреляю. Оказывается, что я стреляю по своим. Тогда — в дикой злобе на самого себя — я стреляю себе в голову.

Огромный бледно-желтый огонь. Сильный удар. Острая мгновенная мысль: «Все кончено»...

КОНЕЦ «ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

Газетная сенсация

Бывая в Публичной библиотеке, Голиков зашел однажды в газетный зал: ему захотелось посмотреть газету «Красноярский рабочий». И воистину зверь бежит на ловца: почти сразу он увидел заголовок «Конец бандитов». В небольшой репортерской заметке говорилось, что «в селе Соленоозерное двумя лицами комсостава ЧОНа и двумя бойцами-коммунарами при столкновении с бандой Соловьевым убиты: бандит-главарь Соловьев, его помощник Чихачев и два рядовых бандита, четыре рядовых бандита взяты в плен. Подробности будут даны дополнительно».

Первая мысль была: «Все, с Соловьевым покончено». И тут же: «Сколько же народа осталось у «императора тайги», если

с ним и его окружением справились всего лишь четыре человека? И четверо бандитов еще сдались при этом в плен?»

Голиков с болью подумал об Аграфене: видела ли она Соловьева мертвым? Ведь она его когда-то любила. И еще Аркадий Петрович с облегчением подумал, что Митька-хакас и Гаврюшка смогут наконец вернуться к себе домой. Но цел ли дом? Не скончали ли его Астанаев? Да и где сам Астанаев? Этот, наверное, перехитрил всех, в том числе и самого Соловьева.

Неожиданно Голиков улыбнулся, подумав: «А много, наверное, сейчас станут играть свадеб...»

И вдруг он почувствовал: в нем просыпается зависть, что в последней операции довелось участвовать не ему. Кто эти безымянные командиры? Один наверняка Заруднев. А второй? Пашка? Но Пашка Цыганок, скорей всего, зубрит свою химическую и разведывательную науку и не знает, что Соловьев мертв.

«Как же они посмели его убить? — внезапно подумал Голиков. — Ведь Соловьев нужен был живой, чтобы вернуть награбленное. Банда оббрала целый край. Грабили и русских, и хакасов. Отнимали золотые монеты, кольца, серьги, бусы, особенно ценились кораллы. За один камешек давали быка. А за коралловые подвески — целое стадо. Куда все это свезено, где закопано? Знают ли расположение тайника те четверо, что сдались? Вряд ли. Соловьев был недоверчив...»

Голиков долго ходил по длинным коридорам библиотеки, пока не вспомнил: «Должен быть подробный рассказ».

Он вернулся в зал, начал дальше листать подшивку и увидел большой, во всю страницу заголовок: «Конец банды Соловьева».

Глаза жадно выхватывали строчки: «...убежавший из Красноярской тюрьмы в 1920 году казак Соловьев...» Голиков машинально поправил репортера: «Не в Красноярске — в Ачинске его держали. И бежал он по дороге, когда его вели с работ. Из Красноярской тюрьмы он бы вряд ли убежал. Там побег ему было бы труднее подстроить. И труднее добираться домой: могли перехватить в поезде. А тем, кто задумал соловьевщину, Соловьев нужен был в родных местах».

«...сине-бело-красное знамя», — читал Голиков.

И дальше: «...налетали на мирных жителей, вырезали целые семьи беззащитных окрестных крестьян, выжигали улусы, насиловали женщин. Банда росла, крепла при поддержке терроризированных крестьян... Чем дальше, тем отчаяннее и кровожаднее становилась шайка... Упорство на упорство. Пуля на пулю. Чоновцы наседали все настойчивее. Тесно сжимались железные тиски. Банда задыхалась, таяла...»*

Переговоры

Последнее время Соловьев поутихомирился. Все реже палетал и отбирал. Больше того, иногда просил, а то и покупал муку, овец, сыр, араку, платил царскими рублями с профилем Николая Второго. С Соловьевым не торговались. За серебряный рубль отдавали овцу, за полтинник — мешок муки. И прятали эти полтинники и рубли и потом показывали самым близким людям: вот, мол, из рук самого Ивана Николаевича,— будто были это не деньги, а пожалованные медали.

В стратегическом плане такое мероприятие означало, что башня ослабла и не рисковала уже грабить издерганное и сильно оскудевшее население. Но люди в доброту Соловьева по-прежнему не верили. Опасались ездить на базары и в гости. Глохла охота, почти прекратился промысел кедрового ореха, люди боялись идти в тайгу. И это в Сибири, где тайга была кому подспорьем, а кому и просто кормилицей.

И Николай Ильич Заруднев понял новую ситуацию так, что Соловьев созрел для переговоров.

Но для того чтобы Соловьев согласился сдать оружие и выйти из леса, нужны были гарантии, что все предложенные «горным партизанам» условия будут соблюдены. Заруднев учел, что выйти из леса «императору тайги» предлагал еще и Голиков. Но разговор получился стихийным, никакой бумаги в ту минуту Голиков Соловьеву предъявить не смог. Разговор закончился ничем. И Заруднев попросил прежде всего доставить ему из Красноярска необходимый документ. В нем говорилось:

Исполком Енисейской губернии дает настоящую гарантию в следующем.

Если члены «белого горно-партизанского отряда» имени Великого князя Михаила Александровича под командой И. Н. Соловьева добровольно сдадутся в плен и сложат оружие, то всем гарантируется жизнь. Рядовые тут же будут отпущены домой.

Командиры за активные боевые действия против Советской власти будут преданы суду. Однако на приговор суда будет распространена уже действующая амнистия, по какой срок наказания может быть сокращен по меньшей мере наполовину.

Бумага действительна с настоящего числа.

Председатель Енисейского губисполкома.

Подпись. Печать. И все на бланке: «РСФСР. Председатель Енисейского губернского исполнительного комитета».

Таких гарантийных писем одинакового содержания было прислано несколько, чтобы их можно было отдать прямо Соловьеву или его помощникам: пусть подержат в руках, пусть подумают.

Когда секретный пакет с текстом гарантийного письма прибыл из Красноярска, возникла проблема: как передать его Соловьеву? Сначала было объявлено по селам: «Кто увидит Соловьева, пусть сообщит ему: с ним желает поговорить Заруднев». Но «император тайги» не отозвался.

Тогда Заруднев решил воспользоваться соловьевской почтой. Он написал письмо с предложением встретиться в любом удобном месте, чтобы каждого из командиров сопровождало не более четырех бойцов. Заруднев предлагал для встречи Форпост, но согласен был повидаться и в другом поселке.

Конверт с надписью: «Ивану Николаевичу Соловьеву. В собственные руки. От Николая Ильича Заруднева» — был сунут за раму многолавки у самого входа. И письмо, которое проторчало за рамой целый день, к вечеру исчезло.

А через сутки таким же точно образом поступил ответ: «Его высокородию Николаю Ильичу Зарудневу, начальнику второго боевого района. Лично. От командира белого горно-партизанского отряда им. В. к. Михаила Александровича И. Н. Соловьева».

В вежливом послании на отличной бумаге «император тайги» благодарил за приглашение и сообщал, что прибудет в Форпост со всем отрядом в девять сабель.

Соловьев давал понять, что не собирается делать тайну из численности своего поредевшего войска и готов всерьез рассмотреть предложение о добровольной сдаче.

Заруднев имел полномочия для ведения переговоров. Никаких согласований ему не требовалось. И через полчаса за рамой многолавки уже торчал конверт. Заруднев писал:

«Благодарю Вас, Иван Николаевич, за скорый ответ. Жду Вас в Форпосте со всем отрядом послезавтра к обеду. Н. Заруднев».

Николай Ильич был из батраков. Все его образование составляли четыре класса церковноприходской школы и солдатский опыт. Но природа наделила его могучей физической силой, идущей от нее храбростью, все вбирающей памятью и редким по гибкости и проницательности умом.

За Соловьевым и его людьми тянулся мрачный шлейф преступлений. Но чтобы прекратились грабежи, чтобы бандитская пуля не задела больше ни одного человека и чтобы наконец ожил целый край от монгольской границы до Красноярска,

нужно было проявить сдержанность, благородство и дальновидность. Поэтому Соловьев и его отряд следовало принять, думал Заруднев, не как бандитов, а как людей, которые через некоторое время вернутся к мирной жизни, искупив свою вину.

И Заруднев решил потрясти души «белых партизан» тем, что окажет им хлебосольство и гостеприимство. В большой избе был накрыт стол с обильной едой и нешуточным запасом самогонки.

Когда со стороны гор появился отряд Соловьева, его встретили четыре всадника, которые отсалютовали саблями.

— Николай Ильич ждет вас к обеду, — сказал старший из этих четырех, ни к кому конкретно не обращаясь.

Двое чоноцев поехали впереди гостей, двое — сзади.

Возле дома, где должен был состояться обед, собралось много жителей. Почти все знали Соловьева. Некоторые закричали:

— Здорово, Иван!

И Соловьев, еще не успев спрыгнуть с седла, протягивал руку и со всеми охотно здоровался, улыбаясь.

Услышав, что подъехали гости, из дома вышел Заруднев. Был он выбрит, пострижен, в чистой гимнастерке с орденом Красного Знамени. Начищенные сапоги отражали весеннее солнце.

Николай Ильич сбежал с крыльца без шапки, без тяжелого маузера, только с маленьким пистолетиком в кобуре на поясе, поскольку он оставался командиром при исполнении обязанностей.

Соловьев в новой папахе, в бурке, под которой угадывалось немало всякого личного оружия, легко спрыгнул с коня. Был он невысок, ловок, крепок; некрасивое лицо его притягивало напряжением мысли, внутренней настороженностью и в то же время улыбчивостью. Соловьев обаятельно, немного смущенно улыбался.

Спрятав с коня, Соловьев не знал, как поступить дальше. Он приглашен на обед. Такое приглашение он получал впервые. Правда, в свое время он звал в гости к себе другого командира, Аркашку Голикова, но встреча не состоялась. Встречаться тогда было рано.

И вот теперь пригласили его, Соловьева, чтобы обсудить условия сдачи в плен. В письме об этом ничего сказано не было, но он пока еще «император тайги», имсет голову на плечах и кое в чем разбирается. Сейчас важно было сохранить достоинство, не стать посмешищем.

И поэтому, спрыгнув на землю и продолжая смущенно улы-

баться, Соловьев ни на шаг не отошел от своего коня. Его люди сделали то же самое. Все ждали, как поступит Заруднев.

А Николай Ильич застыл возле ворот как бы в нерешительности. Да, эти люди, от которых даже на расстоянии пахло костром, сырой землянкой и немытым телом, прибыли по его приглашению. И неожиданно в нем шевельнулось враждебное чувство. Пока их насчитывалось больше и они надеялись прорваться за рубеж, они были менее говорчивы. Но он решил, что будет вежливым и гостеприимным хозяином, доведет до конца переговоры и разоружит банду. А там он снова вернется к простым и ясным командирским обязанностям, ведь война когда-нибудь кончится...

Николай Ильич Заруднев, кавалер ордена Красного Знамени, сослуживец Чапаева и Буденного, собрал в кулак всю свою волю, тоже обаятельно улыбнулся и громким голосом сказал:

— Иван Николаевич, я рад видеть у себя в гостях вас и ваших... ваших подчиненных. Прошу всех прямо к столу.

И, сделав навстречу Соловьеву несколько шагов, он протянул руку.

Соловьев остался на месте. Даже когда он жил на воле, он не слышал таких слов и тем более не думал, что враг когда-нибудь протянет ему руку. С чисто крестьянской подозрительностью он смотрел в лицо Заруднева, опасаясь: вдруг, если он ответно протянет руку, Заруднев с лукавой улыбкой свою totчас заберет, чтобы сразу поставить его, «императора тайги», который остался без войска, на место?

И Заруднев, прочитав по выражению лица Соловьева его мысли, сам коснулся подушечками пальцев неподвижной от напряжения, будто окаменевшей руки атамана.

Лишь после этого, внезапно покраснев, как, верно, не краснел с тех пор, когда впервые коснулся на посиделках девичьей руки, Соловьев ответил встречным поспешным, слегка суetливым движением. Ладони их встретились и впаялись одна в одну. И так они стояли долго, минуты две. И люди вокруг замерли тоже, понимая, что происходит небывалое: Заруднев и Ванька Соловьев сцепились руками, будто друзья после долгой разлуки,— не разорвешь.

А «император всяя тайги», отчасти уже бывший, и начальник боевого района подумали об одном и том же: жаль, что нет фотографа...

Оба в этот момент забыли: Заруднев — что совершенно не был уверен в приезде Соловьева, а Соловьев — что до последнего часа метался в лесу, решая: ехать или лучше остаться. Он опасался, что на первое вместо обеда будет ему предложена

пулеметная очередь, а на второе — несколько гранат. И только его помощник, Чихачев, сказал:

— Иван Николаевич, ты что? Заруднев приглашает тебя честь по чести в село, средь бела дня.

Но и этот довод Соловьев не убедил, и он позвал к себе шамана, того самого, что был на празднике тум-пайрам. Шаман довольно долго гадал на бараньей лопатке, обожженной в огне. Наконец сказал:

— Езжай в Форпост. Обмана не будет.

— Ежели вернусь живой, получишь от меня пять золотых монет, — пообещал Соловьев. — А ежели убьют, не обижайся, ты жить тоже не будешь. Я об этом позабочусь.

И вот встреча состоялась. Красный и белый командиры держат за руки друг друга. Завтра об этом рукопожатии будет знать вся Хакасия. И вся Хакасия будет говорить, что Заруднев встретил Соловьева с почетом.

«Все должно быть по-честному, — думал, успокаиваясь, Соловьев. — У мужика этого, Заруднева, хорошее лицо. Ни робости, ни лукавства. И не прячет глаза».

«Сильный мужик, — думал о Соловьеве Заруднев, — но в лесу одичал, на людях теряется. Напряжение и недоверие в зрачках. В любой момент способен что-нибудь выкинуть».

И был невиданный по хлебосольству обед. Пили фабричную водку, российский самогон из хлеба и хакасскую араку из молока. Разгулявшись, Соловьев велел принести из выюков настоящую «Смирновскую», которая сохранилась бог ведает с каких времен.

Заруднев с Соловьевым перешли на «ты».

И Соловьев спросил:

— А что, Николай Ильич, в Москве и Калинин про меня знает?

— Знает.

И еще Соловьев спросил:

— Коли отсижу я свой срок и выйду на волю, возьмешь меня к себе служить?.. К тебе служить пойду.

— А для чего тебе, Иван Николаевич, служить у меня?

— Спокойно мне с тобой.

Соловьева с его людьми оставили ночевать в той же избе, расставив вокруг часовых, чтобы никто в дом не залез и не учил провокации. Заруднев с ближайшим окружением почевал в соседнем доме. Но спал Заруднев ровно час. Нужно было к рассвету, когда проснется «император тайги», приступить к переговорам. От разведчиков Николай Ильич знал: сколько бы ни выпил Соловьев, к пяти утра он вскакивает свежий и бодрый.

В начале шестого в самом деле ожил отданный Соловьеву дом, к этому времени был готов и завтрак. Но гости, пропустив по маленькой — больше не позволил атаман,— нажимали на квас, на рассол и моченую бруснику.

После еды Соловьев и Заруднев остались в доме, имея при себе по одному помощнику. Заруднев положил на стол оригинал гарантейного письма и уже на словах растолковал, что амнистия была, а по ней сокращается любой срок заключения. А на Седьмое ноября и Первое мая будет новая. И в самом худшем случае (все решать за суд Заруднев не мог) Соловьев просидит в тюрьме не больше трех лет. Если же, не дай бог, они сейчас не договорятся и Соловьев попадет к нему, Зарудневу, в плен в бою, то высшая мера. Да и подчиненным придется кручё.

И Соловьев, который уже поверил Зарудневу, сказал:

— Будь по-твоему. Все оружие, которое имеется у нас, сдаю.

— Иван Николаевич, только со мной не хитри. Восемь винтовок и несколько пистолетов — это не все оружие, которое у тебя имеется.

— Верно, остальное сдам тоже. Мне оно больше ни к чему.

— И нужно сдать золото.

Соловьев обиженно вскинул голову:

— Какое еще золото? Кое-что, конечно, имелось. Но я раздал своим подчиненным за верную службу. И тем, кто уходил по-доброму от меня. Должен человек иметь средства на обзаведение? Верно? А теперь и за продукт плачу.

— Знаю. Платишь, но серебром. И спорить не будем. Есть у тебя золото. И много. Ты хочешь, чтобы все было по-честному. Тогда и цепи, взятые на рудниках и у населения, нужно вернуть. Это на суде тоже будет принято во внимание.

Разговор о золоте явно огорчил Соловьева. Он готов был сдать оружие: собирать новую ватагу после тюрьмы он не собирался. А золото и камушки ему как раз могли понадобиться, когда он выйдет на свободу.

Кончилось тем, что гости, еще раз пообедав почти без выпивки, сложили посреди большой комнаты винтовки, патроны-таши, несколько гранат и пистолетов. Соловьев отцепил и протянул Зарудневу свой маузер и собирался отцепить саблю в серебряных ножнах, с камнями. Но Заруднев сказал:

— Саблю пока оставь себе. Что это за казак без сабли? Сдашь потом.

Это «император тайги» оценил тоже.

Договорились, что Соловьев с отрядом возвращается в лес, они собирают, грузят оружие и всякое другое имущество и появляются в Форпосте ровно через неделю снова к обеду.

О том, что в Форпосте состоялась такая встреча, в газетах пока сообщать не стали, а что готовится выход Соловьева и его людей из тайги, дали знать в Красноярск и Ужур. Редакции газет прислали своих репортеров. А «Красноярский рабочий» направил и фотографа. Тот успел надоесть Зарудневу, требуя, чтобы командир показал точное место, где он будет встречать Соловьева, чтобы можно было заранее поставить массивный аппарат на треноге.

Накануне дня выхода Соловьева к Форпосту потянулись вереницы всадников, телеги. Много народа двигалось пешком. Вокруг Форпоста снова возникли палатки, вспыхнули костры, постепенно сложился табор. Такое столпотворение тут видели до этого лишь один раз: когда Голиков открывал свой театр.

Заруднев наплыв публики не обрадовал, а растревожил. У него возникло опасение, как бы Соловьеву при большом стечении народа не захотелось покуражиться или гордо переменить решение, поставив невыполнимое условие.

А Соловьев куражиться не стал. Он просто не явился.

Еще не смея поверить в провал своей миссии, в такое вероломство бывшего «императора тайги», Заруднев высказал предположение, что Соловьев, возможно, перепутал дни и явится завтра. Так неофициально было сказано репортерам и тем, кто прибыл в Форпост издалека и спрашивал, ждать ли Соловьева или ехать обратно.

Однако на следующий день Соловьев не явился тоже и никого не прислал. Видимо, иснугался. Или не поверил, что за все вины его ждет столь легкое наказание.

А могло быть и так: его помощники, понимая, что придется сдать золото, и видя колебания своего командира, уговорили его попытаться бежать за рубеж.

В сторону границы спешно было направлено несколько отрядов. Они перекрыли многие дороги. Побег в Монголию становился для Соловьева весьма проблематичным.

Усложнилось и положение Заруднева. По стране шла демобилизация. После того как выяснилось, что банда Соловьева насчитывает всего девять сабель, Зарудневу оставили двадцать бойцов. Таков теперь был гарнизон всего боевого района. Надежд изловить банду со столь малыми силами не было никаких. Нужно было попытаться уговорить.

Тогда Заруднев снова написал Соловьеву:

Ваня, ты чего же такоетворишь? В какое же положение ты ставишь меня и себя? Где твое казацкое слово, что все будет, как мы с тобой условились и ударили по рукам? Или тебе кажется, что начальство в Красноярске и Москве будет

без конца ждать, пока ты пожалуешь из леса? Отпиши мне, Ваня, и, коли ты не передумал, немедля дай знать. Пока еще не поздно. А то ведь и у меня большие неприятности. Я ведь за тебя поручился. Объявил, что мы по-доброму договорились. И народу понадеяло много тебе встречать. Ждали твоего появления, как праздника. Да и суд, я опять узнавал, к тебе не был бы слишком суров.

Надеюсь, до встречи.

Н. Заруднев.

Через сутки пришел ответ:

Добрый день, Николай Ильич, не серчай. Хоть и на короткий срок, а расставаться с волюшкой нелегко. Запил я маленько да и не смог остановиться. И коли ты мне еще веришь, Богом клянусь, я тебя не подведу, потому что вижу, что нет у тебя сердца на меня и ты вправду желаешь мне, непутевому и бессчастному, добра.

Я уже вижу, что хакасики и другие люди не дождутся, пока я выйду. А я ведь для ихнего счастья старался. Да ладно. Чего от людей за добро ждать добра.

Я тут днями буду в Форпосте. Заезжай. Поговорим.
Жду ответа, как соловей лета.

Ив. Соловьев.

Стрелять или не стрелять?

Со своим отрядом Заруднев стоял теперь в деревне Кальчиной, в 30 верстах от Форпоста. Когда Соловьев появился в Форпосте, Ваня Кожуховский незаметно добрался до сопки, взял спрятанного там коня и припустил что есть духу. Через 15 верст, около другой сопки, он коня поменял и вскоре доложил Зарудневу: «Соловьев приехал».

Николай Ильич ждал этого известия. Он приказал оседлать лошадей ему и Михаилу Пудвасеву. На спинах двух других закрепили переметные сумки с угощением: сущеным мясом, колбасами, водкой. И они вдвоем выехали в Форпост.

Заруднев понимал: они рисуют. Но он также понимал, что обезвредить Соловьева — его долг. Больше некому.

Он был готов к тому, что может погибнуть, но твердо для себя решил: умрет, только забрав на тот свет «императора тайги».

Наверное, когда человек принимает такое решение и мысленно перерубает все, что его связывает с семьей, близкими, детской жизнью, когда его нравственные и телесные силы концентрируются на одной-единственной цели, то это невольно

начинают ощущать и окружающие. Человек, переступив грань страха за свою жизнь, начинает по-другому двигаться, говорить и думать. Каждое его слово обретает весомость, а каждое движение — энергию и властность.

Именно в таком отрешенно-сосредоточенном состоянии и направлялся Заруднев в Форпост. Всю последнюю неделю он обменивался с Ужуром шифровками.

Директивы было две. **Первая.** Если Соловьев готов сдаться на условиях, изложенных в гарантийном письме, то они будут в точности соблюдены. С учетом международной обстановки Москва и Красноярск заинтересованы в мирном завершении конфликта.

А вторая директива гласила: «В случае, если Соловьев откажется от сдачи в плен, он любой ценой должен быть уничтожен».

И Заруднев ехал с Пудвасевым, сознавая, что это будет, скончайтесь всего, последняя встреча с Соловьевым.

Километрах в трех от Форпоста Пудвасев упустил свою выночную лошадь. И она с грузом гостиных понеслась с неожиданной резвостью вперед, к деревне. Неизвестно, удалось ли бы ее догнать, если бы навстречу не выехали двое верховых.

— Держите лошадь! — крикнул им Пудвасев.

Один из всадников метнул мгновенно оказавшийся у него в руках аркан. С волосяной петлею на шее, выночная полупридущенная лошадь, дрожа от испуга, остановилась.

Заруднев с Пудвасевым подъехали к своим неожиданным помощникам. Те загадочно улыбались. Это были Соловьев с Чихачевым.

— Здоров, Николай Ильич,— весело приветствовал Соловьев Заруднева.

— Здравствуй, Иван Николаевич,— сдержанно ответил Заруднев.

Он понял, что отъезд Вани Кожуховского не остался незамеченным. «Император тайги» выехал встречать гостя.

Еще Заруднев подумал, что ему открывается замечательная возможность, улучив момент, расстрелять обоих. В крайнем случае он был готов убрать одного только Соловьева, даже если бы его самого тут же убил Чихачев. Но Заруднев помнил, что Соловьев нужен прежде всего живой. Самый простой выход не был самым лучшим. И Заруднев от соблазна отказался.

— Куда же ты, Николай Ильич, так спешил, что даже лошадь потерял? — продолжал загадочно улыбаться Соловьев.

— К тебе. По твоему приглашению. Или я что перепутал?

— Нет,— посерезнев, ответил Соловьев.— Милости про-

шу... А ну, Чихачев, гони в село. Скажи: сам Николай Ильич к нам в гости пожаловал.

Но Чихачев не трогался с места:

— Без вас не поеду.

— Езжай, — снова улыбнулся Соловьев. — Николай Ильич — мой друг. Ничего плохого он мне не сделает.

Чихачев снова хотел что-то возразить. Соловьев рассвирепел:

— Командир тебе что приказывает? Ты почему меня позоришь?

Когда Чихачев нехотя поскакал в Форпост, Соловьев добавил:

— Конечно, я их распустил. Никакого воспитания.

Снова Заруднев подумал, что судьба за последние десять минут искушает его второй раз: лучшей возможности покончить с «императором тайги» никогда не будет. Однако Заруднев был уже связан не только полученным из Ужура приказом, но и молчаливым обязательством перед Чихачевым, что с «императором тайги» ничего не случится. Гражданская война завершилась. Наступала новая эпоха. Она требовала новых, более человеческих отношений.

«Соловьев коварен и вероломен, — напомнил себе Заруднев. — Он обещал выйти из леса во время той встречи — не вышел. Сейчас он пригласил в Форпост, но тоже не известно, что у него на уме... И при этом я не должен уподобляться ему».

По дороге молчали, хотя и для разговора лучшей возможности не было. Тем более что Пудвасев поотстал, настороженно рассматривая придорожные кустики и холмы. Он тоже опасался каких-нибудь хитростей.

Но Зарудневу с Соловьевым не говорилось. Тонкая паутинка чисто человеческих отношений, которая возникла между ними в прошлый раз, порвалась. Зарудневу было ясно: как бы ни клялся Соловьев, полной веры ему быть не может. При всей наружной мужественности в «императоре тайги» прочно жил страх. А под влиянием страха люди теряют человеческий облик и способны на самые жестокие и бессмысленные поступки.

«Император тайги» уловил перемену в их отношениях. Тяготясь молчанием, спросил:

— А как тебе мой Соловий?.. Поверишь, отдал пять золотых червонцев...

Конь действительно был замечательно хорош: желтоватого цвета, со светлым хвостом и гривой, на тонких сильных ногах.

— Хочешь, подарю?.. Тебе — не жалко. Главное, что Соловушка попадет в хорошие руки.

— Я никаких подарков не беру.

Когда Заруднев, Соловьев и Пудвасев приехали в Форпост, в доме председателя сельского Совета их ждал накрытый стол. Посреди комнаты выстроились восемь соловьевцев: Чихачев помчался вперед не зря. Хозяин дома от участия в обеде отказался, считая себя лишним. И он был прав.

Заруднев велел Пудвасеву принести взятое с собой угощение, чтобы не выглядеть бедными родственниками.

И снова полилось вино. Заруднев хотел было пить более слабую араку, но Соловьев ему этого не позволил: наливал в стакан себе и ему из одной трехлитровой бутыли захватывающий дух первач и следил, чтобы Николай Ильич осушал чарку до дна. Но Заруднев, в отличие от Соловьева, налегал на еду: на сало, мясо, на взбитое масло кедрового ореха. И это позволяло ему почти не пьянеть, следить за обстановкой, которая складывалась за столом, и оставаться готовым к неожиданностям.

В первый день никакого разговора не получилось. Соловьев не упился, но в глазах его появилось шалое выражение, а в движениях — раскованность и бесшабашность, было очевидно, что ему сейчас и море по колено. А тут еще в его тостах возникла как бы и прежняя царственность. Затевать с ним разговор в такую минуту значило провалить встречу.

Но одну шальную идею Заруднев поддержал.

— Николай Ильич, а почему ты присхал без солдат? — неожиданно спросил Соловьев.

— Я ж ис воевать с тобой ехал! — рассмеялся Заруднев.

— Но прошлый раз ты угощал меня и моих людей. Пошли за своими орлами. Пущай приедут. Пусть будет братание. Пусть навсегда запомнят, что их угощал сам Иван Николаевич Соловьев.

— Спасибо.

Заруднев написал на клочке несколько слов. Пудвасев отнес их в дом к одному из комсомольцев и велел:

— Скачи что есть духу, — и поспешил вернуться в дом.

Оставлять Заруднева одного вместе с Соловьевым ему тоже было тревожно.

Но отряд мог появиться в Форпосте к утру. В лучшем случае. До рассвета Заруднев и Пудвасев оставались в деревне заложниками.

Ночевали чоповские командиры в отдельном доме. Охранял их соловьевец, потом его сменил другой. Заруднев с Пудвасевым спали по очереди: до трех часов — Заруднев, с трех — Пудвасев. Сложность заключалась в том, что нужно было не стоять, а лежать «на посту», потому что часовые каждые полчаса загля-

дывали в окно, как тюремные надзиратели в камеру, желая знать, что происходит в доме.

Однако ночь прошла спокойно. Утром прискакал взмыленный чоновский отряд. Махальщики заметили его еще издали. Соловьев приказал своим людям сесть на коней. И «белые партизаны» торжественно встретили красный отряд еще за селом. Началось с того, что Соловьев попросил Заруднева и Пудвасева, чтобы они поехали навстречу своим бойцам и объяснили: готовится братание.

— Все, Николай Ильич, война между нами кончилась. Нынче у нас большой праздник.

«Горно-партизанский отряд» в составе девяти человек стоял вдоль дороги. Гарнизон 2-го боевого района, в количестве двадцати человек, которые выстроились по двое, двинулся в сторону села. Когда между отрядами оставалось метров пятнадцать, Соловьев скомандовал своему войску «Смирна-а!», высокал навстречу, отсалютовал шашкой и отрапортовал:

— Ваше высокородие Николай Ильич Заруднев, белый горно-партизанский отряд для братания с красным отрядом построен. Командир отряда Иван Соловьев.

И Зарудневу пришлось крикнуть:

— Здравствуйте, граждане бойцы «горно-партизанского отряда»!

— Здравия желаем, ваше высокородие! — дружно, слаженно, весело ответили соловьевцы.

И Соловьев вдруг крикнул:

— Храброму командиру Николаю Ильичу — ура!

Одним словом, встреча получилась не только торжественной, но в чем-то даже и трогательной. В село въехали вместе. Народу сиова набежало немало. Соловьев и Заруднев гарцевали впереди обоих отрядов. И прежде чем дать команду спешиться, Соловьев произнес короткую речь, обращаясь к жителям Форпоста: мол, наступило долгожданное время, когда вражды больше нет, а все люди становятся братьями.

После этого оба командира приказали своим бойцам сойти с коней. «Белые партизаны» и красноармейцы смешались.

Разговор с Зарудневым

До начала обеда, который на этот раз давал Соловьев, оставался примерно час. Заруднев взял «императора тайги» под руку и повел его задами, чтобы без помехи поговорить.

— Иван Николаевич, когда ты собираешься официально сложить оружие?

— Погуляем еще немножко да и сдадим. А как это — официально?..

— Тебе нужно сесть и написать бумагу на имя председателя губисполкома, что ты и твои люди, поняв бесполезность дальнейшей борьбы и получив гарантии от Советской власти, что будет проявлено снисхождение, добровольно отдаете себя в руки правосудия в надежде, что эта добровольность будет учтена... Я сам вас провожу с отрядом до Ужура. Если понадобится, поеду с вами в Красноярск. И обещаю: где бы я ни был, я тебя встречу после тюрьмы.

— Если бы судьей, Николай Ильич, был ты, я бы пошел с закрытыми глазами. Я только тебе одному и верю. Ладно. Пойдем пообедаем. Там и решим.

Но решение свое Соловьев все откладывал.

— Гуляем еще денек, — говорил он.

Заруднев скрепя сердце соглашался. Еще одни сутки ничего не меняли. А вечером пятого дня Соловьев неожиданно заявил:

— Завтра поедем в гости в Саралу.

В Сарале жили раньше родители Соловьева. Близ Саралы находился его теперешний лагерь. Что задумал Соловьев на самом деле? Даже если он не сбежит из Саралы в тайгу, куда он захочет поехать гостить потом: в Чебаки, на Божье озеро, на курорт Шира?

«Я сделал все, — думал Заруднев, — чтобы Соловьев и его люди могли добровольно сложить оружие и подпали под амнистию. Но коль скоро на деле Соловьев темнит и не сдается, я обязан выполнить вторую часть приказа. Отпустить его онять в тайгу я не имею права».

Заруднев поймал себя на том, что ему жаль Соловьева. За пять дней, проведенных вместе, в Соловьеве проснулось что-то человеческое. Он рассказывал, что ему довелось хлебнуть на первой мировой, как тяжко было служить у Колчака, и снова со слезами, пусть пьяными, о том, как был он счастлив, когда вернулся домой...

— Поверишь, порог дома целовал. Жена меня после разлуки ждала, а я спачала двор, все хозяйство в темноте с фонарем обошел...

Я Советскую власть и тогда не любил, но я ей поверил. После Колчака, выйдя из тайги, я хотел работать, мне было нужно привести в порядок хозяйство, чтобы семья перестала ниществовать. Земли кругом полно. Только не ленись. А я от всякой политики вот так устал... Я думал: пусть говорят и

пишут в газетах что угодно. Лишь бы не мешали мне работать. А мешать не должны. Есть Декрет о земле. И нужен хлеб. Вдруг за мной приходят, везут в Ачинск и говорят:

«У нас имеются сведения, что ты являешься агентом атамана Семенова».

Я спрашиваю:

«А это кто такой? И где он квартирует?»

Мне говорят:

«Ты знаешь сам».

Я говорю:

«Фамилия «Семенов», конечно, знакомая. У меня сосед Семенов был. Он, что ли, стал атаманом? Так он без руки». Смеются.

«Ты,— говорят,— веселый человек. Атаман Семенов — это другое. И квартирует он в настоящий момент в Китае».

«Ребята,— отвечаю я,— я тоже не прочь пошутковать. Только сейчас не до шуток. Если этот Семенов где-то в Китае, а я здесь, как я могу его видеть? И какие шинопронесные сведения я могу ему передавать: будет пынче урожай на кедровую шишку или нет? Или это при Советской власти большая тайна?»

Эти двое, что допрашивали, смеются.

«Мы в тебе, Иван Николаевич, не ошиблись».

«Да нет,— говорю,— жестоко ошиблись. И человек, который вам про меня сведения давал, большой подлец. Зовите его сюда. Пусть он при мне это повторит».

«Это,— отвечают,— ни к чему».

И когда я на улице треснул лбами конвоиров, что вели меня по Ачинску, и когда поселился в лесу, ох и злой же я был!.. А тут я уже собрал свою ватагу, приваливает вдруг ко мне отряд полковника Олиферова:

«Желаем, Иван Николаевич, служить под вашим командованием».

Я им ответствую:

«Ваша благородия, я простой урядник, унтер. Я сам к вам служить пойду».

«Нет,— говорят,— наше время кончилось. А твое пришло. Народ,— говорят,— быдло должно теперь нами командовать. Мы по безвыходности согласны. Под твоей властью нам не обидно. Только будешь теперь не урядником — есаулом. Иначе говоря, капитаном».

И гляжу: улыбается мне один из тех... которые меня допрашивали.

«Я ж говорил, Иван Николаевич, что мы в тебе не ошиблись».

И вот довеселили меня считай аж до стенки. Не привези ты мне письма от начальника губернии, я бы до самой смерти прописдел в лесу. Я отбивался бы до последнего патрона, потому как помирать неохота. А знаешь, отчего неохота? Думаешь, водки мало выпил али там еще чего?.. Нет. Не видал я на свете ни черта. Вечерами в лесу сидишь, в берлоге,— скучота. И вот вспоминаешь. Где сколько выпил — это хорошо помню. И как работал на поле — тоже. Ну и как стрелял кого — тоже. А больше и вспомнить нечего.

Аркашка тут служил до тебя. Занятный парень. Сделал в Форпосте театр. Дай, думаю, погляжу, что за театр. А он его затеял, чтобы меня перехитрить. Чтобы я думал, он делает свой театр, а на самом деле он готовил наступление против меня. Так и не успел я повидать театр. Синематограф видел, а театр ист.

— Куролесил-то потом зачем? — спросил его Заруднев.

— Я ж тебе сказал: от обиды. И от куражка: прежде всякий мог меня обидеть, а теперь любой у меня в кулаке. Пошлю Астанийку, он вмиг доставит, кого попрошу. А потом стал себе говорить: делаю все, мол, для счастья хакасиков. А сам все больше думал про себя. Есть такая страна — Люксембург. Говорят, вся страна что панг курорт Шира. А главного начальника зовут Великий герцог. А в такой стране, как Хакасия, думал я, должен быть непременно император. Вроде Петра Великого.

Встреча с Аграфеной

На второй день братания, после обеда, Соловьев встал из-за стола, вышел из дома и решительно направился в сторону Казачьего холма. За ним кинулся Чихачев:

— Иван Николаевич, вы куда?

— Не твое дело.

Чихачев кинулся к Зарудневу, который, тоже растревожась, поспешил на улицу.

— Иван, ты куда? — спросил Заруднев.

— Отстанете вы от меня все али нет?! — заорал Соловьев. — К бабе я иду. Любил я ее. Вас, что ли, с собой на свиданку взять? Рядом стоять будете?

— Кто такая? — спросил Заруднев. — Просто интересуюсь, где, в случае чего, искать.

— Да Аркашка у нее квартировал. Грунька Кожуховская.

— Здравствуйте, Аграфена Александровна.

— Здравствуй.

- Можно к вам бывшему соседу?
- Входи. Хотя я тебя и не звала.

Соловьев потоптался у порога. Давиценько с ним так никто не разговаривал. Аграфена прошла в залу, которая была недавно комнатой Голикова. Соловьев, осторожно ступая, последовал за ней.

Пройдя через всю комнату, Аграфена обернулась и прислонилась плечом к платяному шкафу. Ее плохо держали ноги, но внешне ее поза выглядела независимой и пренебрежительной. Соловьев замер на полу пути от двери к столу.

— Можно сесть-то? — спросил неуверенно «император тайги».

- Садись, коли лавка выдержит.

Соловьев сел на скамейку возле окна: так ему было удобней смотреть на Аграфену.

- Али ты, Груньюшка, мне не рада?

- А почему я должна тебе радоваться?

- Все ж таки была между нами любовь.

- Была, да не с тобой.

- А с кем же? Али крутила сразу с двумя?!

— Жил в нашем селе один парень, добрый и ласковый. Ванька Соловьев. Его-то я жарко и любила. А потом появился в наших местах один разбойник, который назвался его именем. Да еще и звание себе взял — «император всея тайги». С того часа горю со стыда.

- Али я нарочно сделался разбойником?

— Какая мне разница — нарочно или нет, если нигде от тебя не было спасения? Даже в эту комнату ты прислал убивателей, чтобы они зарубили топором мальчишку.

- Это Астанайкины дола.

— А когда к тебе Настасья в руки попала, что ты с ней сделал? В каком виде ее нашли?

— Война же шла, Груня. Они все подбирались меня убить. Если бы Аркашка меня убил, тебе меня не было бы жалко?

- Аграфена молчала.

- Да забудь ты хоть сейчас про это. Я к тебе пришел.

— Если бы ты хоть на год раньше пришел... А сейчас что? Вон твое войско под окнами стоит. Ноги их не держат.

— Грунь, хочешь, — Соловьев перешел на шепот, — от всех удерем: и от моих разбойников, и от Кольки Заруднева? Деньги, золото — все у меня есть.

— А чего тебе со мной удирать? Аль молодая жена плоха? Говорят, красавица. Да и детей ты любишь. А я телом хоть и ничего, а лицом не вышла.

При упоминании о жене и детях Соловьев изменился в лице. Глаза его настороженно и зло сощурились. Но глаза Аграфены были полны слез. И настороженность «императора тайги» моментально прошла.

— Если б ты знала, как я часто тебя вспоминал. Бывало, загонят меня, как зверя, в нору или тоска накатит беспространная. Не знаю, как дальше жить. И думаю: «С Груньюшкой бы минут пяток переговорить. Она мудрая. Она бы меня научила...» Ну что, бежим? А хочешь, я к тебе после тюрьги вернусь, если только Заруднев не обманет?

Соловьев поднялся с лавки и, робея, подошел к ней.

— Я ведь скучал без тебя. Всю жизнь. Глупые мы с тобою были...

— Конечно... Я ведь тоже скучала. И за пия своего только с горя и вышла. А сейчас, на старости, уже поздно. Эва куда твоя жизнь покатилась. Да и моя... хоть и не вместе с тобой.

— Я ведь знаю, это ты Аркашку на Песчанку привела, где мы с тобой встретили немало зорь.

— Что ж ты меня не убил?

— А я решил: по-другому тебе отомщу — убью Аркашку.

— Видишь, Бог не позволил тебе это сделать.

— А у тебя что, любовь с ним была?

— Да, любовь. Бог не послал мне ребеночка. Зато послал Аркашку. И я узнала, что такое материанская любовь. А ты и последнюю мою радость хотел из ружья убить... Уходи! А то ведь и у меня ружье есть. В нем два жакана.

— Груния, да ты что! Я к тебе с любовью пришел...

— Уходи, Иван. Любовь наша кончилась, когда ты стал обирать старух и вдов.

Через трое суток Аграфене предстояло узнать, почему насторожился Соловьев при упоминании о жене и детях.

Выстрел труса

Ужин в последний вечер закончился в третьем часу, поэтому Соловьев условился с Зарудневым, что встанут попозже — в десять. «Выпьем по чарке на дорожку — и в мою родимую Саралу», — заявил, прощаясь, Соловьев.

— Да чего ты, Иван, в этой Сарале не видел? — рассердился Заруднев. — Давай, коли не остановиться тебе, погуляем еще денечек здесь.

— Нет, люблю Саралу: там горы высокие. Здесь таких нет. Заберешься наверх — край света виден. Так что, Николай, в

десять я тебя жду... А знаешь, полюбил я тебя. Славный ты мужик.

Половина чоновского отряда жила с Зарудневым в одной избе, половина с Пудвасевым — в другой.

И в эту ночь на пороге шестого дня Заруднев не спал ни одной минуты. Он ругал себя, что, выполняя задание особой государственной важности, вдруг привязался к врагу государства. Заруднев жалел, что не застрелил «императора тайги», когда встретил его с Чихачевым по дороге. Ему и тогда убивать не хотелось, но в тот день разрядить маузер в Соловьева ему было бы много легче.

А теперь с каждым часом становилось все очевидней, что Иван не собирается выполнять свое обещание сложить оружие. Он уходил даже от разговора на эту тему. Дерзкий и даже бесстрашный в других ситуациях, тут он проявлял явно малодушие. Заруднев понимал: в любой момент Соловьев может вернуться обратно в лес. И потому вступал в законную силу второй, сверхсекретный приказ.

Заруднев испытывал чувство вины перед Соловьевым за то, что какие-то политические авантюристы, искалечив ему жизнь, умышленно толкнули его на путь контрреволюции и разбоя. Однако самое мучительное заключалось в том, что выполнить приказ номер два Николай Ильич должен был сам. Он не считал возможным кому-нибудь это перепоручить. Здесь недопустима была какая-нибудь промашка. И еще Заруднев считал себя виноватым перед революцией, что он весь в сомнениях перед выполнением боевого приказа, словно «император тайги», который разорил половину громадной богатейшей губернии, безгрешен.

И только под самое утро на ум Зарудневу пришел план, который умиротворил его душу: смелый, четкий и не жестокий план, когда он, начальник 2-го боевого района, останется чист перед Ужуром, Красноярском и Москвой. И при этом будет чист перед Соловьевым.

Еще раз все взвесив, Заруднев убедился, что не ошибается. План активный, но при этом никто не пострадает.

Лишь только Заруднев пришел к такому решению, он ощутил смертельную усталость. Растигнув одного из бойцов, Николай Ильич поручил ему нести дежурство внутри дома и разбудить его, Заруднева, в половине восьмого утра.

Часы, которые Заруднев передал бойцу, показывали шесть.

Проснулся Николай Ильич сам, в пятиадцать минут восьмого. Даже во сне Заруднев помнил, что ему нынче предстоит. Он вышел во двор, набрал в колодце два ведра воды, окатился с головы до ног и сразу почувствовал себя бодрым.

Хозяйка успела уже вытопить печь и приготовить завтрак. Николай Ильич выпил горячего чаю, чтобы выгнать из тела остатки алкоголя, но сесть и позавтракать с бойцами не смог. Как ни крепки были его нервы, волновался и он.

Когда его люди поели, Заруднев запер дверь, проверил, не подслушивает ли кто под окнами, и шепотом объявил: предстоит ликвидировать банду Соловьева. И объяснил каждому его задачу.

После этого Заруднев вышел из дома, сел на своего оседланного коня и выехал со двора. Его сопровождали Пудвасев и Кирбижеков, могучего сложения парень с маленьким ртом и маленькими глазками.

Заруднев потом много раз спрашивал себя: почему он взял третьим имению Георгия Кирбижекова? И не мог ответить. Да, Кирбижеков отличался медвежьей силой, но, в отличие, скажем, от Пудвасева, был туповат. Скорей всего, Николай Ильич остановил па нем выбор, посчитав, что невероятная сила Кирбижекова пригодится, а проблемы мировой революции Георгию решать не нужно...

Втроем они доехали до избы Гаврилы Георгиевича Кожуховского, где квартировал Соловьев. Фронтоны дома сливался с высоким забором. Что происходит во дворе, с улицы увидеть было невозможно.

После многодневных пиршеств Соловьев уже не выставлял возле дома часовых. Заруднев спрыгнул у ворот. Кирбижеков и Пудвасев сделали то же самое. Однако на шум никто не вышел. А Зарудневу было нужно, чтобы их встретил Соловьев.

Немного подождав, Николай Ильич велел сопровождающим остаться на улице, а сам толкнул калитку и будто по рассеянности ее не закрыл. Пудвасев и Кирбижеков привязали для порядка к дереву коней.

Со двора изба выглядела гораздо вместительней, чем казалось с улицы. С тыльной стороны дома шло высокое крыльцо, которое служило и открытой верандой, и местом, куда складывали седла, сбрую и другой хозяйственный инвентарь.

Заруднев прошел через двор. Был он в новом кителе, выбрит, сапоги его блестели. На ремне висела кобура с маленьким пистолетиком.

Николай Ильич поднялся на высокое крыльцо — шесть ступеней. Подергал дверь. Она была заперта. Он вежливо, но достаточно громко постучал. Ответа не было долго. Наконец послышались шаги. Брякнула щеколда, и в дверях появился хозяин.

— Доброе утро,— сказал Заруднев.— Иван Николаевич уже встал?

— Нет. Они еще отдыхают.

— Разбудите его.

— Иван Николаевич не одни... У них гостья.

— Все равно разбудите. Он мне очень нужен.

Николай Ильич знал: хозяин, председатель сельсовета, ни во что вмешиваться не станет. И еще, взвесив различные варианты, Заруднев решил, что будет сподручней, если Соловьев спустится во двор.

И Николай Ильич ждал «императора тайги» справа от крыльца. Позвоночником Заруднев чувствовал, что Кирбижеков и Пудвасев смотрят ему в спину, готовые прийти на помощь, но им был дан строгий наказ: стоять за воротами, пока их не позвут.

Распахнулась дверь. Появился Соловьев, заспанный, всклокоченный, глаза его были открыты лишь наполовину и вот-вот могли закрыться опять. На Соловьеве была несвежая нижняя рубашка, галифе. От поясного ремня в карман тянулся ремешок, к которому пристегивался пистолет.

— Чего тебе, Николай, не спится? — обиженно упрекнул Соловьев. — Ведь договорились в десять. Я буду зевать теперь целый день. И никакой радости от поездки в Саралу не получится.

— Пойди, чего скажу, — ответил Заруднев и отступил на два шага.

Когда же «император» нестойкой походкой спустился с крыльца, Заруднев стремительно взял его «в замок» и крепко стиснул, намереваясь повалить на землю.

— Брось баловать! — добродушно огрызнулся Соловьев, однако машинально обхватил Заруднева своими длинными цепкими руками. — Это тебе не вчераший день.

Накануне после обеда они боролись всерьез — невеликий ростом, но верткий, крепкий Соловьев и высокий, с могучей мускулатурой Николай Ильич. Оба отряда, свистя, покрикивая в азарте на борцов и заключая пари, следили за схваткой своих командиров. При явном внешнем преимуществе Заруднева борьба долгое время шла вничью, но Соловьев раньше устал, утомясь сопротивляться более массивному противнику. К великому неудовольствию Соловьева и разочарованию его людей, Заруднев свалил атамана с ног и уложил на обе лопатки.

А теперь Николай Ильич ничего не ответил и сделал «императору тайги» подсечку. Соловьев рухнул на колени, Заруднев тут же опрокинул его на спину.

— Брось, дьявол, шутковать! — обозлился Соловьев и вдруг по лицу Заруднева понял, что это всерьез.

Соловьев рванул из кармана за тонкий ремешок пистолет, вцепился в рукоятку. Неизвестно, был ли у него взведен затвор. Но Заруднев прижал его руку с пистолетом к земле. Соловьев воспользовался тем, что Заруднев весь сосредоточился на браунинге, и ударил командира острой коленкой в подых.

Николай Ильич зашелся от удара, Соловьев метнулся, чтобы вскочить, но Заруднев, еще не приди в себя от боли, обрушился на Соловьева всей своей тяжестью, вывернув ладонь «императора», заставил его выпустить пистолет, а затем прижал к земле обе его руки.

— Давай! — крикнул Заруднев.

Это был сигнал. Рядом очутился Пудвасев и помог связать Соловьева. После этого, уже втроем с Кирбижековым, они отнесли «императора тайги» в баню тут же во дворе и положили на широкую лавку.

— А как же, Колюня, письмо... начальника губернии с этой, как ее... амнистией? — криво усмехнулся Соловьев.— И чем ты лучше этих, из Ачинска? Али и ты служишь у какого-нибудь полковника Олиферова и атамана Семенова... из Китая?

— Ты же хорошего отношения не понимаешь... — ответил с придыханием Заруднев, потирая живот: боль не проходила.— Я же на службе. Но что обещал — все будет. Я напишу, что ты сдался сам. А в баню я тебя посадил, потому что ты перепил и буйнил. Или хочешь — сам напиши. Вчерашним числом. Мол, по доброй воле, согласию договоренности... И пусть Чихачев и остальные подпишут. Я тебя, Иван, жалею. И желаю тебе только добра... Если бы ты в Сарале от меня смылся, я тебе ничем уже не смог бы помочь. А так, повторяю, будешь жить. И люди твои будут жить. Всех, кроме тебя и Чихачева, в ближайшие дни отпустим. А сейчас полежи. Я соберу остальных. Ты мне все, что нужно, напишешь, победаем напоследок и поедем тихонько в Ужур.

Соловьев, не произнеся больше ни слова, отвернулся лицом к стене. Его позу можно было понять и как согласие, и как протест.

Заруднев помедлил, не дождался ответа, захлопнул дверь бани, припер ее спаружи колом и велел Кирбижекову сторожить.

Оставалось взять и запереть в той же бане Чихачева. Эта задача была вроде проще, но тоже не из самых легких. Остальные «горные партизаны», лишившиеся командира, уже не оказали бы серьезного сопротивления.

Заруднев вернулся в дом. На пороге он встретил перепуганного хозяина:

— Как же так... Он же гость... Вы же, Николай Ильич, с ним друзья... Остальные будут думать: я с вами вговоре...

— Гаврила Георгиевич, объясняться некогда. Я и теперь желаю помочь Соловьеву. Пойди к Чихачеву. Скажи, что его зовет Иван Николаевич. Если Чихачев спросит, в чем дело, скажешь: Соловьев проспился какой-то сердитый. Только не вздумай рассказать, что произошло.

Хозяин попуро отправился к дому, где остановился Чихачев. А Заруднев с Пудвасевым зашли в избу. В ней никого не было. Знакомая Соловьеву ушла.

Командиры сидели в большой комнате, дверь в которую открывалась сразу из прихожей, но в суматохе они забыли увести от дома лошадей.

Когда через пять минут прискакал Чихачев, кони, привязанные у ворот, насторожили его, тем более что хозяин ничего не сказал о гостях. Чихачев не стал слезать с лошади, не въехал во двор, а крикнул с улицы:

— Иван Николаевич, выдь на минутку, чего тебе скажу... Но вместо Соловьева вышел Пудвасев.

— Чего орешь! — оборвал Чихачева Пудвасев. — Давай зайди, Иван Николаевич тебя просит.

Но Чихачев не поверил, выхватил пистолет и выстрелил в Пудвасева. Однако многодневная попойка не прошла даром: руки тряслись. Еще два выстрела — и снова мимо. Пудвасев успел выхватить маузер. Чихачев рванул в сторону, но выстрел Пудвасева его пастиг. Чихачев, первый помощник Соловьева, свалился с коня.

Из дома выбежал Заруднев. Чихачев уже лежал на земле, одну его ногу держало стремя.

В этот миг со стороны бани раздались звон стекла и два винтовочных выстрела. Николай Ильич и Пудвасев кинулись к бане.

Кирбижеков стоял у маленького окна с выбитым стеклом и держал в руках свою трехлинейку. Заруднев, ничего не сирашивая, отбросил кол, которым была подщерта дверь, и вбежал в мыльню.

На полу, лицом вниз, со связанными руками, замер Соловьев. На спине его нижней рубашки расплылись два пятна.

— Ты что наделал?! — удивленно спросил Заруднев Кирбижекова, который вошел за ним следом.

— Улица начал стрелять. Соловей голова бил окно. Я бояться...

— Но он же не мог со связанными руками вылезти в маленькое окно!

— Я бояться — Соловей бежи...

Заруднев шагнулся, перевернулся Соловьев — «император тайги» был мертв. На либу его остался рубец от удара по раме, а на лице и в открытых глазах застыло выражение укоризны.

Николай Ильич закрыл Соловьеву глаза и держал руки у него на лице, пока оно не остыло.

Четверо из отряда Соловьева сдались сами. Остальные бежали.

Вечером Соловьева и Чихачева похоронили тут же, в Форпосте, за оградой кладбища, на спуске к реке.

Заруднев составил рапорт о случившемся, в котором разделил вину поровну с Кирбижековым, и напился до беспечности.

Николай Ильич был готов ликвидировать Соловьева, пощертовав, если бы понадобилось, своей жизнью. Он смирился с тем, что если его, Заруднева, убьют, то он будет похоронен на том самом форпостовском кладбище, возле которого был теперь закопан бывший «император тайги».

Взяв без единого выстрела Соловьева в плен и получив редкую возможность подарить жизнь вчерашнему противнику, который причинил много зла, но сам, как выяснилось, был жертвой загадочных и, без сомнения, темных сил, Заруднев не предполагал, что так нелепо его потеряет.

А по Хакасии уже неслось со скоростью света: «Соловей убит...»

Была прислана специальная комиссия, которой поручили удостовериться, что в Форпосте действительно убит Иван Соловьев. Комиссия вскрыла могилу. Извлекли и омыли тела. Фотограф из газеты по заданию ГПУ сделал снимки. Их сравнили с теми, которые имелись. Ошибки не было: Соловьев и Чихачев. «Красноярский рабочий» поместил очерк с портретами Заруднева, Соловьева и Кирбижекова.

В ходе расследования обстоятельств гибели «императора тайги», а также в результате допроса членных выяснилась одна страшная подробность. Чтобы семья не была помехой и не могла быть взята в заложники, Соловьев ее умертвил. В «горно-партизанском отряде» в опасные моменты женщин и детей убивали и раньше. Под конец очередь дошла и до семьи самого «императора тайги». Кому Соловьев это поручил, осталось неизвестным. Были застрелены жена и двое детей. Видимо, та же участь постигла и старика отца, который помогал сыну, выполняя в тайге обязанности завхоза.

* * *

Автономная Хакасия

Стога сена, скирды необмолоченного хлеба, заимочные хозяйства разорены, одинокие и обветшалые дворы пустуют. Когда-то жизнь здесь была ключом и степь ломилась от громадных табунов. Теперь не то — встретилось одно стадо в пятнадцать лошадей. Безлошадство. Везут на старых, полубольных лошадях.

Божье озеро давало улов рыбы — теперь нет счастей. Школы замерли. Бедность приниженная, трусливая. Приниженность — естественное последствие бандитизма¹.

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

4 очитав в газете «Красноярский рабочий» статью о том, как был пойман и пслепо убит Соловьев, Голиков почувствовал, что не может больше ни минуты сидеть в библиотеке. Он сдал подшивку и вышел в Екатерининский сквер, названный так потому, что посередине его стоял памятник Екатерине Второй. Императрица высилась в полный рост со скрипетром в руке, а у ее ног по кругу разместились выдающиеся деятели той эпохи: Потемкин, Державин, Орлов, Дацкова, Суворов. Обычно Голиков любил, выйдя из читального зала, разглядывать лица людей, которые жили почти два столетия назад, но сейчас мысли Аркадия Петровича были в Форпосте.

Сначала он ощутил острую душевную боль, что не ему довелось провести эту последнюю операцию и что он так и не увидел Соловьева, о чем мечтал. И в этом Голиков, не лукавя перед собой, завидовал Зарудневу. Но Аркадий Петрович отдавал себе отчет, что провести заключительную операцию он бы, наверное, не смог. Не потому, что ему недостало бы воли и смелости, и не потому, что Бог обидел его силой, а потому... что он не смог бы напропалую несколько суток подряд пить с «императором тайги». Нервная система такой нагрузки не выдержала бы...

«Все, — сказал себе Голиков, — Соловьева больше нет. И соловьевщины больше нет. И точка на этой истории, которая всем

¹ Газета «Красноярский рабочий», 1924 год, 22 февраля.

обошлась слишком дорого. В том числе и мне. Быть может, я когда-нибудь о Соловьеве напишу. А сейчас не хочу о нем даже думать».

...У себя в комнате он поел холодной каши, которую полил постным маслом, запил ее холодной водой с куском хлеба и сел за работу. Последнее время он ловил себя на том, что неотступно хочет есть. Только за рукописью или во время чтения, когда журнал или книга увлекали его, мысли о еде вытеснялись другими впечатлениями.

Придвинув к себе чистую бумагу, Голиков обмакнул в чернильницу перо тонкой ученической ручки, посмотрел, нет ли на кончике волоска, и принялся за работу. Он переписывал. Но чисто не получалось. Еще в реальном ему по чистописанию редко ставили больше тройки. А сейчас эта каверзная наука не давалась ему и вовсе.

Обдумывая, что написать, он забывал, что писать нужно крупными буквами и четко. Или, написав полстраницы совершенно четко, тут же начинал исправлять и выстраивать варианты одной и той же фразы. В результате приходилось перебелять всю страницу. После этого он прятал ее в папку, чтобы не захотелось вносить новых поправок или исчалило не замарать.

Голиков мог поручиться, что делает свою работу, то есть правит роман, хорошо, по крайней мере лучше, нежели совсем недавно. Но стремительно неслось время. Это было тем досаднее, что Аркадий Петрович видел: фразы делаются короче, в них появляется упругость и слова сами становятся на свое место,— рождался опыт, возникало, накапливалось мастерство.

Но при том, что дело, несомненно, подвигалось, жил он все тревожнее. Рубль уходил за рублем, другие деньги в ближайшее время не предвиделись. Чувствовал он себя тоже по-разному: то лучше, то хуже. Часто к вечеру возникали мысли, что он занимается ерундой. Их подкрепляли газетные заметки под рубрикой «Происшествия»: молодые и не очень молодые люди часто кончали жизнь самоубийством, и мотивировка была одна: «Устал жить», «Устала бедствовать!».

Когда вышли все деньги, Голиков отправился на Сенной рынок и продал совсем новую шинель. Взамен в той же лавке старьевщика купил брезентовый плащ: уже стояли холода. Затем тут же, на базаре, спустился в подвал-харчевню и наелся досыта. Две недели он жил не шикуя, но и не голодая. И еще яростней навалился на работу.

Однако и эти невеликие деньги ушли. А конца работе не было видно.

В кармане Голикова оставалось полтора рубля, когда он продал почти новые сапоги и серебряные часы.

И снова стал ходить обедать в столовую в соседнем доме. Он решил так: он будет обедать у стариков, пока есть деньги, а там попросит разрешения обедать в долг, чтобы отдать с лихвой, когда ему заплатят за книгу.

Мысли о том, что книгу могут не взять, он просто отбрасывал, как на войне старался не думать о смерти.

В армии Голиков слыл собранным, организованным человеком. А теперь, когда он работал над романом, где ставкой, как и на войне, была жизнь, он чувствовал, что обстоятельства одолевают его, будто кто-то невидимый строит ему козни.

С вечера он намечал переписать столько-то страниц, но почти никогда не успевал выполнить норму. Либо он застревал на каком-нибудь отрывке, либо из детали вырастал целый эпизод. Книга — он попимал — делалась интересней. Он даже выявил закономерность: работа движется лучше, когда интересно самому. Но деньги, которые таяли, отравляли радость небольших открытий.

Видя, что остается всего несколько рублей, а продавать уже нечего, Голиков решил было: «Перепишу как есть, ничего не поправляя. А когда примут — доделаю». Но из этого намерения, способного ускорить работу, ничего не получилось. Если видел, что нужно переписать или поправить, переписывал или поправлял. И его не останавливал даже мысль, что, возясь вроде бы с мелочами, он через несколько дней останется без единого пятака.

И день такой наступил. Съев утром горбушку, которую он сберег с вечера, запив ее горячей водой, Голиков отправился на Витебский вокзал. Он уже два раза наведывался туда в надежде заработать разгрузкой вагонов. Но грузчиков хватало. Тем не менее бригадир, внимательно присмотревшись, сказал ему:

— Ты, парень, захаживай, всяко бывает. Либо работы поднавляют, либо кто запьет.

Однако на вокзале Голикову не повезло и в третий раз. Бригадир заболел, а заместитель ничем не обнадежил. И Аркадий Петрович отправился на Сенной рынок. Продавать ему было нечего, и в знакомой лавке старьевщика он произвел обмен: снял с себя последние сапоги, хорошие, крепкие, которые надраивал каждое утро. Взамен получил парусиновые летние туфли и пятерку в придачу.

Однако в суконных галифе и этих баретках Голиков выглядел нелепо и в той же лавке произвел еще один обмен: снял с себя командирские галифе и натянул мятые, ни разу не глажен-

ные полосатые брюки. В компенсацию очень довольный владелец лавки случайных и краденых вещей выдал ему еще четыре рубля.

Девять рублей, после того как утром не было ни единой копейки, показались Голикову целым состоянием. От голода его шатало. Возле лавки старьевщика у толстой неопрятной бабы он съел из едва ополоснутой миски две порции горячего наперченного варева с мелко накрошеным мясом, которое невозможно было разжевать. Аркадий Петрович его просто глотал. К супу полагался увесистый кусок хлеба. Отдав за подозрительный обед сорок копеек, Голиков заспешил домой, чтобы сесть за стол, пока снова не проснулся волчий аппетит.

Возвратясь к себе в комнату, Аркадий Петрович принял за главу о перебежчиках — группе белых солдат, которые решили переметнуться к красным.

Новая глава потребовала трех дней. А дальше сюжет вдруг стал развиваться совсем в другую сторону.

Аркадию Петровичу неожиданно захотелось рассказать не только о том, что было с ним, Голиковым, на войне, но и о том, что могло быть.

Когда Голиков был еще курсантом, они перехватили связного белых: он ехал за дислокацией — планом размещения частей. И двое курсантов, зная пароль, надев гимнастерки с погонами, отправились в штаб противника, получили дислокацию, но чуть не погибли: в последнее мгновение у одного из них не выдержали первы.

Теперь Голиков задумал рассказать это все в романе по-другому. К Сергею Горинову попадает в руки сумка с документами убитого белого офицера. Он вовсе не документы с собой, нечаянно попадает в расположение белых, обнаруживает документы в сумке, и ему приходит спасительная мысль выдать себя за убитого...

К ситуации, когда человек, чтобы остаться в живых, внезапно вынужден воспользоваться чужими документами, Аркадий Петрович прибег еще раз, уже работая над повестью «Школа».

История о том, как Сергей Горинов вынужден был выдавать себя за давно не существующего Константина Николаевича, оказалась очень трудоемкой. Отложить ее или вынуть из рукописи Аркадий Петрович уже не мог. Она давала новый поворот событиям книги и с неожиданной стороны рисовала Сергея Горинова, открывая путь к следующей главе, тоже весьма необыч-

ной. Но пока что на рассказ о том, как Сергей был «белым», ушло десять дней. И Голиков остался с последним рублем.

Разменивать его Аркадий Петрович не рисковал, а, пойдя обедать, договорился с добрыми стариками, которые держали столовую, что ему откроют кредит самое большее на месяц. А там он расплатится.

Старик сказал:

— Конечно, вы наш постоянный посетитель. У каждого могут быть трудные времена. Милости просим в удобное вам время.

Хозяйка особенного удовольствия не выказала, но каждый день, когда Голиков приходил к открытию столовой, то есть к часу дня, несла тарелку супа, потом второе. Хлеб стоял на столе. За него ничего не платили.

Хлеб Голиков съедал весь: обед у стариakov был его едой за целый день, но он ни разу не позволил себе взять кусок хлеба с собой.

Аркадий Петрович держался на этих обедах две недели, потом разменял все же последний рубль, чтобы купить себе хлеба. Ждать от обеда до обеда становилось все трудней. Он завтракал четвертушки буханки утром, кусок съедал перед сном и надеялся, что все же допишет книгу на обедах в долг, но случилось непредвиденное.

Однажды, как всегда в час, Аркадий Петрович спустился в столовую, поздоровался, сел за столик, развернул свежую газету, которую клал ему хозяин, и отципнул корочку хлеба. В зале он был один, и газета помогла скрыть, как дрожит его рука, когда он подносит ко рту хлеб. А через минуту его увлекла статья.

Автор писал о том, что пэп, вопреки мнению скептиков, решительным образом оживил экономику. За год урожай зерновых повысился на 30 процентов, и всего лишь через год после страшного голода в Поволжье возникла новая проблема. Хлеба в стране оказалось много, он стал дешев, и это сразу ударило по крестьянину, потому что оказалось, что гвозди, строительные материалы, сельскохозяйственные орудия в пересчете на хлеб стоят очень дорого.

Еще в той же статье говорилось, что иэп сделал активным внешнеторговый баланс. Купив за границей товаров на 180 миллионов рублей, Республика продала за рубеж своей продукции на 245 миллионов.

Обрадованный тем, что прочитал, Голиков отломил еще кусочек хлеба, помазал его крепкой, свежей горчицей, отправил в рот и принялся за следующую статью — о червоице, который

был введен в 1922 году, приравнивался во внешнеэкономических платежах к золотому червонцу царской чеканки и был признан поэтому на биржах Европы и Америки как конвертируемая валюта. И тут Аркадий Петрович услышал из кухни злой шепот старухи:

— Долго этот бояк будет у нас жрать задарма?

— Он не бояк, он бывший командир,— ответил хозяин.— Он хочет стать писателем, как Максим Горький. Сейчас у него затруднения. Потом дела поправятся, он отдаст. Я узнавал: писателям платят большие деньги.

— Посмотри, в чем он ходит. Он дурил тебе голову. Он все пропил. Я видела писателя Потапенко. У него была бриллиантовая булавка, и папиросы он носил в золотом портсигаре.

Голиков не помнил, как очутился на улице. Последнее, что он успел заметить, был хозяин, который замер у столика с брошенной газетой, а из тарелки в его руках шел пар.

«Что же делать?» — думал Голиков. Тот кусок хлеба, который он съел с горчицей, был всей его едой за минувшие сутки. А теперь он остался и без обедов. На дне чемодана вместе с пистолетом лежал серебряный полтинник. Но Голиков берег его на самый крайний случай и даже старался не вспоминать, что полтинник у него есть.

Можно было продать пистолет. За него бы дали не меньше ста рублей. Многие владельцы лавок, опасаясь грабежей, спешили обзавестись оружием.

Но отдать в чужие руки маузер, который служил верой и правдой пять с лишним лет, было то же самое, что отдать коня или собаку, которые много раз спасали тебе жизнь.

«Попросить в долг у Галки? — размышлял Голиков.— Нет... Дать телеграмму отцу?»

На телеграмму как раз хватило бы серебряного полтинника. И отец тут же прислал бы тридцать — сорок рублей. В их ожидании Голиков одолжил бы немного у хозяйки. Правда, он и так ей задолжал за квартиру, но она бы ему поверила. Она видела, что он трудится, не пьет, не водит никаких компаний, и верила, что он пробьется. Но идти на попытку мешала гордость. А он и теперь не думал сдаваться. И Голиков направился к Витебскому вокзалу.

Была уже середина дня. Надежд, что его примут в артель, не было никаких, но он помнил обещание бригадира. «Напрошусь хоть на полдня. Скажу, что дела мои никуда». Грузчикам он в этом признаться мог.

Когда на вокзале Аркадий Петрович неуверенно подошел к товарным вагонам, там царила суэта: из теплушек выносили и

грузили на подводы мешки с чем-то белым.

— Поберегись! Поберегись! — заорали на Голикова сразу с двух сторон.

Он отскочил в сторону. И тут на него палестел бригадир.

— Аркашка! — заорал он.— Где тебя, собачий хвост, мыши носят? Парня у меня вчера ящиком зашибло. А я никого не беру, жду тебя. Давай носи мешки с цементом.

Голиков торопливо сбросил брезентовый плащ, который заменял ему шинель, выручал от дождя, но почти не грел. Аркадий Петрович положил его в общую кучу, на одежду остальных грузчиков, и поднялся по широкой доске в вагон. Там полноватый парень в бескозырке подхватил с пола мешок и мягко опустил его на согнутую спину Голикова, которому показалось, что на него погрузили целый дом.

— Держишь? — спросил парень.— Семьдесят кил.

— Держку, — сдавленно ответил Голиков, подхватывая снизу мешок руками.

Он двинулся к распахнутой двери, ступил на доску. Она под ним качнулась. Парень заботливо поддерживал Голикова и здесь. Аркадий Петрович ощутил: доска под ним прогибается от каждого шага, а мешок толкает вперед, словно хочет вогнать лицом в щебенку между рельсами.

Но Голиков все же спустился на неровную, усыпанную мелкими камнями землю, повернул налево, добрел до вагона. Там чисто ловкие руки сняли пошур. Аркадий Петрович с трудом разогнулся спину. Перед глазами плыло. Рубаха и старый френч были мокрыми. Он не представлял, что носить мешки ему так тяжело.

Еще не отдохнувшись, Голиков направился к вагону, уступая дорогу грузчикам, которые шли навстречу с поклажей. Он почти взбежал по доске в вагон, точно кто-то мог отнять его мешок.

— Не спеши, — заботливо предупредил его белобрюсый.— Побереги силу. Пока не разгрузим этот и еще один вагон, шабаша не будет.

— Я понял, — ответил Голиков.

И второй мешок он нес плавно и менее торопливо, по галька, насыпанная между шпал, стала подозрительно мягкой и будто вмешалась под баретками, как глина. И Голиков чувствовал, что его пошатывает. Горячий пот заливал глаза. До неся мешок до телеги, Аркадий Петрович повернулся к возу спиной, чтобы сбросить, и едва не уронил поклажу на землю.

— Ты что, пьяни? — заорал на него грубый голос.

А другой — спокойный, с хрипотцой — ответил:

— Не пьян. Просто жрать хочет. По морде не видишь, что ли? Сам давно ли пожрался?

Но этот короткий диалог Голиков слушал, куда-то словно проваливаясь, а на самом деле падая в голодный обморок и медленно опускаясь возле телеги на землю.

Потом он с мокрым от воды лицом сидел на ящиках возле разгруженных вагонов, и старый грузчик в кепке кормил его хлебом, чесночной колбасой и желтыми антоновскими яблочками, то и дело протягивая синий умывальный кувшин с водой:

— Ты пей водичку, пей, еда посуходу не полезительна.

Впервые за полтора месяца Голиков почувствовал, что наелся до отвала.

— Сколько я вам должен? — спросил он, имея в виду, что расплатится, когда получит за работу.

— Ничего ты не должен. Это твой обед. Питаемся мы артелью. И потом, у нас такой закон: разбился ящик — он в пользу грузчиков. Так что кушай от души. Еды много.

Но Голиков больше не хотел, кроме того, он тревожился, что из-за обморока ему скажут: «Ты слаб, мы лучше возьмем здорового».

— Накушался? — заботливо спросил старик. — Тогда иди, носи полегонечку. Ты малый старательный, мы видим. Ежели сегодня мало сделаешь, завтра наверстаешь.

Голиков понял, что его припяли в артель. И он проработал в ней одиннадцать дней, пока не поправился зашибленный ящиком Денис.

Бригадир дал Голикову доработать этот день, накормил ужином, произвел расчет и вручил еще полменшка воблы и яблок.

— Не обижайся, Аркашка, — сказал бригадир, — мы тобой премного довольны, но коль вернулся наш стариинный товарищ...

— Я не обижуюсь, вы меня крепко выручили.

— Хорошим людям нужно помогать. Тяжко будет — приходи. Мы всегда тебя подкормим.

За одиннадцать дней Голиков заработал сорок рублей, не считая того, что отдал в общий котел.

Первое, что Аркадий Петрович сделал, возвратясь домой, — отдал десятку хозяйке за комнату и отсыпал ей половину содержимого своего мешка. Потом спустился в подвальчик.

Хозяина не было, народу за столиками сидело довольно много. Обслуживала их одна хозяйка.

— Зинаида Никандровна, — обратился к ней Голиков, — можно вас на минуту?

— После, после, я занята! — торопливо ответила хозяйка.

Голиков понял: она думает, он пришел снова просить в долг.

И когда хозяйка пробегала с подносом мимо него, сказал:

— Я кладу под блюдечко деньги. Большое спасибо.

Он должен был восемь, оставил десятку. Двух рублей до слез было жалко, но просить сдачи он не стал.

— Куда же вы? Садитесь пообедайте! — крикнула вдогонку хозяйка.

— Благодарю, я сыт.

Только выйдя из подвала, Голиков почувствовал: как же давил его этот долг!

Оставалось два червонца. На эти деньги он должен был любой ценой закончить книгу. Больше ему рассчитывать было не на что.

...И настал такой день, когда он поздно вечером дописал последнюю страницу, вывел в конце «Арк. Голиков» и вложил ее в довольно увесистую папку. А перед сном вынул рукопись из папки, просмотрел ее от первой страницы до последней, и ему сделалось не по себе.

Как Голиков ни старался, в стопке не нашлось ни одной чисто написанной страницы. На каждой были поправки, подклейки, на полях — пусть и в аккуратных рамочках — вставки. Прочитать рукопись, конечно, было можно, но если бы кто-нибудь пожелал придраться, достаточно было взять в руки любой лист.

По дороге из Арзамаса в Петроград Аркадий Петрович сделал остановку в Москве и наведался в Госиздат. Хотелось поговорить с кем-либо из редакторов о будущей книге: ведь он не собирался задерживаться у Галки.

Но в этот день все работники издательства были ужасно заняты. До беседы с молодым автором снизошла только секретарь-машинистка, властная дама в годах.

— Ваш роман должен быть переписан от руки на одной стороне листа большого формата. А лучше всего отпечатать его на машинке. Приходите ко мне сегодня вечером, мы с вами договоримся,— пообещала она.

— Я вечером еду в Петроград!

Тогда еще были деньги, но нечего было печатать. А совсем недавно, когда работа близилась к концу, Аркадий Петрович предпринял отчаянную попытку. Увидев на фасаде вывеску: «Машинистка. Исполнение срочное», он поднялся на третий этаж.

Приняла его, повернувшись на вращающемся кресле, высокая худая женщина с перстнями на длинных, музыкальных пальцах.

— Что у вас там? — спросила она, протягивая руку.

Он подал ей папку с первыми главами романа.

— Такая грязь? — удивилась машинистка. — Это будет стоить дороже.

— Пожалуйста, я заплачу. Это про красных курсантов. Когда роман выйдет, я заплачу втройне, но сейчас я хотел бы в долг.

Машинистка аккуратно завязала тесемки папки и крикнула в соседнюю комнату:

— Нюра, закрой за советским Куприным дверь.

И теперь он думал: «Вдруг и в редакции скажут: «Такая грязь?!» — и вернут папки? И все рухнет из-за того, что нет пятнадцати рублей на машинистку».

А у него, между прочим, уже появились наброски второй книги — «Последние тучи», которая должна была стать продолжением романа «В дни поражений и побед». И набросок к рассказу о детях. Но все имело смысл лишь в том случае, если придет удача. А настоящая сказочная удача, утверждал отец, приходит к пишущим лишь трижды в столетие.

ЧЕТВЕРТЫЙ СЛУЧАЙ

Yтром собрался. Взял рукопись. Прошел по Фонтанке до Невского, пересек мост с клодтовскими конями. И дальше мимо Садовой (то есть улицы имени 3-го июля), мимо Пассажа двинулся в сторону капала Грибоедова и очутился возле здания с глобусом па крыше. На первом этаже помещался книжный магазин. Он в этот час был еще закрыт. Зато со стороны Невского уже отомкнули параднос, возле которого и были приколочены вывески с названиями издательств. Голиков еще не знал, какое ему нужно. Годилось любое, лишь бы взяли рукопись.

Он поднялся по мраморной лестнице с витыми перилами и на третем этаже вошел с просторной лестницы в тесный коридор. Свет из узкого окошка был недостаточен. А электричества здесь не было или его не зажигали из экономии.

Голиков боялся, что окажется единственным посетителем. Опасения были напрасными. В коридоре уже стояли, кого-то ждали, о ком-то наводили сведения молодые и не очень молодые люди. Здесь царила напряженная и странная тишина: такая бывает в госпиталях во время операции, исход которой не извес-

тен. И люди опасаются громким словом помешать хирургу или спугнуть судьбу.

Голиков неуверенно приоткрыл одну дверь, потом другую и тут же поспешно закрыл: везде заседали. Он остановился и перевел дух, точно пробежал длинную дистанцию.

Возле узкого окна беседовали двое. Один был высокий, с густой седеющей шевелюрой, одетый в толстовку. Другой казался моложе. Носил пиджак и рубашку без галстука. Голиков невольно прислушался к их разговору.

— Люди устали от стрельбы,— объяснял высокий, в толстовке.— Когда американцы во время мировой войны снаряжали экспедиционный корпус в Европу, они клали в ранец каждому солдату по томику Диккенса. Или Марка Твена. Или О'Генри.

— Так что же, бросить писать и переводить одного Диккенса? — забеспокоился тот, что был в пиджаке.

— Зачем? Бросать не нужно. Только надо знать, что имеет спрос. И я тебе точно говорю: сейчас покупают только «красный пинкертон» — с расследованиями, загадочными убийствами, погонями на красивых лошадях и авто. Подходит и юмор — «под Аверченку». А если ты желаешь сочинять нечто серьезное, то, пожалуйста, про восстановление народного хозяйства и рабочий класс.

Голикову стало нехорошо. На него опять поплыли стены, как дома, во время разговора с отцом. Не понимая, что это такое: минутная слабость или начало приступа,— он коснулся лбом холодной, выкрашенной маслом стены. Ему показалось, что все опять куда-то проваливается. И он снова пожалел, что не кинул тетрадки в мутные воды канала.

Кто-то подошел к нему и положил руку на плечо.

— Товарищ, вам нехорошо? — спросил негромкий, участливый голос.

Голиков вздрогнул, обернулся. Рядом стоял человек лет тридцати. В гимнастерке. Судя по деловому, спокойному виду, работник издательства.

— Нет, спасибо. Это я так.

— Мне показалось, вы чем-то огорчены?

— Говорят, что вот не берут. Передышка. Лучше всего Аверченко и Диккенс.

— Чего не берут? Какой Аверченко? Какой Диккенс?.. Давайте отойдем в сторонку. Кто вы? Откуда? Что принесли?.. Подыметесь этажом выше. Там можно посидеть.

Они поднялись. Возле еще закрытого буфета стояло несколько венских стульев. Голиков и незнакомец присели.

— Кто вы? Откуда? — повторил человек, внимательно разглядывая Аркадия Петровича, его молодое, румяное, однако нездоровое лицо, в котором были растерянность и тревога, его распахнутое, не по сезону холодное брезентовое пальто. Увидел незнакомец и летние туфли на тонкой подошве, больше пригодные для прогулок в солнечный день. А на улице уже давно стояла зима.

Сбиваясь и перескакивая, Голиков в десять минут поведал всю свою жизнь с момента отъезда из Арзамаса в Москву четыре года назад до сегодняшнего утра.

Незнакомый чудак, которого все это заинтересовало, взял из рук своего собеседника папку, развязал тесемки, полистал страницы. Затем вернул рукопись и сказал:

— Пойдемте!

Они спустились этажом ниже. Незнакомец подвел Голикова к дверям комнаты, куда Аркадий Петрович уже заглядывал.

— Через час зайдите сюда. Желаю удачи.— И растворился в полуутяжеленном коридоре.

Незнакомца звали Илья Рубановский. В 1927 году он написал об этой встрече: «Я познакомился с ним случайно в длинном и неприветливом коридоре одного из наших издательств. Несмотря на 20 градусов мороза, он был легкомысленно одет в коричневое брезентовое пальто и летние парусиновые туфли. Головной убор составляла бумажная кепка, крепко стянутая гарусным шарфом.

Единственным багажом человека была толстая рукопись, пестрые листы которой торчали из оборванной папки. Мы разговорились...

Мой новый знакомый просто и равнодушно рассказывал мне о днях голода и звериной тоски. Потом я раскрыл картонную папку. Это были записки — роман о том, что видел, как жил и боролся этот юноша в годы своей сознательной жизни...»

У Голикова не было часов. Каждые десять — пятнадцать минут он выбегал на лестничную площадку, где сидел вахтер, и смотрел на ходики. Выждав ровно час, толкнул показанную ему дверь.

В типично канцелярской комнате с разномастными письменными столами, двумя шкафами, на которых громоздились папки, с желтой электролампой, подвешенной под потолком, кончилось заседание. Одни участники совещания спешно протиснулись мимо Голикова к выходу, другие, стоя, продолжали разговаривать. Трое или четверо на правах хозяев сидели за столами.

Всегдашняя общительность покинула Голикова. Не зная, к кому обратиться, он ждал, пока его заметят.

В этот момент высокий, с гладким пробором человек, который сидел чуть сутулясь, возможно стесняясь своего роста, посмотрел на посетителя, причем вполне доброжелательно. И прежде чем высокий успел что-либо произнести, Голиков положил перед ним на стол свою папку и дернул тесемки. Папка распахнулась. Высокий от неожиданности вздрогнул. А Голиков, понимая, что это, возможно, последний шанс, твердо и отрывисто произнес:

— Я — Аркадий Голиков. Это мой роман. Я хочу, чтобы вы его напечатали.

Теперь уже все обернулись в сторону необычного посетителя: начинающие авторы не каждый день разговаривали в этой комнате тоном кавалерийской команды. Стол, за которым благодушно сидел высокий, окружили плотной стеной. Из папки в один миг расхватали добрую половину страниц. Голиков сначала испугался, что листы перепутают, а потом, чего доброго, и потеряют, но чужие руки бережно, с величайшей осторожностью перелистывали страницы. И Аркадий Петрович ужаснулся их виду со стороны...

Уловив насмешливое выражение на лице одного из тех, кто сейчас листал его рукопись, Голиков весь сжался, готовый к тому, что все через минуту расхоочутся, засунут его листы обратно в папку и выставят за дверь: не будь, мол, браток, нахалом!

Но высокий, достав изогнутую трубку и все так же благодушно улыбаясь, набил ее табаком, закурил, глубоко затянулся и начал читать подвернувшиеся ему страницы. Аркадий Петрович их сразу узнал. Это была глава, где Сергей Горинёв нечаянно заехал в расположение белых.

Голиков любил этот эпизод, потому что в нем были переданы ощущения человека, вступившего в смертельную игру и вынужденного держаться независимо и хладнокровно.

— Вы писали что-либо прежде? — выпустив длинную струю пахучего дыма, спросил высокий.

Аркадий Петрович хотел ответить: «Да, конечно, и даже печатался — в «Авангарде». Вот только те номера не сохранились...» Но вопрос был задан хорошо, участливо. А в газете «Авангард» было помещено всего лишь несколько наивных стихотворений. И Голиков ответил:

— Нет. Это мой первый роман. Но я решил стать писателем.

— Кем вы были раньше и кто вы теперь?

— Теперь — по болезни в отпуске. А был командиром полка.

— Долго командовали полком? — В голосе прозвучало изумление.

— Полком — почти год. А вообще командовал три с половиной.

— Простите, сколько же вам сейчас? — продолжал высокий.

— Девяносто.

— Девяносто?

— А в каких местах вам довелось воевать? — Это спросил человек с худым, монгольского типа лицом и веселыми маленькими глазами. Он был одет в командирский френч с пакладными карманами.

— Под Киевом, Полоцком, на Кубани, Тамбовщине, в Сибири.

— А где в Сибири? — встрепенулся человек во френче.

— Ачинско-Минусинский район.

— Против Колчака?

— Нет, белопартизанщина. С атаманом Соловьевым.

— И вы пишете про Сибирь?

— Пока только про Украину и Кавказ.

— Костя,— сказал человек во френче, обращаясь к высокому,— я возьму это почитать. А вы,— повернулся он к Голикову,— зайдите через несколько дней.

Голиков не помнил, как вышел, точнее, выплыл из комнаты. Все в тот же миг для него заволоклось горячим туманом, будто он заболевал и у него начинался жар.

«Несколько дней... — звучало у него в ушах. — Несколько дней». Эти дни надо было прожить. Уже не имело значения, что не оставалось денег. Можно было просуществовать и на ту мелочь, что еще бренчала на дне кармана: Голиков научился обходиться ничтожно малым — тарелкой супа, половиной кара-валя хлеба на день. Он знал, что на этом можно было продержаться и даже проработать день, и готов был ждать сколько угодно. Сейчас важно было только одно: что скажут, когда прочтут? Да и хватит ли терпения прочесть? Если б хоть было напечатано на машинке... И то, говорят, не всегда читают.

Вдоволь искашив город, поев возле Сенного рынка рубца с хлебом, на что ушел почти весь наличный капитал, Голиков решил отправиться к себе. Свернув возле Апраксина двора к Фонтанке, он скоро был дома и, поскольку всю предыдущую ночь не спал, тут же лег и заснул.

И приснился ему сон.

Третий сон, записанный А. П. Гайдаром:

«Я на обыске. Огромный, запутанный темный чердак. Пыль,

паутина. Я нахожу тяжелый артиллерийский палаш. Мне становится душно, и я хочу спуститься вниз. Я перелезаю через балки, бревна и никак не могу найти выхода.

Нечаянно я дотрагиваюсь до электрического провода — ток вызывает судороги и колотит меня, но я не могу оторваться от провода. Я делаю попытки, напрягаю все силы, но все напрасно. Наконец всем корпусом падаю назад. Рука разжимается. Я спускаюсь вниз.

Внизу чувствуется близость восстания...

Я пристегиваю палаш к поясу. И хочу вынуть клинок, но едва я сжимаю эфес, как пораженная током рука покрывается массой мелких трещинок, из которых выступают капли крови».

Голиков не представлял, сколько это — «несколько дней».

Он выдержал неделю, потом еще день и отправился на Невский, поднялся в издательство на третий этаж и толкнул уже знакомую дверь.

Народу в комнате было меньше, чем в прошлый раз. Голиков сразу увидел высокого, с трубкой. В уголке комнаты сидел второй, во френче. Больше Аркадию Петровичу пока никто не был нужен.

— Доброе утро,— произнес он, входя в комнату.

— Здравствуйте,— ответил высокий.— Присаживайтесь.

Голиков пристроился на красненьком стуле. Сердце Аркадия Петровича билось редко и глухо. Деловитость, с которой его встретили, могла означать что угодно: и что еще не прочли, и что уже потеряли, и что его просто не помнят, и что будет гораздо лучше, если он напишет «красный пинкертон».

Внутреннее напряжение Голикова было так велико, что он даже не слышал, о чем шел разговор. Чтобы отвлечься, как он это делал в операционных, где приходилось ждать, пока к тебе подойдет хирург, Аркадий Петрович припялся разглядывать шкаф, дубовый, трехстворчатый, набитый папками. Все папки в шкаф не влезали, их сложили штабелями наверху — синие, красные, зеленые, самодельные из обоев и оберточной бумаги. Это громоздились отвергнутые рукописи.

В комнате раздался смех. Голикову показалось, что смеются над ним. Он обернулся.

— Там вашей рукописи нет,— сказал, улыбаясь, высокий.— Подсаживайтесь ближе. И давайте знакомиться.— Он протянул руку: — Константин Федин.

— Сергей Семенов,— назвал себя, подойдя к Голикову, тот, что был во френче.

— Михаил Слонимский, — отрекомендовался третий, с застенчивыми внимательными глазами.

— Вы не смотрите, что Миша у нас деликатен, будто красная девица, — добавил Федин. — Он прошел первую мировую, работал секретарем у Горького. Давно печатается.

Голиков еще раз пожал руку Слонимскому, но сделал это совершенно машинально. Из всего происходящего в мире его сейчас интересовало лишь одно: что скажут о романе.

— Я прочитал вашу рукопись, — тихим голосом произнес Семенов, будто он умел угадывать мысли. — Это никакой не роман...

«Провал и катастрофа, — пронеслось в сознании Голикова. — Неужели папа прав? Но тогда как жить?» И еще: «Стыдно, нечем будет расплатиться с хозяйкой. А у нее двое. И едва сводят концы...»

— Никакой не роман... — повторил Семенов. — Это повесть. Я не мог оторваться. Здесь все настоящее: обстановка, судьбы, поступки людей. Война изображена сурово и точно...

Сердце рванулось в груди Голикова и стало большим, не умещаясь в груди. Аркадий Петрович впервые понял, как можно умереть от счастья, если не выдержит сердце.

— Мы с Мишой тоже прочли, — включился Федин. — Действительно трудно оторваться, хотя в рукописи и немало оплошностей неумелого пера. Писать вы не умеете, но писать вы можете и писать будете... А мы вам поможем.

— Мы думаем выпустить вашу повесть до лета, — уточнил Семенов, — поэтому рукопись уже на машинке.

Голиков почувствовал, что бледнеет: денег у него не было заплатить даже за бумагу.

Наверное, Семенов и это прочитал на его лице, потому что добавил:

— Перепечатка — за счет издательства. Кроме того, вам выписан аванс. Извините, сегодня вы денег, наверное, уже не получите, только завтра. Впрочем, спуститесь на второй этаж.

Голиков спустился, и ему выдали аванс. Такой громадной суммы он никогда не держал в руках: она превышала его годовое жалованье командира полка. И в эту минуту он забыл, сколько времени прошло с того дня, когда он написал первую строчку, до той, когда он получил аванс. Забыл про голод, проданные часы, шипель, френч и сапоги. Забыл о том, как он обедал в долг, как его подкармливали квартирная хозяйка и грубые, но добрые парни из бригады грузчиков. Забыл, как он сутками не выходил из дома, лишь на несколько коротких часов отрываясь от стола, чтобы поспать, выпить холодной воды,

съесть кусок хлеба, часто с трудом сбереженного с вечера, чтобы приняться за дело опять.

«Если отдать долги и купить все необходимое, то у меня останется минимум еще на полгода жизни и работы,— подумал Голиков.— А после выхода книги я получу столько же».

Он рассовал деньги по карманам и торопливо спустился по лестнице. На миг ему показалось, что это просто ошибка. Но никто не бежал за ним следом, чтобы остановить и забрать деньги.

Аркадий Петрович стоял у подъезда дома с глобусом. Слева катил свои воды капал, куда он чуть было не отправил стонку тетрадей. А прямо перед ним, на противоположной стороне проспекта, вытянув руку с подзорной трубой, стоял бронзовый полководец и светлейший князь Михаил Илларионович. Казалось, он протягивает Голикову свою подзорную трубу, чтобы тот взглянул через нее в свое прошлое, когда он по малодушию чуть не наделал глупостей.

И Голиков перешел через дорогу, провел рукой по отшлифованному камню постамента. Несмотря на морозную погоду, камень показался ему теплым, будто согретым изнутри.

Захотелось есть. Аркадий Петрович вспомнил, что со вчерашнего утра не ел ничего. Не осталось денег, и негде было одолжить даже гравенник.

Возле Думы он зашел в какое-то заведение, заказал себе две порции бараньего супа, две порции котлет, чай с пирожными. Насытившись, отправился на трамвае к Сенному рынку.

Здесь, не торгуясь, Голиков купил себе новую шинель, галифе, сапоги, от которых еще пахло дратвой, кожей и kleем, кучу нужных и неужных вещей. В двухэтажном магазине на бывшей Садовой, где еще остались следы от вывески «Б. Л. Клупт», он накупил подарки хозяйке и ее детям. Но в руках все свертки уже было невозможно унести. И Аркадий Петрович приобрел в том же магазине чемодан. Руки почти освободились. И тогда он накупил всякой всячины в гастрономе. Но с чемоданом и кучей съестного в свертках он уже не мог двинуться с места. Пришлось взять пролетку.

Голиков попросил извозчика поднять кожаный верх, прикрыть его, Голикова, фартуком, которым накрывают ноги, и в центре города, на оживленной улице он переоделся во все новое. После этого попросил отвезти его к Главному штабу.

Аркадий Петрович Голиков, бывший ученик Арзамасского реального училища, ехал отметить свой триумф к бывшему учителю словесности, который первым обратил внимание на его способности к литературному ремеслу.

Галка был дома, лежал простуженный. Когда Голиков вошел к нему в комнату, Николай Николаевич вскочил со своей неуютной складной постели.

— Аркадий, где же вы пропадали?! Я вас искал. Я не находил себе места, что вас так плохо в прошлый раз принял. Я наводил справки. Но в адресном столе вы не значились, а в Арзамасе никто не знал, где вы живете.

— Да, я никому не писал.

— Как ваши дела? Я обещал вашему отцу, что дам знать, как только что-нибудь про вас выясню.

— У меня приняли к печати повесть,— сказал Голиков.— Я пришел вам это сообщить.

Ночевать Голиков остался у Галки, постелив на паркете подшивки газет. А чтобы хозяйка не волновалась, дал ей с Центрального телеграфа депешу. И заодно тут же — отцу:

«Арзамас, Маркса, 12. Петру Исидоровичу Голикову. Повесть одобрена. Получил аванс. Всех целую. Ваш непутевой Аркашка».

Теперь он мог ехать в Арзамас. Он опроверг библейскую притчу о том, что сын, который ослушался отца, непременно должен потерпеть поражение и вернуться домой с повинной головою.

Конечно, если тебя постигла очень большая неудача, то иногда вернуться необходимо. Но притча о блудном сыне была сочинена для слабых. А душевно крепкий человек должен добиваться своего.

Он, Аркадий Голиков, не согласился с отцом, каким он стал теперь, под грузом годов. Но он, Аркадий Голиков, последовал примеру отца, каким тот был в далекой молодости. Ведь каждый имеет право на мечту, на риск и возможность испытать себя.

Аркадий Петрович еще не знал: испытания, через которые он прошел не только в армии, но и здесь, в Петрограде, научили его не одному лишь упорству, но и верности своим убеждениям. И он ни разу ими до конца дней не поступился.

В пору шапкозакидательства, в 20—30-е годы, когда считалось, что нашей армии никто не страшен и сомневаться в этом не рекомендовалось, Гайдар учил мальчишек-читателей: война — это трудно и опасно. Он готовил своими книгами то стойкое и самоотверженное поколение, которое приняло на себя первый удар 22 июня 1941 года. В окопах на Юго-Западном фронте командиры и бойцы ему говорили: «Мы выросли на ваших книгах».

В конце 30-х годов Аркадий Петрович написал и, что порази-

тельно, напечатал повесть «Судьба барабанщика» — в защиту детей, которые остались без отцов. Гайдар, педагог и художник, выступил против Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года о привлечении «к уголовному суду» детей «начиняя с 12-летнего возраста».

Главный герой повести, двенадцатилетний Сережка Щербачов, говорил: «Будь проклята такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик... как трусливая мышь. Я так не хочу!»

Повесть и эта фраза едва не стоили Гайдару головы... Но это отдельный рассказ.

От Николая Николаевича Голиков вернулся па Фонтанку, чтобы отметить с хозяйкой свою удачу. Галина Афанасьевна его поддерживала, а случалось, и подкармливала, хотя и сама жила с двумя малышами впроголодь.

Аркадий Петрович привез ей и девочкам подарки, много вкусных вещей. Был в этот день счастлив и весел. Внезапно, когда играл с девочками посреди комнаты в жмурки, испортилось настроение.

Голикова это встревожило: «Надо выйти на свежий воздух». Он натянул старую кепку, надел новую шинель и, не застегиваясь, направился по длинному коридору коммунальной квартиры к выходу. Но возле самых дверей в висках внезапно застучали молоточки, и в коридоре без окон будто внезапно погасло электричество. Это опять отключилось сознание.

В длинном мрачном коридоре, в день, когда он отдыхал и скромно праздновал свою победу, Голикова нагнала его болезнь. Отныне ей предстояло делить его жизнь на светлую и темную половины, неотступно напоминая о Хакасии и трагическом поединке с «императором тайги». Поединок закончился поражением и для бывшего командира «белого горно-партизанского отряда», и для бывшего начальника 2-го боевого района по борьбе с бандитизмом. В этой схватке победителя не оказалось.

* * *

Так началась для Голикова новая, писательская жизнь — со своими радостями, трудностями и новыми смертельными опасностями.

Июль 1982 — декабрь 1989 гг.
Залевки — Олимпийская деревня — Голицыно

В работе над повестью «Рыбок в неведомое» были использованы все опубликованные материалы о сибирском и петроградском периодах жизни и деятельности А. П. Голикова-Гайдара, которые оказались доступны автору, а также документы Арзамасского государственного музея А. П. Гайдара, Государственного архива Красноярского края, Центрального государственного архива литературы и искусства СССР (Москва), Центрального государственного архива Советской Армии (Москва).

Особо хочу отметить вклад сотрудников Красноярского партийного архива — заместителя директора Н. П. Бердниковой и заведующей читальным залом Н. И. Сичкарь, которые помогли весной 1989 года ознакомиться со многими важными документами.

Неоценимую помощь оказали участники и свидетели борьбы А. П. Голикова с И. Н. Соловьевым: Ф. И. Барков, Н. К. Казанцев, Ф. Ф. Катюрип, Ф. И. Кацкин, А. А. Кожуховская, И. А. Кожуховский, П. М. Никитин (Пашка Цыганок), Н. А. Урванцев.

Беседы с ними, записанные на плёнку во второй половине 60-х годов, раскрыли и дополнили содержание многих официальных документов о деятельности частей особого назначения в Ачинско-Минусинском районе Хакасии в 1921—1922 годах.

Большую помощь в разные годы мне оказали жители и краеведы Хакасии: председатель сельского Совета деревни Чебаки, участник штурма Берлина Н. С. Владимиров, преподаватели школы № 16 г. Черногорска Н. П. Карпова, Н. Е. Такхарокова, Л. И. Чепелюк, журналистка, сотрудница газеты «Ленин чолы» Е. А. Абдина, учительница школы в деревне Чебаки Н. В. Белослудцева, учительница школы в деревне Сарала Л. А. Белошапкина, организатор общественного исторического музея в станице Форпост К. А. Кожуховский, сторож усадьбы Иваницкого в Чебаках А. К. Балахчин.

Считаю долгом отметить весомость сведений, которые содержались в публикациях основателя народного музея А. П. Голикова-Гайдара в Ужуле, заслуженного учителя школы РСФСР В. И. Шауба.

Всем сердечное спасибо.

Но я бы не встретил многих из этих людей, если бы летом 1987 года, во время второй моей экспедиции в Хакасию, организацию моих поездок по доступным и малодоступным местам, связанным с А. П. Голиковым и И. Н. Соловьевым, не взяла бы на себя секретарь Ширинского райкома КПСС А. А. Тохтобина. Пояснения давал журналист, знаток края В. Н. Иванченко.

Моя благодарность старшему научному сотруднику Хакасского НИИ языка, литературы и истории В. Я. Бутанаеву, который прочитал рукопись и сделал много ценных замечаний.



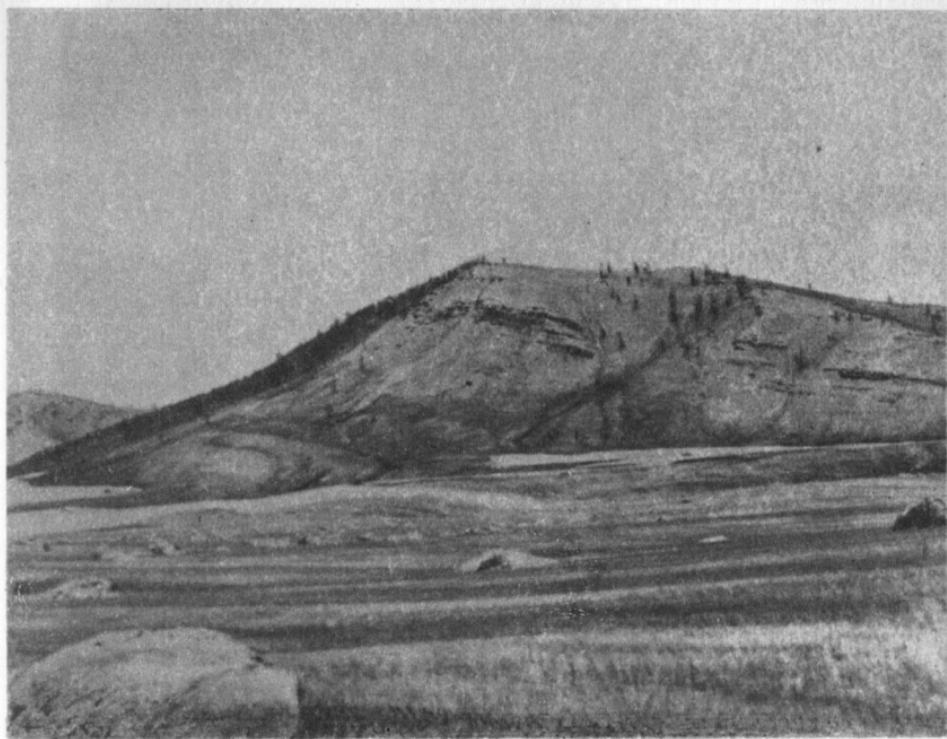
Аркадий Петрович
Голиков — командир
58-го отдельного
Нижегородского полка,
командующий 5-м
боевым участком
Тамбовской губернии.
Моршанск, лето
1921 г.



Петр Исидорович Голиков (второй справа) среди сослуживцев. Таким увидел отца после долгой разлуки Аркадий Петрович.

Хакасия: сонки, стада, простор...





Одинокая, молчаливая
сопка. На ней вполне
мог расположиться
наблюдатель Соловьёва.



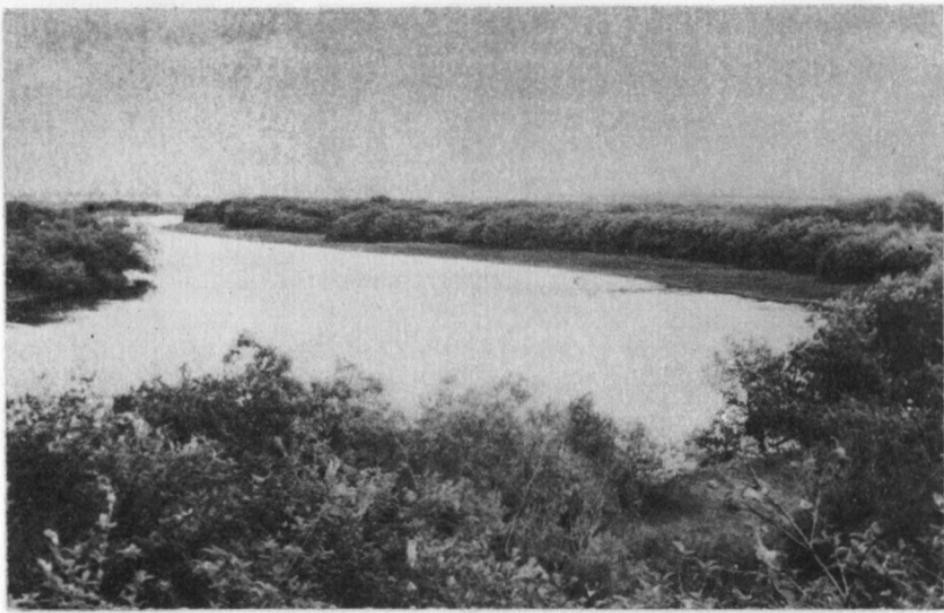
Станица Форпост (она же Соленоозерная).
Дом Буданцева. Здесь весной и летом 1922 года размещался штаб 2-го боевого района.
Правая половина избы с тремя окнами по фронтону служила А. П. Голикову кабинетом.

Форност. Так
называется здесь
главная улица.



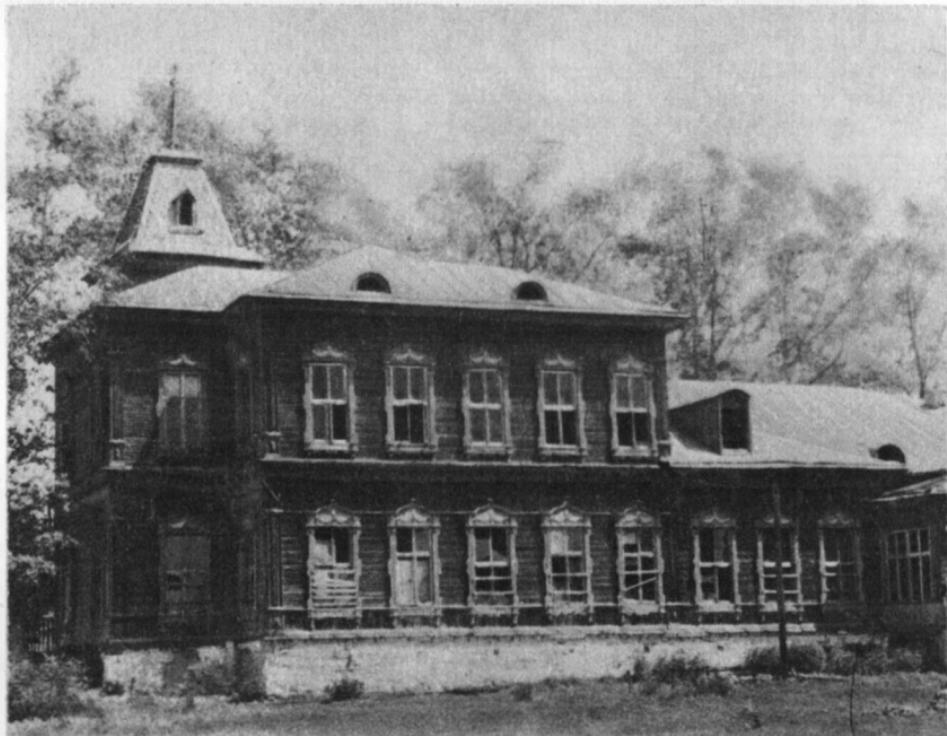
Улица А. П. Гайдара
в Форносте.





Река Июс.

Село Чебаки. Бывший
дом
золотопромышленника
К. И. Иваницкого.

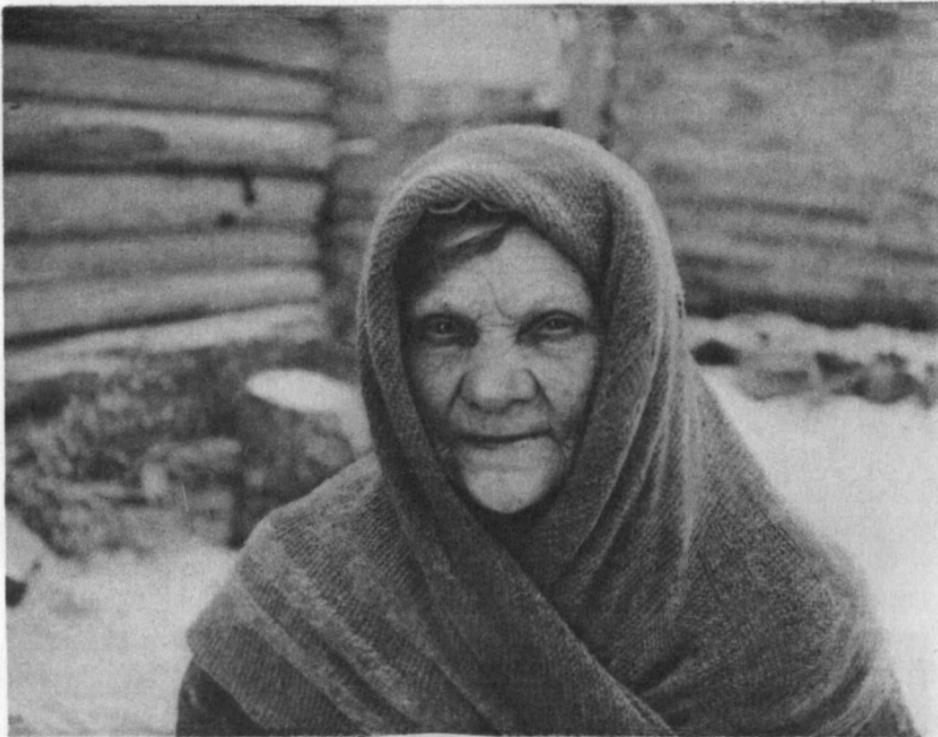




Ветеран гражданской
войны Павел
Михайлович Никитин
после выступления
перед детьми. Загорск,
1967 г.



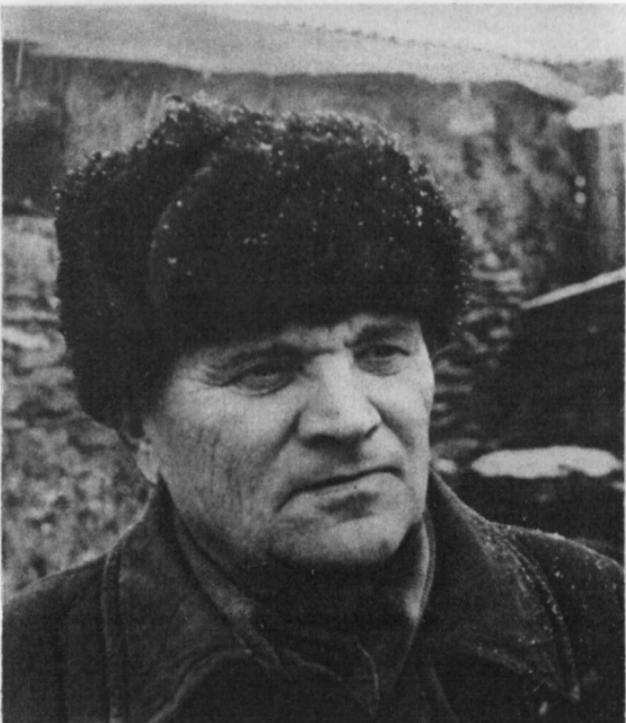
Павел Михайлович
Никитин (Пашка
Цыганок). Ачинск,
1922 г.

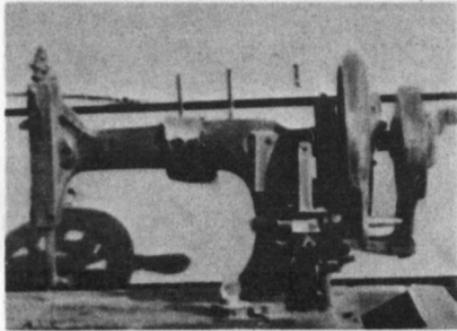
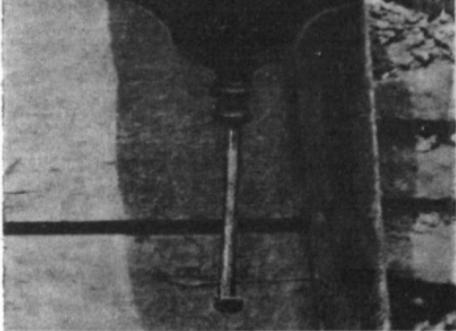


Аграфена
Александровна
Кожуховская.
Форпост, 1966.
Кожуховской —
восемьдесят второй
год. (Дом
Кожуховской, где
снимал квартиру
А.П. Голиков, не
сохранился.)

Иван Алексеевич
Кожуховский — один
из организаторов и
бывших актеров
молодежного театра в
Форпосте.

Брат Ивана
Алексеевича
Кожуховского,
Константин
Алексеевич,
организовал в
Форпосте музей на
общественных началах.





В музее хранится и
утварь из дома
Аграфены
Александровны. Вполне
вероятно, что и
рукомойником, и
кринками, и плетеным

сундучком пользовался
Аркадий Петрович
Голиков.
А швейная машинка —
та самая, на которой
шились рубашки из
трофейного полотна.



В Хакасии сохранилось
много мест, связанных
с Иваном Соловьевым.
Вверху — вход в одну
из пещер.

На нижних
снимках — деревья на
вершине сопки близ
Елового лога под
Форпостом, где
будущий «император
тайги» прятался с еще
немногочисленными
сподвижниками.



Теплая речка. Она
вытекает из-под горы.
Температура ее
постоянна круглый
год — десять градусов,

поэтому вода не
замерзает и зимой. На
Теплой речке жила и
погибла разведчица
Голикова
Настя — Маша.





Николай Ильич
Заруднев. Погиб в
Сталинграде в 1943
году (фото из фонда
Музея А. П. Гайдара в
школе № 16
г. Черногорска).

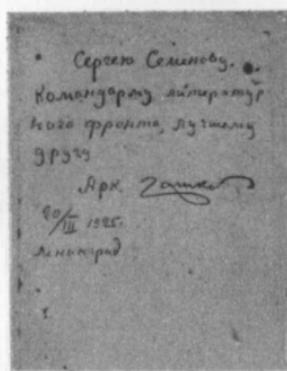


Арзамас. Дом по улице
Карла Маркса, 12.
Здесь, в квартире отца,
А. П. Голиков впервые

читал близким и
друзьям главы своей
повести «В дни
поражений и побед».

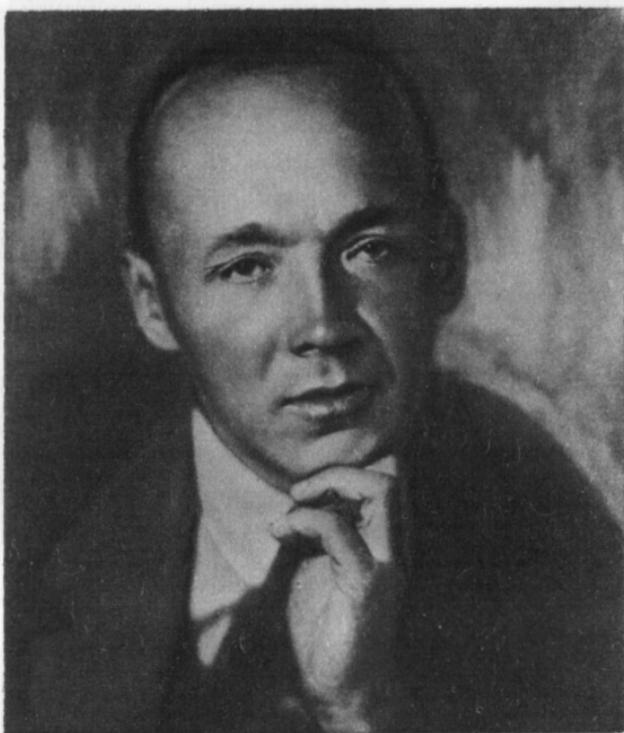


Обложка рукописи
«В дни поражений и
побед» (рукопись
хранится в
Центральном
государственном архиве
литературы и
искусства СССР в
Москве).



Сергей Александрович Семенов. Был широко известен в 20-е годы. А. П. Гайдар всегда помнил, что Семенов был первым писателем, который пожелал ознакомиться с его рукописью и произнес первое слово одобрения.

Константин
Александрович Федин.



Михаил Леонидович
Слонимский.



Ленинград. Знаменитый
Дом с глобусом. В нем
и теперь, кроме
громадного книжного
магазина, размещаются
некоторые
издательства.



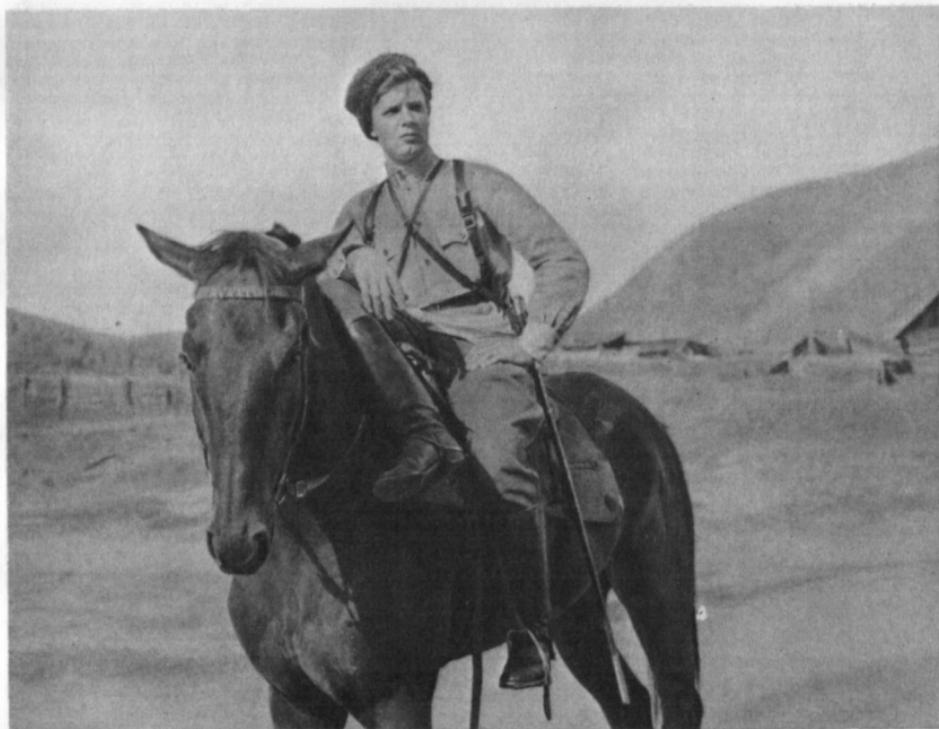


Когда повесть «В дни поражений и побед» была одобрена, А. П. Голиков поехал в Крым, в Алупку, и навестил там свою мать. Наталья Аркадьевна была счастлива, что наконец увидела сына, которого любила больше остальных детей, и была горда его первым литературным успехом. Ведь это она в далеком детстве подарила Аркадию

альбом, когда он начал писать стихи.

Голиков снова убедился: никто его так не понимает, как мама. Стало очевидным, что их долгая размолвка была нелепостью и ошибкой. Они расстались на том, что будут видеться теперь как можно чаще. ... Вскоре после отъезда Голикова мать умерла.

В 1978 году на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького был снят фильм «Конец императора тайги» (режиссер В. Саруханов, авторы сценария Б. Камов, Л. Павлов). Съемки проходили в Хакасии, в тех местах, где до сих пор еще помнят о поединке Голикова и Соловьева. Мы публикуем кадры из фильма (художник-фотограф Владимир Комаров).



Аркадия Голикова в фильме «Конец императора тайги» сыграл выпускник ВГИКа Андрей Ростоцкий.

Близкие А. П. Гайдара позднее отмечали: А. Ростоцкий в этой роли добился большого внешнего и внутреннего сходства.



Новый начальник 2-го
боевого района по
борьбе с бандитизмом
Аркадий Голиков
(арт. А. Ростоцкий)
обходит с командиром
Остапенко (арт. Олег
Балакин) свои
владения. Положение
тяжелое. Восторгаться
нечем.



Фильм начинался с трагикомического эпизода: 18-летнему Голикову не поверили, что он прислан Москвой на должность начальника боевого района. И он был

арестован. Выручил его Павел Никитин (арт. Герман Качин, первый слева). Летом 1918 года Голиков и Никитин познакомились в Арзамасе.

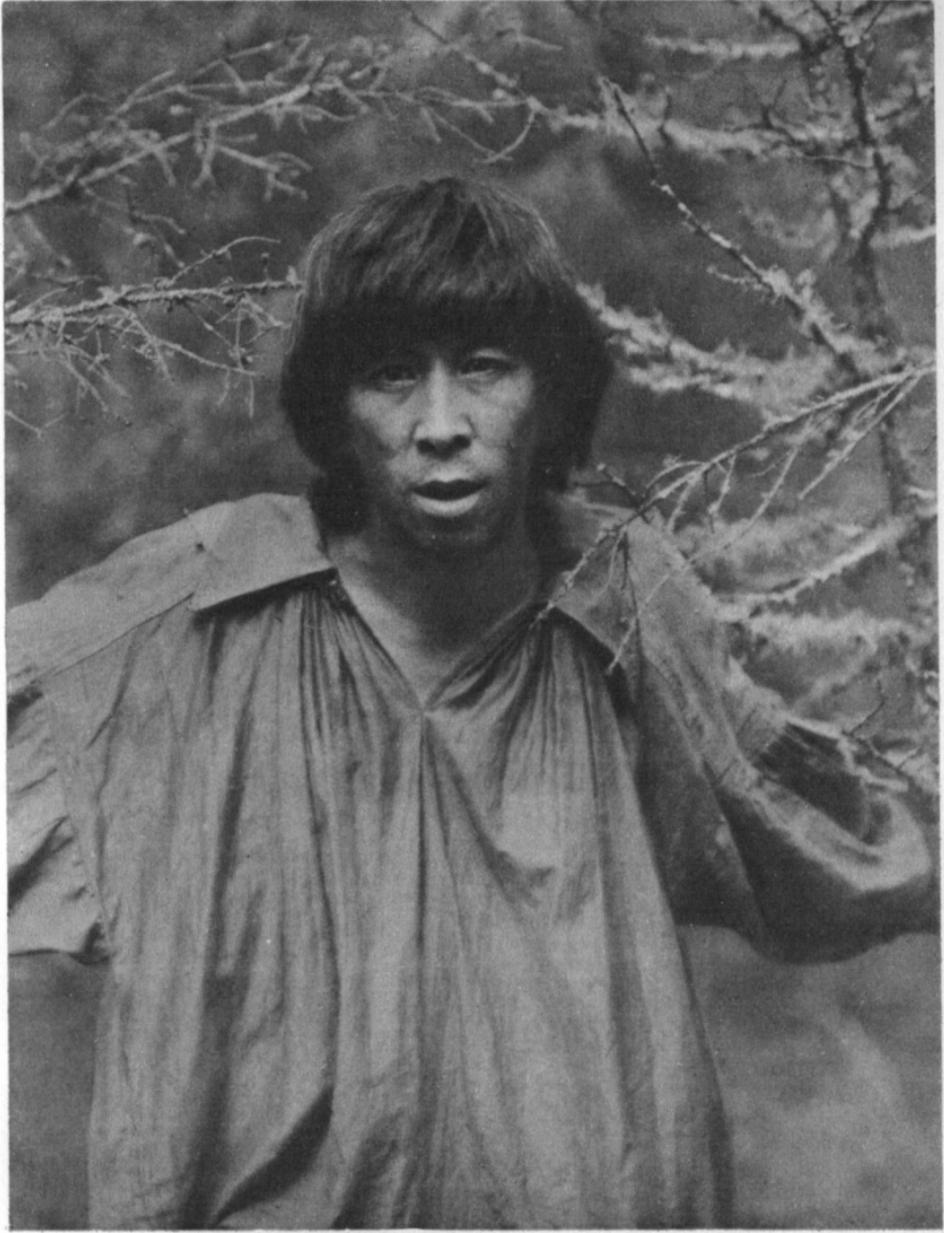


Назначение мальчишки на должность начальника боевого

района озабочило и отчасти обидело местных командиров.

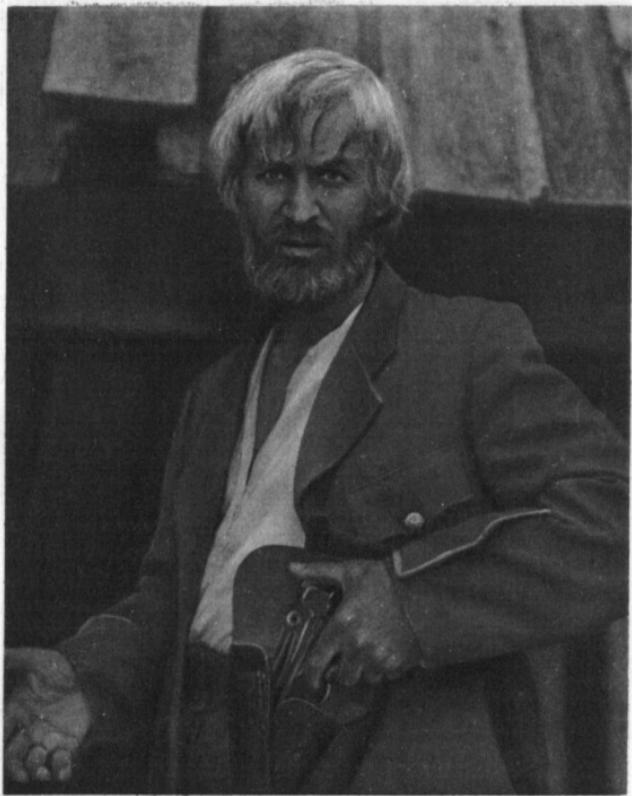


Было о чём подумать и Федьке Очолу (в повести — Митька-хакас). Чтобы Федька (арт. Юрий Майнагашев) помог заманить в тайгу нового командира, начальник разведки Соловьева Астанаев забрал в лес Федькину жену. Федьке первое время помогал его сын Артас (в повести — Гаврюшка). В роли Артаса снимался школьник Виталий Канзычаков.



В судьбах Федьки
Очала, героя фильма,
и Митьки Ульчугачева,
героя повести,
отразилась реальная
трагедия тысяч
хакасов, которые
оказались в период
гражданской войны
меж двух воюющих
лагерей.

На роль «императора тайги» был приглашен ленинградский актер Иван Краско. Иван Соловьев в его исполнении — умный, смелый, обаятельный и жестокий.

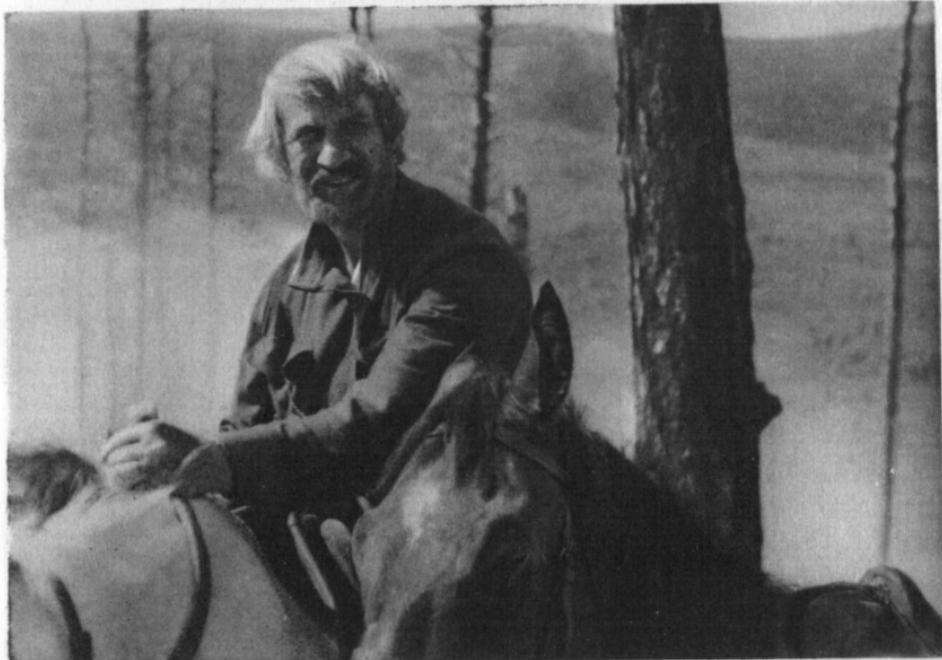


В штабе Соловьева.





Иван Соловьев и
Сильверст Астанаев
(артист Юрий Котюшев,
второй справа).





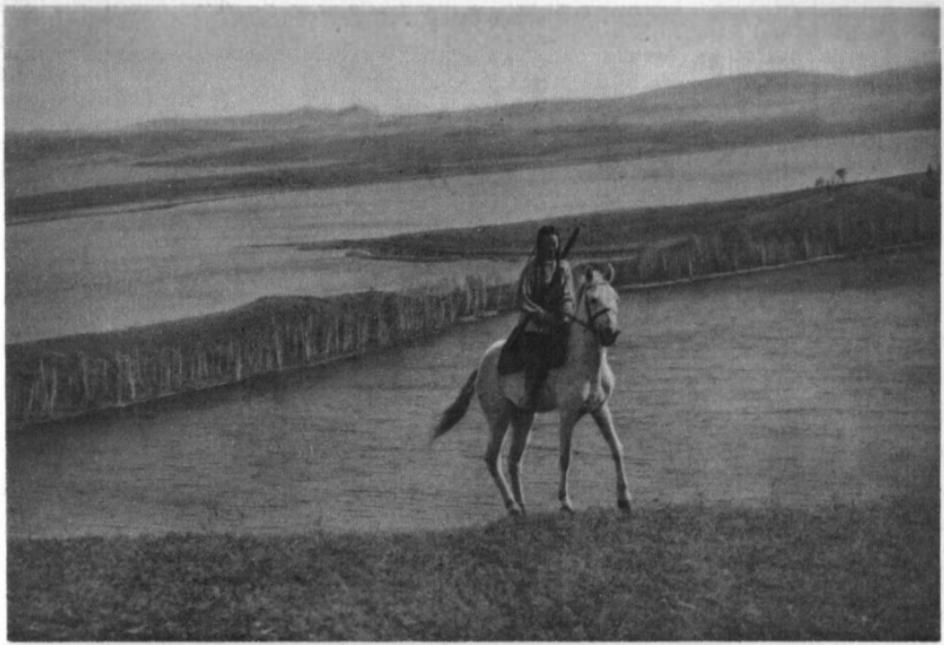
Артистка Данута Столлярская исполнила роль Евдокии — квартирной хозяйки Голикова (в повести — Аграфена Кожуховская). Евдокия в картине женственна, мудра, тактична, полна искренней заботы о постояльце, к которому привязалась... Однако судьба Евдокии трагична. В юности она любила Соловьева, но не пожелала иметь дело с «императором тайги».







Смешная игрушечная обезьянка — это был амулет, который разведчица Настя (акт. Светлана Чаптыкова) получила в подарок от Голикова. На счастье.

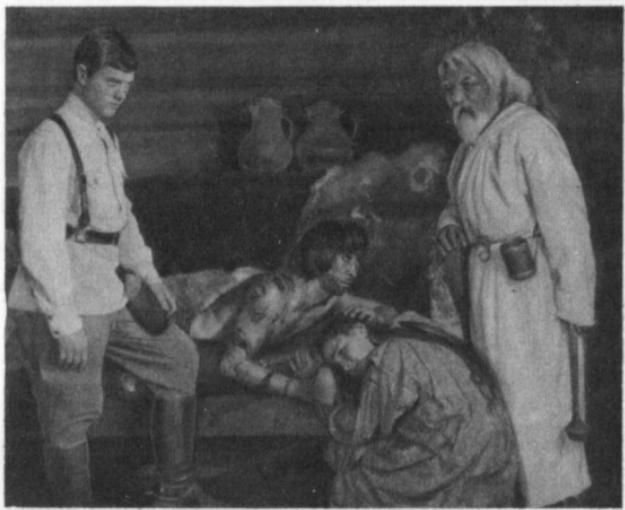


Одна в беспредельных
просторах.

Эта встреча оказалась
последней.



Федька Очол, узнав,
что жена его умерла в
лагере Соловьева,
кинулся в тайгу,
чтобы убить Соловьева.
И был до полусмерти
избит его охраной.



Жаль не только
несчастного Очола.
Жаль и его детей
(в фильме их двое).
В роли дочери
Очола — Таринки —
школьница Нина
Саруханова.





От мудреца и целителя
деда Никто (артист
А. Куттубаев) Голиков
узнал о гибели Насти.



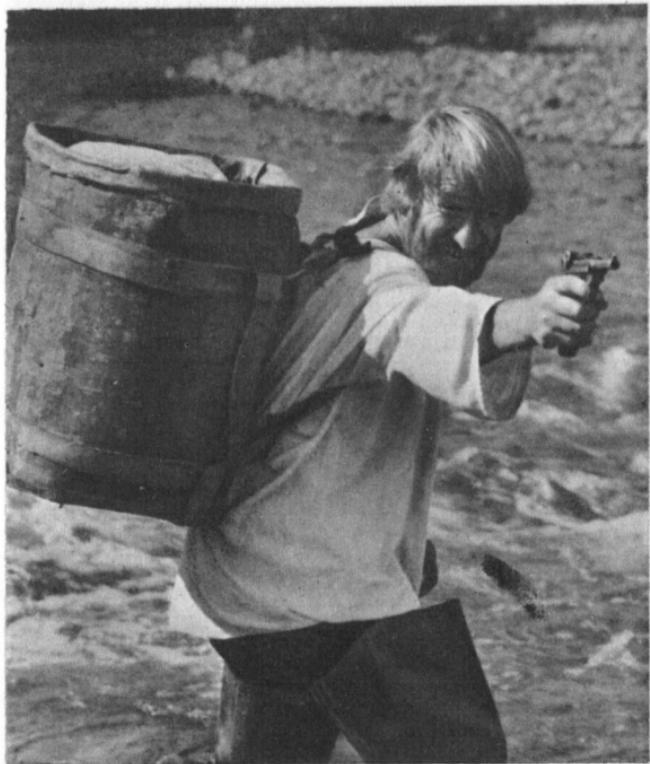
Напряженный момент
фильма «Конец
императора тайги»:
Астанаеву, Солоньеву и
полковнику Макарову

удалось заманить
Голикова в ловушку
(верхний снимок).
Голиков с отрядом
чуть не погиб.





Павел Никитин, по прозвищу Цыганок, был в юности цирковым артистом. Расстреляв в поединке с офицером Родионовым все патроны, Никитин прибег к последнему средству — метнул нож.



Соловьев с мона уходит...



Аркадий Голиков — в
жизни и фильме — был
отчаянным и
бесстрашным.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Вы только что прочли книгу
об одном из самых сложных периодов жизни
Аркадия Петровича Гайдара.

Понравилась ли вам эта книга?
А знаете ли вы о подвиге Гайдара в 1941 году?
О его самоотверженности и героизме
в самые тяжелые месяцы
схватки с фашизмом?
Мы ждем ваших писем.
Пишите нам по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Литературно-художественное издание

Для старшего школьного возраста

Камов Борис Николаевич

РЫВОК В НЕВЕДОМОЕ

Повесть

Ответственный редактор С. П. Мосейчук

Художественный редактор Л. Д. Бирюков

Технический редактор Т. Н. Тимошина

Корректоры Л. А. Анчевская, Е. В. Туманова

ИБ № 13132

Сдано в набор 14.08.90. Подписано к печати 25.07.91. Формат
60×90¹/₁₆. Бум. типограф. № 1. Шрифт обычновенный. Пе-
чать высокая. Усл. печ. л. 25,0. Усл. кр.-отт. 27,5. Уч.-вид.
л. 22,94 + 8 вкл. = 24,66. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5116.
Цена 4 р.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов изда-
тельство «Детская литература» Министерства печати и массо-
вой информации РСФСР. 103720, Москва, Центр, М. Черкас-
ский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга»
Мининформпечати РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Камов Б. Н.

K18 Рыбок в неведомое: Повесть/Художн. Г. Метченко.—
М.: Дет. лит., 1991.— 384 с.: ил.

ISBN 5—08—002662—6

В повести автор рассказывает о службе Аркадия Голикова, будущего писателя Аркадия Петровича Гайдара, в Хакасии в 1922 году, о его единоборстве с неуловимым атаманом Соловьевым (поединку был посвящен известный фильм «Конец «императора тайги»). Когда Голиков по болезни был уволен из армии, он решил испытать свои силы в литературе.

К 4803010201—348
М101(03)-91

ББК 84Р7